СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Наум
ВАЙМАН

ХАНААНСКИЕ ХРОНИКИ

Архив первый

ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА
КИЕВ, 2023

УДК. 821.161.8’19-2
В-49

Вайман Н.

В-49 Ханаанские хроники / Н. Вайман — Друкарський двір Олега Федорова 2023 — 512 с.

ISBN 978-617-8252-20-5

Наум Вайман — известный писатель, журналист, переводчик, исследователь творчества Мандельштама (вышли 4 его книги о поэте), автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники».

Вот что писал о «первом архиве» этой эпопеи Андрей Урицкий («Знамя», 2000, №5): «…гремучая смесь, где философские рассуждения сменяются бесстрастными, в духе Генри Миллера описаниями случек, а за бытовыми картинками следуют политические сентенции крайне правого толка, с поправкой на ближневосточную действительность. И никакой политкорректности, выдумки этой заокеанской Вайман не знает, и знать не хочет. За такую прозу премию вряд ли дадут, скорее — кирпичом виртуальным по голове. В основе книги записи 93–96 гг., к которым добавлены воспоминания, цитаты, стихи, пейзажи, рассуждения, письма друзей и тому подобный материал, пригодный для изготовления добротного non-fiction. От аналогичной продукции “Ханаанские хроники” отличаются максимально возможной искренностью, стремлением договаривать, додумывать, невзирая на лица и обстоятельства. Причем искренность Ваймана — это искренность сухая, жесткая, без кокетства, без юродивого мазохизма, без размазывания слюней и соплей. В конечном итоге — без литературщины».

УДК 821.161.8’19-2

© Вайман Н., 2023
© Федоров О.М., видавець, Київ 2023

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

8.7.93. Наблюдательный пункт на крыше двухэтажной постройки. Вся база — километра два в окружности, в центре аэростат-радар на тросе, ну и станция обслуживания. А мы все это дело охраняем. 11 по разнарядке, плюс офицер-пацаненок. Но нас только десять, завтра будет девять, если замену не пришлют. А если нас 9, то мы привязаны, как этот гандон на тросе — никаких увольнительных. Пустыня, синее небо и белый дирижабль. С двух до шести дежурю, в самое пекло. Пить надо много. Только что расстался с ней в Беер-Шеве. Когда она написала, что приедет в июле, не испытал радости, последний набег был изнурителен. В сущности, все они изнурительны, иногда дни считаешь, как в милуиме[1]. Тогда, зимой, ей удалось вырваться всего на неделю — мама заболела — написала, что ужасно соскучилась, что один Бог знает, каких нервов это ей стоит, что раз она вырвалась, то неплохо бы нам удрать куда-нибудь от всех и от всего, хотя бы на пару дней, может в Эйлат? она там так и не побывала, а у меня, точно к ее приезду, и это уже традиция («чтоб нам скучно не было»), милуим на три дня — учения. Рыпнулся к офицеру связи, новый офицерик, из русских, Эмиль, бью челом, так и так, будь человеком, стар уж я для глупостей этих и занят как раз ну страшное дело. Изумил меня Эмиль, может я ему собственного папашку напомнил, такого же старого пердуна, а может, наковырял уже по разнарядке героев-защитников, в общем, оказалось у меня три дня в загашнике. Встретились, будто на той неделе расстались, поехали в «Рамат-Авив». Первая встреча всегда без оглядки, жадная, будто мстящая разлуке...

[1] Регулярная, в большинстве случаев каждый год по месяцу, служба резервистов.

Поезд с вагонетками серой гусеницей прополз в пыли, глаза от сухого ветра пощипывает. Маленькие столбики пыли, извиваясь, раскачиваются, как кобры, поднявшиеся из корзин.

...А потом мы на три краденых дня махнули в Эйлат. Но в пути, чем дальше уезжали, росло беспокойство, угрызения обманщика, кругом обманщика, раздражение на то, что «вырваться» не удаётся, да и невозможно. Первый день «на курорте» мы еще «общались», на второй — я уже не хотел наотрез, а третий вообще стал кошмаром, я жаловался на недомогание, боли в животе, мне казалось, что у меня температура, ну совсем, как капризная бабенка, и она, конечно, «все понимала», только посмеивалась через силу над моим «нездоровьем». По дороге заскочили в Мицпе Рамон, я думал остановиться там в новой гостинице, по ТВ рекламировали, почему-то вообразил, что она над обрывом, тянет все к обрывам, но гостиница оказалась на зачуханной улице, неожиданная скороговорка *рабинзонов* из Малороссии, ленивый, вороватый портье-марокканец, в общем, не располагало пристанище, и мы поехали к «верблюду», двугорбой скале у края Кратера, со смотровой площадкой. Напирал сильный ветер, она дала мне свою лыжную куртку, может быть, я действительно там простыл на ветру? Из Эйлата, на второй день, скатали в Тимну, парк грибовидных скал, копи царя Соломона, слава богу, безлюдный, не сезон. В парке оказалось озерцо с забегаловкой на берегу, в центре озерца деревянный настил, к которому вел бревенчатый мостик, мы улеглись на досках, в некотором отдалении друг от друга, и лежали долго, робко плескалась вода, носились ласточки, иногда садились рядом на доски, красные скалы вокруг и тихо, странно тихо. Потом прикатил автобус с детьми, и мы сбежали, оставив эту тишь на поругание жестокой орде. От наших свиданий остаются в памяти пейзажи: озеро с ласточками, или скала, нависшая над Кратером, или монастырь, спрятавшийся в ущелье, по дну которого хлещет, погоняя огромные камни, бич разъяренного после недельных ливней потока.

После этого долго не было писем, да и я не спешил о себе напомнить. Так что когда грянула эта повестка на месяц, точь-в-точь на ее приезд (согласно установившейся традиции), я не слишком огорчился и не стал брыкаться: с одной стороны, из Тель Ноф, а я был уверен, что окажусь там, на основной базе, нетрудно в любой момент выскочить, если приспичит, а с другой стороны, всегда, если встречаться невмоготу, можно сказать, что, мол, служба. Прилетела она ...-го. Мы еще успели до моего ухода в армию скатать в Шореш, там была суета — Маккабиада, народ съехался на международный спортивный праздник, и опять русская речь кругом, не скроешься, комнатуха все же нашлась, и мы, как всегда в первый раз после разлуки, дорвались друг до друга. Одна только деталь меня смутила: она еще по дороге сказала, чтоб я взял у нее 400 долларов и не смущался расходами на гостиницы и другими тратами. Нет, намек на прижимистость меня не покоробил, не велик грех, да и участие в расходах я приветствую, это справедливо, гульба идет иной раз действительно не по бюджету, но тут был еще какой-то мотив, он прозвучал в размере суммы, а уже «после того», она мне эти 400 долларов на кровать эдак бросила. Жест мстительный, смахивал на мой «подарок» Инне в Москве, о том эпизоде я ей рассказывал. Развеселил меня жест. Было бы недурственно, если б женщины так высоко ценили мои «услуги». Все же первый порыв был — вернуть с возмущением, небось, этого и ждала, тем более что в машине, по дороге, отнекивался. Но я порыв обуздал. Что ж, поиграем в месть — взял денежки. Да-с, в хозяйстве пригодится. Возникшая было легкая напряженка мне даже понравилась — а то все слишком безоблачно. Что явный признак необязательности. Ну вот, а когда прибыл в Тель Ноф, то оказалось, что мобилизовали весь полк, и маленькими партиями распределяют по всей стране. Я взвыл, но не помогло, Тель Ноф был забит блатными, а меня упекли в Димону, боялся, что бросят на Реактор, но оказался в этой дыре, сначала была еще надежда,

что раз глухня — будет вольготно, но не тут-то было. Дыра оказалась несговорчивой, плюс некомплект, не говоря уж о жаре. Прибыли мы вообще только вшестером, потом остальные несколько дней подтягивались, командир целый день ругался по телефону, когда прибыл десятый, я дал дёру домой, договорившись с ребятами, в счет очередной увольнительной, и утром следующего дня мы опять завалились в «Рамат-Авив». Потом — Музей, я похвастался коллекцией Блюменталь, недавно Музею завещанной, будто сам собирал и завещал. Выставку фотографий Шерман, она, оказывается, видела перед отъездом. Поразилась совпадению, придавая ему мистический смысл. Потом мы спустились в буфет и съели по круасану с кофе. За стойкой шустрили две разбитные девки. Она спросила, имея в виду их явно славянскую внешность: «Как они сюда попали?» «Тут один чиновник, — усмехнулся я, — спрашивает совершенно русскую семью, которая пришла в евреи записываться: а вы, извините, как к евреям относитесь? А мы, говорят, к евреям очень хорошо относимся». «Вечером я еще поехал на пленум ЦК. Тхият аметим (воскрешение мертвых). Мертвые собрались почти поголовно, и все жаждали воскрешения. Во что бы то ни стало. Ради страны, которая в опасности. Даже корреспонденты сбежались, слышалось нежное пощелкивание фотозатворов. Проплыл между рядами в салюте фотовспышек жабообразный Нееман с супругой, отвлекся на часок от своих важных научных дел дабы дать напутствие. В нашей компании он чувствовал себя непринужденно (процент лиц с высшим техническим у нас был неизмеримо выше, чем это принято в среднем, да и в высшем эшелоне партийных активистов), любил рассказывать, как почти получил Нобелевскую по физике за открытие кварков, такой интеллигентный и обходительный, явная редкость в нашем парламентском зверинце, и, увы, именно в силу этого, совершенно не подходящий на роль лидера партии. Яша вел собрание, и чувствовалось, что Нееман хотел бы видеть в нем своего преемника. Увы, опоз-

дала задумка, второе или третье место в списке для «русского», как я скандально требовал перед выборами, хоть лично в Яшу и не влюблен (брезгливый индивидуалист), может быть, и дало бы возможность проскочить процентный барьер. Яша бодро вел последнее сборище партии, сыгравшей в ящик для избирательных бюллетеней, явно упиваясь своей новой ролью. Благообразен, борода, как у Герцля. Но когда он вынес на голосование проект постановления, включающий, кроме прочего, массовую кооптацию в ЦК всяких своих людишек, пытаясь погреть руки на полураспаде партийного ядра, старые кадры встали на дыбы. Но Яша уперся: либо — либо, Нееман поддержал, начался местечковый базар, я сдуру (одно оправдание, что зверски устал и не ел целый день ничего, кроме круасана), ввязался против Яшиного «большевизма», за что справедливо удостоился его откровенно и окончательно ненавидящего взгляда. Мы потерпели запланированное поражение, но позор был не в этом, а в том, что в драку на тонущем корабле ввязался. После пленума еще попиздели в пивбаре со старыми партийцами за политику (политики, они что клуши-сплетницы у московских подъездов, та же порода), совершили, так сказать, *отпивание* по чину, Маркуша только чуток перебрал, но он уже пришел «тепленький». Потом развозили безлошадных, а дома выяснилось, что из части звонили сто раз, ищут, велят вернуться, грозя карами, я и забыл, что почти в самоволке, велел говорить, если позвонят еще, что меня нет и неизвестно, мол, когда будет. А на завтра договорился с ней встретиться утром и поехать в Ерушалаим. Лег поздно, проснулся рано, совершенно разбитый, и решил, свободы испугавшись, вернуться в тюрягу. На очередной звонок ответил, что возвращаюсь, а подруге сообщил, что труба зовет. Сказала, что так и знала, что спала плохо, что хочет проводить, прокатиться со мной до Беер-Шевы, а там, на автобусе вернется. Я опоздал, был беспокоен, зол, раздражен на себя и на всё, но, когда она села рядом и

взяла мою руку в свою, отпустили демоны, мы покатили в Беер-Шеву, «неважно куда, — сказала, — лишь бы ехать». За Гатчиной (Кирьят Гат) посидели в забегаловке при бензоколонке, кофе не понравился, она рассказывала о детях, старшая девочка очень способная, еще школу не окончила, а уже записалась на курсы в Университете, по математике. Неровная желтая равнина лезла в небо. На ней висели, похожие на огромных летучих мышей, расправивших крылья, черные палатки бедуинов. Ветер швырял пылью в стекла очков. Она улыбалась. «Чо смеешься?» «Вид у тебя лихой в форме и черных очках». «Ну, мерси, — говорю, — осит ли эт айом[1]». В Беер-Шеве она еще робко предложила отдохнуть в гостинице, жара была и впрямь угнетающей, но я сослался на неумолимый воинский долг. Заехали в новый торговый центр у Центральной автобусной станции, внутри толкотня, но хоть прохладно от кондиционеров, сели перекусить. Шум чужого вокзала гудел в ушных раковинах авангардистским реквиемом. Закусон был съеден, и я сказал: «Пора!». Она сказала: «Я тебя провожу». У машины наскоро обнял ее, неловко поцеловал и, не оборачиваясь на родную тень в кочующих толпах, отдался дороге.

Вот и дежурство кончается, почти шесть. Яблоко еще осталось, которое мама положила украдкой в сумку.

9.7. Сижу в фанерной будке, обложенной мешками с песком, пулемет глядит на ворота, военная задача: встретить прорывающегося через пропилеи противника пулеметным огнем. Середина дня. Печет безбожно, мухи, несмотря на страшные потери, атакуют, как японские летчики-камикадзе американский авианосец, хочется не то что гимнастерку — кожу с себя содрать. Однако место видное, начальство шляется, застукают — отпуск погорит. Читать тоже нельзя, но издалека не видно, и книгу можно

[1] Теперь для меня весь день — праздник (*ивр.*).

быстро спрятать, если не зазеваться... Дочитываю «Эпилог» Якова Шабтая и слезы размазываю. Слезлив стал, на манер Алексей Максимыча, а тут еще о смерти, о смерти матери, об угасании отца, о конце всего: собственном, близких, страны... Степной волк бродит в кустах у забора, какую-то лазейку знает. Худющий. Вспоминаю недавнее расставание: мы сбегаем по лестнице к подземной стоянке (лифт набит людьми, а людей мы не любим, вот и тут, посреди немоты первозданной, покоя нет — солдаты у ворот безбожно орут, ругаются, хохочут, громкоговоритель дребезжит блеющей восточной песней), я, торопясь, бегу впереди, ищу машину, забыл, где поставил, найдя, поджидаю тебя (написала мне, когда рассказал о Д., «давай уговоримся: она — это “она”, а я — это “ты”») — широкий шаг, грудь рвется через полуоткрытую блузку, лицо знакомое издавна, всё кажется, что рисовал его в детстве, срисовывал с какого-то альбома, когда я рассказал тебе об этом, давно еще, ты сказала, что судьба говорит с нами, надо только понять ее, судьба — твоя любимая тема, ты идешь, неестественно улыбаясь, с трудом сдерживая себя, чтоб не заплакать, и мы торопливо и неловко обнимаемся и целуемся, ну что, в самом деле, за мистика, почему мы, давно по разным континентам разъехавшись, никак не развяжемся? А началось со случайного танца с рослой девочкой, охраняемой мамой, в кафе на Рижском взморье, где нас, компанию еврейцев-слюнявчиков, чуть не отмутузили подвыпившие латыши-спасатели, выручила пьяная неловкость главаря, двухметрового детины, певшего в кафе ихние занудные латышские песни, не мог попасть в меня, я к тому времени уже больше года занимался боксом, он перестал махать руками, взял меня за плечи, чтоб остановить мои подпрыгивания, и спросил: «Ты что, боксом занимаешься?», «Занимаюсь», «Правильно, еврейчик, — сказал он, покачнувшись, — правильно. Ты не бзди. Вас не тронут. А если кто по дороге пристанет, скажи только “Имант” и все». На следующий день я завлек тебя в лес, но ты не далась, и я переключился

на другие объекты, а потом мы встретились через пятнадцать лет в другой стране, и ты меня узнала, и сказала, что всегда меня помнила, и что-то про расположение звезд, «рыбы» мы. («Знаешь, что написано в гороскопе про встречу двух “рыб”? “Только не это!”»).

Вчера, в ночную смену на джипе, остановившись на продолжительный перекур у ворот базы, Офир, студентик, третий год физику учит в Беер-Шевском университете, худой и сутулый левачок, любящий быструю езду (у него «Альфа-Ромео»), схватился на предмет устройства Космоса, о политике уже отшумели, с Цахи, плотным восточным юношей с глазами навыкате, в ермолке, небо бледнело, звезды подмигивали. «Что ж ты думаешь, — кричал Цахи, — вот звезды эти сами крутятся неизвестно зачем, и никто миром не управляет?!» «Сами, и никто не управляет, кроме законов физики», — храбро отвечал Офир. «Ну! — воспрял Ахи. — Раз законы есть, так значит, есть и Законодатель! Или законы тоже случайны и бессмысленны?!» В его тоне послышалось ехидство победителя. «Случайны и бессмысленны!» — Офир был тверд и неустрашим. Разбуженный криками, вылетел из пулеметного гнезда Моше, шофер такси, марокканец и ликудник[1], он серьезные темы презирал и завел про баб: которые горячей, йеменитки или марокканки.

10.7. Зубастая пасть гор заглатывает солнце, как змея — раскаленное яйцо, и чрево ее багровеет. Читаю Шабтая. На совместном вечере Володи[2] и Даны[3] была Эфрат Мишори, авангардистка широкоскулая, из Ирака. Потом Дана устроила её вечер, читала Эфрат, и Дана — свои переводы ее стихов. На вечере было человек тридцать, Эфрат возвращалась в Тель-Авив со мной и призналась, что

[1] Ликуд — «Единство» (*ивр.*), праволиберальная израильская партия, ликудник — сторонник этой партии.

[2] Владимир Тарасов, поэт.

[3] Дана Зингер, поэтесса и переводчица.

атмосфера наших вечеров подкупающе взволнованная, удивительно заинтересованная атмосфера, на «ивритской улице» такое невозможно, она нам завидует. У Даны возникла, в рамках программы по прорыву на «ивритскую улицу», идея сделать Шабтианский вечер, я почитаю кусочек из «Эпилога», пригласим Арона[1], он стихи свои почитает, а Дана и Генделев — свои переводы его стихов. Через Эфрат я раздобыл телефон Арона и позвонил ему. По голосу и манере разговора можно было представить себе человека очень чуткого к нюансам, легко раздражительного, но отзывчивого. Сочетание с покойным и более знаменитым братом его не воодушевило, тщательно выяснял, не заставят ли рассказывать семейные байки, успокоившись на этот счет, заявил, что, как профессионал, живущий на литературные заработки, обычно выступает за деньги, но из любопытства к подобной встрече (кажется, Эфрат поработала) готов сделать исключение. Вокруг этих приготовлений мы с Даной часто перезванивались, но пространство не сжалось. Ну, может чутóк. Встретились у Бецалеля[2], я с женой, Эфрат приехала с нами, Арон, и Дана с Некодом[3], высокие гости были приглашены на скромный вернисаж Некода (у Эфрат муж тоже художник) в прихожей особнячка, где раньше была художественная академия, а теперь — нечто вроде дома художников с дорогущим ресторанчиком во дворе. Инсталляция не произвела на меня впечатления, нежно-эклектические полуколлажи, толпился русский бомонд, посвященные узнавали в тайниках картины профиль Генделева, цитату Тарасова, на ступеньках встретил Шаргородского, он растолстел в Москве, забурел, поболтали о Грузии, накануне было его интервью с Гамсахурдия в «Тайм». Высокие гости выразили вежливую, не более того, к картинкам симпатию, и мы прошли во дворик, где

[1] Арон Шабтай, поэт и переводчик с древнегреческого, брат писателя писателя Якова Шабтая.

[2] Здание художественной академии в Иерусалиме.

[3] Некод Зингер, писатель и художник, муж Даны Зингер.

ресторанчик, в расчете за кофе обсудить программу вечера, Арон был все еще не уверен, что ему не придется делиться воспоминаниями о великом брате. В ресторанчике нам заявили, что у них «кушают», а не чаи гоняют, сразу захотелось подраться, но народ решил из гордости уйти и поискать забегаловку. Долго искать не пришлось, и мы выпили свой кофе в общепитовском подвальчике. Арон оказался симпатичным, в нем была мальчишеская порывистость, чувствовался богемный кураж и светский опыт, а по мере рассеивания опасений и естественной первоначальной настороженности он стал вести себя все более по-свойски, проявляя натуру открытую, увлекающуюся и даже склонную к припадкам саморазоблачений. Вообще-то все быстро освоились, и атмосфера потеплела. Эфрат благоговела (еще по дороге шептала мне, что мы даже не понимаем, с каким гением идем рядом и вот так запросто разговариваем), жена кокетничала, а у Даны появился странный французский акцент, этакое журчание, признак особого расположения и почтительности, даже Арон отметил этот прелестный акцент и заодно поведал вкратце о своей молодости в Париже. Тепленькими выкатились из подвальчика и стали решать, как добираться до Мишкенот. В мою машину все шестеро не помещались. И тут я допустил прокол, предложил с прямотой извозопромышленника Некоду, как младшему по званию, прогуляться пёхом, что Дана стремительно отвергла. Потом, улучив минуту, я извинился за необдуманное предложение, но «ходец» меня выдал.

На вечер пришло немного народу, человек 25, зато — «все». Даже сама Каганская почтила. Я стал читать роман с начала, оно мне нравилось, начало, увлекся и вдруг, не знаю, сколько прошло времени, почувствовал, что народ соскучился, Генделев стал перепархивать с места на место и делать мне знаки. Я внял и закруглился. Генделев тут же захватил освободившийся пьедестал и долго валял дурака, раздавая оценки поэтам и прозаикам, русским и израильтянам, живым и мертвым, пока, наконец, не представил

Арона, не забыв при этом дать мне ногой по яйцам, мол, есть надежда, что вторая половина вечера будет поинтересней первой. Тут Дана внесла поправку: Эфрат хочет сказать пару слов о коллеге, Генделев милостиво согласился, и Эфрат стала длинно и путано, явно смущаясь, рассказывать о влиянии на свое творчество присутствующего среди нас живого классика. Потом вышел Арон. Он был взволнован. Долго, набирая обороты, говорил о том, что постмодернизм, по его мнению, издыхает, что надо вернуться к непосредственности чувства, что он сейчас испытывает тягу к традиционным формам, вот аж на сонеты сподобился, жаловался на академическую от филологии братию, подмявшую под себя живой литературный процесс — допекли, знать, зоилы — сказал, что именно последние сонеты хочет вынести на наш строгий суд и непринужденно перешел к читке. Читал он выразительно, как опытный артист, постепенно увлекаясь и вдохновляясь. Прочитав сонет, возвращался и читал его снова, вроде чтоб лучше поняли со слуха чужой язык, но на самом деле сам себя проверяя, вслушиваясь в собственные слова, будто вновь их ощупывая и взвешивая. Многое ускользало, но напрягшийся, наэлектризованный зал ощущал главное — живой клекот встревоженных стихотворений, крепость, темперамент, горделивую изощренность этих престранных птиц. Особенно сладострастно вычурным был сонет о Бодлере. Немного коробили всяческие интимные откровения в форме отчаянной грубости, всегда подозреваешь в таких выпадах инфантилизм или коммерческий расчет (кто не грешен — пусть...), но у него звучало естественно, видать, наболело. Потом Дана и Генделев читали переводы. Дана переводила «тахат» «лядвеями», а Генделев, ближе к контексту и не без удовольствия — «жопой». Потом были вопросы, потом все смешалось во взволнованный галдёж в кулуарах, впечатлительная наша супруга аж обняла Арона и поцеловала, а он, покраснев от удовольствия, спросил ее,

не показались ли ей грубыми некоторые выражения. Супруга, блестя глазами, выдохнула, что ни в коем случае, и поэт был утешен, прощен, смущен, польщен и совершенно восхищен. Даже на меня пролилось несколько капель всеобщего умиротворения, кто-то сказал, что почувствовал по переводу эту тугую, закрученную в спираль, томительную прозу, другой сказал, что заинтересовался, и хорошо бы мне выпустить перевод в свет, даже Генделев подскочил и как ни в чем не бывало (а яйца-то еще болели) посочувствовал, что мне досталась трудная роль читать прозу на поэтическом вечере, и даже поинтересовался, пишется ли что-нибудь новое. Жена, кажись, слегка обалдела от Арончика, на следующий день пришла домой с «Метазивикой»[1], в магазине купила, и попыталась сходу штурмовать труднодоступные вершины языкознания — не тут-то было. Старший тоже полистал, услышав возбужденный рассказ матери о замечательном, чудесном вечере, на первом же стихотворении, споткнувшись о «заин»[2], хмыкнул и углубляться не стал.

11.7. Вознамерился я после вечера закончить перевод романа, и хорошо бы, думаю, с каким издательством договориться, чтоб не в стол. Позвонил в издательство, которое роман на иврите выпустило, там говорят: все права у вдовы. Позвонил Арону, он еще был под впечатлением вечера и среагировал приветливо, просил передать супруге привет, обозвал ее «нехмадой» (милашкой), я поведал ему, что она на следующий день его «Метазивику» в магазине купила, осваивает, он посетовал, что лучше бы начать с «Зивы», я говорю «Зива» кончилась, осталась одна «Метазивика», он хмыкнул. Дал мне телефон Эдны, вдовы Якова, велел сказать, что я, мол, его приятель. Я позвонил Эдне и продиктовал электронной секретарше свою челобитную.

[1] Последняя книга стихов Арона Шабтая, критики сочли ее «смелой».
[2] Член (*ивр.*).

Через день она позвонила, была очень приветлива, сказала, что говорила с Ароном, объяснила, что я должен обратиться в Институт Переводов за разрешением, и дала телефон знакомой. Та долго выспрашивала, кто я такой и откуда взялся, заметила, что имени моего не слыхала, велела прислать образец перевода, они отошлют референту, ну и так далее. Я приуныл от бюрократической перспективы, а тут и служба подоспела. Взял роман с собой, дочитать хотя бы, а то ведь переводил синхронно. На вечере Дана мне так мягко-мягко, вежливо-вежливо говорит: у вас, Наум, там момент один неточный, вы перевели «эц юхасин» буквально, как «дерево Юхасина», мне кажется, что тут имеется в виду «генеалогическое древо», попросту родословная. Моя зарделась. Кажется, «опять двойка». Дома сверил — и точно. О, ужас! Позорище! Только однажды я испытывал подобный жгучий стыд, когда в одном из рассказиков, который на беду еще и опубликовали, бодренько написал об одной известной женщине, что она училась с Мандельштамом в Тенишевском училище, с детства, мол, с ним дружила. А ты мне и говоришь, когда я тебе, гордый публикацией, этот рассказик подсунул, что, если память тебе не изменяет, Тенишевское училище было для мальчиков, совместного обучения полов еще не было. Боже мой, как меня тогда от стыда заломило! Страшно вспомнить.

Вынес стул в пустыню, завел Тома Уэйтса на полную громкость и гляжу на закат.

Последняя глава «Эпилога» разочаровала настолько, что и весь роман перестал быть интересным. В подробностях болезненных и предсмертных ощущений растворилось сочувствие герою. Умер-шмумер. Болезнь, смерть, физическая боль — это от биологии, а биология не интересна. В болезни и смерти нет никакой трагедии. И в твоей личной смерти нет никакой трагедии. Жизнь есть трагедия, а не смерть. И трагедия жизни не в конечности, а в бессмысленности. Конечно, смерть страшит, но победить страх перед ней можно только служением Смыслу, ей недоступному.

Все, зашло солнце. Оживилась пернатая малышня. Заплескалась в воздухе, как в остывающем, прозрачном пруду. Уэйтс хрипит-надрывается. Вроде Высоцкого.

12.7. Вчера вечером выяснилось, что в результате причуд расписания у меня сегодня до девяти «окно». Позвонил тебе перед ночной сменой. Подошла дочь, и я бросил трубку. Через полчаса прошу, чтоб кто-нибудь из джипа меня подменил, я только позвоню. Трусливые, суки, надо, говорят, у офицера спросить. Да я уже спрашивал, вру, разрешил. Побежал звонить: занято. Через полчаса хотел еще раз поменяться, а тут вдруг тревога, учебная. Погасили все огни, в кромешной тьме забегали фигурки солдат, кричали: «Эш! Эш! Эш!» («Огонь! Огонь!»). А я под шумок да в темноте — эх, была не была! — бросил свой пост на отшибе и — к телефону. Наконец-то на месте. Слушай, говорю, приезжай завтра в 10.30 на Центральную автобусную в Беер-Шеве, жди меня у платформы, где автобусы на Тель-Авив. Ты что-то попыталась спросить, но я говорю: не могу, не могу говорить, тут черт знает что (трескотня выстрелов, трассирующие разукрасили небо), и убежал, только услышал вдогонку «целую». Потом стал офицера нашего, когда проверять пришел, обхаживать, чтоб отпустил утром. Он говорит: Сасон утром в Харап едет (в поликлинику военную) ве анахну ёрдим ми атекен. То есть опять некомплект. Ну, позарез, говорю, надо, позарез, понимаешь? Какой тут, ёть вашу тёть, текен! «Ани эвдок», — говорит. Мол, посмотрим. На следующей смене, после трех ночи (с 12 до 3-х почти не спал, может, часок урвал, ветер трепал палатку, скорпионы чудились, накануне раздавил огромного, страшного, на асфальт сдуру вылез) говорит мне: утром обратись к Ури, он пойдет с тобой к командиру. А кто это, Ури? Ну, такой, с этим. А, этот, с этим. Ладно. А кто он? Кцин автаха (начальник охраны). Ладно. В 6 утра, после бессонной ночи, помылся-побрился, причипурился, штанины в резиночки

заправил, жду, когда господа офицеры пробудиться изволят. Заодно и завтрак, в семь. Вдруг откуда ни возьмись шасник[1] Ёси в черной кипе, маленький, энергичный, чернобородый мароккаша. «Чего ты вскочил, — говорю, — жрать захотелось?» Чую — конкурент. «Нет, — говорит, — хочу отпроситься, у меня сегодня свободный день». — «Как? И у тебя?! Скажу прямо, я уже вчера отпрашивался (мол, в очередь становись)». — «Ну, и что сказали?» — «Сказали утром к командиру обратиться, только он отпустить может, из-за Сасона. Сасон-то закосил». Почесал мароккаша под кипой, а я что, говорит, я спрошу, да — да, нет — нет. Что ж, вольному воля, не запретишь.

Открыли столовку. Всё те же салаты овощные, творожки, яичница. Обрыдло. После завтрака мы вдвоем стоим на перехвате, Ури караулим. К восьми приехал Ёэль, старшина и завхоз базы, царь и бог, и воинский начальник, толстый, лысоватый коротыш лет под сорок, глазки свиные, и садистски-вежливый голос. «Есть проблемы?» — бросил. Деваться было некуда, только в лобовую атаку. Отпусти, начальничек, позарез нужно. «А что случилось?» Друг, говорю, из Америки приехал, специально со мной повидаться, кучу лет не виделись, так я с ним договорился встретиться в 10.30 в Беер-Шеве, у меня сегодня свободный день. Слабенький рассказик, не силен я на выдумку. Он в ответ:

— Это ты после стрельбищ дёру дал?

— Кто, я?! Да меня отпустили!

— Кто?

Я заюлил. Но он вцепился бульдогом. Пришлось сменить тактику и перейти на покаяние. Вдрызг покаялся и пообещал впредь ни-ни и полный ажур. «Ладно, — говорит, — взвесим». Ёси смылся, понял, что для его просьбы нет места, решил просто в самоволку. Ну а мне, раз уж «засветился», осталось только «по-честному», то есть — лбом

[1] Последователь религиозного движения ШАС, объединяющее в основном ортодоксов из восточных евреев.

в стену. На лавочку сел, жду своей участи. Через окно слышу, как старшина молодняк распекает: вчера вечером ЧеПе было, отключился Шейкспир, худенький истеричный мальчишка с бородкой клинышком (за нее и «Шейкспир»), объект незлобивых издевательств. Сцепился он с косорылым шофером, жилистым и злым, косорылый оседлал его, скрутил руки, «Сдаешься?!» — пыхтел, осклабясь, «Сдаешься?!» Шейкспир хрипел, пускал пену. «Азов ото», — лениво крикнул разбитной высокий санитар, сидевший неподалеку с девками. «Оставь его, у него астма. Загнется еще». Шейкспир оклемался, присел на лавочку и задымил. Дымил он страшно, сигарету за сигаретой, худющий, бледный, нога за ногу, глаза бешеные. «Русский?» — вдруг спросил он меня, когда я, отслеживая своего офицерика, менял позицию. «Русский», — говорю. «Ани гам руси» (я тоже русский). «А-а», — говорю. «Панэмаешь, у меня две мамы, — пустился он вдруг в откровения на неуверенном русском, который бывает у приехавших в детстве. «Как это?» — ляпнул я. «Ну так, нэ важьно. Так этот ма́ньяк меня... в больной место, бен зона[1], убью его». Стало мне жаль парнишку, выглядел настоящим доходягой. Сколько я насмотрелся в школе на этих смятенных подростков, извивающиеся обрубки... Но помочь ему было не в моих силах. К тому же я был занят охотой за своим офицером. Так что, посоветовав ему по-русски «держаться», я побежал дальше. А потом, когда уже на посту стоял, перед самой тревогой, примчалась вдруг, завывая, «скорая», и я догадался, что за Шейкспиром.

Когда Ёэль кончил распекать молодняк, я зашел. «Нет, нет пока для тебя ответа». Командира базы сегодня не будет, но он, мол, ждет его звонка, чтобы доложить про меня. Ладно. Надежды мало, но делать нечего. Жду. Десятый час. Чтоб поспеть к половине одиннадцатого, я должен никак не позже десяти выехать. Жду до без четверти десять и

[1] Выблядок (*ивр.*), он же ублюдок, сукин сын.

снова вхожу. «Извини, — говорю, — что я тебя дергаю, но если ты можешь отпустить меня (а то нет!), то я тебя очень прошу. Пойми, я ж не мальчик, если уж так прошу, значит надо». — «Нет, — говорит, — сам я тебя отпустить не в праве». Я стою убитый. «Ладно, — говорю, — дай хоть съездить туда и обратно, сказать, что сегодня не получится, ведь человек бог знает откуда в Беер-Шеву припрется, будет ждать меня..». — «Ладно, — говорит, — полтора часа тебе даю туда и обратно. Даю на свой страх и риск, понял?!» — «Понял!» Оседлал я верного «Форда» и, глотая по 120 км в час, полетел в Беер-Шеву. Опоздал минут на 15, но ее еще не было. В кассе выяснил у смазливой девки, что есть отель на выезде к Офаким, «Неве мидбар». Купил бутылку красного вина, два бутера и газету. Покрутился. Вдруг увидел ее в конце станции, махнула рукой. Вид у нее какой-то испуганный, потерянный. В походном темпе шагаем к машине. Докладываю обстановку: времени нет, совсем. Охает. Прыгаем в машину. «Куда?» «Отель “Неве мидбар”. Можно сказать “Остановка в пустыне”». — «Подходит». Портье — американец, болтает с бабой. Отель тихий. Без шика. «Комнату», — бросаю. Американец брезгливо меня осмотрел: невыспавшийся, усталый, потный, старый милуимник, прибежал из пустыни, чтобы кинуть палку. Велел заполнить карточку и 150 шекелей на кон, как в «Рамат-Авиве», сука, за этот шалаш. И у меня только сто. Нашел ее в фойе, гуляет себе. 50 шекелей есть? Есть. Рожи в креслах зыркают недоуменно. Со страху кажутся знакомыми, впрочем, страх этот хронический. Однако, увидев плакат фестиваля ивритской песни в Араде, догадался, что рожи действительно знакомые, рожи знаменитых артистов, кумиров местной молодежи, примелькались на ТВ. Ищем номер, система коридорная, неуютная, под дверьми щели, все слышно будет. Ну и хуй с ними, пусть слушают. Вид за окном неприветливый: песок, колючки, унылые дома. Кондиционер не работает. «В Беер-Шеве мы еще не…». По-солдатски, не снимая лыж, не ополоснувшись. Потом

лежим молча, тупо смотрю на картинку на стене: куст посреди пустыни. Глаза у нее закрыты. Телеса могучие раскидала. И жадность до них, злая, мстительная, опять проснулась. На обратном пути молчали, вообще молчаливое получилось свидание. Выглядела она еще более растерянной, чем при встрече. Спросила только: «Так ты сможешь еще вырваться?» — «Не знаю». Сбросил ее у автобусной станции и покатил к местам заключения, пустой, как пинг-понговый шарик, тяжелый, как снежок, который слепили из атомных ядер, ободрав электронные оболочки...

Когда вернулся, прибыл еще милуимник, студент, дали добро на увольнительные, а значит, я мог бы задержаться. Мог бы, а зачем? Устал. Надо выспаться.

14.7. В семь подняли по учебной тревоге, развоевались, и часа не спал. Днем в палатке не поспишь, прокалилась. Забрался со спальным мешком и походной библиотечкой в синагогу, фанерный домик под нее отвели, с кондиционером, включил кондиционер, думаю, посплю тут, тахат канфей шехина (под крылом Духа Святого), а вот хуюшки. Ворочался, ворочался — никак не заснуть. Будто смотрит кто-то на меня. Шизофреник. Достал Шабтая, последние страницы, предсмертные видения. И опять показалось, что умирание героя есть умирание захиревших наследников отцов-основателей, отцов-победителей, угасание поколенья, уползающего в свои родовые норы, отдающего страну в чужие руки. В сущности, это роман об умирании, от неразгаданного обмана, от необъяснимой обиды, от усталости, от бесцельности, от скуки. Нашей партийной эмблемой была старая фотография, попавшая когда-то в газеты, на которой будущий писатель, юный, красивый, как греческий бог, с гордым вьющимся чубом, сжимает древко знамени Государства, овеянный его полотнищем. Вдова подала в суд, утверждала, что он был «левых» убеждений, и использование его фотографии правыми экстремистами в качестве эмблемы их партии незаконно и недопустимо. Суд

она проиграла. Все это из области курьезов и странных совпадений. Но «левизна», охватившая вдруг народ, и есть признак истощения жизненных сил, отмирания инстинктов жизни, признак надвигающейся смерти.

Отложив Шабтая, достал Танах[1] и словарь. Зарок себе дал — в день по странице. Но глаза слипались. Вчера звонил ей. Голос сдавшийся. «Эйх амаргаш?» («Как самочувствие?») — издевательски бодро спрашиваю. «Ал апаним, — ответствует. (Белорусы говорят: мордой в глебу.) — Ты в четверг не сможешь вырваться?» «Попробую». Почему-то меня злорадство берет от того, что она вдруг сломалась, что на этот раз разлука ее пугает, будто впервой.

Садится солнце.
Ветер утешает.
Струится степь.
Вдруг
в молодой тоске
почудится,
что жизнь — разбег для взлета.

У меня это стихотворение возникло в Кциот, самый жуткий был милуим, года три назад. Я шел после дежурства навестить Давида, он, еще с тремя, «держал шлагбаум» на проселочной дороге, далеко от базы, среди набатейских развалин, они тут по всей пустыне разбросаны. Лафа, начальства никакого, между собой договариваются, один всегда дома, читай, сколько хочешь, я вначале оказался с ними и предвкушал уже счастливое время за книгой и неторопливой беседой, но меня перебросили в этот вонючий концентрационный лагерь, и вот, похудевший и злой, упругой походкой, я шел через степь взглянуть на отнятую удачу, садилось солнце, земля была в трещинах, как кожа под

[1] Аббревиатура трех слов — Тора, Невиим и Ктувим — составляет объединяющее название всех книг Письменной Торы — ТАНАХ.

микроскопом, маленькие кустики золотистой травы бежали за ветром, младенческий пух, степь будто струилась, и вдруг — это чувство, что жизнь — разбег для взлета...

15.7. 6 утра. Ближние бурые холмы на рассвете кажутся бархатистыми. В поход снарядите строптивых верблюдов речи... Взял с собой «Зайн ал-ахбар» (нет, это не то, что вы подумали, а «Украшение летописей» Гардизи, география времен султана Абд ар-Рашида, XI век, и «Бремя шахской славы» (Шараф-нама-йи шахи) Хафиза Бухари, афганские шашни XVI-го века, походы на Герат, на Мерв....

«Закрывшись щитом, он огнем смелости сжег северные ворота, известные как ворота Пахлавана Ахмада. Как только он вступил в первый переулок, жители открыли битве объятия и вступили в долину сражения шагами дерзости, перетянув талии ненависти поясами могущества. Всадник ристалища храбрости упорно сражался, но они вытеснили его из города, поранив руку стрелой».

Вчера после смены я, наконец, свалился от усталости и заснул. А ночью, на дежурстве, ошалевший от бессонницы, еще в крик бился с наивными идолопоклонниками, с их верой в деревенские чудеса и раввинов-кудесников.

Главное, что нас связывает, это надоба, как Цветаева выражаться любила, в тайном друге.

И краденой свободе.

8.15 утра. Дожевал «Эпилог», даже послесловие, которое написали вдова и Дан Мирон на правах друга. Там они объясняли его метод работы, и то, что роман остался неоконченным, и что они взяли на себя смелость выбрать из всех приготовленных вариантов тот, который, по их мнению, выбрал бы сам автор. Бестолковщина. Роман остался незаконченным не потому, что смерть пришла, он был еще открыт, еще дышал, в незаконченности — перспектива жизни, неисчерпанность судьбы, несвершенность пригово-

ра. Тщеславные душеприказчики должны были набраться не наглости «закончить» роман, а смелости опубликовать все варианты, все черновики и правки, показать игру выбора. Пока роман был «открыт», не закончен, — автор его был как бы жив вместе со своим творением, а они его решили «прикончить». Может, мешал?

Если представить жизнь как смену времен года и разделить ее на 12 частей, лет по шесть в каждой, то моя жизнь окажется в конце сентября — начале октября, время созревания плодов, опадения листьев и безумий «бабьего лета»... «А ты, когда вступаешь в осень дней, оратай жизненного поля, ты так же ли, как земледел, богат? И ты, как он, с надеждой сеял, и ты, как он, о дальнем дне наград сны позлащенные лелеял...»[1] Самое мое любимое стихотворение. Самое «мое».

9.20 утра. А ведь смутила неожиданная растерянность, даже какая-то побитость в ее глазах, неожиданная и пугающая в этой многоумной, сильной и смелой женщине. Будто увидел следы неизлечимой болезни на лице близкого человека, и хочется бежать от его страшного предсмертного одиночества без оглядки.

Так я бежал смерти отца...

Это я опять испугался любви.

«Кстати, вы обращали внимание, что у атеиста за душой (ярого, убежденного атеиста) бывает какой-то очень трогательный образ веры, которому мы не соответствуем. Которого мы ниже... У некоторых атеистов есть такой высокий образ веры, что чувствуешь: вот по чему надо равняться…» (из беседы с отцом К. Ивановым, №1 ВНЛ).

Вера инкогнита.

---

[1] *Е. Баратынский.* «Осень».

16.7. Наладился читать в синагоге. В неурочный час тут никого, кондиционер. Открыл Танах, для прикрытия, а сам ВНЛ читаю, первый номер сгрыз от корки до корки — в голове постмодернистский компот. Эрскин (кто такой, почему не в армии?) лепит мастерски, но, кажется, эпигонствует (под Сашу Соколова). «Махроть» не лезет. И так ее пытаюсь, и эдак — не лезет. Надоело голову ломать над ихними финтифлюшками. Пока до катарсиса доберешься... Спасения, спасения жаждет душенька, погибаю! Веры мне, веры!

Ёси собрал народ на молитву. «Пойдешь?» Он меня как-то в синагоге застукал (Танах был весь раскрыт, я был на чеку) и проникся надеждой на обращение. Пришлось сослаться на недосып. Собрав паству, он гордо повел ее за собой. Слышу: поют. А я дочитываю «Будущее одной иллюзии». Люблю Фрейда. За бунтарство. Против Отца и Сына и Святаго духа. За своеволие мысли (под маской научной добросовестности). В палатке темно, дело к вечеру. Странно, что большевики его запретили, более беспощадного воителя против религии трудно себе представить. Конечно, круша кумиры иллюзий, он мог и их кумиров нечаянно опрокинуть, пусти слона в посудную лавку. Да, не удалась революция. Впрочем, почему? Потому что здание рухнуло? Так ничто не вечно. Зато какой был пафос строительства! Мы наш, мы новый мир построим! Другой, придуманный!

Поют с воодушевлением, хорошо им. А мне, одному, в темной палатке, тоскливо. Но упаси Бог от их коллективной радостной веры в светлое будущее и покровительство Отца.

Вышел из палатки. Густые сумерки. Дирижабль — мотыль на облупившейся стене.

20.7. Крыша. На крыше лучше всего, проверять никто не станет — высоко лезть. Можно подраздеться слегка. Обозреть в бинокль владения. Заступил в два, послушал новости, перечитал письмо Иосифа. Про его сотериологию.

От жары, или от накала философских страстей, мозги расплавились, и мысли разбежались, как ртутные шарики, выкатившиеся из разбитого градусника, не поймаешь, в лужицу не соберешь. Купол реактора и высокая труба кажутся издали мечетью с минаретом. Мираж... Позавчера выехал около двух, чтобы встретить тебя в Димоне. Покрутился в городе в поисках банка, наличные могли пригодиться. Центральная автобусная кишмя кишела кочующей солдатней. Из очередного автобуса вываливалась ленивая юность, волоча вещмешки и автоматы. Ты хотела сразу поехать в «Неве мидбар», а я предложил к Мертвому морю, мы там еще не были. «У тебя как, — говорю, — со временем?» «А у тебя?» «Я могу до завтрашнего утра». Молчит. «А ты?» — спрашиваю. «Я должна буду позвонить. Я не предупредила». «Ну, даже если только до вечера, лучше — к морю. Искупаемся». «Ладно, давай к морю». По дороге я поделился своим впечатлением от Димоны: «Знаешь, в Димоне еще странно слышать русскую речь». И мы рассмеялись. Да, кончились те блаженные времена, когда мы могли затеряться в толпе, не замечающей нас, не откликающейся на русский говор, а теперь — чихнешь по-русски, и то оборачиваются, никакого интима. (На гастроли императорских театров меня не затащишь. В толпе «русских» я чувствую себя голым среди голых. И себя показать, и на других смотреть — стыдно.) По дороге взахлеб рассказывали новости, я повествовал о возбудившем меня письме Иосифа.

— Он считает, что ему удалось разгадать и, так сказать, рационализировать природу катарсиса и построить его модель, механизм возникновения. Катарсис, по его мнению, возникает при снятии конфликта между индивидуальным и родовым, который он считает стержневым для человека, и строит вокруг него свою философию искусства «катартического типа», в то время как известные эстетические системы игнорируют катарсис и танцуют вокруг «красоты». Соответственно, замысел трагедии, и вообще «художественного», состоит в том, чтобы, вызвав такого

рода катарсис, разрешить, снять этот конфликт, и это как бы путь к спасению, поэтому он считает, что занимается не эстетикой, а такой наукой о спасении, сотериологией, и представляется как сотериолог, то есть...

Она, развернувшись ко мне, смотрела, не отрываясь, и улыбалась. Иногда теребила волосы на затылке. Плыли по мертвому ландшафту остроконечных холмов. Моя ладонь гладила ее нагретые солнцем ноги. Пошел спуск. Появились карьеры, химзаводы. Шоссе бежало по кромке моря. Эта часть была высушена, только громоздились соляные горки. Проехали отель «Нирвана». Спросила: «Название не привлекает?» «Нет, я хочу севернее, где все море видно, а тут соляные валы загораживают». Едем дальше. Отель «Лот». Улыбаясь, заглянула в глаза. Ладно, говорю. Попросил номер на верхотуре, с видом на море. Портье надул. То есть когда мы в номер зашли, не до видов за окном было, и мы тяжелой красной портьеры, закрывающей балкон, не трогали, а потом, когда сдвинули ее, глядь — а вместо моря горы Иудейские рыжие через дорогу и соседняя гостиница. Разозлился (да уж сколько времени прошло, не пойдешь скандалить, другой номер требовать), хотел на красные горы Моава поглядеть на закате, через бирюзовое Море Соли. Спустились к воде. Пляж был пустой, только две пары молодые, русские туристы, нежились на топчанах. «Лен, гляди!» — кричит один. Мы отошли от них подальше и зашли в море, но она быстро выскочила: «Жжет слизистую!» А я покувыркался. Ощущение очень странное, веселое — невесомость, тебя выталкивает, можно сидя плыть, будто на стуле сидишь и гребешь руками. Потом полежали на берегу. «Как ледоход на Неве», — сказал я, кивнув на соляные острова. Усмехнулась. Вернулись в номер и вновь порадовались жизни. Голод разыгрался. Спустились в бар. Никого. Только русский тапер наяривает популярное. Взяли греческий салат и бутылку «Совиньон». Быстренько все умяли и слегка закосели. Она зажимала уши: «Не могу больше». Тапер бил по клавишам беспощадно. Хихикая над ним, вы-

шли опять к морю. Замерли. Вершины Моава полыхали пожаром, море густо синело. У врат Ада беззаботно копошились людишки. Активные старушенции на пляже радостно повизгивали в сумерках. Дебелая шведка плавала на спине, за ней, ужом, молодой араб, весь в усах. Горы напротив стали фиолетовыми, потом поблекли и ушли в тень. Спустился вечер. Решили двигаться в обратный путь. Я отвез ее и обещал позвонить завтра. В полночь добрался, наконец, до дома и так был рад, что и жену не обидел. На следующий день я ей не позвонил.

Из письма Иосифа: *...Далее я намерен перейти к рассмотрению твоего очень провокативного (в «хорошем» смысле) замечания о том, что моя катартика дает лишь иллюзорное утешение и в этом смысле ничуть не лучше религии, против которой я неизвестно за что, в этом случае, ополчаюсь. Прежде всего, замечу, что слова «иллюзорное» и «утешение» — из моего лексикона, я от них не «отрекаюсь», но вот какая происходит штука: в контексте твоих вопросов они приобретают совершенно иное значение, под которым я подписаться не могу. Этот момент чрезвычайно важный: если не разобраться здесь, недоразумения будут только множиться. Дело не в том, чтобы «переубедить» тебя, а в том, чтобы добиться адекватного понимания в этом узловом пункте. Начать придется несколько издалека. Вернемся к диалектике «индивидуальное-родовое». Хотя на первый взгляд эти понятия «равночестны», соотношение между ними асимметрично: в «Замысле» природоустройства родовое господствует над индивидуальным. Конечно, родовое без индивидуального немыслимо, но вполне мыслим (а по мне так и очевиден) тезис: «Индивидуальное — есть форма бытия родового». Но обратное не только не очевидно, но и прямо абсурдно. Пока эта асимметрия не отрефлектирована субъектом индивидуального начала, то есть до возникновения человеческой рефлексии (самосознания), — все в порядке, природному «Замыслу» ничто не уг-*

рожает. Но возникновение рефлектирующего индивидуального субъекта в корне меняет дело: возникает «безумное зерно», которое не хочет ложится в землю ради будущего урожая, индивидуальное бунтует против господства родового; впервые появляется субъект, способный воспротивиться Верховному Замыслу. Тут сама природа приперта к стенке: или бунт будет нейтрализован, или само природное существование будет поставлено под угрозу. Культура — это самозащита «натуры» (устроенной в «категории рода») против индивидуального бунта (например, «возврат билета» Иваном Карамазовым или у Цветаевой: «Пора, пора, пора // Творцу вернуть билет»). В философии ярчайший пример — Лев Шестов. За всю жизнь его голову посетила только одна мысль, зато — крутая: если Бог («Бог философов») устроил мир в категории рода, так мы этого Бога побоку, а «назначим» хорошего Бога, который устроит все как надо — «в категории индивида». Шестов называет этого Бога «Богом Авраама», но это недоразумение; на самом деле это «Бог безумного зерна»: Бог Ивана Карамазова, Цветаевой, экзистенциалистов (которые — особенно Камю — просто обокрали Шестова) и т.д. Таким Богом был и Иисус Христос, о чем догадался Розанов, намекнувший на то, что Христос это на самом деле не Бог, а дьявол. (См. статью «Русская церковь» во втором томе приложения к «ВФ»). Пардон, в первом томе, стр. 327–355.

Итак, возникает выбор между «Богом философов» (Аристотеля, Спинозы, Гегеля) и «Богом безумного зерна» (Кьеркегора, Шестова, экзистенциалистов). По существу это фундаментальный онтологический выбор: какую реальность считать подлинной, а какую иллюзорной. Это выбор такого глубинного уровня, что «доказать» здесь ничего нельзя. Но можно сравнить объяснительную силу той и другой модели. Ты, конечно, не удивишься, если я заявлю с абсолютной категоричностью, что считаю онтологически подлинным мир, созданный «Богом философов», «Богом Закона» (разумеется, родового — каким еще может быть

закон?), а мир, созданный «Богом безумного зерна», Богом Произвола (конечно, индивидуального — каким еще может быть произвол? Чувствуешь асимметрию дихотомии «индивидуальное — родовое»?) — такой мир я считаю чистой иллюзией, не-бытием, не-сущим (меональным). Этот выбор имеет прямое отношение к трактовке «иллюзорности» в искусстве (и в культуре вообще).

Здесь, кстати, лежит разгадка неясности, «невнятности» культурной функциональности. Человек сам творит культуру (не может не творить) — и сам не знает точно для чего. (Кантовское определение красоты как «целесообразности без цели» — не более как капитуляция мысли). Цель как раз есть, но она не «индивидуальная», а «родовая». В самом деле, если признать, что культура — это самозащита природы (природного) в человеке, тогда становится понятным, что цель культуры «превышает разумение» отдельно взятого, особенно эгоцентрически настроенного индивида. Но в том-то и состоит «хитрость мирового разума» (Гегель), что он и «не согласного» заставляет лить воду на свою мельницу... Конечные цели природы и культуры совпадают, но если культура истощится (а это вполне мыслимая и даже наблюдаемая — тот же постмодернизм — ситуация), человек «отпадет» окончательно и природное существо погибнет.

Иное дело — религия. Она — правильный антагонист культуры, ее антипод, поскольку — тут я с тобой полностью согласен — борется за те же рынки. Согласен я и с тем, что искусство — смертельный враг религии. Но почему? Потому что противоположным образом отвечает на тот же самый вопрос — вопрос об онтологической природе реальности. Религия с наивной непринужденностью объявляет истинной реальностью иллюзорное порождение «несчастного сознания». Это тоже «утешение», но, как видишь, утешение утешению рознь. Что же касается динамики взаимоотношений между искусством и религией, то тут ты не совсем прав. Ты пишешь, что религия «успешно

конкурирует с искусством» (с тем, которое описывается «моим» катарсисом) и «смогла бы отменить его за ненадобностью». Так что же не отменила (по крайней мере «мою» часть искусства, которую ты так любезно мне уступил)? Да потому что дело обстоит совсем не так, как это тебе представляется, а прямо противоположным образом.

Религия оттого так настаивает на вере («истинно говорю вам» — лейтмотив евангелия, уличающий Христа в неверии), что на самом деле до конца не верит. Искренне верит только «мифологический человек», для которого вопрос о вере еще не встал. Там, где слышится: «Истинно говорю вам», — веры нет. Поэтому религия прибегает к противозаконной уловке: она контрабандой протаскивает в свой храм языческий по своей природе катартический цикл в виде литургии, иконописи, ритуалов евхаристического типа и т. д. и полагает, что заставила все это служить своим целям. Где уж там религии отменить искусство, когда она — инвалид и без евхаристических костылей шагу ступить не может! Что такое литургия? Это глубоко катартический языческий ритуал смерти-воскрешения. Что такое евхаристия? Это языческий обряд причащения, где часть (индивид) приобщается символически (то есть культурно, иллюзорно) к своей родовой сущности. Что такое иконостас? Это рассказ о рождении, страстях, смерти и воскрешении, то есть правильный и полный катартический цикл. Если есть вера, то зачем все эти подпорки и костыли, взятые напрокат, контрабандно у совершенно чужой по духу культуры? Краткий миг проповедовал Христос на травке — но уже завещал Петру церковь, которая тут же обросла языческой «прелестью». По-настоящему серьезный враг культуры — это религия, которая вышла из храма и не нуждается в посторонней помощи. Но где такая религия? Религия — враг потенциальный, по внутренней сути, а в своем настоящем виде она — «и не друг и не враг, а так». Так что культура давно уже отменила за ненадобностью

религию, только не все это заметили. Религия сегодня — это культура для бедных, которая, кроме катартического (иллюзорного в «моем» смысле) спасения, нуждается еще и в «реальном» (то есть просто жульническом). Так «культура для бедных» не удовлетворяется скульптурным шедевром, пока к нему не «пририсовали глаза».

В заключение дерзну покритиковать твою, альтернативную модель катарсиса. Должен признать, что твой трагический стоицизм выглядит достойно и симпатично: на выигрышном фоне хиляков, взыскующих иллюзорного утешения, ты храбро бросаешься в бездну и обретаешь свободу в последнем смертельном полете. Браво! Однако, при эмоциональной симпатии, у меня есть две логические претензии к твоей модели катарсиса. Точнее три. 1. — Это не модель. 2. — Это модель не катарсиса. 3. — В ней (немодели некатарсиса) нет ничего специфически художественного. Попробую объясниться. Я обнаружил вирус (индивидуации), нашел способ его нейтрализовать (механизм катарсиса) и предложил курс лечения. Ты вроде бы признаешь наличие вируса и даже некоторую (пусть относительную и неполную) эффективность моего курса лечения, но утверждаешь, что тебе известен другой, гораздо более эффективный способ лечения: не бороться с вирусом путем определенной процедуры, а наоборот, культивировать его, и вот когда он заполнит весь организм — тогда мы все внезапно, как мухи, выздоровеем. Оно может и так (медицина — дело темное), но едва ли кто доверится такому врачу, пока он не объяснит механизма внезапного (чуть не сказал летального) выздоровления. Я объяснил, почему это не модель, теперь попробую показать, что это немодель некатарсиса. Ты предполагаешь, что смысл греческой трагедии и формулы Аристотеля в обнажении изначального трагизма человеческого бытия. По отношению к Аристотелю это прямо неверно. По Аристотелю, трагедия есть подражание действию, «совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей». Итак, не утверждение изначального

трагизма, а «очищение» тех чувств (страха и сострадания), которые этим трагизмом порождены. Впрочем, твое толкование невнятно. Ты как бы и признаешь «очищение», но оно у тебя неизвестно откуда берется. Из приведенных тобой примеров («Воспитание чувств», «Мелкий бес»), кажется, ясно, что ты имеешь в виду как бы катарсис от «некатартических» произведений. Насколько катартичен «Мелкий бес» — это вопрос особый (мы и этим могли бы как-нибудь заняться), но ты, мне кажется, исходишь из сомнительных предпосылок. Ты особо напираешь на трагизм, безысходность и т.д., но к чему ломиться в открытую дверь? Разве классический («Аристотелевский») катарсис не имеет дело со смертью? Разве не безысходна (в определенном смысле) любая трагедия? Всякий катарсис — это репетиция собственной смерти, примирение с безысходностью ее перспективы; смерть — достаточно сильное понятие, чтобы его не педалировать без особой нужды.

И последнее (по месту, но не по значению): из твоей модели неясно, при чем тут вообще искусство. Твоя концепция не обосновывает (а наоборот, отвергает) момент иллюзорности, но тогда что тебе мешает нагнетать безысходность и испытывать «свой» катарсис в реальной жизни? А вот «мой» катарсис — не чета некоторым! — как раз обосновывает иллюзорность, «рампу» как необходимое условие художественности, то есть обосновывает художественную форму, а без этого теория не может считаться полноценной.

...Но я вынужден (несмотря на несогласие) отдать должное последовательности твоей мысли. Ты, хотя и прикидываешься иногда «вольным стрелком», но свою линию гнешь туго, не хуже меня, и она, эта линия, вписывается в определенную традицию. Если представить известную тебе «схему Чижевского» (когда-то мы до нее доберемся?), то твои «духовные отцы» все как один расположены в «низовой» части спирального спектра. Это романтизм-декаданс-модернизм и т.п. То есть явное уклонение к «полю-

су индивидуации». Чем ближе к этому полюсу, тем «неклассичнее» художество и соответствующая ему теория. Такая теория обязана быть некатартичной, периферийной (то есть основанной не на опыте переживания высокой классики, а на неклассичных образцах). И еще одна непременная особенность такого рода теорий — это незнание четкой границы между «искусством» и «жизнью». (Вспомни элементы жизнестроительства у немецких романтиков или русских символистов-футуристов). Так что и у тебя, как у меня, неплохая компания, но у каждого — своя.

Сухо, как полевой телефон, затрещала какая-то птичка. Рассвистелись, распелись над спящей степью.

Два парня за столом. Вдохновенная беседа о пизде. «Кус» по-туземному. «Кус — каха! Каха кус!» — и солдатик выразительно разводит ладони с растопыренными пальцами. «Каха, каха потахат эт акус, бат зона!» (Вот так, вот так пизду раззявит, сука!)

Напарник по объездам — Менахем. Из техперсонала «Эл-Ал». Основные темы: хаим бе зевель (в дерьме живем) (повторяет каждые 10–15 минут), и как кто «устроился» в милуиме — повар хорошо устроился (каждые полчаса), машак (старшина) хорошо устроился, котов на кухне увидал: «хорошо устроились». Но с ним спокойно, и над джипом, как Офир, не издевается.

Упал в сон во время объезда (Менахем за рулем), и приснился мне Горбачев. Мы стоим вдвоем у окна, смотрим во двор, у нас на Арбате, пасмурно. Он говорит: «Когда мы в походы в школе ходили, любили про евреев анекдоты рассказывать».

— Да, — говорю, — и мы ходили...

— А что, — говорит, — для Фони-гоя куши (негр)?

— Да, — говорю, — Фоня-гой плевал на кушим, он им живо кузькину мать покажет.

— А у вас, — говорит, — кушим уважают?

— Да как сказать, — говорю, а сам думаю, что вот чудно-то, ведь с кем поговорить довелось, приеду, расскажу, не поверят...

21.7. Из письма Иосифу:

...да еще выяснилось, что за мной — традиция (пусть и «неклассическая», и даже «периферийная»), т.е. нечто, отвечающее глубинной потребности человека не меньше (а в какие-то исторические периоды и больше), чем потребность в катартическом «снятии». А во-вторых, все дело оказывается в «онтологическом» выборе! Поговорим же о Выборе. Самое интересное, что ты считаешь, что выбора на самом деле никакого и нет, что выбравшие «Бога безумного зерна», всякие там Кьеркегоры и Шестовы, выбрали на самом деле иллюзию и от реальности убежали. Пусть так. Но что есть жизнь: Закон или Произвол? И если выбор сделан, разве не формирует «человек творящий» новую действительность своей сокрушительной волей, основанной на вере в иную реальность? Такой выбор, осознанно или нет, делает каждый, и поэтому человечество делится не на классы и нации, а на выбравших того или иного Бога, тот или иной смысл бытия, выбравших бытие как приспособление, или бытие как бунт. Выбор этот настолько глубинный, что обусловлен даже не психологией, а «биологией». Тут другая раса. Индивид отбрасывает стадные, родовые инстинкты и формирует общества по своим «индивидуальным заказам»...

23.7. Вышка. 18 часов. Розовеющие холмы набегают волнами. В пустыне легко мечтать. Только в немоте этой какой-то вздох...

Вчера читал в синагоге Марка Аврелия. Пробовал на зубок доктрину. Невкусная. Невеселый был император. Просто безнадегой несет. Эпоха усталости. «Человек — душонка, обремененная трупом». Тошнота от его наставлений и проповедей. Хоть и «наедине с собой». Да неужто не помышлял о читателе? Такого не бывает. И композицию, небось, обдумывал, последняя запись явно «последняя». Да конечно книгу писал. Стало быть, и лукавил.

Дочитал №2 ВНЛ[1]. Скучновато. Вот воспоминания Н. Волошиной прочитал с интересом. Эпоха ангельского распутства. Так был Вяч. Иванов содомитом? Прямо не пишет, всё намеками.

Читаешь эту «новую» русскую литературу, и возникает ощущение холостого выстрела. Вообще литература в нашу эпоху жанр самый неудобный, а может и бесперспективный, больше подходит что-то визуально-слуховое, кино, видео-клипы, музыкально-поэтические шоу, или там шоу моды...

Хотя литература — это и особое ви́дение. Рисунки здесь мысленные, незримые. Когда пишешь или читаешь, закрываешь глаза, как во время поцелуя.

Когда с Мертвого моря на побывку приехал, посмотрел утром, записал ли мне старший «Боккаччо». Оказалось, что записал, но на кассете, где у меня были московские концерты Окуджавы, старый, 82-го года, и новый, 92-го. Отчаянию и гневу моему не было предела, ну что за остолоп несчастный! И не Окуджаву, конечно, мне было жаль, ведь он, гаденыш, любовь мою стер. Там, когда во время последнего концерта Окуджава слабым, старческим, и еще более грустным, чем обычно, голосом, поет: «А молодой гусар в Амалию влюбленный», во время слов «позабыт командир, дам уездных кумир», камера покидает страдальческое

[1] Журнал «Вестник Новой Литературы».

лицо кумира советской интеллигенции и начинает блуждать по залу, загипнотизированному булатной грустью, и в блужданиях своих натыкается на женское лицо, которое меня ранит. Вот так марсианин, заброшенный в результате космической катастрофы на другую планету и уже «растворившийся» среди аборигенов, вдруг обнаруживает среди примелькавшихся рыл родной марсианский лик. Сколько раз, оставаясь один, я прокручивал эти кадры, вглядываясь в простоту и естественность будто давно знакомого лица, в его отрешенное достоинство, беззащитное, но непобедимое. Сколько бесстрашной любви оно обещало! Стёр...

Люблю эти строки: «В этот счастливый и вместе с тем последний день моей жизни я пишу вам следующее. Страдания при мочеиспускании и кровавый понос идут своим чередом, не оставляя своей чрезмерной силы. Но всему этому противоборствует душевная радость при воспоминании бывших у нас рассуждений…». Всегда восхищала (и у Сократа перед смертью) вот эта преданность рассуждениям. А у Эпикура — еще и ненависть к страху. И к религии, живущей нашим страхом, как падалью.

В римском стоицизме раздражают картинки «красивой смерти»: вскрытые жилы, последняя беседа с друзьями, диктуя или декламируя стихи. Скорее демонстрация презрения к смерти, чем истинное презрение. Да и за что ее презирать? Начинаешь подозревать, что и жизнь их была столь же театральна, а может и лжива. Сенека нажился на ростовщичестве и был страшно богат, а Маркуше собственные «принципы» не мешали править Империей. Вот 9-й принцип: «...благожелательность неодолима, когда неподдельна... Ну что самый злостный тебе сделает, если... станешь тихо увещевать его и мягко переучивать в то самое время, когда он собирается сделать тебе зло... И чтоб насмешки тайной не было, ни брани,

нет — любовно, без ожесточения в душе. И не так, словно это в школе...». Кстати, в школе, я уже долгие годы приучаю себя быть к стае молодых обезьян доброжелательным. Кое-каких успехов добился. Доброжелательность действительно делает их менее вредными и более управляемыми. Но «вредность» их от недомыслия и распущенности (именно к этому, к распущенности, мне так трудно приучить себя быть снисходительным, ибо подобно Эпиктету считаю что «нет гнуснее пороков, чем нетерпеливость и невоздержанность», а это как раз пороки еврейских деток), они ничем реально не угрожают тебе, так, дразнят льва в клетке. Легко быть доброжелательным, если ты могуч. (Нельзя не согласиться, что «чем хладнокровнее, тем ближе к силе», и «обидевшийся и разгневанный — ранены и выбыли из строя», подтверждение этому нахожу каждый день.) А если ты слаб, и тебя не дразнят, а реально угрожают тебе, можно ли сохранить доброжелательность? Тогда это воистину святость. Или особая хитрость. Помню, мы гуляли с Зюсом по ВДНХ, был солнечный весенний день, весна нашей жизни (лет тринадцать), настроение радостное, праздничное, может, это было на майские праздники? в общем, идем, до ушей улыбаясь, заглядываемся на девчонок, и вдруг навстречу стайка подростков, мы попали в их небольшой поток и кто-то сбил с Зюса кепку, пихнул его, сшиб с ног, и почему-то эта стайка не показалась мне особенно угрожающей, это не были «хулиганы», так, просто ребятня, погулять вышла всем классом, и меня не тронули, а их незлобивая, какая-то механическая агрессивность показалась мне поддающейся доброжелательному переучиванию, и я принялся их увещевать, краснея от неловкости за совершенно небывалое для меня доброжелательство. День был так хорош, мир — таким праздничным, что эта ничем не оправданная агрессивность казалась особенно нелепой. Выдал я им что-то вроде: ребят, чего, дел нет повеселее, да посмотрите, солнце с нами играет, и все — с такой ве-

селой улыбкой. Они от неожиданности слегка опешили, потом окружили нас и дали уже и мне по шапке, да по жопе, чтоб не выпендривался.

Вообще стоики, особенно «поздние», стали циниками. Вера в достоинство, как условие счастья, вера в волю человеческую, обернулась презрением к миру. Презрением к жизни. Никаких иллюзий в этом храме не предлагали. А на голом мужестве далеко не уедешь. Поэтому и такая ненависть к христианам, шарлатанам и обманщикам, отбивающим клиентов детскими фокусами.

4-й номер ВНЛ поживее, может оттого, что «модернизьма» поменьше? Стихи Филиппова понравились, родная интонация. Лимонов ловко руку набил, но смешна и наивна неожиданная «глубокомысленность» рассказа, все эти, вдруг всерьез, «идеи» о гибели цивилизации, все эти нежные цветочки инфантильной романтики под «сердитым» соусом. «Неужели для таких, как она, для ходячих желудков с коровьими глазами свершалась трагическая история человечества... Джордано Бруно горел на костре, судили Галилея, расщепили атом…». Хучь смейся, хучь плачь над талантливыми неевреями и немолодыми уже негодяями.

Климонтович. С недолеченным хемингуэем. Декоративные князья, ритуальные выпивки, ходульные попки. Впрочем, чешет лихо. Помню его у какой-то литературной дамы, любившей собирать юнцов и читать им свою бредятину, а потом угощать чаем с вареньями, рассказывая намеками о былых похождениях с «Бубновым валетом» (а то и со всем «Миром искусства»). Он вошел этаким молодым блестящим талантом, этаким подающим большие надежды, уже на слуху, высокий, в рыжем кожаном пальто до пят, красивый, надменный, и с ним девчонка, совершенно обворожительная, и все зашептались, что, мол, новая, а где же та?, и хозяйка салона метнула яростный взгляд на его красоту, а я чуть не лопнул от зависти: и старше был лет на

пять, а не на слуху, да и надежд в сущности никаких, и спутница моя никому глаза не колола. Он прочитал рассказ, не снимая пальто, была зима, и я злорадно подметил, что король-то пока лишь при надеждах.

А длинные одеяния были тогда в моде. Гандлевский, тоже дылда, расхаживал в потертой комиссарской кожанке до пят. У многих юных гениев висела тогда на плечах старая шинель, а ля Грушницкий, или мужицкая доха драная.

Пока чирикал перышком, и солнышко закатилось. Луна, будто первый раз голая на сцену выходит, — не знает, где спрятаться. Вот я ее сейчас полевым десятикратным отлорнирую. Впрочем, толку от него в изучении планет — шишь, никакого впечатления. Даже Галилей, если память мне не изменяет, смастерил тридцатикратный.

Робкий снежок первых звезд. Небо — тоже пустыня.

24.7. 6.45 утра. Пулеметное гнездо. Каждые 12 часов, в шесть утра и в шесть вечера поднимается вдруг сильный ветер. Хлопают брезентом палатки, волнами ходят маскировочные накидки на фанерных домиках, бешено вращаются флюгера, вихри пустились в пляс, пузатый смерч — как глиняная ваза у гончара в танцующих руках... «Баллон» наверху, тоскуя о свободе, напрягает трос.

Дочитал «Моисея» Фрейда. Это уже интеллектуальное беспризорничество. Рыцарь Разума в сущности обожал собственные романы, особенно с оцеубийством. Вот бы кого на кушетку.

25.7. Решил закосить. Спина, говорю. Не могу на посту стоять. Стоять, конечно, могу, но болит. Потащился в Харап. А там что, там каждый солдат — симулянт. Дали обезболивающее и — катись. Плыву обратно. Шершавые туши холмов. Ветер в окно. Ну кого бы ты пригласил на сидение рядом, вдохнуть этот жаркий ветер, разделить

с тобой краткое счастье абсолютного одиночества? Оказывается — никого. Получается: нет у меня любимой женщины, а значит, я свободен, а значит, пора выходить на охоту? Драный волчище. Отяжелевший для скачки косой... Новая найдется ль дура, верить в волчью седину? Заглянул у Димоны в забегаловку у бензозаправки, взял шницель с чипсом и бутылочку красного. Кутнуть с горя. Забегаловка набита солдатами, шум-гам, восточные люди, музыка, бабы-слонихи в коротких штанишках, и вдруг я почувствовал себя совершенно своим, свой среди своих, сижу вот так запросто, развалясь, никто не опасен, полбутылки красного шумит слегка в голове, ну, ребят, ну свой-свояком, аж плакать от умиления хочется, и «Апофеоз беспочвенности» на столе... Книжонка задорная. Что-то розановское. Хотя кураж другой совершенно. Тут фанатизмом попахивает, тоскою метафизической. Оба кругами ходят, только Розанов увлекает в водоворот свой, затягивает, а этот кружит, как учитель по классу, и все норовит афоризмом каким-нибудь, будто указкой, ткнуть. Не понял иронии по поводу болтливости Сократа перед смертью и кокетливых мечтаний умереть «как собака под забором»? «По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть и великому событию». Чего тут готовиться? Подмыться что ль? А на счет поучений да лицемерия — не суди по себе. Поскребите еврея, и еврей станет чище. Добил бутылку и жену вспомнил. Неделю назад, высаживая по пути у Института, бросил: «Не скучай». «Ты за меня не волнуйся», — усмехнулась. «Ладно», — говорю, а сам испугался. Позвонить, что ли? А вдруг ее нет на работе, как в тот раз? И — ух, пошла гулять фантазия захмелевшего ревнивца. Нет, лучше не звонить, гуляет так гуляет, в конце концов, не мое дело, ей-богу, честно, вот так и подумал, не, ну совсем, совсем один, ни одного адресочка...

На Севере постреливают. Радио все об этом. Ветер силой мается. Горы на Востоке в мареве. Пыль прет стеной. Кромешные, красноватые сумерки. Луна серо-желтая, в трупных пятнах.

26.7. На самом деле и она меня никогда не любила... Когда-то давно, в попытке вильнуть хвостом, вздумал отношения выяснять, сказал: «Я же знаю, что ты меня не любишь». Промолчала в ответ. И это молчание меня уязвило. Потому что, нарцисс саронский, хоть вообще любить не умею, но к себе — требую, и в совершенно безоглядной форме. Как-то, еще до свадьбы, уже отчаявшись выпутаться, стал будущую супругу пытать: «Ну что, что ты во мне нашла?!» Она серьезно задумалась и выдала на гора: «Ты не серый». Ну да, письма стихами писал, талмудило. До сих пор еще писателя из себя строю. Чо там, тоже могу эдак лихо-забористо закрутить, поиграть в «крутого», как сопливый пацан. А глубже копни — и того хуже, Бунин вылезет тараканом.

Добил «Чародеев скрипки». Кое-что полезное почерпнул, как отец учащегося скрипичному ремеслу. И вообще у меня к Гиршовичу сентимент, с первой повестушки его в «22», где солдат, из милуима нагрянув, обнаруживает... Последний раз я столкнулся с ним случайно на Кинг Джордж в Ерушалаиме, он был в широких постельных трусах с попугайчиками и в майке. Иронический такой толстячок. «А кто, по-вашему, — говорит, — первый поэт в Израиле?» «Генделев, наверное, — говорю, — его и нашим завклубом выбрали».

«О, — говорит, — пойду-ка я эту каверзу передам Мише. Слово в слово».

27.7. Шейкспир оклемался. Даже такие нервные, хрупкие создания как-то здесь выживают. Народец этот, он хоть и шумный утомительно, но незлобный, что странно, если учесть вековые, так сказать, истязания. Не злобный. И даже

не гневливый. И соответственно — не воинственный. А стало быть, негодный на роль колонизатора. Молодой лейтенантик с мордашкой кролика-лапочки, комментируя телепередачу о перестрелках на Севере, обронил грустно: «Но нет же военного решения» (лозунг-штамп-пароль-закон левых). Ну, я рассвирепел. Орал и брызгал слюной, что да, война не решает ничего, ни война с врагом, ни война с наркотиками, ни война с бедностью, ни война с несправедливостями, что война — не выход, потому что жизнь вообще безвыходна, а война — суть жизни, образ жизни, война — это сама жизнь, а их вонючий мир — это смерть, причем смерть позорная, обозвал капитулянтом и сосунком. Бедняга растерялся, симпатичный такой, чем они симпатичней и интеллигентней, тем меньше понимают, что мир божий — не мамкина титька. Надеются эти белоручки (комнаты им, офицерикам, убирают две старые няньки из Индии, охраняют их старые милуимники вроде меня, не армия, а факинг курорт) на деньги и технологию. (Американские. Запад нам поможет. Если, конечно, будем себя хорошо вести.) Мол, не мужество сегодня решает исход войны, а техника. И войну в Заливе в пример ставят. Начгенштаба, хитрожопый воробышек, подражая американцам, докладывал с экрана о наших достижениях на Севере, демонстрировал карты, аэрофотосъемку, фильмы, как над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый, как умело и точно попали вот в это здание, разнесли вон ту постройку, все эти «объекты» тут же возводятся в ранг командных пунктов, штабов, линий связи и складов противника, а на самом-то деле — руины кирпича, не стоящие и десятой доли стоимости этих бомб с лазерным наведением и ракет — с инфракрасным.

Вспомнил татарку Эллочку, которую жарил на лестнице, у дверей в столовку после обеда, а летом — в лианозовском парке в обеденный перерыв. Вот уж была смазлива (от слова смазка)! Я просто изнывал, истекал, фонтаниро-

вал. Иногда, в особо опасных общественных местах, она сопротивлялась, мяукала: «Что ты! Увидят! С ума сошел?!» А я пихал ей, как кобелек, измученный сучьей течкой, куда попало, да хоть об ногу потереть, пока спасительные конвульсии не освобождали меня от этих нежных пыток. Страшно удивила меня, подарив на день рождения три маленьких тома Шандора Петефи с параллельными текстами, в коробочке. На перекурах в коридоре все причмокивали да отпускали сальности, когда мимо, вздрагивая и пританцовывая, проплывала ее пушистая попка, и меня подталкивали локтями, удивляясь, что всеобщего энтузиазма не разделяю, а меня аж раздувало от тайной гордости, что вот они все слюни пускают, а я — ебу.

27.7. Ночь. Звезды падают. Сперматозоиды комет... Мышь на лунную дорожку выбежала, замерла. Шмыгнула обратно. Опять выбежала. Днем наблюдал за большими черными муравьями, шурующими среди шелухи от семечек, Сасон целую кучу оставил. Муравьи-богатыри тащили огромные скорлупки-лодочки, тащили через камни, насыпи, рытвины, несколько метров до подземного своего царства, там, у узких проходов, ждали другие муравьи, помельче, они помогали втаскивать скорлупки, как новый шкаф в комнату, шкафы с трудом пролезали, приходилось разворачивать, приподнимать, заталкивать. Два муравья, два ползучих члена с огромными головками, схватили одну и ту же скорлупку с двух сторон и потянули в разные стороны. Упрямо и неуступчиво. То один в свою сторону чуть оттащит, то другой. Наконец, один бросил тягаться и убежал, но, отбежав, остановился, одумался и побежал обратно. На бегу, да в гневе, он коварно перекусил сопернику талию, так что тот остался корчиться в смертных муках, и подхватил его скорлупу.

Спать хочется. С шести до семи провалился в сон: будто стою на посту посреди пустыни, не понятно, что охраняю,

и тебя жду, смена скоро кончится, ты должна подскочить, и мы с тобой куда-нибудь подадимся, потому как я вторую неделю на привязи и пора мне надобу справить, не то чтобы невтерпеж, но пора, прибегает какой-то чин с пустым лицом, просто нет лица, дырища, и говорит, чтоб я был наготове, сейчас египетских пленных пригонят, а я у пыльной дороги стою, на другой стороне — ты, рукой мне машешь, а мимо пленные идут стройной толпой, почему-то в белых бескозырках, а кто их ведет — не ясно, начинаю нервничать, что их не охраняет никто, а смены нет, стало быть, я должен их куда-то спровадить, а у меня с тобой уговор, толпа куда-то сворачивает, я — за ней, никто инструкций не дал, балаган, кричу тебе через их головы, назначаю встречу по новой, иду, толпа рассосалась, огромный пустырь, справа забор дощатый, полуразвалившийся, за ним новостройки Чертановские, белые кварталы многоэтажек, строительный мусор, у забора драная, шелудивая кошка, огромная, вроде рыси, кружится, хвост свой ловит, а хвост длинный, и морда, как присмотрелся, львиная, правда, маленькая, но точно львиная, и лапищи такие, когти, как она попала сюда? и никого вокруг, уклоняюсь в сторону, спешу через пустырь, то тут, то там талый снег грязный, оглядываюсь, не пошла ли за мной? вроде нет, иду дальше, платформа, ты меня ждешь на платформе, и электричка подходит, нам надо до станции, не помню названия, в купе пара юношей, ведут себя странно, не иначе как любовники, спрашиваю у них, преодолевая брезгливость, когда станция наша? не знаем, говорят, а ты по карте посмотри, смотрю карту на стене, все знакомо, а ничего не понятно, какая это линия? где наша станция? спрашиваю у тебя, что за карта, черт, я ж спец по картам, а ты смеешься: да это карта Ленинграда! и правда, что за идиоты, в московском метро карту Ленинграда повесили, пришлось где попало выйти, но ты уверенно ведешь меня к себе на квартиру, вот входим, наконец-то, сейчас только душ приму и… вылезаю из душа: девочка стоит, говорит здрасте, и на член смотрит,

что за черт, откуда взялась, иду отчитать тебя, что ж это, мол, собрались делом заняться, а тут кто-то по квартире шляется, а на кухне мама стоит, ко мне спиной, в прозрачном халатике и трусы видны, что за черт, злюсь на себя за неподобающую нескромность взгляда, ты выходишь и извиняешься, что народу много в квартире, что не знала, чтоб я вышел, на улице подождал, она сейчас, и мы тогда подадимся куда-нибудь, я выхожу...

Хамсин пришел — открывай ворота. Замахнулся на Хайдеггера. «Разговор на проселочной дороге». Чувствую — слабó. «Сущность истины» не улавливаю. Голова кружится от этих вальсов вокруг «бытия». Водоворот рефлексии. «Мышление, однако, есть стихосложение. Мышление бытия есть изначальный способ стихосложения. Мышление сказует диктат истины бытия. Стихослагающее существо мышления хранит силу истины бытия. Мышление есть прапоэзия, которая предшествует всякому стихотворчеству равно как и всякому поэтическому в искусстве…».

Интересная статья Кавелина «Истоки русского пессимизма». «Счастью не верь, а беды не пугайся». Вот она — русская мудрость.

О причинах и истоках русского пессимизма можно рассуждать до бесконечности, про всякие там византийские менталитеты, это интересно, но несущественно, а существенно то, что такая особенность русского национального характера реально существует, пессимизм этот, и мне она симпатична. Я сам пессимист, и оптимистов на дух не переношу. В общем, русский я, по менталитету, куды денешься.

Солдатка-йеменитка, уродина, но ходит гордо. Вольнолюбивая дупа плещется в широких военных штанах, словно вино в бурдюке.

Хайдеггер тяжел. Да еще хамсин навалился, и ночь не спасает. Пыльный туман, звезд не видать. Даже лампочка потускнела.

«Смерть — это также жизнь». «Здесь-бытие не имеет кончины». «Страх перед смертью — это страх перед подлиннейшей, безотносительной и непреодолимой возможностью бытия».

А вообще-то в этих заклинаниях о бытии и сущности есть что-то жеманное.

30.7. На побывке. Ездили утром к морю. Я, жена и младший. Лежал на берегу и смотрел на прибой, вылизывающий песок. А воздух белый. Вспомнил снимки Кортье-Брессона. Вот как сделать, чтобы отрывки прозы были похожи на его фотографии, неожиданные, поймавшие живое мгновение, как бабочку в сачок. Гербарий мгновений...

Письмо от Фейгина, прислал Мишину[1] публикацию. Возьму завтра с собой. Еще письмо от Саши Макарова, женится.

31.7. Опять вернулся к небритым холмам. Дочитал «Здесь и теперь». «Цветаевский» номер. Силён комментарий к ее стихам: «Для понимания стихотворения выделим прежде всего основные представленные в нем смысловые пространства. В наиболее широкое — виртуальное — пространство входит лирический субъект — «я», конкретизированное только вхождением в мыслительный процесс, и объект этого мыслительного процесса — «куст», как представитель природного мира. Более узкое — узуальное — пространство определяется тем...». Тут без Хайдеггера не разберешься. Но все равно читаю о ней все, от корки до корки, тянет в эту воронку неистовости (не русская неистовость, германская!), влечет этот вызов. Настоящая лич-

[1] Михаил Фанерман, поэт и философ.

ность — всегда вызов. Всему миру. (Жизнь вообще — вызов природе.) Единственное, чего ей, пожалуй, не хватало — так это порока, да, как ни странно, несмотря на «противоестественные» связи (поэтому «Сонечка» — замечательна. А вот Софья Парнок, хоть и была достаточно порочна, но, увы, не так талантлива. Все же помню ее: «вдвойне прекрасен цветик на стебле//тем что цвести ему не много весен//и жизнь вдвойне прекрасна на земле// где каждый миг быть может смертоносен». Смертоносен — вот ключевое слово, порочное, сладострастие смерти в нем слышу...), было в ней что-то крестьянское, честное, а настал век хулиганов. И вызов ее был «лобовой», обречённый, мир этот не уязвляющий. Сегодня художник должен быть змеей подколодной, жалить, жалить в пяту победоносное человечество, весело шагающее к концу истории. Гнили в ней не было, яду.

Цветаеву мне подарила Руфа. Вообще класс Виктора Исааковича, я в нем только год проучился, был с «литературным уклоном». Руфа дружила с многоумной и язвительной Оленькой, некрасивой, толстой, в очках и с крысиными зубками. Оля была ко мне неравнодушна и обзывала по-гречески («ну и просопон у него!»), издеваясь над мужицким невежеством. До сих пор не ведаю, что это за просопон такой. И словаря греческого нет... Обе мечтали о литературной карьере, таскались, как хвост, за Виктором, составляя его ближайшую свиту, ловили каждое слово — небожитель, критические статьи в «Новом мире» публиковал! Я даже попытался одну прочесть, но не осилил. Лет через десять думал еще одну «взять с наскоку» — с тем же результатом. В 91-м в Москве напрягся в последний раз над «анализом современной литературы» и окончательно решил, что он просто зануда. Но, как учитель, был редкой удачей. Тогда, в 91-м, я позвонил ему, передал привет от брата, знаменитого израильского поэта и бузотёра Бори Камянова, сказал, что я бывший его ученик, из 200-й школы, помните, нас еще два брата было, мы на первой парте

сидели, вы нас «братья-славяне» звали? и еще я хотел бы вам свою книжку передать, сборник стихов... Он заинтересованности не проявил, может, из-за Бори, отношения там наверняка сложные, сказал: передайте. Будете проходить мимо, проходите мимо. А мне хотелось, конечно, повидать идола юности. Тогда, в начале шестидесятых, он восхищал отчаянной фрондой, например, водил нас на «Обыкновенный фашизм» и открыто сравнивал Гитлера со Сталиным. Как я гордился, получив пятерку за «Ревизора» и удостоившись личной похвалы: «Посмотрите, — потряс он перед классом жалким листочком, — сочинение о "Ревизоре" на неполной странице! — Класс загоготал, я потупил голову. — Вот так надо писать, — продолжил он, — кратко и ясно! Молодец, пять». А Руфа (Зуся звал ее пифией) была серьезной еврейской девушкой с черными бровями и черными глазами, спрятанными за толстенными очками, отличницей, важной и неразговорчивой. Зуся втерся к ней в доверие и единственный из класса (кроме Оли) получил разрешение заходить домой. Однажды он и для меня эту честь выхлопотал. Руфа полулежала на диване в длинном платье, с книгой, мы с Зусей сели на стульчиках напротив, как паиньки, сначала разговор был о Блоке, я Блока не читал, так что пришлось только поддакивать и головой кивать, чинность обстановки и ученость хозяйки так меня напугали, что я даже не смог вообразить ее в голом виде (что было моим любимым упражнением в ту эпоху — влияние репродукций Гойи «Маха одетая» и «Маха раздетая» в книжке Фейхтвангера), потом разговор соскочил на Цветаеву, тут я решил блеснуть «уровнем», где-то о чем-то слышал, и сказал, что она мне не нравится, сплошная романтика, это несовременно. Руфа взбеленилась, но спором меня не удостоила, только посмотрела на потолок и вдруг заголосила низким, ласковым голосом: каким наитием, какими истинами, о чем шумите вы, разливы лиственные? Это было в 8 классе. Нам было по пятнадцать лет. В классе уже знали, что у меня роман с Волковой, высокой, про-

двинутой в половом отношении девочкой с длинными русыми волосами, я целовался с ней в парке ЦДСА, пытаясь таким образом тоже немного продвинуться в этой области, но когда она, после похода, в вокзальной толкотне, пригласила меня к себе домой, сказала, что никого не будет, я сдрейфил и затерялся в толпе.

А к Руфе я потом часто ходил, несколько лет, побеседовать о литературе, пока жена мне скандал не закатила. Всегда злобно ревновала к литературе...

Вообще мне не везло с еврейскими девочками, подход к ним был обреченный, «дружеский». Внушили твердо: если уж «испортил» добропорядочную еврейскую девочку — женись. Вот мы и бегали от «порядочных», чуя, что свадьбой пахнет. (Лимонов, как чужой, и тайнами клана не отягощенный, справедливо отдал должное их половой дерзновенности.)

Жена, будущая, когда возвращались из Крыма, где мы познакомились, в купе, ночью (мы с ней на нижних, а Женя с мамой на верхних), прыгнула ко мне на лежанку и трусики сдернула. А я отверг. Странно, что не обиделась...

Верблюд стоял на шоссе, где съезд на раскопки Мамшита, и машины тормозили, боясь врезаться. Он стоял, как вкопанный, будто изваянный каким-нибудь заблудшим сюрреалистом.

В Мамшит мы ездили давным-давно, когда у меня был милуим в Набатим, весной, американцы уже заканчивали строительство, спешили — некуда было перебазировать авиацию с синайских аэродромов. Я убегал в самоволку, у ворот базы ты подхватывала меня и увозила в пустыню (молодой голубоглазый взводный однажды случайно увидел нас, ничего не сказал, но с тех пор всегда одобрительно надо мной посмеивался). Так мы забрели в Мамшит, место было еще дикое, от города набатеев, что встал тут при Диоклетиане, осталось немного, но мы все же нашли для на-

шего ритуала что-то вроде залы с арочным входом, часть мозаичного пола была очищена от песка и земли и можно было увидеть огромных павлинов, а на стене виднелся кусок фрески: совершенно размытое, будто кто-то плеснул водой на акварель, лицо, подглядывавшее за нами единственным оком.

А потом гуляли вдоль русла, сухого даже весной. Наткнулись на старый колодец, заглянули — черно. Камень бросил, и не услышал ни стука ни всплеска, зато прямо в лицо рванули из черной дыры мелкие птахи.

А еще мы с Руфой о сионизме спорили. Этот род запретного экстаза был ей абсолютно чужд. Тащилась от русской культуры.

Прочитал Мишину публикацию и статью о нем Колымагина[1], которые Фейгин прислал. Наконец-то Мишу напечатали. Какой-то новый журнал, НЛО, полистал, такой высоколобый, но живой, современный, и — в первом же номере, успех, здорово. И Колымагин все по-ученому так, добросовестно расписал о Мишином творчестве, в корнях покопался, в общем-то, верно, стиль только чуток казенный, для Мишиных стихов не подходит. Не передает эту беззащитность. По-детски бесстрашно о себе рассказывающую. Всегда завидовал безоглядности, сам-то вечно озираюсь, вор. Однако ж поди, научись такому. Когда выходит — навылет. Но выходит не всегда. Потому что когда пытаешься просто, со щемящей обыденностью, то так трудно уйти от избитого, истертого, сколько на этом пути литературных капканов понатыкано. (Как у Володи: «...будни так жизненны, кому ни поведай — всяк кивнет со вздохом».) Вот возьмем дождь. Слишком много дождя. Казалось бы, что естественней, и чище, и щемяще обыденней, просто и замечательно — дождь. (Как у Сережи: «хорошие

[1] Борис Колымагин, поэт, критик.

слова — а вот и снег».) Но в стихах нет лужи омерзительнее, беги ее, как геенны огненной, ибо слякоть это, жижа, похлебка для сентиментальных дебилов.

Сломить ветку сирени, и
сквозь голоса, сквозь слезы
бежать вниз к реке, размахивая сиренью.
Все, что ты можешь...
только.

И подражания Иссе... Тут есть элемент вычурности, тайной гордости и отстраненности, что интересно оттеняет его «поэтику беззащитности»... Толя Якобсон назвал его «китайцем», когда я показал ему Мишины стихи. Назвал, как на полку поставил, и забыл. Не стал вникать. Он был тогда, в последние недели своей жизни, рассеянным, погруженным в себя, как подводник, пьяный глубинами, увлекшийся переливами света в водяных толщах, позабывший, что пора всплывать. Пробудившись, поднявшись на поверхность, он возбужденно тащил меня играть в шахматы.

И подборка в «Сельской молодежи» недурственная. Но лучше всех — Сатуновский.

В подборке нет Мишиных «клотов». Там он свободнее, естественнее, злее, и нет этих поучений сквозь слезы. Почему-то злость интересней, чем доброта.

Проснулись птицы. Смыло звездную пыль. Только Царица утра — как алмазная шляпка гвоздя, которым небо надо мной приколочено.

Верблюд на шоссе.
Набатейское царство.
Куда занесло.
Какое коварство.

2.8. Виттельс: «Мы рождены для любви, но, к сожалению, кастрированы жизнью».

Дочитал книгу Виттельса «Фрейд». Толковая, с живыми подробностями. Конечно, это была интеллектуальная революция. Сродни ницшеанской. Ницше строил сверхчеловека, а Фрейд — Сверх-Я. Человек не столько беспощадно самообнажался в психоанализе, сколько пытался выйти из самого себя, самовыворачивался. Это были родовые муки нового человечества, вся эта эпоха. Ращепление «Я». Релятивистская психология. «Я» — перестало быть цельным атомом, а оказалось неисчерпаемой квантовой бездной. Умерли великие мифы цельности. Философы ударились в литературу. Язык — ускоритель сознания...

Интересно (Иосиф, ау!), что свое лечение (через «донесение» вытесненного) Фрейд называл катартическим. В то же время отцы психоанализа не обнаружили никаких клинических признаков «напряженки» между индивидуальным и родовым. Проморгали? Или это явление лежит не в плоскости психики, а является рациональной, осознанной рефлексией, но тогда оно лишается права на психическую энергию и не может служить энергетикой художественного, энергетикой катарсиса?

5.8. Третий день дома. Злой. Жена говорит: спортили мне мужика. Не могу до нее дотронуться. Не хочу и все. То ли либида вся выгорела на солнце, то ли... ты что ль мешаешь? Смотрю на себя: сапсэм сэдой стал, вся грудь белая, все, бля, старик. Оттого и злой, небось. Менопауза, это тебе не хрен собачий. И спорт, спорт, вроде болезни, похудеть, подтянуться. Сегодня в спортзале взвесился: 83 кг! Почти десять за полгода скинул. (Когда-то до 72-х выступал, приходилось, конечно, сгонять перед соревнованиями.) В основном в милуиме, в милуиме всегда жру мало. Даже Витюха-тренер, коротыш с надутыми мышцами («Мне человека убить — ничего не стоит») похвалил: «Совсем по-другому

выглядишь!» Витюха из Душанбе приехал, уже в газете портрет заработал, там его «одним из главарей русской мафии» кличут. Вначале все присматривался ко мне, как-то спросил: «Кем работаешь?» «Учителем», — говорю. Он хмыкнул. «Чего?» — спрашиваю. «Не похоже». И добавил с уважением: «Ты бы в банях у нас мог за старшого стоять».

21.8. «А все-таки человечество идет вперед, — сказал тесть, глядя на соревнование легкоатлетов по телевизору, — выше прыгает, дальше толкает, быстрей бегает...».

22.8. По русскому ТВ показали фильм Калика «И возвращается ветер…». Воспоминания — жанр нелегкий. Все еще сердится, все еще пытается самоутвердиться. Искренность и точность, толкаясь, загоняют в тупик протокольной автобиографии. Тут как тут многозначительность, претензия на эпос. Задушил в себе импрессиониста. А ведь какой хороший фильм был «До свидания, мальчики», ясный, высветленный, с грустным еврейским юмором.

Ненавидит Россию и почему-то обижается на попреки «русским салом».

Мы в 67-м тоже любовались фотографиями израильских солдат и мечтали влиться в ряды бойцов. А попали — в торговые. Перес говорит: рынки важнее дивизий.

Тесть: «Не могу без нервов читать этого Ури Авнери[1], ну как это среди нас может быть такого человека…».

Старшему внуку: «Ты смотрел вчера фильм о царе Давиде, о его последних днях, интригах во дворе?..».

13.9. Сегодня левые суки подписали смертный приговор государству сионистских завоевателей. Государству магендавидоносцев. У народа открылся активный мирный процесс. Магендавошкес...

Жена: «Ты меня за уши оттаскал...». (Анюта называет жир на бабьих ляжках — жопкины ушки.)

[1] Журналист и политический деятель крайне левого толка.

24.9. Утром, на море, гуляя вдоль берега, обсуждал с М. политику. М. — принципиальный «левый», преданный сторонник западного индивидуализма, потребительства и антигероизма. «Могу признаться, что сто, да и пятьдесят лет назад я бы в государство еврейское не поверил». А я, говорю, сейчас не верю. После того, как поближе с евреями познакомился.

28.9. Учиться умирать, значит учиться жить, замечает Монтень. Животной тупостью называл стремление не думать о смерти. Размышлял о ней неустанно. «Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе». И у меня в последнее время представление о ней уже не сопровождается тем уколом жути, как в юности. Оно стало каким-то обыденным что ли. Только боюсь, что не от презрения к смерти, приобретенного упорным философствованием, а от презрения к жизни. Вернее от детской на нее обиженности, мол, раз ты так...

2.10. Ездили в Вади Кельт. Лёня[1], длинный и сутулый, с седой бородой, историк и писатель, от Иудейской пустыни балдел, а когда очам вдруг явился монастырь в бурых скалах, похожий на ящерицу в расселине, чудо мимикрии, у него вырвалось невольное: «Ёп!..». А вообще он хмурый, все радио слушает, в Москве опять попахивает Октябрьской.

Люблю это восклицание с тех пор как узкобедрая и широкоскулая Танюша (заманил к Вовику «на новые пластинки», Вовик-фарца, обещал на полчаса опоздать), неожиданно легко сдалась, а когда воткнул, выдохнула, будто лопнула: «Ёптвою мать!» С тех пор у нас не случалось, но комплимент до сих пор греет.

[1] Леонид Юзефович, известный российский писатель.

А, вот еще вспомнил: когда в первой тоске эмиграции проколол одну старую ершистую поэтессу, она запричитала что-то шепотом-скороговоркой, уловил только: «наконец-то, ёптыть, наконец-то…».

6.10. О взятии Белого дома (народ окрестил его «черным» — покрылся копотью, из окон высовывались языки огня, пожаров никто не тушил, сотни убитых) мы узнали в Цфате. Зашли в мастерскую-галерею, художники — русские, радиоприемник на столе работал, передавали сводки. Один из художников сколачивал рамку.

— Ну что, ребят, — развеселился я, — взяли Белый дом?

— Взяли, — вяло и равнодушно ответил сидящий у приемника и покуривающий.

Рабин поехал в Каир подписывать капитуляцию перед террористами под патронажем Мубарак-его-каиры-мать. Террористов оприходовали под шапкой национально-освободительного движения.

Леня: «Вот ты все ругаешься, не веришь (о еврейском спорили государстве), а я заметил, что у вас у всех какое-то очень теплое к нему отношение, бережное, я бы сказал: по-настоящему патриотичное, это меня даже удивило».

Пытаюсь через Бюро в Москву поехать. Может, на год. Денежки подзаработать и удрать отсюда. Вчера убил день на психометрический тест. Через каждые два вопроса: любите ли вы свою мать? На вопрос: какое событие оказало самое сильное влияние на вашу жизнь? — так и не смог ответить. Все время всплывало одно и то же: наш класс (8-й, мне пятнадцать) работает на опытном поле Сельхозакадемии, и вдруг откуда-то толпа разнузданной ребятни, главарем низкорослый пацан из параллельного класса, они ищут жертву, все равно кого; двое наших, Асанов (до сих

пор помню фамилию) и еще один, поразбитней, чем остальные, направляются к ним «договариваться», вожака они знают, переговоры идут долго, возвращаются всей толпой, Асанов прячет глаза, тягостная неопределенность, и вдруг «они» выбирают меня, и еще Зусика, тот убегает, за ним не гонятся, а я как прирос, Волкова смотрит, ветер играет ее распущенными волосами… берут под руки и ведут к деревьям, никто из класса за меня не вступается, уже не помню точно, что было, теперь подумать, так ничего особенного, повалили, пытаясь на колени поставить, требовали в чем-то признаться, покаяться, сильно не били, заставили бежать, когда побежал, дали пару раз по жопе. Отчетливо помню только парализующий, раздавливающий страх, и стыд позора. Но как «на экзамене» про это расскажешь? Да и какое влияние оказало — не объяснишь в двух словах. Ну, подналег на гантели. Мама беспокоилась — ревматизм сердца. Не из-за этого ли и шахматы бросил? А ведь любил, и шло хорошо. И вообще любил задачки решать, по физике, по математике. Но после того случая упал интерес к интеллектуальным играм.

Потом собеседование с молодой девкой, психологом. Пыталась выяснить, исподволь, не активист ли я какой партии, отвечал злобно, пререкался с ней, в общем, плохо выступил, глупо, выдал себя. Не пошлют, чужака почуяли.

20.10. Посидели с А. в «Тринадцать с половиной», потом побрели по улице, пустой, темной, вышли к пустырю над обрывом, внизу вздыхало ночное море, я прислонился к забору, который ничего не загораживал, она встала рядом, я обнял ее, привлек к себе. Поцеловал. Никакого возбуждения. Даже наоборот, покой, будто после. На всякий случай спросил: «Может, поедем куда-нибудь?» — «Я должна возвращаться…».

Склеил я ее лихо, попалась под горячую руку. Вначале неприятно напомнила Катю (да и возраст тот же, возраст моего старшего), которую мы с Вадимом сняли в кафе

«Космос», она была с подружкой из Риги, и мы к этой подружке потом в ноябре съездили на три дня, чудесные, чудесные были три дня, а в Катю эту я безнадежно и глупо влюбился, как Сван в Одетту, в фарфоровую ее красоту, она была настоящей блядью, а я не знал, как к ней подступиться, приносил ей книжки, сидел у нее в «будуаре», когда она переодевалась, ожидая очередного ухажера-клиента, иногда я делал неловкие попытки поцеловать ее, но она, поведя плечами, с такой нежной неприязнью отряхивала меня, что я терял смелость еще на пару недель. Эти глаза, бесцветные, как речная вода! Этот тип невинности, заебанной до изнеможения, в жгут меня свивает! Губы тонкие, так она еще помаду поверх края кладет, красную, на бледные губы, будто искусали ей губы в кровь, измучили бедную девочку...

Отвез книги Володе. Обсудили неудачный вечер Даны 26-го, «выдохлась», сказал мэтр, катил бочки на Генделева, у того тоже на днях вечер был, к выходу романа, а меня упыри затащили на «Рояль», потом в «Капульский» угощать жен пирожными, «Рояль» меня разозлил, вывели, панимаш, новую породу «фильмов для интеллигенции», с джентельменским набором «духовных ценностей» и «вечных тем», да лучше «звездные войны» или про костоломов… я вяло поддакивал Володе, хотел поделиться с ним своей влюбленностью, но не получилось, заболтались о пафосе, выспренности и высокопарности. Володя утверждал, что без них нет поэзии. А я ему толковал про японцев. Что нет в восточной поэзии, японской, китайской, пафоса. Есть умиротворение. Или меланхолия. А европейская — гордыня. Потому что для европейца душа возвышенна, то есть выше человека. Она есть преодоление его, освобождение от бренности, и поэзия, песня души, — экстаз победы над природой. Японцу битвы с Творением затевать и в голову не придет. Кукай писал стихи на глади реки. А возьми типичное европейское, даже германское, великого русского лирика:

Пусть головы моей рука твоя коснется,
И ты сотрешь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествую я.

Тут не презрение к смерти, а вызов смерти! И не жизни ему жаль, с томительным дыханьем, что жизнь и смерть, но жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет уходя.

Плач от непримиримости, от яростной обиды.

Может, действительно, как Бердяев писал, «мужественный дух немецкого народа овладел женственной душой русского народа»? Великая Хермания.

Больше всего раздражало в блаженную эпоху застоя, что отцы нации нагло лгали тебе в глаза. Злило то, что тебя, по-видимому, держали за недоразвитого. На самом-то деле, наоборот, нам предлагали изощренную умственную игру в «Бога и Кесаря», но интеллигенция этого испытания на интеллектуальную гибкость не выдержала, она пошла за посконными дровосеками, типа Солженицына, вопившими о житье не по лжи. А нам честно предлагали жить по лжи, и мы эту тонкую игру по наивности не оценили. Впрочем, не по наивности, по бездарности...

Это я все к тому, что тут, в свободном, либеральном, открытом обществе, тебе не врут, нет, тебя откармливают до отвала, на убой, протухшей телебурдой да газетной баландой. У нас даже поговорка есть такая национальная: фраера не переводятся, другие идут на смену. А «фраер» поздешнему простофиля. Одна теория «обратимости» процесса, начатого в Осло[1], чего стоит, прям по Фрейду: «Если опыт покажет, что мы ошибались, то мы откажемся от своих надежд» (это он сказал в ответ на возражения против-

[1] Процесс «мирного урегулирования» Израиля с Организацией освобождения Палестины Ясира Арафата.

ников, что, заменив Бога психоанализом, он заменил «испытанную и в аффективном отношении ценную иллюзию другой, не прошедшей испытания»).

Что ж остается? Забраться в пустыню и читать «Украшение летописей» Хусаина Али[1]...

«В этих болотах живут дикие люди, ни с кем не имеющие сношений; они не умеют говорить на чужих языках, а их языка никто не понимает. Они — самые дикие из людей; все они кладут себе на спину; все их имущество заключается в звериных шкурах. Если вывести их из этих болот, они настолько смущаются, что походят на рыб, вытащенных из воды. Их луки сделаны из дерева, их одежда — из звериных шкур, их пища — мясо дичи. Их религия заключается в том, что они никогда не прикасаются к чужой одежде и имуществу. Когда они хотят сражаться, они выходят со своими семьями и имуществом и начинают битву; одержав победу над врагом, они не прикасаются к его имуществу, но все сжигают и ничего не берут с собой, кроме оружия и железа. Когда они совокупляются с женщиной, они ставят ее на четвереньки, потом совокупляются. Мертвых они уносят на горы и вешают на деревья, пока труп не разложится. Среди них есть люди, которых называют фагинунами; каждый год они приходят в определенный день, приводят всех музыкантов и приготовляют все для пира. Когда музыканты начинают играть, фагинун лишается сознания; после этого его спрашивают обо всем, что произойдет в том году: о нужде и изобилии, о дожде и засухе, о страхе и безопасности, о нашествии врагов. Все он предсказывает, и большею частью так и бывает».

29.10. Все-таки израильтяне — совершенные папуасы. Разговаривать не умеют, только орать. (Прислушиваясь к крикам за окном.)

---

[1] Исторические хроники об истории Афганистана 18 века. Об авторе ничего неизвестно.

7.11. После спектакля посидели в «Апропо». Ветер гонял мусор по пустым трубам улиц, Тель-Авив был безлюден, как перед 9-м аба[1] Поцелуи и объятия в машине приводят меня в отчаяние, все дальше и дальше уводя от заветной цели — заставить ее плакать от счастья. Она в каком-то напряженном оцепенении, будто решилась на что-то беззаконное, и наши мистерии выходят не такими праздничными, как мечтается. Совсем-совсем не такими. Может, видит во мне отца? В раннем детстве осталась одна с матерью.

6.12. Встретил Д. на концерте. Мемурмерет[2]. Одета фешенебельно. С вызовом своим сорока пяти и всему миру. Давали французское средневековое с лютнями. В модном подвальчике собралось человек 30, как на поэтическом вечере. Недорезанный левантийский бомонд. Это Д. меня к музыке приучила. Когда наблюдал, как ее ломило от Малера, тоже услышал этот тягостный вздох скрипок. Постепенно перестал относиться к слушанию музыки, как к экзамену на интеллигентность в приличном обществе. Рассказала, что едет в Ерушалаим на три дня с квартетом, там у нее отдельный номер. И на меня посмотрела. Отвел глаза. Нет-нет. Прости.

На следующий день пати у жениной сослуживицы. Вилла в Рамат-Ашароне. Толпа богатеньких. Милые, ухоженные, раскрепощенные. Что им Хеврон, земля праотцев и прочая галиматья, за которую нужно кровью харкать и песок жевать. Да, таких не подмять, не рассеять. Народ — ртуть.

Только я это подумал, как ввалился сын хозяйки, высокий, статный, с укороченным «галили»[3] и вещмешком, в запыленной форме десантника с нашивками лейтенанта. Его бросились зацеловывать. Устало улыбаясь, ушел к себе.

---

[1] 9-ое Аба — годовщина разрушения Первого и Второго Храмов, день траура и поминальных молитв.

[2] Разочарованная (*ивр.*)

[3] Название автомата (*ивр.*)

Дожди прошли. Солнечно и тепло. Вчера ученики бастовали, и я — захити ми аэфкер (словил рыбку в мутной воде) — удрал с ней в номера. Наконец-то прошло более или менее. И все равно, какая-то отгороженность... Может, не привыкла еще ко мне, всего-то в третий раз. А в первый, опосля значит, глядя на туманное окно, моросило, сказала с милой непосредственностью: «Занесло…». Но не в том смысле, как у меня в стишке о пустыне, что, мол, далеко, а — круто, занесло на повороте. Проста. Ноги в чулки прячет, уже варикозное расширение наблюдается, допрыгалась. Ладно сбита. В сумерках задернутых штор — Венера тель-авивская с чулочками на резиночках.

Тхия (все, что от нее осталось) вошла в Тикву (Возрождение влилось в Надежду). Пошел на общее собрание. Задумка была: после собрания подскочить в театр, повидаться, — не сладилось. Выступала пророчица Мирьям в лихом берете. Потом в ночных новостях передали, что именно в это время мужа ее и старшего сына убили в Хевроне. Девять детей было.

В субботу грибы собирали. Видимо-невидимо их. В основном маслята. Жена феноменально активна. Тоже вызов сорока пяти с хвостиком? Такая жадность к моему телу лестна, но утомительна.

Дело дрянь. Никто не понимает, что произошло самое страшное: измена мифу. Это хуже, чем измена родине.

30.12. Вчера гуляли по Яффо. Сидели на скамеечке над морем. Тянет друг к другу. Думал сегодня организовать побег — не вышло. «Ладно, — говорю, — не страшно. В другой раз». «Нет, страшно», — говорит. Сидим на скамеечке над морем, времени мало. Муж, ребенок, больная мать, репетиции, халтуры. Смеркается. Минарет торчит перед носом. Наполеоновские руины. Угрюмое местечко. Целуемся. Говорит: «С последнего раза что-то изменилось. Пугает ме-

ня. Слишком часто о тебе думаю». А что в последний раз? Просто чуть лучше вышло. («Кончила?» Кивнула. Улеглась на плече и задремала.)

А сегодня ночью приснились волки. Сидим мы в избушке между полем и лесом, кто «мы» — неясно, в карты играем. Вдруг из леса — слоны!

— Гляди, — бросаюсь к окошку, — слоны!

Потом визг какой-то за дверьми. Выглянул: львы, тигры — собак грызут. Быстро забаррикадировались. И тут волки пошли. Прошли тучей, и только трупы по полю валяются, людские.

Звонил Арик[1], звал на собрание в Доме Журналиста: Биби, Геула[2], Лариса, Каганская. Обещал ему вырваться, думаю, может, потом с ней что сладится? Арик с горечью: «Выясняется, что свое государство иметь — дело не простое, приходится за него воевать. И не случайно народов много, а национальных государств — полторы сотни. Так что не каждому положено. Вот палестинцы готовы жертвовать, значит им магиа (положено). Создали государство те евреи, которые готовы были воевать, а эти — не готовы, значит, им и ло магиа (не положено). И пусть не объясняют, что трусость, это на самом деле чувство справедливости». Ого, думаю, запахло Ницше, хоть он его и не читал. Да, Арику особенно обидно. За что девять лет в советской тюрьме отсидел? Сколько сил отдал на эту вонючую партию «Возрождения», дом возвел в Шомроне почти своими руками, по бревнышку, по кирпичику...

Я тоже верил, что трусость — это галутное[3], стоит только стать независимым народом и это пройдет. Как коммунисты верили, что стоит только эксплуатацию отменить, так все и побратаются. Ан нет.

---

[1] Арье Ханох, борец за репатриацию, активист партии Тхия (Возрождение).

[2] Геула Коэн, израильская Пассионария, одна из лидеров партии Тхия.

[3] Галут — изгнание (*ивр.*), рассеяние.

12.1.94. Новый год справляли у скрипачей. Хозяин — нервный бабник, жена по струнке ходит, как японка, забито улыбается. Виолончелистка из их квартета — с пузом, шутили на счет беременных музыкантов. Водка была хорошая и не кончалась. Бабенки, все — ягодки опять, разгорячились, хоть на месте клади, волоки в туалет, как в доброе старое время. Одну тиснул все-таки, зашептала телефон, потом несколько раз, мимо проходя, спрашивала: «Не забыл?» Муж опасливо озирался. А до того у Оси был вечер танцев, так тоже там на одну клюнул, и заработал по пути домой скандальёзо. А днем, после гулянки, поехали в лес. Пусто, тихо, народ, видать, отсыпается. Воздух почти морозный.

В среду были с ней в отеле. Уломал-таки заскочить перед представлением. Подарил ожерелье серебряное йеменское, кружевное, звенящее. Потом новостями-планами делилась. В Россию на гастроли едут. Лакал ликер и хамил. Она к алкоголю индифферентна. А Д. обожала водочку.

Заехал к Володе. Пошли гулять по Шенкин. Народищу! Молодые все, суки, красивые. Им до Газы, как до фени. А Газу, Газу святую кто же удержит, рыцари?! Книжку маэстро, в общем, одобрил. Исхудал, почти высох, выглядит больным — нелегко дается борьба с алкоголизмом. А теплынь стоит совсем летняя...

21.1. Ездил в Ерушалаим. Сначала к Малеру[1] заскочил, оставил книжки для Вайса, тот обещал сосватать их Джойнту. Покопался в макулатуре. Какие-то незнакомые литераторы с налетом избранности и запашком непризнанности вели громкий разговор. Один из них затянул «то не ветер ветку клонит», я догадался, что у них это вроде пароля, и устыдился своей любви к этой песне. «Ухитрив-

[1] Израиль Малер, израильский писатель и книгоиздатель.

шись выбрать нечто привлекающее других, ты выдаешь тем самым вульгарность выбора», как сказал наш классик. Потом поперся в Нардом, где группа молодых-энергичных (в ермолочках), с опытом организационной работы, смастерила съезд правых русских (Алия[1] за Эрец Исроэль). Все шло чинно, но тут вылез Менделевич[2] и рыдающим голосом пророка-самозванца позвал народ выйти на улицы, на борьбу, сомкнув ряды и до конца. Потом кто-то с бородой и в шляпе, объявленный равом, застенчиво объявив, что он еще не рав, обозвал всех «народом мещан», продавшихся истеблишменту, призвал народ мещан забыть торговлю как род занятий недостойный евреев, особенно возмущался торгующими с Россией, поучал, что грабить гоев по Торе еще хуже, чем грабить евреев, что пока мы, народ мещан, от телевизоров, теплых кресел и хлеба с маслом не оторвемся, ничего путного у нас не получится. Запахло тоской по воздуху бедствий. Дамочка в кожаной куртке, увешанной металлом, авангардно и авантажно призвала всех принять палестинское гражданство и проголосовать за Арафата, и тут съезд пошел в разнос. Кто-то предложил обратиться к Клинтону с просьбой выделить кусок Аризоны для принятия четырех миллионов еврейских беженцев, некий импозантный профессор поставленным голосом лектора призвал вернуться к Торе, мол, если мы не перестанем ездить по субботам в автомобилях, мы обречены, что сало, которое мы едим, смазывает колеса палестинской революции (шквал рукоплесканий), какие-то чудики шныряли по рядам и предлагали внести скромный вклад (15 сикелей) в поддержку «партии абсолютной демократии», кто-то раздавал брошюрки «Просуществует ли Израиль до 2004-го года». Вышел в фойе. Тут кучками курили. Поболтал с Прайсманом, Мааяном (рядом суетливо кружил Воронель-

[1] Восхождение (*ивр.*), общепринятое название репатриации.

[2] Иосиф Менделевич, активист сионистского движения, участник «самолетного дела», осужден на 12 лет.

юниор), Эскиным. Володя разбух и хитро щурился. Умеет работать с масс-медиа. Но провокации его театральны, не в моем духе. Леня Цивьян, неутомимый Репетилов национального лагеря, звал на тайные собрания по четвергам. Встретил Эмму. Она еще ничего. Наши отношения изначально и взаимно построились по принципу: я бы не прочь, но, черт возьми, совершенно нет времени. Боря Камянов продавал свою книжку, изданную в России, сказал, что недавно, в интервью кому-то, упомянул мое имя. Мерси. Сережа в очках-лупах и автоматом на боку, бывший мехматянин, а ныне хевронец: «О чем они там болтают?! Остались считанные месяцы! Но мы не уйдем, забаррикадируемся».

— Минометами выкурят, — пошутил кто-то. — А у вас только автоматы.

Сережа загадочно улыбнулся: «Обком этим вопросом занимается». Спросил его про Додика, сказал, что давно его не видел. Вплыл Кузнецов[1] в светлом твидовом пальто в мелкую елочку — и на меня. Постебались. Ему пересказали речь Менделевича. «Значит, народ баррикады строить не побежал, — ехидно сцедил пахан, — кхе-кхе, плохо дело». Закурил. Мундштук серебряный. Стайка прилипал. Кузнецов — человек магнетический. Ощущение силы, притягивающей к себе, вызывающей желание идти за ним, служить. И не у меня одного, насколько я мог судить. Задраен, как атомная подводная лодка в дальнем походе. (Однажды ночью в моей машине на обочине, где лидер партии принимал челобитные, накануне подачи списка «Нес» в Избирком — первый опыт «русской партии», лет десять назад было дело? — после бесконечного дня обсуждений, беготни, просьб, требований, споров, скандалов, капризов расслабились, даже я закурил, только что, в счастливых слезах,

[1] Эдуард Кузнецов, израильский политик и писатель, прославился организацией похищения самолета (неудавшегося), смертным приговором и книгой «Дневники» о быте в мордовских лагерях.

последней, выскочила из машины Наташа, получив обещание на пятое место, Эдик откинулся устало, повернулся ко мне: «Ну, а ты что ж места не просишь?» Я хмыкнул. «Для Атоса, — говорю, — это слишком много, а для графа де ла Фер — слишком мало». И он хмыкнул.) Подошел Юлик. Посетовал, что «хаки» (члены Кнессета) как назло, разбежались, и никто не приехал. Мааян[1] позвал в «Цомет»[2], «есть такцив» (бюджет), Толик Гершензон хвастался успехами своей новой фирмы. «С Гонконгом торгуем!»

— Чем же?

— Представь, источниками питания! Недавно два продали, есть заказ еще на один». «Это что ж, поштучно?» «Да, хитрые такие источники…». Явилась в красном Лариса[3], со свитой. Повадки стареющей императрицы. Только вместо двухметровых гвардейцев, вокруг еврейцы полтора на полтора. Поздравил ее с победой (вошла в команду Ольмерта). Стала вдруг оправлять платье, широко раскрытое на груди, зазвенела ожерельями: «Ой, чой-то я вся расхристанная», взгляд вопросительный, вызывающий и напряженный — вдруг опять вызов не примут. (А я свою милую уже недели две не того-с. Стишок вместо этого подбросил: «О, царица моих эрекций!» Погрозила пальчиком. И впрямь — стыдоба.) К восьми я собрался уходить, сионистский шабаш был еще в самом разгаре, но грустно стало. На выходе меня поймал Шехтман, долго рассказывал о своей важной роли в Беер-Шевском горсовете, потом бешено заспорил с каким-то юношей, пытавшимся собрать деньги на платную публикацию своей политической программы. Я улизнул. Иерусалимский воздух защипал блаженным легким морозцем. Поежился и поднял воротник. Стекла машины запотели.

---

[1] Давид Мааян (Черноглаз), активист борьбы за репатриацию.

[2] Цомет — перекресток (*ивр.*), название правоцентристской партии генерала Рафаэля Эйтана.

[3] Лариса Герштейн, певица, общественный деятель.

Прочитал «Зиву»[1]. Не произвело впечатления. Никакого. Запомнилось: «Нигавти лаэм этатахат» (подтирал им жопу). Это он про своих пятерых детей от первого брака. А потом пришла Зива и сделала из него мужчину.

22.1. Передача о Рембрандте: картины из Эрмитажа, отрывки из дневников. Все к Христу обращался в дневниках. К утешению тайной дружбой... Лицо мужицкое: глаза — пуговки, нос — картошкой. Жена рано умерла, растил дочь. Остался один к старости. В поздних портретах тяжесть мудрости.

Были в лесу. Тьма грибов, да такие юные, скользкие, крепенькие — чудо! Супруга призналась, что только сейчас в ней просыпается женщина. Это какая же сука разбудила? Кому мешало, что ребенок спит?

— Обожаю запах спермы! — обнюхивая тряпочку.
И плаксиво: «Ты мне весь животик запецкал»...

29.1. Вот и опять суббота. Обещали дождь, но с утра солнце. Вчера смотрел «Малер» Рассела. Начало пышное: любовь с камнем. Под музыку.

3.2. Месяц уже динамо крутит. Вчера опять сорвалась с крючка. Ребенок заболел, то да сё. Кажись, завела кого-то поэффективней. И писем давно нет.

9.2. Вчера, наконец, договорились. В двухчасовое окно. С утра чувствовал ужасное, паническое возбуждение, щеки пылали. Срыв был неизбежен, но — упорство обреченного, кажется, я с этим родился... Как ни исхитрялся, ни сосредотачивался-рассредотачивался — оно так и не взошло. Вроде все идет нормально, наступает подъем, но яростной, жаж-

[1] Книга стихов Арона Шабтая.

дущей крепости нет, гаркнешь тут на него, а он со страху и съёжится. И так несколько раз. (Видел недавно по ТВ огромного орангутанга, на ступеньках сидя, заботливо дрочил свой тонюсенький и длиннющий, подрочит и любуется, как оно качается, будто камыш на ветру, покачается-покачается, да и ленточкой розовой на ступеньки ляжет.) В конце концов я запихнул ей это дело, как тряпку, там оно кое-как разбухло и слегка напружинилось, поковырял, и вся недолга, потом с тоски пальчиком ковырял-ковырял и тоже вроде не до конца, в общем, как в том анекдоте: «Да ебемся, будь оно все проклято!» Она лежала, безучастно наблюдая за моей отчаянной борьбой с нашей физиологией, голову закинув за край кровати, чтоб, не дай Бог, не задеть прическу типа «венец терновый» с длинными «колючками» до глаз, уже приготовленную для выступления. Потом, помывшись, села наводить марафет. Чемоданчик у нее такой с инструментом. А я вышел на балкон. Ветер трепал чью-то майку, зацепившуюся за ржавый железный прут, как флаг разгромленной армии. Вольно задышалось морской гнилью. В щели между домами виднелось море, фиолетовое, с сединой. Доносился гул. И весь, склонившийся к вечеру, мир погружался в серое марево, на дне которого догорала затонувшая жемчужина солнца. Вернулся. Она зажгла свет. «Ну, чего ты все молчишь?», — как ни в чем не бывало. Я и выдал. Нет, very gently. Что, пожалуй, наша «любовь» себя исчерпала. Тут и она обрадовалась, опять же повод поговорить по душам. Очень сближает. Сегодня ровно год, как муж застукал ее с той большой любовью, и что она от этой травмы так и не оправилась, что вначале ей показалось, что я... что я ее вытащу, но что-то не идет у нас, видно не судьба, и прочее. Вышли, можно было еще погулять у моря, но она спешила на репетицию, да и ветер разгулялся. Опять же на работу пора возвращаться. В машине еще попиздели. Как старые друзья. Решили культурненько свернуть это дело. Тоже мне affairs. Аналогичный случай был у нас в Тамбове... С Леночкой, на телефонной станции.

Ох, хороша была, до сих пор обидно! Выскочит ночью из-под одеяла на звонки отвечать (ответственная!), ягодицы-ягодки впляс, лунным лучиком погоняемы, а-та-та лучиком по попке, а-та-та... И в Пскове тогда, записная ресторанная красотка на гостиничной кровати с клопами... Главное, смотрят на тебя со стороны. Остались где-то славный Псков, и бал в трактире привокзальном, грех коллективный, он же свальный, с полком гостиничных клопов... Хрупкий, однако, механизм. Получаюсь я по всем этим статьям слабачок. Да в каких — силач? Так что не во́йны бы мне воспевать, а сочувствие к людям, во.

А тут еще в последнее время стал на двор по ночам бегать, да и днем часто ссать хочется. Вчера Сонечке, лечащему, позвонил, жаловался. А сегодня вроде и ничего. И ночью не бегал. Жена утром замяукала: «Потрогай мне…». Пришлось приступить к исполнению. Такая настырная стала, и не чурается моих ухищрений, сама себя аж обслуживает. Вот это я люблю, самообслуживание. Даже возбуждает.

А еще в номере дверь в ванную была попорчена, с замком что-то, в общем, не закрывалась, я подергал-подергал, осторожно так, ну и оставил открытой, а она, когда мыться пошла, рванула, в сердцах, видать, и захлопнула. А обратно — накось, не открывается. Стоим голые по обе стороны двери и ржем. Кино. Бился над этой дверью, бился, на помощь не позовешь. Однако ж человеческий гений победил, разобрались с замочком.

Ученики с моих уроков (два последних) сбежали, за что я был им благодарен. Чуть посидел для виду в учительской и поехал в Яффо, на партсобрание. Тоже традиция: после ебли как раз — партсобрание. Народ постановил, значит, с Моледет[1], с Ганди, с последним правым, попробовать. Амикам это дело уже обделал со своими присными, устро-

[1] Правое политическое движение, главный лозунг — трансфер арабов.

ил их на всякие джобики: у Ганди ни партии, ни аппарата, ни парламентской фракции, а деньги есть. Потянуло и меня выступить. С места. Сказал, что, привязавшись к Ганди, мы и его отправим на дно, что будет весьма изощренной местью, так что я — за. Мой пьяный юмор (голова что-то кружилась) не оценили, да я и сам потом пожалел: отечество, можно сказать, в опасности, народ переживает, а тут какие-то дурацкие шутки с дурной ебли. Ветераны: Гершон, Вальдман были против, но предотвратить не смогли. Злые ушли. В общем, хана нашему «Возрождению». Да чего там, народ на всех парах рвется к светлому интернациональному будущему, а мы тут бубним про родину, независимость, состарившиеся пионеры, пионервожатые и звеньевые.

В субботу ты приезжаешь.

Ночью Вадик звонил, говорит: сижу, твои записи слушаю, реву в три ручья, и чтоб непременно еще напел и прислал, и о том, какие у него были летом романы, я обалдею, и что книжку издает. И я сразу затосковал по Москве, закручинился, затомился завистью: романы, книжки...

19.2. Неполадки с хуем. Страх. Супруге ночью приснилась летающая на ветру большая черная шляпа. С широкими полями. Хрестоматийная...

Встретились у Музея (рейс задержали из-за непогоды). «Пойдем в Музей?» — говорю, ибо боюсь. Подняла на смех. «Что ж я новое английское белье для Музея надела?» Пришлось приступить к исполнению. По полной программе. Ритуал в «Рамат-Авиве»... Там уже дерут 170 сикелей. Прошло успешно. Хоть в решительный момент я было дрогнул. Белье помогло, голубое, с причудами, трусики с разрезом, снимать не надо. На следующий день ритуал в Яффо, закусон у Дани-рыбака. Почти никого. Море изумрудное. Солнечно. Чаек до хера. Все крутилась у стола кормящая сука, похожа на гончую, худая, рыжая. Мы накидали

ей турецкой просахаренной хуйни, что к кофе у них подают. Кофе сносный. На следующий день я ездил на базу, на этот раз за освобождением от милуима, кончилась моя служба отечеству. Опосля подхватил ее по дороге и поехали в Музей, завершить ритуальный цикл. Там выставка Маппельфорпа. Здорово. Особенно этот хуй с иголочки, во фраке хуй. И цветочки, как хуечки. Полное охуение. Авангардно. Потом зашли в буфет, опять же никого. Бутылочку винца полакали. Ну, меня и понесло...

Говорят, народ переживает, когда из армии увольняют. Как бы списали тебя в беззубые. И правда, если вспомнить, то больше было интересного, и люди симпатичные попадались, да и многие годы единственное время было, когда почитать удавалось.

25.2. Буфетчица Мальвина. Крутобедрая. Лицо — забрало. Равнодушие и отгороженность особенно распаляют. Рассказал тебе про артистку. Не все, конечно. Но о травме поведал, плакался. И вообще распоясался. И вдруг вижу Н., с какими-то мужиками к буфету спускается. Заметила ли? Врассыпную, перебежками, удрали. На обратном пути девочку потянуло в лес. Мягко отклонил. Потом в пардес[1]. В парадайс. Отклонил. Возникла напряженка. Да, а еще в разгар пьяненького, истеричного откровения в буфете сказал, смеясь, что в отличие от некоторых случаев, имевших место быть в прошлом, я на этот раз рад твоему приезду. Врезал. А за что? И ведь главное — чистая правда, рад, аж до слез расчувствовался, опять же портфель такой красивый подарила, как родная. Мой-то уж совсем развалился. Ну вот. Сказала, что хочет просто погулять, сказала, что не может так вот уйти, должна проветриться, в общем — шокинг. Но я был непреклонен. Становишься вдруг удивительно твердым, когда не стоит. Сказала с упреком: «Ты

[1] Сад, роща плодовых деревьев (*ивр.*), в том числе и Райский.

должен был тогда (когда в первый раз встретились, и я предложил Музей вместо гостиницы) настоять на Музее». Я виноват. И еще корила себя за то, что «не прочуяла». «Как это я?!» — возмущалась собой.

В пятницу обычная карусель: школа, потом ученик, потом младшего в консерваторию, ожидание трехчасовое в садике напротив: проверяешь контрольные, готовишь микропроцессоры, газетку почитаешь, поглядишь рассеянно на детей, старушек, собак. Вдруг пасмурность. Укрылся в машине. Из приемника тонко-тонко скрипка. Медленно. И рояль всхлипывает. Тени побежали по лобовому стеклу, то ли испуганных птиц, то ли листьев. Молодой черный кот озабоченно протрусил. Качнулись деревья. Высыпал дождь. Редкий, тяжелый. И тут же стихло. Никак небо не разродится. Наконец, прорвало. Порядочный дождик. А скрипочка все вытягивает свое тонкое, будто девочка-циркачка по лунному лучу, как по канату, бежит... и ягодицы-ягодки пляшут — дразнят...

Даже с супругой нерешительность завелась. Напугал ее, что «есть болезненные явления». Но все равно утром ссильничала, правда, осторожно, интересуясь, не беспокоит ли.

В день первый, после работы, встретились и поехали к морю. Гуляли вдоль берега, пока солнце не село. Извинялся. Ты тоже. Дал рукопись. Взобрались на вышку спасателей, а тут — прилив. Отрезал от суши. Пришлось разуться и по холодной воде... Отлегло немного.

В день второй А. вдруг захотела «поговорить». Работа кончилась, слава Богу, раньше, встретились в Яффо. Гроссмейстер не баловал разнообразием дебютов. Пообедали. Несла что-то житейское. Про конфликты в театре. Приглашала на премьеру. Не могу, говорю, семейное мероприятие. Странные отношения. Ничего общего, и такие конфузы

жуткие, а поди ж ты, прилепилась. Да и меня ужасно тянет. Озорством влюбленности в молодуху. Сказал, что на два дня уезжаю. С приятелем. «Хорошо тебе», позавидовала.

Еще Д. вдруг позвонила, напрашивалась, и голос ее — чудеса! — всколыхнул, как ленточку у орангутанга, но в струну не натянул, не сыграть. Супруга чует что-то неладное. Объясняю неполадками. И вправду, нишбар ли азайн[1].

В день третий с утра поехали в горы. За Рамле, у старой дороги на Латрун, есть миндалевая роща. Будто бледно-розовый дым висит над склоном в раме вспаханных полос чернозема. Отцветает миндаль. Розовые цветки и черные, мохнатые орехи. Шов с язычком. Ни дать ни взять — пизда черная. Над нами хрупкое солнце. Холодно. Весна в Иудее. Поднимаемся к тамплиерам. Вокруг камни дырявые, похожие на черепа. Декламирую свое старое: «мы поднимаемся в дурмане медуниц по козьим тропам в келью паладина, сад черепов, фиалки из глазниц, как рой птенцов дивятся на руины...». Останавливаемся, обнимает меня, целует. И вдруг такая тошнота подступила от этой декламации, от стихов этих отвратительных, какие-то дурманы медуниц ёбаные, — хоть два пальца в горло вставляй извергнуть рвотные «руины», мерзкую слизь изжеванных рифм... И ее поцелуй погрузился в это дерьмо, как в сургуч, припечатал, ох!.. Свернул с тропы и сел на камень у оливы. Ствол — будто несколько деревьев в канат скрутили. Корни похожи на корявые пальцы старика, изломанные артритом. Она моего состояния не заметила. Стала фотографировать. Между тем отлегло под оливами. Продолжили подъем. И вдруг — малиновый звон. Латрунский колокол в синее небо молитву пролил. Стояли, слушали.

А вот и келья. Тут был КП Арабского Легиона. Траншеи вокруг заросшие. Трава шумит. Ветер сильный, аж

[1] Зайн — болт (*ивр*. сленг), звучит грубовато, но до «хуя» не дотягивает, нишбар ли азайн — вроде «хрен сломался у быка».

посвистывает в бойнице. Растолстела. Пока распахнешь всю эту фортификацию. Опять же интифада[1] вокруг... «Не болит?» — ехидно интересуется. «Не болит, — пыхчу, — не болит». Пистолет на каменном подоконнике. Остроносый профиль, вырезанный светом из узкого окна, вызывающе вздернут. И зад крутится, как на вертеле. Бусурмане в соседнем овраге трясут оливы, а толстые их бабищи сидят на белых коврах и перебирают маслины, что-то веселое напевают.

Потом в монастырском дворе посидели, перекусили. И дальше, в Ерушалаим. Захотела на новое здание Верховного суда посмотреть. А здание Страшного, говорю, осмотреть не желаете? Всему, говорит, свое время. Прошлись суровыми анфиладами. Посидели в саду японском, с ручейками да камушками. На зеленой лужайке, залитой солнцем, прямо против Кнессета, старушенции китайской гимнастикой занимались. Грибной дождь накрапывал. Потом зашли на выставку фресок из Помпеи. Орнамент хрупкий. Сразу видно, что прогнило все. На обратном пути мелькнула мысль об отеле, но решил не корячиться.

На следующий день лил дождь. Тебе захотелось в Капернаум. Поехали. Пока из пробок выбрались, пока до привала за Афулой доехали — почти час дня. И дождь. Мало, говорю, времени. Лучше завалимся куда-нибудь? На стоянке посоветовали в Бейт Кешет, рядом, за Фаворской горой. Хорошо бы на гору подняться, да побоялся, что старичок «Форд» не потянет. Он и так у нас герой. На заправке какой-то старый осел, паркуя за мной, чуть не раздавил мне ноги, еле успел выскочить, а он, эдак медленно, сонно, на тяжелом «Аплюзе» въехал мне в многострадальный бампер. Некогда было пререкаться, да и следов оставлять не хотелось — содрал я с него сто шекелей (больше, скряга, не дал, хоть убей), и дунули мы в Кешет. Фавор был над нами, сосок собора на вершине лизала туча. Юная зелень лужаек.

[1] Восстание (*араб.*).

Кибуцники оглядываются на нас, поспешая в столовую. А мы влезли в номер и занялись, наконец, делом. Я был в ударе, временами даже трогал за живое, так что тебе изменяла столь ценимая мною сдержанность. Ценимая именно за эти редкие, но ужасные измены. Хлынул настоящий ливень. Ты читала рукопись, хвалила, даже восхищалась местами. «А почему мое любимое не включил: ты теперь за тридевять земель, я лег в дрейф, вернее сел на мель, жаль страна моя не широка, один пруд, один гора, адын река?..» Пожал плечами.

Когда поплыли обратно, цвет мокрого асфальта сливался с цветом неба, так что казалось — мы действительно плывем, поднимаясь вверх, утопая в свинцовой, переливающейся бездне. «Смотри!» Обернулся — над горой Преображения стоял двойной нимб радуги. Никогда такого не видел.

Ездил с Володей и Рут в Ерушалаим, на постмодернистскую тусовочку в змеином питомнике. Вонь страшная. Периодически, изменившимся лицом бежал. Во двор, в пьянящий иерусалимский холод, в дождь. Собралась дюжина избранных. Женя, сторож питомника, добродушный бородач, демонстрировал свое царство: играл с лемурами, тетешкался со «злой енотихой Катькой», дразнил крокодилов, бросал колбасу пираниям и — гвоздь программы — вытаскивал из клетки кобру, упиваясь дружным ужасом постмодернистов. Это были его последние дни в питомнике — деньги на него, доктора зоологии и завзятого змеелова, у еврейского государства кончились. Постмодернисты лежали на коврике посреди террария-вивария причудливым клубком и потягивали винцо. Ротенберг делал зарисовки. Дана была в смелых обтягивающих черных рейтузах, Некод — в мышиного цвета шляпе-горшке, а ля художник. Володя читал свой трактат о Змие, все читали что-то посвященное змеям. Позднее явился Генделев в тройке, с молоденькой девицей. Перекошен. Говорит, как покойный Папанов, полуртом.

В склепе Авраама в Хевроне врач Барух Гольдштейн расстрелял басурман, увлекшихся молитвой. Сам погиб. Совершил то, о чем грезилось горячечными от ненависти ночами. Надеюсь, что этот герой — не последний. Тогда народ еще жив, тогда мы еще повоюем. Народ жив геройством, а не расчетом. Спираль террора пошла на новый виток. Вниз, к гражданской войне. Становление каждой нации проходит через эпоху гражданских войн. Если левую сволочь не обезвредить, накрыться Третьему Храму большой арабской кусищей. (Кус — «щель» по-арабски.)

По ТВ — интервью с Моравиа. Загорелый, седой старик в белом пиджаке и голубой рубашке, с шарфиком на шее, сидит спиной к морю и скалам Капри, виден заборчик у обрыва, край стола, трость в руках что-то вытанцовывает. Поток сознания о болезни и писательстве («Камю и Сартр написали похожие книги, но на десять лет позже, просто потому, что я десять лет болел и не ходил в школу»), об Италии, о тяге к самоубийству в юности, о Прусте, о фашизме, о сексе, о немцах, которых тянет в Италию, о Дюрере, об экспрессионистах, как истинных выразителях немецкого духа, о Петрарке, который писал, что любовь всегда пытается оседлать коня смерти, о стихотворении Ницше, которое он взял эпиграфом к своей книге «Отчаяние», о том, что глубина наслаждения несравнима с глубиной страданий, которая только вечностью утоляется, что Малера это стихотворение вдохновило на симфонию, он говорил ровным голосом, как о давно знакомых вещах в доме, или друзьях и делах, знакомых нам обоим, и мне казалось, что это мы с ним сидим за столиком кафе, высоко над морем, на Капри, красотища кругом, ветер шевелит его седые волосы, трость приплясывает, и это мне он объясняет: «...смысл, наверное, в том (о своем романе «Отчаяние»), что самоубийства быть не должно, что нужно жить в отчаянии, более того, отчаяние и есть смысл и даже наслаждение нашего существования…».

1.3. Пока пули Гольдштейна тяжело ранили peace process. Авось сдохнет, падло.

Сегодня А. захотела, чтоб мы «где-нибудь посидели». Но я увильнул. «Поменялись ролями», — улыбнулась чуть горько. В общем-то, жалко ее почему-то. Похожа на мышку. А я люблю белочек.

С супругой мужественно выполняю свой долг.

10.3. Лондон. Завлекла меня в забегаловку с пиццами и прочей ерундой. Хозяева смахивали на марокканцев. Успокаивала меня, что, мол, итальянцы. Но я был сильно обеспокоен: посреди полюбившегося града, в музейной белокаменной тверди величайшей из последних империй встретить этих юрких, курчавых, нагловатых. Да еще выложить за такое удовольствие 10 фунтов вместо рассчитанных пяти — явная прореха в бюджете. Тут струна и лопнула. Я разъярился. Было сказано все, что иногда сказать надо, и чего не надо говорить никогда и ни при каких. Атмосфера праздника была бесповоротно отравлена. В то утро мы гуляли в Рейнджер Парке, я искал твой мостик, нашел какой-то, ивой завешанный. Было морозно и солнечно. Потом вышли на Бейкер-стрит, еще пустую (как субботняя тель-авивская), и тут супруга вспомнила, что надо бы зайти в «Макс-и-Спенсер», отовариться: подарки и прочее. Все прочее вылилось в оргию покупок на два часа. Когда пришло время расплачиваться, выяснилось, что «Визу» они не принимают (Господь не захотел моего разорения). Мы перешли на другую сторону, в «Си-анд-Ди». Там было дешевле, но я уже устал от этой суеты примерок. С усталостью пришла злость на ненавистную беготню по магазинам, непредвиденные расходы, пришла и легла на дно. А вечером эта забегаловка с марокканцами. Ну вот и...

Проснулся ночью в 2.45. Вспомнил свое юношеское «Я жил лишь славой и войной. //Поля несбывшихся сражений!// Лишь цепью мелких поражений// отмечен был мой путь земной». Стал думать о компромиссе, о том, что он вро-

де бы жизненно необходим, но как глобально, судьбоносно губителен! Вот я, всё ведь живу, уступая. И, уступая, отступаю все дальше, все глубже в гущу пошлости, отдаваясь собственной посредственности. Вот уж и совсем буржуа, почти благополучный: жену в Лондон повез выгулять. А книг совсем не читаю, на картины в великих их галереях смотрю, как птица, и корма не вижу. Так, думаю ночью в Хамстиде, и народ. Ему благополучие подавай. Но у благополучных не бывает истории. Только слава или горе — история. Славы нам, с нашим миролюбием, не видать, а вот горем, глядишь, и вновь бытие свое пакостное искупим.

20.3.94 Гуляли по вечернему субботнему Лондону. Сохо, Чайна-Таун. Жена балдела от магазинчиков, ресторанчиков, толпы, от омерзительного колорита крысиной возни в помойке, а я, брезгливо обходя блевотину на тротуаре, битые бутылки, рухнувших пьяниц, покорно тащился за ней. А ночью — кошмарный сон: А. призналась мне, когда я вернулся, что отдалась Гутину. О, это было отвратительно! Вспомнив сон, я рассмеялся. Жена сказала: «Я знаю, чего ты смеешься». Ее самоуверенность меня разозлила. Чуть было не сказал: «Спорим, что нет?!»

Задумал пьесу. Пирр, царь Эпира. Неугомонный воитель. Это не могло быть только тщеславием — слишком много риска, в тех войнах полководец не мог избежать участия в битве. И погиб от камня, брошенного с крыши дома, при штурме какого-то занюханного городка. Спор с Кинеем. Когда Киней говорит ему, ну хорошо, завоюешь весь мир, а дальше что? А дальше, говорит Пирр, мы будем проводить время в веселых пирах, за мудрой беседой и чашей доброго вина. А Киней ему: «Что же, о царь, мешает нам это делать сейчас?» Да, что мешает?

Пир сладок, как награда за победу в войне. Просто пировать, тряся мошной — гниль. Или истерия. Истерия бесславия. Война, если она не выбор воли, есть наказание за

праздность и лень. Мир, купленный ценой компромисса, есть самоунижение, самоуничтожение. Любите войну. Любите, любите войну — вот правда Пирра! Нам только в битвах выпадает жребий. Наша доля — тягаться с судьбой, а награда — хмель победы и сияние славы. Благополучие мира не только временно, оно мертвяще скучно и особо отвратительно своим самодовольством, упоением якобы мудростью. А мудрость в героизме. В миролюбии же — только шкурничество, малодушие, или предсмертная примиренность с судьбой. Так должен был бы ответить Пирр. Если бы он больше любил рассуждать, чем сражаться.

Завоеванное дурманит победой, дареное — любовью, ворованное — похотью, от купленного же — по́том трусоватого трудяги несёт.

— Ой! — кричит жена. — Посмотри, белка!

Из кухни есть дверца в ухоженный садик, там белки шныряют, и коты нежатся на скамейках.

Хотел зайти к Китсу в последний день, рядом, через улицу, но — говорят, не откладывай напоследок — пошел сильный дождь, и я отступил. Простой домик, вроде дачи, спрятанный за деревьями. Напомнил домик Надсона в Ялте.

23.3 Позавчера вернулись из Лондона. Впечатления пошло-туристские, никаких поэтических. Только сильная ссора посреди путешествия (от усталости, скаредности, раздражения за «туризм») вдруг пробудила ночное вдохновение злобы. Если нет вдохновенья, рождается стих возмущением, Ювенал, кажется. Под утро снилась борьба с водой, я долго и нудно куда-то плыл... Вспомнил лондонский сон: я возвращаюсь, и А., совершенно этим якобы удрученная, рассказывает мне, что пришлось отдаться — замучил приставаниями — мерзкому Гутину. Это ты меня тогда травмировала, рассказав, как решила уступить домогательст-

вам того поца, что проходу тебе не давал в школе и нас выслеживал, как поехала с ним в отель, но он якобы не смог от волнения, помню, что это меня разозлило, будто мне важно, смог он или не смог, а не то, что ты, с таким... А может, ты про свое чувство омерзения и тягу к блевотине сочинила, может, не так уж он был плох в деле? Почему-то ужасно было обидно. Что *это* просто выклянчить можно. Ладно еще, если женщина достается, как Ларошфуко стебался, не самому достойному, а самому предприимчивому, а тут получается, что самому занудному.

Да, парки в Лондоне хороши. И цветет все, яблони, вишни. Англичане по случаю весеннего солнышка полуголые бегают, плюс восемь-десять, а я в лыжной шапочке, холодина. Взрослые дяди пускают кораблики, яхты с дистанционным управлением в пруду перед Кенсингтонским дворцом.

Суетился с машиной, оплачивал счета, письма́ от тебя нет, но есть от Миши. Жалуется на болезнь. Учит композиции, пишет, что «ты выглядишь прекрасно» — слишком сильный жест, что чересчур много сарказма вообще, советует писать тексты о героизме — увлекло. Взял Плутарха, о Пирре почитать, и, листая, наткнулся на описание прогулки Ганнибала с его победителем, Скипионом Африканским, они, гуляючи, судили-рядили, кто первый полководец, ну совсем как поэты. Сошлись на Александре. Пирр — на втором месте.

В Лондоне вернулась молодая похоть, а дома все опять куда-то исчезло, А. на уме, маюсь, хочу позвонить, но никак не решусь.

Сейчас позвонил (9 утра), спала после спектакля. Голос сонный. Разговор ни о чем, так, как дела, но голос, будто опять влюблен.

Вчера вечером смотрел «Воспоминания о поместье Хауэрд» Джеймса Эйворна, добрая старая Англия, из доб-

ротных романов Форстера, добротных, как хорошие английские костюмы (с хуем навыпуск у Маппельфорпа), и захотелось написать такой же, про нашу встречу на пляже в Юрмале, и что из этого потом, через 25 лет вышло...

В Гайд-парке, в галерее «Серпантин» была выставка швейцарца (еврея?) Маркуса Райтца, случайно забрели и не пожалели. Вроде авангард пустопорожний, а вот поди ж ты — изобретательно, издевательски изящно! Да и что такое искусство, если не изобретательность?

Статья Каганской в «Окнах», «Жертвоприношение Баруха». Прям космогония. Нашим уездным комсомольцам невдомек, они ее даже не переводят. «Вернул историю в мистерию». Собственно и «возвращать» не надо, история и есть мистерия, или ее просто нет. И что дурманит: волшебство поступка. Страшного, бесповоротного. Не чудом жива вера, а подвигом, жертвой. (У рыцарей-паломников последний аргумент правоты — право на поединок.) «Нас в трусов превращает мысль». Нет. Мысль только оправдывает трусость. А в трусов нас превращает неверие, сомнение. Не уверен, не убивай.

Но мне, мне как примирить, как увязать свою болезненную влюбленность в волю творящую с тотальным неприятием веры, какой бы то ни было, во что бы то ни было?! Ведь если лелеять сомнение — откуда возьмется воля?

13.4. Взорвали еще один автобус. А этим весельчакам хоть бы хны. Министры крутят заезженные пластинки: мол, и при Ликуде такое бывало (стало быть, кошерно[1]), мол, будем воевать с террористами до конца (ад хурма), а главное «мы продолжим процесс несмотря ни на что». Народ взял на абордаж все пивные и рестораны — независимость празднует. Терезинштадт веселится после очеред-

[1] Согласно религиозным предписаниям.

ной акции. Пора сматываться. Вот только куда? Бороться? С кем? Со своим же народом? Да чем только его не пробовали. А он все тот же.

17.4. Читаю дневник Дали. Задиристое стремление к эпатажу всей этой компашки ниспровергателей (помню их совместный с Бунюэлем фильм, который мы видели на выставке «Молодой Дали» в Лондоне, где муравьи копошились в ранах) раздражает своим мальчишеством. Там, где Ницше кожу на себе рвал, они только язык высовывают. И эта тяга к коммунизму. (Жаль Рябой до них не добрался, не дал им своих подвалов понюхать.) Раздражают кокетливые игрища в «вызов обществу» с тайной претензией на роль властителя его дум, с соответствующим социальным статусом, разумеется. Дали аж волосья от своих усов продавал, то есть врал, что от усов, просто щетину какую-то. «Битлз» за 50 тыс. долларов такую щетину всучил, любил бунтарь денежки, не велик грех, конечно, но зачем же стулья ломать? И сюрреализм его мне не нравится. Вымученные иллюстрации к Фрейду. Хотя рисовальщик был феноменальный.

Сюрреализм вообще — тупик.

Художник любит о спасении души порадеть. Уж очень хочется быть и жрецом и магом одновременно, желательно с ритуальной дефлорацией девственниц. Он жаждет творить миры, подвластные его воле, верит в свою божественность, в свое величие. Ну да, а заодно и в величие человека. Ведь если признать, что «каждый человек — поэт», как сказал Шлегель, то поэт-профессионал получает над обычными людьми преимущество («я такой же, как и все, только лучше»), а стало быть, и власть. Ловко? Посмотришь на тусовочки поэтические — чем тебе не собрания тайных сект, с поэтами-гуру и восторженными девицами, «обожающими поэзию», поэты дерутся в клочья — победителя ждет гарем.

Демократия — право сильных на власть, вместо прав наследственно-родовых, по крови, или духовных, по святости. Грубо, но честно. Честно, но грубо...

Однако и надменный аристократизм, презирая слишком человеческое, становится смешон своей высокопарностью.

Куда делся героический энтузиазм юной буржуазии? Пафос трудолюбия, познания, преобразования, интеллектуальной прямоты, свободы, презрения к иллюзиям, страсть к походам, открытиям, свершениям? Кругом усталость, сибаритство, интеллектуальная лень, бегство в примитивную мистику или разгул фиглярства. Жди новых варваров, вооруженных дикими мифами. А нам и ждать не надо, вон они, уже пришли, стучат в ворота́.

25.4 В четверг встретились с А., на нашем обычном.

— Может, пойдем куда-нибудь? — завожу неуверенно.

— А куда? — так же неуверенно.

— Ты в Музей хотела? Можно в Музей.

— В Музей? — без энтузиазма.

Я усмехнулся. С этим музеем...

— У тебя когда репетиция?

— В четыре.

— Может, это… как в доброе старое время? — хмыкаю от неловкости.

— Ну давай, — неожиданно, хоть и не очень твердо.

По дороге опять дрейфил, но почему-то был уверен, что так или иначе на этот раз выйдет. Кондиционер в номере грохотал, как танк. Не спеша разделись, приняли душ. На ней осталась длинная майка. Сел рядом, целую-обнимаю. Как всегда недвижна, руки над головой — сдается. Взял ее руку и положил к себе на шею, мол, обними. Рука легла на плечо, расслабленно. Сразу воспрянул. Но под майкой оказались трусы, непредусмотрительно. Пока снимал, опять ушло-уползло, легло на ступени. И все время

страх-досада, что не выйдет. Тыр-пыр, никак. Разозлился. Лег рядом и так же руки над головой — сдаюсь. Положила мне голову на плечо. На этот раз без прически, просто короткие мягкие волосы. Механизм оживился. Поспешил внедриться, carpe diem, ну, а там уж — все путем. Раскочегарилась. Я торможу, приостанавливаю, по дальневосточной методе, мне спешить некуда. Но ей не до ухищрений, требовательно взяла обеими руками за задницу и давай заталкивать, и сама вся навстречу натягивается, бежит, все быстрей, все злее. Ну, не выдержал, сорвался. Не знаю, успела ли. Навряд. Но все же некоторое удовлетворение — получилось. И ей, кажись, полегчало. Началась болтовня о театральных интригах, кто ее там донимает, потом о гастролях. Потом вдруг иссякла. Полежали немного молча, обнявшись.

— Странно, — говорю.

— Что?

— Все время о тебе думаю, мечтаю, а как встречаемся... стена...

— Так и помрем, — ухмыльнулась.

— От-чуж-денные, — припечатал я, и заржал в легкой истерике.

5.5. По TV была передача о Гитлере. Он сказал немцам: либо вы станете героями, либо погибнете. То есть, если вы не станете героями, то мне наплевать, что вы погибнете. А ведь и я так думаю. Не попал ли я в дурную компанию? И весь этот бред о героях — распоясавшийся инфантилизм? (Дали писал о «катастрофической доблести» и «неотразимой порочности» Гитлера. И не стеснялся того, что «в сущности, он задумал осуществить одну из тех немотивированных, бессмысленных акций, которые так высоко котировались в нашей группе».)

Помню, дядя Сёма рассказывал про гетто, как ему там справляли бар-мицву, что жизнь была почти нормальной: женились, детей рожали, работали, торговали. О политике

говорили мало, больше насчет «купить-продать». Ну, иногда были акции. Коммунистов и сионистов не любили, считали, что все из-за них, из-за их связей с партизанами, экстремизма, детских игр в подполье. Отец бил его за то, что водился с подпольщиками. Потом их укрытие, где они учились стрелять из огромного нагана без патронов, кто-то выдал. С двумя друзьями бежал в лес, к партизанам. Он один выжил. Родителей больше не видел. Все мечтал об Израиле...

Был сегодня на собрании в «Волчьем логове». На лестнице встретил Эвика[1]. Сбегая по ступенькам, кивнул рассеянно, потом вроде задержался, захотел что-то сказать? Но побежал дальше. Как-то у него шея укоротилась. Большой человек стал — делопроизводитель всего Ликуда, правая рука Биби.

В маленьком зальчике человек на сорок пахло революционным по́том. Народ был в основном из Тхии и Моледет, все наши кадры. Выступал Маца[2] (Юлик[3] дирижировал собранием), выступал как перед олим хадашим[4], про сионизм заливал. Народ, давно уже собаку на этом сионизме съевший, зубы пообломавший в партийных интригах всех партий (кроме левых), недоуменно переглядывался. Я тут же вышел. Заглянул в музей Эцеля. Вот френч Жаботинского. Шашка Жаботинского. Бинокль Жаботинского. Компас Жаботинского. А странно, что еще не ходят анекдоты про Жаботинского. И про Бен-Гуриона нет. Бен-Гурион спрашивает Бялика, а что, товарищ Бялик, можно ли расстрелять тыщонку арабчат ради грядущей победы сионизма? Можно, отвечает. Ну, а сто тысяч арабчат можно расстрелять ради

[1] Авигдор Либерман, политический деятель, начинал в Ликуде.

[2] Иохошуа Маца, политический деятель, член Кнессета от Ликуда.

[3] Юлий Кошаровский, борец за репатриацию, в Израиле — активист «русской» партии «Израиль за репатриацию», а затем Ликуда.

[4] олим хадашим — новые репатрианты (*ивр.*).

грядущей победы сионизма? Ну, товарищ Бен-Гурион, думаю, что сто тысяч... можно. Ну, а миллион, батенька, можно расстрелять ради грядущей победы сионизма?! Ну, товарищ Бен-Гурион, думаю, что миллион все-таки нельзя... А-а, вот тут-то мы, батенька, и поспорим! Нет анекдотов про Жаботинского, нет про Бен-Гуриона. А вот про Трумпельдора мне рассказывали, что у него правая рука не знала, что делает левая. (Однорукий был, для тех, кто не знает фольклора, потерял клешню на русско-японской.) Старые фотографии. Книги. А ведь недурственный русский литератор был, Владимир Евгеньевич, даже стишки лихо пописывал.

Народ, слегка озлобленный, покидал пионерское собрание. Началась обычная кулуарная болтовня, номенклатурные сплетни в клубах дыма, особенно усердствовали в курении дамы. Обменивались новостями, договаривались о встрече, обсуждали политическую конъюнктуру, шансы «русских», как Рамон себя поведет, если победит, я говорю: в родную Аводу на белом коне вернется, другие утверждали, что наоборот, если проиграет, вернется, а если выиграет... Вышел Юлик. Миловидная бойкая дамочка тут же втянула его в интервью. Завидно стало. Потом обсудили успехи общих знакомых, шансы попасть на реальное место в списке, сетовали, что работа с олимами все равно не ведется, не научились ничему. Не с кем разговаривать, сказал Юлик, видать, дела шли не шибко. Мы с Левой и Толиком отвалили навестить соратницу Юдит, тут рядом, на бульваре Бен-Цви. У нее сын единственный, поздний (ей уж под семьдесят?) умер внезапно в Индии. Путешествовал. То ли наркоты наглотался, то ли болезнь какая экзотическая свалила, я не уточнял. В квартире толпился народ. Много молодежи. Цфоним («северяне», из «белых» кварталов). Красивый народ. Фотографии смотрели, из Индии. Разговоры о Гималаях, Андах, Сиэттле. Юдит держалась удивительно. Старая гвардия. У детей давно уже сиэтлы и гималаи в голове, а мы вместе со старичками все еще в сионизм играем.

А любовь-то с молоденькой актрисой увяла... Вчера уломал ее, сам не знаю зачем, увидеться, посидели у «Дани». Море брызгается. Кальмаров покушали. Поболтали о театральных интригах. И вдруг пошли постлюбовные откровения, что всегда была равнодушна к сексу, как только мужик проявлял намерение, что-то в ней непоправимо ломалось, то есть она никогда не артачилась, поскольку все равно, но к мужику этому сразу наступало охлаждение, только тот любовник, последний, сделал ее женщиной, она от него совсем голову потеряла, да и сейчас еще, и что я на него похож, она даже испугалась вначале... На прощание сказала, увернувшись от поцелуя: «Не грустите, юноша».

7.5. «Не грустите юноша»... А вот хочу и буду грустить...

Интересно, что я не чувствую с ней разницы в возрасте.

Копался в старых бумагах и нашел отрывок из твоего старого дневника. Мы тогда играли в такие игры, друг другу дневники читали и чужие письма. Будто готовились к сношениям эпистолярным способом.

В последний раз он читал мне свой дневник в Кейсарии. Это было два года назад. Мы отмечали наш общий день рождения. Пили французское шампанское и ходили смотреть лошадей на ферму, где задумали брать уроки верховой езды. Потом эта идея потеряла свою актуальность за неимением времени и денег. Сейчас я вспоминаю, что мне нелегко было смириться с этим. Я думаю, что если бы он хотел этого, как я, то непременно бы нашел и то и другое. Тогда он читал мне о впечатлении, которое оказало на него мое красное белье. Я купила его во Франкфурте, летом, и полгода искала случая предстать перед его сиятельством. Наконец Хозяин, от которого я это дело прятала, чтоб не возбуждать чересчур, куда-то упер на несколько дней, а мы как раз должны были встретиться после работы. Я приканала во всей этой прелести на урок, и чувствовала себя, будто

даю сеанс стриптиза, я была уверена, что ученики видят меня насквозь. Даже мел казался мне хуем, уж не знаю, как я отбарабанила в тот день. Но встретившись, мы пошли в кино. Он потащил меня в Синематеку, на «Битву за Алжир», и все шикал на меня, когда я норовила расстегнуть ему брюки. Потом долго объяснял, чем наша битва за Палестину отличается от ихней — за Алжир, да и поздно было, ему нужно было возвращаться. Когда мы шли к машине, пара старичков испуганно обернулась на нас. Я решила, что это оттого, что на мне красные чулки. Тогда он так и не узнал, что было под платьем. Он просто отвез меня домой, даже не свернул к нашей сторожке в пардесе. Видел Бог, как меня это взбесило. А теперь меня раздражает, что наши встречи превратились в постельные. Могла бы, конечно, и сказать, но ведь скучно все говорить. На то он и есть, чтобы самому все рюхать. Но он очень занят. И за меня «спокоен».

К чему я вспоминаю то первое чтение? Тогда все было о нас, а теперь — о них. Будто не она, а я его жена, а он жалуется мне на какую-то другую женщину, которую болезненно ревнует, и это единственное, что его занимает. А я, как жена понимающая, должна помочь ему освободиться от этого наваждения. Дабы отвоевать пару нервных клеток на его члене. Но я слишком хорошо знаю, что ревность не оставляет места изменам. И вдруг в меня вселился бес. Скорее всего, доконали хвастливые россказни об очередной подвернувшейся блондинке. Тут я, по мнению душеведа, поступила «психологически неоправданно». Не знаю, зачем я ему выложила про этого поца. Как он вынудил меня выслушивать его объяснения, как у него сохнет во рту и потеют ладошки, как, сидя в его вымытой до блеска машине, я казнила себя за то, что позволила ему свое заточение и представляла, как он ведет меня в нумера и там все это омерзение срывается, потому что этот мудак, по причине «повышенной чувствительности», ничего не может. Но у него ничего не сорвалось, и на обратном пути я едва не облевала ему всю машину. Через пару месяцев, когда ему вздума-

лось следить за мной, а я шла от школы к месту нашей встречи и шкурой чувствовала — что-то не то, ждала тебя на стоянке и вдруг заметила, что поц паркует невдалеке, заметив, что я его обнаружила, он удрал в супер, а я отошла к забору и там блеванула. Все, что тогда в машине не вышло. Пока я не уйду из этой школы — безобразие не прекратится. Я даже пригрозила пожаловаться его жене. Он, видите ли, уверен, что «нам было так хорошо», и вообще «нам не может быть плохо». Моя вечная беда в том, что я боюсь унизить, все пытаюсь что-то объяснить. Кому?! Зачем?

Я как-то с Д. попробовал, дал свой дневничок почитать, сказала: «Ты знаешь, я влюбилась в твой дневник... Да... Только меня смутило то, как ты привязан к ней... ты даже сам себе не представляешь... И вот я не знаю, что я между вами тут делаю…». Это меня порадовало, но опытов я не возобновлял. Еще она сказала: «А ты не боишься такое в столе держать?» — «У меня, — говорю, — жена не приучена рыться в моих бумагах». Посмотрела на меня, как на идиота, и печально качнула головой: «Ну, ты наивный человек».

Она ведь не знала, что ты мне письма ее отсылала.

«Вчера виделась с твоим Наумчиком. Твой отъезд его шибанул, он даже пригласил меня в «Пильц», интересовался, что ты пишешь, и вообще о тебе выспрашивал. Держал, однако, дистанцию, только глаза мерцали, как-то я бы даже сказала притягивающе. Пригласил через неделю в «Александр», поближе к хате. Как ты думаешь, выебет?»

А ты ей ответила: «Непременно выебет».

19.5. Чтобы прийти к власти, нужно овладеть народной душой. С народом — как с бабой, нужно его влюбить в себя. Нащупать чувствительные струны, слабости, страхи, детские мечты. Вот что делает человека вождем — интуитивное проникновение в народную психологию. Нерв нужно нащупать. А там — только держись за него, да дергай

в нужное время и с нужной силой, добыча в твоих руках. Вот левые нащупали: комплекс вины, до мазохизма, страх остаться без покровителя, и жажда «мира», чтобы оставили затравленного в покое. Ну да, и, конечно: будет мир — посыпятся денежки.

21.5. Ходил с А. на «Кику». Еще не признаёмся себе, что все кончено. Альмадовар мне нравился, я вообще испанцев люблю. Их похоть смерти. Что ж, по-прежнему ярко, но уже пережимает, повторяется, эксплуатирует приемы. Все хотел ее обнять, да не решался. На уровне циничного флирта не удержать, изломы декаданса не для нее. А «врачевать» — дело слишком серьезное для такого сексуального шалопая.

Очень плохо сплю, просто бессонница. На грани нервного коллапса. Новости виноваты? Трудно быть равнодушным, когда все катится к черту. Жидов в их же стране, по мнению английских стратегов — ядерной супердержаве на уровне Китая, свободно, как на разрешенной охоте, отстреливают, а им хоть бы хны. Биология победила идеологию (а что, могут быть другие варианты?). Сионизм, как идеология борьбы, как порыв воли, умер. Оползень резвящихся распиздяев накрыл последнюю крепость европейского политического романтизма. Только аулы Леванта еще беременны сагами мести. Податься, что ль, в муджахеды?

Дали автоматы «махмудам», как говорит генерал Лебедь, а теперь загони джина в бутылку...

...Помнишь последнюю фотографию на выставке Монпельчёрта этого, юмористическую? С зеркалом? Ты так и не сказал мне, чего ты всегда искал в женщине, а чего в упор не видел. И про Лондон не написал, ждал ли меня на горбатом мостике, под плакучей ивой?

27.5. Гос-во Израиль похоже на ладную яхту в бурном море, пассажиры которой от долгой качки забились вдруг в массовой истерике: «Остановите немедленно корабль! Хотим слезть!» А команда с капитаном в ответ: «О'кей, идем с морем на мировую. Не вечно же действительно с волнами телепаться. Даешь, братва, штиль!» Нечего сказать, бравые морячки.

2.6. Из реплик жены:

— Вот так я люблю, как будто у меня бейцим[1].

— Всегда так стригись (гладит «ёжик»). Ой, прям в матку покалывает!

Телефоный звонок в шесть утра. Миша. В сильнейшем возбуждении.

— Ну, Наум, так: ты — мужчина, я — мужчина?

— Ну? — забеспокоился я.

— Значит так, ты Нину помнишь?

И пошли совершенно жуткие откровения.

В конце:

— А тебе есть кого ебать?

— Ну, на крайний случай, — говорю, — жена есть.

— Ну а кроме?

Супруга рядом ворочается и шипит, злая, что разбудили.

— А кроме, говорю, — пьём Боржоми.

На следующий день сообщил, что издает книгу. Все написанное. Познакомился с совершенно чудесным парнем, я в него непременно влюблюсь, он вольный издатель, и вот издает его книгу, но испытывает финансовые трудности, так не мог бы я помочь? Так долларов 500? «Ого!» — вы-

[1] яйца (*ивр.*).

рвалось у меня, полусонного. Ну, 400. Сколько ты можешь? 200 можешь? Я ответил уклончиво, что, может, когда приеду, издам у него свою книжку. Он тут же взялся выяснить смету.

Когда я приехал в 78-м в Страну, народоначальником был недавно избранный Менахем Бегин, родом из Польши, уродец и фразер, обожаемый чернью. Он пришел к власти на волне недовольства партией строителей Государства, романтиков от социализма, быстро превратившихся в обнаглевшую от безнаказанности вороватую бюрократию, проморгавшую роковую для нации атаку Судного дня в 73-м. Истомившийся по народной любви в имперских темницах и революционных подпольях, он подписал с египтянами жалкий мир, уступив врагу Синай и срыв поселения. В 1982-м, по недомыслию и склонности к театральным жестам послал армию замирять Ливан, переоценив готовность граждан к малообещающим военным испытаниям. Армия увязла в партизанщине и интригах эмиров. После смерти жены в 1983-м выпал в осадок, и в таком состоянии правил государством еще с полгода, после чего, произнеся сакраментальное: «Больше не могу…», уполз в казенную нору в Рехавии, где еще лет восемь тянул полным отшельником, не только ни с кем, кроме семьи, не общаясь, но даже не покидая дома.

Что-нибудь в духе Светония... Вот у кого был лихой стиль!

Это я «Иудейской войны» начитавшись. Какая-то раздражающая бестолковщина, косноязычие, разбросанность. Чем-то отвратительно напоминает Эренбурга. Эта провинциальная, восторженная бесталанность, напыщенность, болезненная тяга к самооправданию, захлебывающаяся в тошнотворной искренности. Этому народу нужно править слог. Плутарха надо изучать в школе, а не Достоевского, глядишь, меньше будет истерики и больше самодисциплины.

8.6. Миша еще раз звонил, предлагал смету на издание в 1000 д., потом съехал на 400. Я мягко отклонил конкретное обязательство, мол, приеду — видно будет. Поинтересовался, как он собирается оплачивать телефонные разговоры? Говорит, подружился с каким-то американцем, замечательным, мне сразу понравится, который приехал бизнес делать и предложил ему работу. Потом позвонил (звонки в шесть утра, стабильно) и спросил: «Ты едешь теткину квартиру покупать?» Тут уж я на него рявкнул. А вчера опять звонил, и маме, тезисно:

— Берите ручку и бумагу, записывайте!

1 — решение принял самостоятельно.

2 — переговоры могут идти только об одной трети.

3 — в противном случае 168-й не отвечает.

Не иначе как братец Зюсик забеспокоился?

8.6. Утром отвез тестя в аэропорт. В Петербург отправился, бизнес делать. Бегунок под восемьдесят. По дороге: «У меня на съезде был разговор с Менахемом Бегиным. Я ему откровенно высказал свое мнение. Он не согласился». Далее шел затяжной бред об арабской рождаемости и как ее ограничить, о власти мапайников[1] в аппарате и как надо было с ними бороться, о слабости Бегина, ныне покойного. «Можно сказать, что я глядел на воду, но Бегин не согласился. Я был очень разочарован этим разговором».

Не люблю аэродромы, тоску нагоняют...

Позвонил П. Тон пугающе исповедальный. Так отдают старые, за давностью прощенные, карточные долги, перед тем как пустить себе пулю в лоб.

— Я хочу тебе сказать, давно уже, 15 лет хотел тебе сказать, что я тебя заложил.

---

[1] Мапай — Израильская Рабочая партия, социалистическая партия, сформировавшаяся в 30-е годы и правившая в государстве непрерывно со дня его основания и до 1977-го года.

— В каком смысле? — оторопел я.

— Ну, настучал на тебя. Вам-то уж было все равно, вы уезжали. Тебя так и так пасли.

— О чем настучал, я что-то не пойму?

— Ну, я же у вас был на отвальной.

— А что мы там, оружие раздавали?

— Ну не важно. Все. Теперь мы квиты.

— В каком смысле квиты?!

Этот, хоть от ума не горевал, но и вялотекущей, кажись, никогда не мучался.

— Ну, ты мне не захотел рассказывать про Тоську.

После того как мы подали, П. вдруг зачастил в гости, якобы тоже думая об отъезде, интересуясь подробностями об Израиле, как уехать, с кем связаться, если надумает. Я охотно делился с новоявленным соратником. Потом, уже накануне отъезда, он вдруг заявил, что ему на работе десятку прибавили, и он решил остаться. Я был в шоке и всем рассказывал эту поразительную историю о том, какие мелочи влияют у некоторых на судьбоносные решения...

А с женой его Тоськой вышла смешная история. Когда они приехали, мы их тоже «пасли»: квартира, работа, документы, курсы, общие советы и прочие дела по устройству. Она сразу мне не понравилась вкрадчивостью, закидонами типа «войти в ваш круг» и наглой сексапильностью. Пошла учиться на курсы банковских клерков. У Верочки, бабы с шикарным задом, муж, мерзкий, студенистый тип, служил в банке, в каком-то замызганном отделении, но зато замом управляющего, так вот, сексапилочка эта как-то подъезжает ко мне с особой ласковостью, мол, не мог бы я отрекомендовать ее этому студню, может чо насчет работы обломится. Я ей говорю, что с этой медузой двух слов в жизни не связал, так что моя рекомендация вряд ли ей поспособствует. Ну, она, видать, свои дорожки к нему нашла, потому что передали жене, что Верочка на меня обижается за то, что я ее мужа медузой обозвал, мол, Тоська ему рассказала, как бы в шутку, она к тому времени уже у него работала.

Ну, я жене и говорю, что такое, может и в шутку, но только в постели рассказывают. На что жена, конечно, заявила, что у меня богатое воображение, но выяснилось, что я «глядел на воду». П. застукал ее с этим банкиром, простил, и опять застукал, тут уж, видно разозлившись, она заявила ему, что он ничтожество, и что даже на работу его этот студень устроил, а у того действительно был дружок в профсоюзном комитете Электрической Компании. Ну и закрутилась разводная карусель. Банкир с дружком из профкома, оказывается, целый притончик организовали: олимок на работу пристраивали и трахали. Но не в этом дело, а в том, что супруга, еще до того, как все это раскрутилось, поделилась с кем-то моей проницательностью, все это по той же цепочке пошло обратно Верочке в зад, и П., видно по наговорам супруги, наказал нас лишением своего общества, я о нем ничего не слышал лет пять, пока он вдруг, ни с того ни с сего не позвонил: «Мне нужно с тобой срочно встретиться». Я сразу догадался, что он от чар супруги освободился, а заодно, наверное, и от нее. Повез меня в парк и поведал свою печальную повесть. Все это было так омерзительно и постыдно, куда ни кинь, что стало обидно за род мужской. И эта его тошнотворная откровенность... И опять я сдуру не понял, что он от меня хотел, чего вдруг решил поделиться? А он искал компромат. Слухи о моей проницательности навели недоброжелателей на предположение о моей осведомленности. Мои разуверения не принял, обиделся, решил, что я мщу. Так вот почему он сказал: «Теперь мы квиты»...

10.6. Евреи не народ, а сексуальное меньшинство. И их государство так же нелепо, как государство гомосексуалистов и лесбиянок.

...Мне очень нравится. Каждое в отдельности, и как всё сбито. Созрела птичка — отпускай. Оформление: когда-то ты послал мне фотографию, где Хеврон под снегом, так я подумала, что хорошо бы обернуть книжку в такую картинку, да еще с надписями на иврите?

Сообщи конкретные планы на лето, как только будешь знать числа. Я еще надеюсь на летнюю встречу, но травма прошлогоднего милуима не отпускает. Боюсь разминуться. И вообще всего боюсь, что нам мешает, страх парализует. Как-то особенно тоскую по тебе — сирень цветет, ландыши, душа разрывается от тоски по тебе.

18.6. В четверг на Шуламит 7 был вечер журнала «И.О». (Вроде ослиного крика.) Были редакторы, Дана с Некодом и Малер, несколько авторов: Тарасов, Шмаков, потом Бокштейн[1] неожиданно подошел. Почтил собрание Гробман с супругой. Как-то выехал на Дизенгоф верхом почти на осляти (на полудохлой пегой лошадке), закутанный в белую простынь (отмечали какой-то футуристический юбилей, столетие Хлебникова?), за что удостоился от Володи эпиграммки-кувалды: Не так давно смотрели мудака./Накрыт простынкою он восседал/ на кляче на стоящей./ Столь тонок замысел однако... и что-то там тарара.../ да и мудак подобран настоящий». Кузнец и наковальня непринужденно беседовали, честь и хвала. Ворон ворону глаз не выклюет, так, разве что поклюет немного. По ходу дела явился Ёси Тавор с чересчур яркой блондинкой, сразу полез целоваться, изображать кореша, будто мы в одном полку служили или одну бабу трахали. (Однако не на воду ли я опять посмотрел?..) Ну и, как водится, несколько случайных пенсионеров — всего народу с чертову дюжину. Какой-то развинченный массовик, содержатель притона по культработе с репатриантами, то ли от Профобъединения, то ли от Сионистского Форума, открыв «собрание», попытался развернуть дискуссию на тему: чем новый журнал отличается от других и чем оправдывает свое существование. Редакторами декларировалась эклектика, как последнее слово в постмодернизме. Прозвучало несколько приговоров (кто в нашей литературе настоящий постмодернист, а кто только

[1] Илья Бокштейн, поэт.

примазался). Я был явно примазавшимся и чувствовал себя несколько неуютно, хотя в последнее время упорно приучаю себя к мысли, что «эклектик» и «мудазвон» — все-таки не одно и тоже, ассоциация сия укоренилась в моем пролетарском мозгу еще в наивную пору любви к основательности, системности, и юношеских увлечений «серьезной наукой». (А любовь все живет в моем сердце больном.) Потому что, как говорят наши политики: а какова альтернатива? Соцреализм? Соцарт-трупоед, расположившийся в его могучей туше? А на свою эстетику Господь не сподобил. Вот и сейчас ёрничаю, что тоже, увы, как прием, затаскано. Нудный и неловкий ход метафизических прений нарушил Бокштейн. Он просто встал и стал читать свои переводы Малларме, сначала по-французски, а потом перевод. Народ, деморализованный эклектикой происходящего, отдал сцену. Когда появились признаки того, что чтение будет безостановочным, как транс планет, его усадили. Дали слово Тарасову. Володя, кажись, был подкуренный, уж больно возбужден. Потом читал Шмаков. Он сидел рядом со мной, русский человек с золотым зубом и фигурой портового грузчика, глаза на широком лице — две норы в голой степи, нервно курил. Стихи его мне понравились. Нежные ящерицы шарили в барханах, как в складках юбки... Познакомились. Рабочим сцены вкалывает в каком-то театре. Потом Бокштейн опять выскочил и стал жаловаться, что он только переводы читал, а это не считается, что вот он всегда такой, досадовал, вместо того чтобы свое читать — то переводы, то других поэтов, раз целый вечер читал Кропивницкого, просвещал, а сейчас Кропивницкого уже все знают, лучше бы свои читал. И стал читать свои. Слушать его громогласный, предназначенный площадям голос, читающий стихи, подходящие для шепота в ушко, — праздник. Но бунтовщика опять усадили — как же, Малер еще своей галиматьи не поведал. И Малер поведал. Потом Дана. Дана ослабла. Не чувствуется той эстетской пружины, с которой она явилась и удивила всех. Остались какие-то

сухие авангардистские побрякушки. Она была весь вечер раздражена, то ли все пошло не так как хотелось, и народу было мало (несколько пенсионеров, понедоумевав, удалились, Ёси Тавор, продемонстрировав блондинку, смылся почти сразу), да, как презентация, все это носило жалкий характер, даже прозвучали упреки, в адрес Володи в основном, что, мол, не мобилизовал, Володя приводил цифры, скольким он звонил. Решили все это дело чем-нибудь вкусным заесть, долго блуждали, пока не осели в «Шварме» на Кинг Джордж (Дана искала кошер), посплетничали вволю, отвели душу, кто на Гробмане, кто на Генделеве, когда время пришло расплачиваться, возмутились счетом, стали шуметь, торговаться, Володя яростно матерился. Я бросил свою долю на стол и, в очередной раз проклиная ночные гастрономические оргии, отчалил с супругой.

Читаю Флавия. Бедный Ирод...

Новое открытие в мире физики: шашни между Марией Кюри и Эйнштейном.

2.7. Тяжелая книга «Иудейская война». Оптимизма не прибавляет. Не народ, а пчелиный рой. Размагниченный. Поначалу изложение злит бестолковостью, но потом чувствуешь, что это — растерянность. И тошнота отвращения к собственному народу. Хваткая, неизлечимая. Уж не иду ли и я к тому же... Книга предателя. Но никакой (куда там!) эстетики предательства. Корчи самооправдания.

Ему хоть было кому предать, Рим все-таки, а нам кто остался, Ясер Арафат? Хафез эль-Асад?

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

«Моя тоска по всем кого я знавал в Багдаде,
подобна ветру, который не знает покоя,
и персидскому огню, который никогда не угасает».

ал-Хамадани

1.8. Корабль, накренясь и делая большой круг, снижался над каменистыми холмами, похожими на стадо гигантских черепах, вылезающих из моря. Панцири блестели на вечернем солнце. На этот раз я возвращался радостный. Москва разогнала кровь в жилах. Еще вчера я до ночи набирал с Белашкиным и Сережей Пушкиным книгу в их конторке на Сухаревской. Полуразрушенная лестница старого дома, дверь, будто топором изрубленная, но за ней железная, с кучей замков, открывают по условному отклику. Две обшарпанные комнатенки, с пустыми банками из-под пива в каждом углу, нашпигованы электроникой: новехонький компьютер, лазерный принтер, копировальный аппарат, телевизор, видео, всё «хитачи», полки с книгами по компьютерам, дискетами, видеокассетами. Пушкин, наборщик, периодически вылезал из угла, где работал с компьютером, и смотрел, похихикивая, американские мультики. Пару раз бегали в соседнюю чебуречную, расслаблялись чебуреками с пивом. По ходу набора мы с Андреем вычитывали готовые листы, «ловили блох».

— «Лавчонка» вроде через «о»? — этак вежливо, ненавязчиво, советуясь. И вообще он степенен, ненастойчив, нетороплив, иногда до раздражения, окладистая белокурая борода («русский витязь» — зовет его Миша).

— Да? — я уже обалдел от этой вычитки. — Вроде...

— Рука — ручонка... — продолжал он, осторожно взвешивая слова.

— Печка — печонка, — бухнул я.

Почтение к иностранцу, заказчику, ветерану жизни и прочая и прочая, не помогло — они прыснули. Догадав-

шись, и я рассмеялся, преувеличенно громко. Да еще покраснел небось. Тогда подмастерья просто загоготали. К часу ночи получил, наконец, лист с «содержанием». Отстегнул обговоренную сумму. Напомнили друг другу о дальнейших обязательствах и, полусонные, вывалились из прокуренных комнатушек на Садовое. Позабыв «добрые советы» (эх, последняя ночь!), я остановил, голосуя, старую черную «Волгу», сговорился с крутомордым водителем, глядевшим однако не без опаски, что вызвало у меня доверие, на 10 «тыщ» (5д.), неловко, впопыхах, попрощался с издателем и дунул домой. Встреча с Шаргородским не получалась, он пировал у себя в генеральской квартире на Остужевской и вылезать не собирался, а заскакивать к нему, как ни хотелось, было уже поздно. Доехали по ночной Москве быстро и молча. Иосиф расхаживался по комнате, неустанно обдумывая свою философию искусства.

— Тебе звонила куча людей, — и вручил аккуратный список. И тут же звонок: сестра Поля, запутавшаяся с отъездом, бизнесом, ссорящимися сыновьями. Жалобы в межзвездную пустоту. Потом короткие сборы, подведение финансовых итогов, поручения. Наконец, к двум, пошли на кухню чай пить. Иосиф был сильно возбужден, ломал пальцы. На днях ему было во сне видение: эстетическое векторное поле. Положив чистый лист на кухонную клеенку, он рисовал целую розу ветров и объяснял мне систему координат: вот ось теургическая, вот ось катартики, а это — ось аполлонической эстетики...

Опять заспорили, но из-за усталости спор шел вяло и часу в четвертом пошли спать. Заснул я только к утру, а в восемь он разбудил меня, как договорились. Думал что ли всю ночь?

— Знаешь, — говорю, — я проснулся с мыслью: а не разделить ли понятия искусства и красоты? А то и вообще отменить красоту? Создает ненужную путаницу. В конце концов, красиво то, что вызывает чувство восхищения. Нет никакого чувства красоты, есть чувство восхищения про-

изведениями, природой. Следует красивое называть восхитительным, потому что суть в ощущении, гармония тут, во всяком случае, ни при чем, если только не расширить это понятие до бесконечности, и тогда гораздо легче объяснить это ощущение, имеющее много причин, чем совершенно непонятную «красоту».

— Красота доставляет удовольствие, но не в удовольствии ее природа, — подхватил Иосиф. — Платон, однако, зря считает удовольствие бесполезным. Удовольствие — есть путь примирения с миром, ибо жизнь трагична и чересчур серьезна.

— Во-во, примирение. Если задача искусства вызвать удовольствие от красоты, то искусство просто наркотик. Поэтому я удовольствию предпочитаю воодушевление. В красоте нет риска, вызова.

— Чай вскипел, — сказал Иосиф. Он выглядел усталым.

— Это у Платона: философия — цветок жизни? — не унимался я. — Тело — почва, личность — стебель, мысль — цветок. И мы идем путем зерна. А? Чувствуешь, какие к утру озарения?

— Место-то намоленое.

В восемь с четвертью позвонил Женя, заблудился, дом перепутал. Через пять минут явился. Привез письма, книгу для Игоря. Явился Берчик. Началось ржание. Иосиф наблюдал с изумление за нашествием. Пошумели, попрощались. Сославшись на больную спину, я всучил им тяжеленные баулы, набитые книгами, и мы стали спускаться.

— Веселей, ребята! Всем по стакану водки!

— Будешь хамить — не повезу, — кряхтел Берл.

По дороге уши прожужжал, в какой банк лучше деньги вкладывать, так увлекся, что чуть не врезались. Погода была солнечная.

Весь день звонил, разъезжал с поручениями. Потом в Москву докладывал о выполнении. Боюсь окончательно оторваться... Я раздвоился. Тень моя сиротливо бродит где-

то по Москве. Но это раздвоение не мучительно, а даже весело, будто теперь в двух ипостасях бытую. Долгие годы я кропотливо и мучительно выдергивал свои душевные корешки из России, приехав, с таким энтузиазмом бросился сажать их в новую почву, прививать, ждать свежих побегов, так радовался первым листочкам… Долгое время старое было отрубленным, и даже визит три года назад, засланцем Сохнута (славно, славно я тогда погулял за счет мирового еврейства) был именно визитом, каким-то кино, а не живым возвращением. А теперь все вернулось, жизнь вернулась и перестала быть разрубленной. Неужто возвращение всегда так благостно? И Иосиф, стало быть, прав?

5.8. Встречались с Ганди[1]. Всемером. Не дал рта раскрыть, часа два рассказывал исторические анекдоты (видать, не с кем молодость вспомнить), как Рабин его учил трансферу. Упрекал нас, что никто из Тхии не приходит. Потом дал высказаться по кругу. Арик намекнул ему, по старой обиде, что его нежелание пойти в блоке с Тхией на выборы, в расчете на провал Тхии, было, может, и точным расчетом, но страну поставило на грань национальной катастрофы, и что нас интересует не присоединение к какой бы то ни было партии, а объединение всех правых сил, так что мы хотели бы знать, как он смотрит на ситуацию в этом смысле. Я спросил, на какие лозунги он думает опереться? О трансфере лучше не заикаться, потому что сегодня речь идет только о трансфере евреев (от злости на него, на его принцип: пусть лучше маленькая партия, зато моя, на его болтовню двухчасовую бесполезную, тоже мне генерал, простое совещание организовать не умеет, я вошел в раж и пёр танком). Надо, говорю, менять установки, все и так знают, что мы арабов не жалуем, так что с того, кто их жалует? Народ желает знать, на каких принципах мы

[1] Израильский генерал, впоследствии политик правого толка, выдвинул идею трансфера арабов.

собираемся перестраивать государство, общество. Нужна срочная реформа армии, армия ожирела, прогнила, превратилась в гражданскую гвардию с насквозь политизированной верхушкой, нужно прекратить вмешательство государства в экономику, этот полусоциалистический, полупротекционистский режим, срезать налоги, сократить бюджет, даешь кадровую чистку госаппарата от левой сволочи!, даешь национальное воспитание! Вот на что надо напирать в пропаганде, а не на какой-то трансфер! Наше правое дело дышит на ладан! Народ растерян, равнодушен, деморализован, и Моледет ждет участь Тхии. Ребята, усмехаясь, переглядывались, у Ганди округлились глаза.

— Лама?! — выронил он, обалдев от моей наглости. — Откуда ты это взял?!

— Сами же сказали, что народ из Тхии не присоединяется, а ведь это основной резерв правых активистов. И в Цомете, и в Ликуде — везде наши кадры.

— Я получаю каждый день десятки писем поддержки, — перешел он в контрнаступление, — улица встречает меня, как никогда!

— Ну, — оборвал я его, — это результат любви народа к вам лично (вряд ли он подметил иронию). Но политическую партию на этом не построишь.

Ганди стал жаловаться на «масс-медию», что замалчивает его, дискриминирует, а сам чуть ли не каждый вечер на экране, эта левая шайка именно таким «крайним» любит слово давать, Геулу тоже раньше любили, им больше времени дадут чем Бегину-юниору, или Меридору, не говоря уж о Биби, Биби они рекламу делать не будут, а вот бубниле-Шамиру — пожалуйста, пусть хоть час бубнит, правым же хуже, Биби, впрочем, тоже чересчур серьезен, даже неестественен, и при этом обтекаем, осторожен, прячет ярость, и эта странная ироническая ухмылка, будто прилипла, мол, погодите, бляди, массивная челюсть, в облике что-то от бегемота. «В программе нашей партии все есть! — горячился Ганди, — я ее два дня писал, не отрыва-

ясь!», после чего отослал меня к соответствующим текстам, чтоб ознакомился, прежде чем языком трепать, а менять в этих священных текстах ничего не собирается, но у него партия демократическая, нам предоставляется возможность, присоединившись, влиять, менять и т.д. Народ, сорвавшись от нетерпения, заговорил наперебой, и собрание превратилось в то, во что неизбежно превращается любой сбор евреев — в местечковый базар.

После встречи мы еще долго болтали во дворе разгоряченные. Меня дружно осудили за резкость, но энтузиазма по поводу присоединения никто не выказал. Поздно вечером Арик позвонил и издалека повел речь, что, мол, все равно деваться некуда, а тут хоть что-то можно делать... Я сказал, что лучше ничего не делать, чем дурака валять. Хватит с меня этих игр с аутсайдерами. Политического авантюриста из меня не вышло. На приключения с женщинами уже нет ни душевных, ни физических сил. Так что остались одни интеллектуальные.

Позвонил утром в Москву Мише. Он обрадовался.
— Чего делаешь? — говорю.
— Грущу.
— Я тоже...

Смешно сказать, в нашем «правом» Возрождении было больше социалистов, чем в Рабочей партии, я как-то, еще перед прошлыми выборами, сцепился на эту тему в экономической комиссии с Эзрой Саданом, который снисходительно поучал меня насчет «особенностей» израильской экономики и израильской ментальности, мол, чистый капитализм чересчур жесток, а у нас много «слабых» слоев, те же репатрианты, которым государство должно помогать, ведь это ж для вас главное, подъезжал, гуманист хренов. Я ему говорю: помогать — не значит кормить бесплатно, а помогать встать на ноги, то есть обеспечить работой по специальности, капиталовложения нужны, а не

раздача похлебки, не лень следует развивать, а инициативу, чтоб не орали: «мне положено», а шевелили задницей, добывая хлеб насущный. Только, говорю, власть предержащие больше лентяев и дураков любят, они им «подкидывают», те за них голосуют — круговая порука. Он так вполоборота посмотрел на меня, спорить не стал, но с тех пор всегда при встрече здоровался.

Флавий о себе в третьем лице: «Сам же он, хотя вполне мог надеяться на прощение римлян, готов был лучше сто раз умереть, нежели изменой отечеству и бесчестьем возложенного на него достоинства полководца благоденствовать среди тех, которых он послан был побороть».

Готов был сто раз, но и одного раза не стал, а благоденствовал среди тех.

«Ничто так не воодушевляет на борьбу, как сознание безысходности». Спорно. Приговоренный на казнь не сопротивляется приведению приговора в исполнение, тут-то он ведет себя дисциплинированно. Целый народ пошел, как стадо на бойню, стараясь потрафить немцам своей дисциплинированностью.

Верник пригласил на ихнюю тусовку в среду. Вообще-то надо восстанавливать связи.

Мысль — рыцарь, вставший на смерть. Жизнь мучительна, мышление блаженно. Помыслить жизнь — вознестись над жизнью. В рай свободы и бессмертия. Но в этих блаженных прогулках есть какая-то грусть. Мысль возносит, но не может насытить.

Мысль — декаданс жизни. Мысль крепнет, а жизнь слабеет.

5.8. Отвел младшего к раву, тот экзаменовал его на знание отрывков и псалмов, полагающихся для чтения при

«восхождении к Торе»[1]. Рав Барух стар, говорит заплетающейся скороговоркой на полуиврите полуидише, подпуская рефреном русскую матерщинку, но глаза решительные, колючие. Младший мой музыкален, и в пустом зале раздавался его удивительно чистый голос, распевающий религиозные песнопения. И с этим льющимся голосом на меня неожиданно снизошло умиротворение. И грусть. Бывает ли умиротворение без грусти? Рав блаженно жмурился. Ну и, конечно, я подумал, что вот жаль, что отец не слышит. И сразу глаза намокли. Да и дед бы порадовался. И вся цепь отцов, до нас дотянувшаяся. Будто вся она нанизывалась сейчас на этот голос, пронзавший время. А может они слышат? Воскрешение отцов... Вот она где, катартика!

7.8. В субботу ездили утром в Герцлию, я спешил передать письмо Гены. Знакомая его живет в лагере репатриантов, в фанерном домике: две захламленные комнатушки, интеллигентный подросток с книжкой, муж выглядит затравленно, излагал идеи галстуков в форме карты Израиля, а также коробков спичек в виде библейских рыб, готов продать идеи, предлагал совместное предприятие. Московская интеллигенция, слегка опустившаяся. Страшно смотреть.

По дороге домой закусили в восточной забегаловке, где супруга хочет отпраздновать младшему бар-мицву. Обстановка ей понравилась. «Авира исраэлит» (родная израильская атмосфера). Любит забегаловки, балаганчики, рынки, где народ, как жирный сок из чебуреков стекает на пыльные мостовые, карнавальные оргиазмы. А я люблю башни из слоновой кости, для шума капищ недосягаемые.

На Севере настоящая война. Вчера двух солдат убили, одного — русского, обстреляли поселения, троих детей ра-

[1] Первое публичное чтение Торы в синагоге, часть ритуала инициации («бар-мицва») 13-летнего мальчика.

нило: катюша попала в детскую. Наши молокане объясняют, что это, мол, ответная реакция на недавний обстрел ливанской деревни, и извиняются: к сожалению, во время нашего обстрела были неточные попадания и невинные жертвы. И уповают на Сирию. Сирия нам поможет. Вот договоримся с ней на Голанах, она тогда уймет этих бандитов. И это говорят генералы! Командиры сильнейшей армии на Ближнем Востоке, а то и во всем мире, как они любят утверждать! Гнилой зуб — эта армия.

Заехали к Феликсу, он через пару дней в Москву возвращается. Бизнес его там идет пока хреново. Рассказывал байки о раскладах мафии в Москве, со знанием дела.

Тупею, впадаю в апатию. И спина разболелась...

Предпоследний день был посвящен Берчику. Встретились днем в «Книжном мире» на Мясницкой. На нем был элегантный светлый костюм в блестку, туфли колониальные, сумка через плечо. Смело улыбался, хоть зубы торчали старым расшатанным частоколом. Залысины.

— Ого! — обнял он меня неловко (выше ростом на голову) — Раздался в плечах?!

Громко смеялись, по старой привычке подкалывая друг друга. Поехали на Крымскую набережную в Дом Художника, там открылась выставка Дали (не скроешься от него), где, говорят, «новые русские» покупают безделки за тысячи долларов. Но на Дали была огромная очередь, и мы решили пойти на ретроспективу Поленова и на постоянную экспозицию «Советские художники 20–30-х годов». Перед штурмом высот духа сели отдохнуть на скамеечке. Солнышко пригревало. Посмеиваясь, перемывали кости общим приятелям, погрязшим в дольних заботах. Вдруг: «Слушай, вот тебе идея для бизнеса — можно продать пиломатериалы. Разузнай цены, требования рынка, а я тут…».

Его неизменно насмешливое выражение лица стало таким серьезным, что при слове «пиломатериалы» я, рискуя его задеть, буквально подавился смехом. Догадавшись, и он присоединился залпами захлебывающегося хохота. Давно я так не ржал, даже живот заболел от спазм.

Поленова мы прошли быстро, художник скучный. Побывал, оказывается, и в наших краях: знакомые виды, знакомые рожи на портретных этюдах к сюжетам о Христе. — У одного из таких этюдов кто-то чересчур близко подошел ко мне сзади и дыхнул перегаром: «Чой-то он все еврэев рисует? А где бэр-резки?»

— Березки в соседнем зале, — промямлил я, не оборачиваясь на голос и избегая международных конфликтов.

— Не, а чой-то он?!

У другой картины решительная женщина лет 30-ти, — в очках, утверждала, споря с седым-курчавым-нежным и собрав вокруг себя род веча, что Иисус часть из 10 заповедей отменил и вообще отменил весь Ветхий Завет, в который только евреи веруют. Не в силах снести столь вопиющее покушение на христианство, а, может, с тайной целью подавить духовный бунт молодой нации, я вмешался, назидательно процитировав: «Не нарушить я пришел, но исполнить», и запальчиво заявил, что Ветхий Завет — Святое писание христиан, как и Новый Завет, а также ехидно спросил, какие из 10 заповедей, по ее мнению, отменил Христос, уж не ту ли, где сказано «не убий»? Женщина сурово, но абсолютно хладнокровно, как опытный агитатор, заметила: «А вот вы почитайте внимательно Библию, небось не читали?!» «Я-то читал, — говорю, — а вот вам известны слова Иисуса, что ни одна буква в законе не прейдет, все исполнится, доколе не прейдет небо и земля!» Женщина нахмурилась, и тут я, наконец, узрел в седом-курчавом-нежном, споривишим с ней до меня, еврея и, вовремя осознав, что три еврея (вместе с Ешу) одну русскую дуру не переспорят, ретировался.

Потом мы пошли глазеть на советских авангардистов. Изрядно усталый, я упорно таскался от картины к картине, приглядываясь к Революции, как она смотрится почти через век, стихия свободы и сотворения мира. Филонов разил кистью с диким, неудержимым напором титана-каменотеса, вырубающего свой щербатый мир из томящихся скал. А для Тышлера мир обрел первозданную зыбкость, и он, зажмурившись, вкрадчиво, пробирался сквозь его затуманенность. Петров-Водкин взирал на буйства жизни с иконописной отрешенностью. «Петроградская мадонна» была хороша в своей горестной просветленности, прозрачности, будто в стекле окна отражалась, а стекло-то треснуло и трупы на улицах... Квадратногрудые Афродиты вставали из пены реминисценций. Сталин Георгия Рублева, кокетливо скрестив ноги, примостился в большом белом кресле на ярко-красном фоне, лукавый взгляд длинной, как змея, собаки у ног повторял лукавость, почти игривость взгляда Иосифа Виссарионовича.

На выходе заметил плакат: «Восстановим Храм Христа Спасителя — памятник воинской доблести и славы русского народа!»

10.8. Брожу с утра по комнатам. Переставляю книги. К чему свобода вам, еврейские мужи?

Вчера ездил с Володей в Ерушалаим. По дороге рассказал ему московские литературные сплетни, как поссорился Всеволод Некрасов с Дмитрием Приговым и последний теперь в дом Сидура не ходок (знаю, сказал Володя, мне Бренер[1] рассказывал, он недавно приезжал), о том, как Гандлевский давал мне читать свой роман, и чем мне этот роман не понравился, как свою книжку издавал, о Белашкине. В Ерушалаиме сначала потоптались у Малера. Пытался до-

[1] Александр Бренер, авангардный литератор, художник и скандалист.

говориться с ним насчет «Ариона» и «ГФ»[1], но Малер на сделку не пошел, нет, говорит, на поэзию покупателей. Я его тыкаю, а он — на «вы», что раздражает, выглядит недоучившимся семинаристом, но строг, «несет» себя. Купил у него замечательный памятник «Сиасет-намэ», книга о правлении визиря 11 — ого столетия Низама ал-Мулка. Пленился отрывком: «Бабеку отрезали одну руку, он обмакнул другую в кровь и помазал ею свое лицо. Мутасим спросил: «Эй, собака! Зачем ты это сделал?» Тот ответил: «Вы хотите отрезать мои руки и ноги, а когда кровь выходит из тела, лицо бледнеет, вот я и вымазал свое лицо кровью, дабы люди не смогли сказать: его лицо побледнело от страха». Перс Ал-Мулк был 30 лет визирем сельджукских султанов накануне крестовых походов. «Сиасет-намэ» (Книгу об управлении) успел закончить перед тем, как его зарезали асасины. Потом пошли к Дане, на день рождения Некода — чинная тусовка (а хочется бесчинств! — гремел Володя) с израильтянами, увлекающимися экзотикой русских духовных радений, с призывами Даны говорить на иврите, из вежливости. Некод снимал студию на третьем этаже заброшенного дома, оккупированного русскими художниками и художницами. Ржавые гвозди легко вынимались из белого камня стен, как из песка, вечерняя заря в окне догорала, неказистый квартал погружался во тьму, на стенах висели большие акварели Некода в обшарпанных оконных рамах, будто с разбитым стеклом, с Невой, решетками Летнего Сада, куполами Храма-на-Крови, и лицо, не то Монны Лизы, не то Даны, отражалось и множилось в цветных осколках. Мне вдруг понравились эти картины, и каталог, который листал и хвалил израильтянин, каталог даже больше. Дана — исчезающий вид бабочек. С того первого вечера, когда она залетела к нам в зимний Ерушалаим, читая томно и церемониально изощрения околевшей цивилизации, меня к ней влечет нездоровое любопытство не-

[1] Газета «Гуманитарный Фонд», издавалась Белашкиным.

доучившегося натуралиста. Принес ей на суд рукопись книжки в надежде, что возьмет что-нибудь в эклектический свой журнальчик, хотя и не очень рассчитывал: стихотворение о ней самой вряд ли ей понравится. Поделился опасениями с Володей, но Володя стих одобрял: «Ну и дурой будет, если обидится!» Сливай-воду[1] читал свои переводы на иврит, то ли с армянского, то ли с грузинского. Судить о переводах всегда трудно, но что-то в его ивритских оборотах речи было школьно-литературное, от хрестоматийного забубенного Бялика. Под дешевое винцо пошли Криксунов[2] с закусоном, светские шашни с закосевшим израильтянином, которому пытались объяснить кто такой Яшвили. Я извинился, что без подарка, сказал, что за мной (вспомнил, что у меня есть лишний альбом Бердслея) и мы свалили к Шмакову. Стан Иуды кишел советскими коммуналками. Дверь одной из них открыла полная молодуха в полурастегнутом халатике: «Заходите. Олег сейчас выйдет, он в ванной». И уплыла на диван к бритоголовому и раскрашенному татуировками. Мы прошли в комнату Шмакова. Матрас, книги в углу, довоенный шкаф. За окном муравейник средневекового гетто: плоские крыши, обвалившиеся балконы, незашторенные мансарды с театром теней, взрывы злобных воплей усталых, потерянных людей, на иврите, по-русски, на каких-то незнакомых наречиях. Вошел могучий Шмаков, приветливо сверкая золотыми зубами. Судили-рядили куда идти и в результате вернулись в «Культурный центр». Мы уже пили там кофе после Малера, когда во дворике «гудел» Никулин[3]. Увидев Володю, он встал перед ним на колени и попытался поймать руку для поцелуя.

— Владимир, ты знаешь, как я тебя люблю! Володя, она уехала!

---

[1] Писатель Дмитрий Сливняк.

[2] Петр Криксунов, переводчик с русского на иврит.

[3] Валентин Никулин, известный советский актер.

— Ну, что такое! — строго сказал Володя, пряча руку. — Что с тобой. Ты совсем охуел? Не распускайся!

— Послушай, — театрально страдал Никулин, — но она уехала! Ты понимаешь? Уехала! На Бермуды!

— Прям в самый треугольник? — усмехнулся Володя.

— Так мне сказали! Ты понимаешь? Так мне сказали!

Хозяйка умоляюще смотрела то на меня, то на Володю: Никулин грозился выйти из берегов.

— Валентин, можно потише? — попросила она.

— Да, да, тсс, я умолкаю.

В этот момент его отвлек хохочущий Лонский и увел, потом Лонский вернулся, похохотал с Володей, снял молоденькую красавицу, будто бы читавшую книгу за соседним столиком, чернобровую, и уже с ней, всё так же непрерывно хохоча, удалился.

Володя: «Вот почему я боюсь переезжать в Иерусалим. Они начнут меня втягивать в этот бесконечный гудеж». И мы завели о субтильности русской интеллигенции, о поэтах и актерах, злой разговорчик вышел, на актерскую братию у меня особый зуб выскочил, а живой поэт — вообще зрелище не для слабонервных. Кофе было бесплатным, Володю тут по старой памяти угощали.

Итак, мы шли втроем в «Культурный центр» пить кофе. Володя громко печалился, посвящая Олега в свои неурядицы с квартирой. Он сдал ее Аркану[1], а сосед стукнул хозяину, и хозяин теперь может, если захочет, поиметь Вальдемара «ад а-соф» (до конца) за незаконную эксплуатацию квартиры под ключ, тем более, что сам — адвокат, хозяин-то. А Аркан все не съезжал, медлил, мол, пока некуда, гнусно намекал на компенсацию, чем повергал униженного поэта в невыразимую ярость, доставалось всем, и «вонючей последней алие жлобов» (Шмаков, невольно к ней принадлежащий, хмыкнул), и «черножопым недарезаным стукачам» и et cetera. В Центре мы опять, по инерции, за-

[1] Аркан Карив, журналист, сын писателя Юрия Карабчиевского.

шли к Малеру и я снова отоварился с тоски (так дома мимо кухни пройдешь — непременно сожрешь что-нибудь), купил двухтомник Жени Харитонова, в тот раз не заметил, а я его люблю, опять же на знакомство Господь сподобил, через Мишу, он на меня произвел тогда очень сильное впечатление: настоящий одинокий волчара, и никакого общественного ража, всякой благородной диссидентщины, один против всех со своей жуткой свободой. А я вот все сионизьмом увлекаюсь, все не возьму в толк, что все народы — говно, и все государственные системы хороши для проходимцев, а твое дело перышком в келье скрипеть, да злым острым взором в окошко поглядывать на нелепый мир божий. И один страх — что душою скуден... Еще купил сборники ассирийской, вавилонской и древнеегипетской прозы, чего только не издавали в блаженные времена застоя. Потом мы прошли в садик, за столом под фонарем резались в карты, ночные мотыльки потягивали коньячок за сплетенкой, ну, и мы под смоковницей разместились. Подсел юноша, выпавший из картежной компании, потом девушка (он принялся укорять ее, «как она выдерживает с этим болваном»), вяло шел малозначащий разговор об общих знакомых, о Кире Сапгир (а я рассказал о Генрихе, который ходит по комнате и заявляет микрофонам в стенах: «Я — за Ельцина»), о Генделеве, о его ремонте и скором отъезде, об Альтшулере, о скандале Бренера (по одной версии Бараш его выставил, а по другой — тот же Бараш сказал Бренеру: «Это было классно»), о какой-то злоебучей немке-славистке, собирающей материал о «русских» в Израиле, о том, сколько с ней литров бухнули, и как она тащила всех на себя, о Лонском, раблезианском пьянице. Молодой человек часто замечал: «се тре бьен», что я поправил на «зе[1] тре бьен». Вот так, посмеиваясь, лакая кофе, и вечерок скоротали. По дороге обратно Володя опять опасался за свое возвращение в Ерушалаим, в водоворот пьянок,

[1] Зе — это (*ивр.*).

рассказал, в ответ на мой запрос, о «мудаке» Альтшулере, который «зациклился на Аронзоне», а я рассказал ему про Вадима и про московские пьянки. Сегодня поеду в библиотеку Форума, на вечер Короля. Прочитал «Иерусалимский поэтический альманах» — все еще рассчитываю написать для «ГФ» заметку о русскоязычной израильской. Бараш во вступлении (называется «Мы» — я не люблю в поэзии, да и вообще, эти коллективистские «мы», «они», не по возрасту уже стайками бегать) академично манерен: «каковы же наши общие особенности (я отдаю себе отчет, что это оксюморон)?» Что еще за оксюморон, ебёныть? И эта классификация «менталитетов» и «сознаний» на «розенбаумовское», «окуджавско-давидсамойловское», «бродское», «приговское»? Но вот хорошо — «надышать традицию». Гольдштейн в послесловии, предупреждая об опасности «нагнать на читателя волну нестерпимой дешевки на тему о священной истории, дорогих могилах и связи времен», сам играет в скользкую многозначительность «имперских культурных мифов» («когда умирает империя, остается созданная ею языковая космосфера…».), цитирует всем нам в утешение Тынянова: «Писать о стихах теперь так же трудно, как и писать стихи. Писать же стихи почти так же трудно, как читать их». Король неплох, узнаешь экзотику милуима, но чересчур знакомые ходы (вылитый я в молодости, даже лучше). Катя Капович, несмотря на всякую бабью жижу, вдруг задела походя: «ночь, где не спящий с тобою в обнимку видит с тобой те же сны». Эх, не пробуждай воспоминаний. Кстати о птичках, недавно был по русскому ТВ фильм о Бродском в Венеции, о «единственном не возвратившемся», с обрюзгшим губошлепом Рейном в качестве фона, с виляющим хвостом молодым человеком, и девушкой, бессловесно-восторженной. Венеция, Северная Пальмира, с понтом по латыни, убийственное «молодец, четверка» Рейну, за отгадку цитаты, что, мол, настоящее и будущее неинтересны, только прошлое, что приехать в Россию, как к первой жене возвратиться. Жест

«невозвращения» выбран расчетливо, и оттого так нестерпимо манерен, всё в жертву позе. От нравоучений все-таки не удержался: «...величайшая трагедия России... неуважение друг к другу», мол, все смеются друг над другом, а надо бы сочувствовать, тут же и Набокова процитировал, которому русские шуточки «напоминали шутки лакеев, когда они чистят хозяину его стойло», потом вдруг злоба прорвалась в «государственной сволочи», какие-то библейские пассажи пошли про простых рабочих, «вот когда я работал простым рабочим на судостроительном», что-то там «понял», и «в поте лица будешь есть хлеб свой», и что, мол, все равно: коммунизм, капитализм, и тут запнулся, зарапортовавшись, нога за ногу, с сигаретой, под расписанными лепными потолками дворца эпохи рококо, невозвращенец... Потом закартавил, зарокотал неторопливо: «Нынче ветгено и волны с пегехлестом..». И — ничего с собой не поделаешь — плакать хочется о конце прекрасной эпохи.

11.8. Встали в пять утра и к полшестого пошли в синагогу: младший должен был налагать тфилин[1]. Евреи вокруг сочувственно суетились, помогали, поздравляли, и всячески выражали свою с нами почти семейную, радостную солидарность: нашего полку прибыло. В конце Барух, который вел церемонию, сказал: «А теперь дай им», а я денег-то не взял сдуру, и тут увидел, как выражение семейной солидарности в глазах окружающих мгновенно сменилось выражением злобного разочарования проголодавшихся псов, которым не вынесли полагавшихся по случаю косточек. О, жиды! Вас нужно воспитывать военным коммунизмом, чтоб у вас сиськи высохли и клыки отросли от голода!

[1] Фрагменты молитвенного облачения, включающая две черные коробочки с текстами Торы, одна прикрепляется ремнями к руке, другая — ко лбу.

— Я думаю, что наши пипочки — подружки. Им есть о чем поговорить (в болтливом расслабоне после добровольной сдачи крепости рассвирепевшим ордам...).

Вчера ездил опять в Ерушалаим, в библиотеке Форума был вечер Миши Короля. Библиотекарша Клара, сексапильная. (Вот так между стеллажей бы, как между могил...) Читал неважно, монотонно, стихи на слух показались неинтересными. Собралось человек 30. Из коллег: Верник и Бараш. Бараш поседел. Да, еще Сливняк был, задавал вопросы о «еврейском становлении» поэта. Потом поехали к Королю домой. Машина, которая ехала за нами, отстала и потерялась по дороге. Так что пировали в Катамонах увпятером: Бараш, Верник, Король и мы с супругой. Верник ломался перед ней от галантности, целовал ручки, отпускал милые гусарские грубости. Я повествовал о Москве. Незаметно раздавили бутылку водки, стало оживленней. Попался на зубок Бродский, и я рассказал о фильме, о позе невозвращенца, но ирония моя оказалась неуместной — тут корифея чтили, Бараш доказывал мне, что это не поза, а очень даже оправданная и благородная позиция. Может быть. Может, я просто злюка. Всучил Вернику рукопись книги, авось пристроит что в альманахе. Развезли всех по домам, супруга забыла у Короля пиджак. А он ей сборник свой подарил, «Родинка» называется. Вроде как «На Малой земле». Полистал — слабенький. Еще он гербалайфом занимается и набором. На вечере одна старушка спросила его про хобби. Я и «пошутил»: «Покажи хобби». Но Король не поморщился. Сказал: «компьютер». А дома действительно продемонстрировал мне разные возможности на своем компьютере, да и принтер у него лазерный. Маленькое издательство на квартире, как у Пушкина на Садовой. Короче — потусовались.

С Авраамом давно пора разобраться. Сократ и Авраам. Только мыслью, или только верою...

Героизм — явление языческое. Если Бога нет, то что, кроме мужества, остается? Бросаем вызов судьбе, по-взрослому. А монотеизм инфантилен и его суть в подчинении, в отказе от свободы воли и героической жертвенности. Авраам выбирает рабство, становится рабом Божьим. (Рабство из страха перед свободой, пугающей бессмысленностью...) С тех пор бунт еврею заказан. Его самопожертвование не героизм, а мученичество. В его воле только выбрать или отвергнуть Завет. Если отвергает, он просто «вне игры», он не еврей. Прошли века, и томление закрепощенной воли выродилось в несокрушимое еврейское упрямство.

А жертвоприношение Исаака? Конечно, это сильная сцена, но жертвы не случилось, и она была назначена по воле Божьей, да и то, сына ведь, не себя. А сына можно и другого родить, вот Иову Господь и кучу детей опять послал, и всякого там крупного и мелкого рогатого скота не счесть, и «сытость днями». Я когда-то ужасался милостью Божьей Иову (не хочу другого мальчика!), не понимал, что для монотеизма люди, даже собственные дети, что домашний скот, личности не существует, а стало быть, и страха смерти. Косим же мы траву — новая вырастет...

Иудаизм — это даже не отказ от личного бессмертия, и не презрение к нему, а полное и абсолютное его неприятие. Бог не оставляет места личному бессмертию, в нем нет необходимости, ты бессмертен в Боге. Еврею не нужно, как стоику, уговаривать себя быть мужественным перед лицом смерти. Мужество отчаяния ему не знакомо, потому что не знакомо отчаяние.

А вера христиан — в то, что человек может стать Богом. То есть бессмертным. Это вера в бессмертие. И тут соблазн, страшный, бесповоротный. Воскресение — бунт против жизни.

Показывали фильм о евреях. Один, уже немолодой, заползший ночью в густой кустарник, как раненый волк, горячо, взахлеб молился: «Господи, Боже ты мой, помоги, по-

моги мне, я хочу быть *в порядке* (лигйот беседер), я хочу быть *хорошим мальчиком* (лигйот елед тов)». Он причитал, похныкивая, как маленький...

12.8. Инна.

Набегавшись целый день с книгами, в полчетвертого встретился с Викой на Новослободской, и мы пошли к Сапгиру. У Сапгира гостил родственник, зять что ли, из Парижу (он, Сапгир, и сам недавно оттуда вернулся), профессор истории, полный, с бородкой, удивил меня не только чистым от сленга русским языком, по которому безошибочно узнаешь старую эмиграцию, но и бойким ивритом. Оказывается его тема — антисемитизм. Соответственно — частые визиты в Израиль, а в Москву приехал на конгресс по борьбе с антисемитизмом. Ну что, говорю, ваши многочисленные визиты в Израиль не сделали из вас антисемита? (Шах для начала разговора!) Он решил, что я так шучу. Брызгал слюной на русских «фашистов», устроивших им в аэропорту провокацию. Ну, насчет фашистов я спорить не стал, а вот насчет антисемитизьма не преминул заметить, что по моему непросвещенному мнению никакого антисемитизма в природе не существует. Нет, евреев, конечно, не любят, это мы понимаем, так разве обязаны? Или есть за что? За муки? Ну да, насилие мы, разумеется, никак не поддерживаем, но считаем, что это забота евреев — не становиться жертвами насилия, драться надо уметь, а не на антисемитизм жаловаться. Антисемитизм — жупел евреев-ассимилянтов, пытающихся переложить ответственность за свою судьбу на народы, среди которых они живут. Народы при этом обвиняются в «темных инстинктах», а опора создается среди космополитически настроенной интеллигенции «туземцев». Они естественно пропагандируют «общечеловеческие» ценности и миролюбивую политику (во время войны «темные инстинкты» просыпаются и евреям может влететь), а воевать готовы только за доктрины, ведущие к упразднению наций, например, комму-

низм. Ему такая точка зрения показалась оригинальной, и мы сцепились. Потом перешли на влияние Израиля на «традиционный антисемитизм» и так рьяно все это обсуждали (я, конечно, сел на своего загнанного конька о неспособности евреев к государственным формам жизни, ну нет у них уважения к границам, ни к чужим, ни к собственным), что окружающие, вначале подключавшиеся, полагая, что нащупана приятная тема для легкой светской беседы с юморком, потом отстали и заскучали, заговорив вперехлест о светских новостях. Мы с профессором догадались, что нас исключают из общества и решили спор отложить. Я пригласил его заглянуть ко мне в гости, когда будет в Израиле, вот тут-то, говорю, мы с вами, батенька, и поспорим. Но разговор (под коньячок и печенье) невольно все сползал (народ взбудоражился) на политику. Сапгир и русская жена его, настроенная весьма агрессивно, жаловались, что в Париже на них нападали за поддержку Ельцина, что «там» совсем оторвались от нашей действительности, хоть и ездят в Россию чуть ли не каждый год (кажется, тут были и камешки в огород зятя). «А я — за Ельцина!» — громко заявил Сапгир и, подняв голову, повернулся к глухой стене, будто знал, что там микрофон. «Да, я — за Ельцина!» — добавил он еще более решительно. Потом сел на своего любимого осла «растущей славы»: как его теперь ценят, как много печатают, приглашают, вот недавно с триумфом прошла его поездка с группой писателей по Дальнему Востоку, показывал статью из «Хабаровской правды», где отмечались его заслуги по борьбе, при этом вдохновенно говорил, что Россия встала на правильный путь, все идет хорошо, трудно, конечно, но хорошо, посетовал, что вот на Ближний Восток никак пока не получается с организованной, то бишь оплаченной, поездкой, что вот, мол, Гробман обещал, и Генделев обещал, а воз и ныне там. Потом рассказал, что в Грузию пригласили, но он не поехал, там разруха, эти сумасшедшие абхазы. Тут я не удержался, не могу спокойно сидеть, когда абхазов обижают, говорю:

нет никаких «абхазов» в природе, весь этот кризис — плод работы укромных российских служб, которые теперь потихоньку решили русские земли опять собрать, вот и учат грузин уму-разуму. Жена Сапгира возмутилась, тут же записала меня в «оторвавшиеся» и «непонимающие нашей действительности», что, мол, Россия уже не та, уже распростилась с имперскими поползновениями, «Россия никогда не поддержит мусульман-абхазов против грузин-христиан», геополитически веско обронил Сапгир, «мы никого не держим», ярилась жена-демократка (не в жидов ли рикошетом?), «вот чеченцы провозгласили независимость, и никто их не трогает»... «Да чеченцы на очереди, — говорю, — вот с грузинами разберутся, возьмутся за Чечню, и чтоб вы меня правильно поняли — я вовсе не против, даже наоборот, всячески поддерживаю, и мечтаю, что Израиль войдет полноправным членом в Лигу мирового казачества, как передовой воюющий форпост против бусурман». Демократка решила, что я шучу, что-то меня всерьез в этом доме не воспринимали, и криво улыбнулась, а Вика тут же ловко перевела разговор на замечательное вишневое варенье, и вообще она всячески льстила, поддакивала и жеманничала, пытаясь втянуть меня в славословия великому Генриху, я покорно качал головой и все больше озлоблялся. В промежутке позвонил, как договорились, Инне. Она уже была дома. «Ну? Так я к тебе приеду?» (Муж на даче.) Она слабо сопротивлялась, мол, простудилась, боится меня заразить, хотелось мне ввернуть, что целоваться не будем, но удержался, наседал конвенциональными методами, наконец, сдалась. К восьми мы стали откланиваться, тут позвонил Холин, Сапгир сказал ему «заходи», но жена возмутилась и «ушла к себе». Я в последний раз позвонил Инне и сказал: «Иду на вы». В лифте Вика шепнула, что жена Сапгира терпеть не может Холина, я же не скрыл от нее, что Сапгир на этот раз меня не порадовал, уж чересчур распирает его от самодовольства. Вика согласилась, не любит спорить. На одной из станций она вышла, а я поехал дальше, к Инне.

Когда вышел из метро, небо ударило золотым светом. Дорога всплыла в памяти. Тревожные минуты перед проникновением в чужое логово, и на соседей бы не наткнуться, не подставить подружку. Прокрался успешно. Общее смущение. Обниматься не полез.

— Кушать хочешь?

— Хочу.

Накормила. Вкусно. Повинился за неувязочки три года назад. Сказала, что не за что. Расспрашивала о житейском, о новостях, общих знакомых. Показала семейные фотографии. Сидели на кухне. Вовнутрь не приняла. Окно было открыто, короткий дождь прошумел. Идея ночлега таяла, как свет за окном. Я стал откланиваться, смирившись. Оно может и к лучшему. В коридоре все-таки обнял ее, почти подружески. Поцеловал. Мягко отстранилась. «Ну что, я пойду?» Кивнула. «А может остаться?» — я уже издевался, только вот над кем? Покачала головой, на меня не глядя. И я ушел. Как тогда, двадцать лет назад, несолоно хлебавши. Может месячные?

На полдороге вспомнил, что забыл зонтик. И опять, тайно пробираясь... Уже ждала меня, с зонтиком в руке. Поулыбались, как японцы, и — в путь. Пивная церемония вокруг столика у ларька, шелуха от воблы, собаки стайками, дети на велосипедах, пенсионеры в тренингах, злобная старушенция с авоськой набитой пустыми бутылками, лотки с колониальными товарами у метро. Ну и ладушки.

Как-то в ноябре, слякоть напомнила Пасху, когда мы познакомились, только все было еще тоскливей, бесприютней, я провожал ее домой, в квартал хрущоб за Лефортовскими казармами, кругом промозгло, мрачно, пустынно. И вдруг: «Хочешь зайти?» Квартира, как у моих: две проходные, совмещенный санузел. Даже мебель похожа.

— А родители где?

— На Кавказе. Скоро приезжают.

Заварила чайку.

— Хочешь Шопена послушать? У меня есть пластинка Рихтера.

Валяй. Задребезжал переносной проигрыватель «Аккорд», платье на ней было широкое, лампа под желтым абажуром на письменном столе — далеко, и оттого в комнате сумрачно, сидим рядом на диване с чашками в руках, Шопена слушаем, поставил я свою чашку на пол да и лег головой на колени ее, лицом к животу, к лону поближе, и приняла она мою буйну голову, и в кудри пальчики пускала гулять, да ноготком профиль кондотьерский ото лба к подбородку царапала, а потом поцеловала, я уж подумал было, что наконец-то, но чем настойчивей себя вел, тем неуверенней она становилась, настороженней, а сопротивление ее — тем упорней и бессмысленней. И она сказала «нет». «Я так не хочу». Я не стал выяснять, как же именно она хочет, молча собрался — она так и осталась полулежать на диване живописно растерзанная, Шопен кончился, стучала иголка — и ушел в промозглую ночь, мокрый снег, ледяной туман.

Такси в такое время и в таком месте не ошивались, и я отправился на Сортировочную в надежде перехватить последнюю электричку. Эх, слободские вы мои булыжные окраины, покосившиеся заборы да избы деревянные, переулочки грязные да фонарики тусклые, редкие, под вуалью косого снега, черный мой романс, родина моя непутевая, окаянная! А снежок-то с градом разгулялся, будто назло, расхулиганился, наотмашь лицо хлестал. Шел я, нахохлившись, боком к ветру, с ухмылочкой-разрезом на пол-лица, гуинплен эдакий, все повторял «есть в мире сердце, где живу я», в том смысле, что нет в мире такого сердца...

На платформе было скользко и абсолютно безлюдно. Стою под секущим дождем-градом-снегом, как среди стеклянных колосьев, танцующих на ветру, по лицу хлещущих, спрятаться негде от жути. Показался вдалеке поезд, медленно приближающийся, столпом света тьму таранящий, по мою душу полз. Но, поравнявшись с платформой, не за-

медлил ход, а вдруг прибавил, пронесся мимо бешеным табуном ярко освещенных вагонов и, толкнув меня вихрем, издал такой вопль безысходной ярости на всю вселенную, что я улыбнулся — вот кто спел мою песню...

13.8. Жена недавно спросила: «А хочется вернуться в прошлое, стать опять молодым?» Я задумался, стал искать такую точку в жизни, в которую мне бы захотелось вернуться, и не нашел. И к молодости никакой тоски не почувствовал. Вот странно. Потому что «это кино мы уже смотрели»?

Заметка для «ГФ»:

«Восходившим» в 70-х казалось, что возникнет непременно и скоро такая израильская литература на русском, которая будет явлением, подобным латиноамериканской на испанском. Надо признать — началось все лихо, кураж был. Уж очень хотелось утереть нос метрополии. Не мы ли им дали Мандельштама-Пастернака-Бродского, не говоря уже о багрицких и бабелях, да и Фет каких-то неопознанных кровей, даже Пушкин из наших, из «эфиопов», а в разбитных русскоязычных газетенках тщательно анализировался состав крови Лермонтова. Были надежды подключить к сионистской телеге знатного литбиндюжника Бродского, но последний проигнорировал, предпочитая катать телеги в Рим, на манер Назона, рассчитывая, не без оснований, на лавры неоклассика. Говорят, на столбовой дворянке женился. В результате сложилась некая областная ближневосточная русская литература, на манер скажем дальневосточной, со своими журналами, газетами, альманахами, литкружками и объединениями, со своими местными талантами, рвущимися прозвучать в Москве, со своими изгнанниками и отшельниками, удалившимися от столичной суеты в поисках экзотики, колорита и гордых литературных поз. «Встречи» с аборигенами не произошло. Местная литературная братия, организованная вполне по-советски,

готова была поучать и перевоспитывать, но никак не внимать. Пришельцы же отнеслись к «коренным», как к «пробудившейся Африке», которую представители великой цивилизации, случайно занесенные на берег кораблекрушением, должны обучить грамоте. Пошумели гусаки, пошумели, и завяли. Часть «ушла в переводы», на русский — ивритской классики, в богоугодные усилия по просвещению репатриантов, в массе своей совершенно темных в области национальной культуры (это был социальный заказ и он оплачивался), другая — влилась в широкий и мутный поток «эмигрантской» русской литературы, который с перестройкой быстренько иссяк. Солидная часть из наиболее талантливых и масштабных литераторов из страны по тем или иным причинам уехала (Юрий Милославский, Анри Волохонский, Леонид Гиршович). Местный Борхес не явился. «Толстые» журналы постигла участь их российских аналогов: часть закрылась, часть переместилась в Россию и там усохла («Время и мы»), часть безнадежно устарела и дышит на ладан («22» — последний оплот неувядающих израильских «шестидесятников», а на дворе уже другое тысячелетье).

Впрочем, жизнь еще теплится. В более камерных проявлениях. Группы приятелей и единомышленников пытаются издавать свои групповые журнальчики или альманахи. Так например, удачно прозучал «Иерусалимский поэтический альманах» группы Бараш-Верник, так сказать прогрессивно-традиционной, в русле Бродского. Бараш в этой группе наиболее авантажный, он же и «прогрессивный». Талантливая поэтесса Дана Зингер вместе с мужем, художником Некодом, при участии книготорговца и прозаика Малера начали издавать «неоэклектический» журнал «И.О.»., оформленный в стиле «самиздат», что должно продемонстрировать его независимость и уважение к эксперименту, журнал ёмкий, посвященный современному литературному процессу в Израиле, как русскоязычному, так и на иврите, через переводы. Вышел уже 3-й номер

(оформление действительно симпатичное). Продолжает посильную издательскую деятельность (а сил, то бишь средств почти нет) Владимир Тарасов, своеобразный поэт и культуртрегер «новой» литературы, ни на кого не похожий, мужественно, почти в одиночестве, строящий свою космическую поэтику. Начав с великолепного альманаха «Саламандра», составленного вместе с Шаргородским, он недавно выпустил, вместе с вездесущим Малером, третий «Слог», изящный журнальчик, интересный, но несколько «разбросанный», не проявивший лица.

Вообще-то мода на эклектизм и маргинальность не случайна. В ней есть прагматическая тоска по блаженным временам самиздата, нищие короли которого стали внезапно классиками «новой» литературы, тщеславное и тщетное желание повторить этот славный вираж. Но в ней и растерянность, характерная для нашей зыбкой эпохи, когда человек вплотную подошел к мучительному пределу своей индивидуальной свободы, и ощущение беспредела воли, не находя достойных форм культуры, взрывает личность, рвет старую культуру в эклектические клочья, которые «неоэклектики», притворяясь «наивными», складывают в свои цветные калейдоскопы.

15.8. Дикая влажность. Гнетущая. Только ближе к ночи можно вздохнуть. Утром, заскочив по дороге на почту (письма нет) и в банк, поехал к Володе. Рассказал ему о вечере Короля, о беседе с Барашем и Верником о Бродском, который мне кажется позером (ввернул «невозвращенца», над чем и посмеялись), а им — последовательно и мужественно отстаивающим свою позицию. Поплакался ему, что заметка идет с трудом. «Да, — сказал Володя, — нелегко писать о живых, если хочешь быть честным». По дороге на почту (обычный маршрут наших прогулок) он рассказал, что тоже пишет серию статей о русскоязычных литераторах, о Дане, о Бокштейне, о Генделеве, Волохонском, сетовал, что о нем самом никто не пишет, что вообще никто не

пишет о текущем литературном процессе, ругал за это Гольдштейна, побеседовали о литературных позах, я говорю, что литературный мир в виде сада скульптур, мне неинтересен, хочется живого тепла взаимодействия, ведь плодотворный культурный процесс всегда результат усилий целой группы, «плеяды», как любили говорить на Руси, вспомнил (мы шли по бульвару Бен-Цви, загребая сандалиями песок) его восклицание многолетней давности: «Ты что, Наум, среди литераторов друзей ищешь?!», как смутился по-юношески его иронией, и только теперь ясно осознал, что да, ищу. И вспомнил про Мишу. Володя понимающе кивал. Сказал с горечью: «Все только преследуют свои интересы, вот что противно».

На почте заказов для него по новому каталогу не было, я вообще удивляюсь, как ему удается кое-что таким манером подзаработать, и мы зашли в книжный напротив. Выкопал там «Португальские письма Гийерага», «Краткую историю Вьета», «Баодзюань о Пу-Лине» и «Кабира Грантхавали» — целое сокровище, и всё за 80 шекелей. Володя ревниво поглядывал на мои раскопки и пожалел, небось, что показал мне этот книжный закуток. Потом вернулись, я взял у него первый номер «И.О.». для заметки. Пустились в злословие. Сливняк — «субтильный», Малер — «надутый болван», «бык», «чудовищная амбиция», «в этой его херне, которая называется 200 слов, на самом деле 240 слов, даже посчитать не сумел!»

— Да, — говорю, — это все портит номер. Ну как она эту чушь взяла? (Прочитав первые фразы в опусе Сливняка.) Во вкусе ей все-таки не откажешь?

— Сказала мне: чтоб отвязаться от него номеров на пять, мозги засрал.

Потом завернул в Дизенгоф-центр, давно думал присмотреть в секс-магазине какие-нибудь «китайские пальчики» и фильм позабористей, но магазин закрыли, зато купил книжку по программе «Дагеш», 45 сикелей. Будем осваивать новые технологии.

Только что, машинально переключая программы, нарвался на фильм о Френсисе Беконе, художнике, который мне не очень нравился (в Лондоне, кажется в галерее Тейта, его было много), казался нарочитым, какие-то хари всмятку, будто раскрученные на чудовищной центрифуге, но в контексте интервью с ним, полупьяным старым гомиком в портовой забегаловке, с рожей въедливой одинокой старухи, рассуждающим среди пьяниц с глазами кроликов о Веласкесе, картины вдруг ожили, заинтриговали. Эти лица, тронутые оползнем, разодранные в крике рты. Оглушительная немота крика. Кстати, не вышел ли весь Бекон из «Крика» Мунка? Замечательный фильм, замечательный тип, замечательные ребята эти чудовищные ирландские пьяницы из окраинных баров...

Отослал ей письмо. Утром допечатал на «Лексиконе», шрифт хорош, и отослал. Молчит что-то. Загуляла? Или моего письма ждет, гордостью мучается? И А. не звонит. Муж в отпуску, небось, глаз не спускает.

16. 8. Миша.

На следующий день после возвращения, по дороге, поставил в машине кассету Тани Булановой, группа «Летний сад», которую мне Миша подарил. «Здорово поет. Тоска — страшная». Пела действительно неплохо, а уж тоска — то что доктор прописал. Да еще такая бабья, воющая, они, бабы, оказывается, тоже тоскуют... Я врубил ее на полную громкость, нехай вся Израиловка слухаеть, нехай захлебнется мрачной рассейской удалью. «И никогда, ты не поймешь, за что тебе я все прощаю, твои слова — обман и ложь, а я в любовь все превращаю…». Народ, встречный и попутный злобно оглядывался и терял управление. Нет, не уехать из России, как не уйти от наркотиков (у Володи вся рука исполосована уколами), вот и живешь, будто в двух параллельных мирах. Это Миша сказал тогда, у Библиотеки Ленина, когда Белашкина ждали, про параллельные миры. И я сразу вспомнил свою старую, еще отроческую мысль-

идею-прозрение о параллельных туннелях жизни тела и духа, одна жизнь — действительная, но будто чужая, а другая — воображаемая и родная, биология и филология...

Они с Иосифом встретили меня в аэропорту, я их просил, на случай если Боб, знакомец с институтской поры, не приедет. Обнялись. Прижал их к себе, как детей. Оба такие маленькие, поджарые, а я еще и растолстел. Стали искать Боба. Обнаружился неожиданно, узнал меня, хоть и прошло четверть века. Не так, значит, катастрофически изменился, но сам бы я его в толпе не выловил. Супруга — молодуха полненькая, была настороже. Я извинился, нельзя ли всех взять? Радости по поводу дополнительных пассажиров супруга не выдала, но Боб был гуманнее. Мы легко втиснулись в боевого вида «Волгу» и покатили. Когда выходил из самолета в начале одиннадцатого, было еще совсем светло, непривычно. А теперь — ночь. Изредка накрапывал дождь. Я был в состоянии тревожной эйфории. Взахлеб отвечал на светские расспросы Боба — «как вы там?». Иосиф равнодушно молчал, Миша нервно курил, иногда усмехаясь. Глядя на мокрые, поблескивающие под фонарями московские улицы, я плохо понимал, что со мной происходит, только время от времени бурно выдыхал: «Чудеса!» Миша при этом бросал на меня испытующий взгляд. Жена Боба жаловалась на криминогенную обстановку («стреляют по ночам»), делилась планами летнего отдыха («мы вообще-то планировали поехать в Израиль, или в Испанию, но потом решили — в Турцию»). Я сказал, что у нас тоже любят ездить в Турцию, но такие планы не каждый может себе позволить, и этим заявлением сделал для нее нашу совместную поездку заметно приятнее. Впрочем, мне еще Марина докладывала, что «Боб женился на молодой, зубной врачихе, и сам неплохо промышляет по линии продовольствия, импорт курочек». На Преображенке скинули Мишу. На Сиреневом, у кладбища, на углу с Никитинской, остановились.

— Во двор не въедем, — сказал Иосиф, — там дерево на дорогу упало.

Вылезли. Я сердечно поблагодарил. Выразил надежду на встречу. Поползновение заплатить Боб остановил решительным «Обижаешь!»

— Ладно, — говорю, и достаю «Финляндию», — а водку ты еще пьешь?

— Ну, это совсем другое дело, это я возьму.

Почти неделю, ну, чуть меньше, я избегал встречаться с Мишей, он звонил, я уклонялся. Боялся, что он помешает моим наследственным делам, боялся его болезненного состояния, боялся встречи с прошлым, с самим собой в прошлом, боялся заболеть любовью... к чему? к кому?

18.8. Вчера в дикую жару и ужасную влажность потащились в «гатчину», в гости к Ф. (недавно приехал, ищет контакты), а потом вместе — в Бейт-Джубрин. Там, в подземных катакомбах, газеты писали, обнаружили финикийские росписи на стенах захоронений, какие-то странные животные, целый бестиарий. Но рисунок показался мне каким-то «не древним», даже немного гротескным. Сторожйеменит говорит: да олимы[1] тут раскапывали, а один — художник, он и намалевал для смеху, а потом корреспонденты набежали, по телевизору показывали. А вокруг пастораль хевронского нагорья: зеленые холмы, коровки бурые в долинах, струящийся воздух, ручьи овец... Ф. и жена его бодрятся. А я, как стадо эфиопов у дома их увидал, а в квартире по стенам виды Ленинграда, друг-художник подарил, такая тоска взяла... Дом высокий, многоэтажный, у нас в Азуре такой же был. Только вместо эфиопов «бухара» толпилась. Детишки их в лифте любили писать.

19.8. Опять А. снилась. Как наяву. Неужто меня зацепила эта пресловутая «любовь стареющих мужчин»? Скучаю.

---

[1] Новые репатрианты (от слова «алия» — репатриация). Их часто, особенно на первых порах, использовали на общественных работах, в том числе на раскопках.

Заметка для «ГФ» не клеится. Получается сухо, казенно, вроде школьного сочинения.

«Поэтическая поступь Тарасова — хождение «яко по суху», парение, перепрыгивание с планеты на планету, как по камням, торчащим из стремнины…».

21.8. Сегодня у младшего церемония «восхождения» к Торе. Летнее субботнее утро. Еще не так жарко. Синагога жужжит. Мужики среднего, старшего и полусреднего возраста. Народ обычный, не «богобоязненный», в основном Восточная Европа, со своими почетными местами, местами купленными, галеркой, со своими фрондерами, аутсайдерами, слабоумными и любителями задать строгача, все как в миру, по-житейски, без трепета священного. Где уж тут ветхозаветный дым на теплых алтарях. Но, читая вместе с ними длинную утреннюю молитву, целую молитвенную повесть, слушая как они время от времени взрываются мощной, слаженной песней (в отрывке «Благословен Ты Господи, Владыка всего, что происходит» эта песня показалась мне похожей на русскую бурлацкую, когда дружно, почти весело, тянут артелью свое неизбывное тягло, вспомнились «Страсти по Матфею» Пазолини с русскими революционными песнями), я вдруг почувствовал в этой слаженной мощи — откуда что берется в хиловатой стариковской толпе, без музыки — что у этого народа и вправду есть Бог, и есть Учение, и зерно глубокой полной веры не сгнило, а значит, государство никогда не станет важнейшим, единственно возможным основанием национальной жизни, и они не лягут за него костьми, а значит оно, их национальное государство, обречено, а может быть и ненужно... И я осознал вдруг глубинную суть неприятия государства «богобоязненными», их альтернативную, конкурентную основу для национальной жизни. Это неприятие непримиримо и, увы, победоносно, потому что быдло освобожденное и веру утратило и культуру не создало, ни на-

циональную, ни государственную, так, каждый со своим галутным скарбом, в круговой отчаянной обороне против всех и вся. А когда мир объявят, баррикады разберут, и социалисты побегут с врагами брататься, все вдруг припомнят друг другу старые обиды и заварится большая еврейская свара. А потом восточная топь все поглотит, будто и не было ничего.

22.8. Я заболел Москвой. Жизнь потеряла целевой стержень, рассыпалась на мелочи, распалась, не сложилась в цельное произведение. Биография — храм, и архитектор из меня вышел неважный. Можно, конечно, потешить себя тем, что вышло что-нибудь эклектического... Недавно опять приснился тот отроческий сон, так напугавший и так запомнившийся, сон о разъезжающихся платформах, когда я стою на обеих и никак не могу решиться на какой остаться, а потом уже и не могу остаться ни на одной, а просто разрываюсь — одна нога тут, другая там. М-да, конкистадора из меня не вышло. Была романтика новых земель, героических свершений, хотя бы приобщения к ним. Terra nova оказалась пятачком, забитым до отказа нациями, цивилизациями, религиями, языками, людьми, мятущимися в перманентной истерике, и этот «плавильный тигель» не сделал меня частью национального сплава, а просто растворил в бетонном растворе и спрессовал в брикетик для лунки на Холонском кладбище. Но жизнь не осуществляется не потому, что переехал, уехал, убёг, не решился, испугался, смирился, а потому что...

Вчера, согласно йоге, решил поберечь «жизненную силу»: попрыгал, попрыгал и слез. Может просто надоело... Она сонную из себя строила, мычала чего-то, или в самом деле еще не проснулась. А после работы пришла:

— Мне так не нравится. Ты что решил, по-японски?

И просто высосала. Вампир. Просто высосала и в полотенце сплюнула. А сегодня после работы пришла:

— Потрогай мне.

Осталась в красных туфлях, я ее сначала перед зеркалом поковырял, а потом потрогал. Дрожала так, будто вот-вот взорвется. «Ты не знаешь, не знаешь, не знаешь, как мне хорошо!..». Разрядилась в конвульсиях и заплакала. Я еще немного поковырял на десерт и уступил семя. Глаза у нее, как расплавленное стекло. Щеки красные, губы пунцовые, вспухшие — красива, ничего не поделаешь...

23.8. Снилась огромная, черная, глянцевая рожающая черепаха. Она рожала у нас во дворе на Арбате, а я смотрел на нее в окно.

А может от дикой влажности и жары такое бессилие... Мокрый весь...

Володя решился на радикальные перемены: уходит от Рут и переезжает в столицу. Зашли к Малеру, посидели в «садике», откушали кофе, потом — к Дане. Там фигурировала Лена Толстая. Дана мои тексты обсуждать не пожелала, говорит, что не любит это делать и не умеет. Ладно. Некая холодность имеет место быть. Потом к Королю подскочили, отобрать позабытый женой спинджак. Король извивался перед Володей, будто к нему пожаловал принц Уэльский, а мне показывал разные фокусы с Corel Drow. Мне показалось, что он поддатый. Но Володя говорит, что он всегда такой «отмороженный».

24.8. Сил что-то ни на что нет...

29.8. Володе стукнуло сорок. Уже в мальчиках не попрыгаешь. Помню его 15 лет назад кудрявым занозистым ангелочком за прилавком у брезгливого Нойштада. «Нойштад», «Лепак», «Болеславский» Саши Аргова — целая эпоха русской книготорговли сгинула на наших глазах, у нее был

еще запах уютной, местечковой колониальной коммерции, некая таинственность эмигрантского интеллектуального братства. А нынче на рынке владычат «новые русские», народ хваткий, бесцеремонный, за прилавками у них наемные дэушки и ученостью их не обморочишь.

Встретились мы на Буграшев, где Дана и Некод вели переговоры о выставке. Я передал Дане рецепт, который она просила, супруга сбежала в соседний магазин бус, я видел через стекло, как она копается в мерцающем развале со страстью археолога, случайно обнаружившего под могильной монастырской плитой средневековые манускрипты. А мы с Володей разболтались. Я поведал ему, что в последнее время стал ощущать болезненную раздвоенность, утерял чувство общности с народом в Сионе, отсюда, неровен час... А с Россией, особенно после последней поездки — наоборот.

— Так что, — с прямотой римлянина спросил Володя, — думаешь вернуться?

Я заюлил, мол, пока вроде нет, да и не об этом речь, а о духовном.

— А я, — рубанул он, — в последнее время понял, что рано или поздно переееду в Россию.

Я изумился и почему-то испугался.

— Только вот… — пошли последние откровения, — Генделев и Сережа говорят, что убьют, если разгуляюсь где-нибудь в баре.

— В каком баре?

— Я знаю, что они преувеличивают (он был очень серьезен), но все же... вот чего я боюсь...

Потом мы вшестером посидели у него, под винцо и салаты побазлали об авангарде, пытались определить. Некод, которого я раньше воспринимал только как «при особе», вдруг «воплотился», обрел «лицо», причем симпатичное. А вот с Даной роман не вытанцовывается, смотрит строго.

Миша

Так вот, еду я значит в Тель-Авив, к Володе кажется, и «Летний сад» Тани Булановой на полную громкость, открыв окна, завожу, иудеев пугаю, «Скажи мне правду а-тамаан…», а сам Мишу вспоминаю, коротко стриженного, с беззубым ртом, только черные редкие корешки, и глаза — провалы, страшно смотреть, его конуру на 12-м этаже, всю заваленную хламом, собачьей шерстью, невыносимо вонючую. Марина объясняла мне его кризис, когда он звонил мне чуть ли не каждый день в 6 утра (науськиваемый Зюсом) и что-то грозно требовал насчет теткиной квартиры, угрожая разрывом отношений, что кризис был спровоцирован моим приездом, а у шизофреников в момент кризы сильная эмоциональная привязка, любовь-ненависть к какому-то выбранному лицу, тут они становятся опасны, ибо коварство их и жестокость, освященные любовью или ненавистью, не имеют границ, и что я стал для него такой привязкой. Памятуя об этом диагнозе, да и злясь все еще на его «вмешательство во внутренние дела», я почти неделю избегал встречи с ним, созванивались несколько раз, он рвался прийти, но я не давался. Впрочем, в его поведении произошла существенная перемена, он контролировал себя, был со мной осторожен, даже предупредителен, явно боясь спугнуть. Наконец, мы договорились, что я утром, часам к 11, зайду к нему.

30.8.

...Писем от тебя нет. Но я не волнуюсь... Вчера звонила, но ты уже ушел.

Поздравляю тебя с бар-мицвой младшего.

Пришли свое расписание.

Если я приеду ...-ого октября, сможешь ли освободиться чтобы съездить туда, куда не съездили в августе?

Где книжка?

С Новым годом!

Сегодня учительское собрание. Пришел срок впрягаться.

«Самым великим из всех оказался Авраам: он был велик мощью, чья сила лежала в бессилии, велик в мудрости, чья тайна заключалась в глупости, велик в той надежде, что выглядела как безумие, велик в той любви, которая есть ненависть к самому себе». Не очень-то Кьеркегор восхищен «рыцарем веры», как утверждают…

Миша

Воняло уже в измученном лифте (было два, второй не работал) и на лестничной клетке. В коридоре — свалка. На ручке двери записка: «вышел с собакой». Вторая собака выла за дверью. Это меня разозлило: пришел я точно, как договорились, уж не мог раньше с собакой выйти, или потом? А еще такой требовательный насчет точности. Но я унял раздражение, объяснив эту выходку не столько маленькой местью, сколько страхом встречи со мной. Полагая, что он вот-вот придет, я ждал его наверху, прислушиваясь, не звякнула ли внизу дверь лифта. Потом спустился и стал прогуливаться у подъезда. Воздух бодрящий, дорожки еще не высохли после ночного дождя, с тополей-великанов пух уже не слетает обвалом, а падает редко, кружась. На меня подозрительно оглядываются выходящие из подъезда. Решил увеличить радиус кругов, все больше раздражаясь на то, что он исчез и на собственное волнение. Наконец, явился. Поздоровались. Белый кобелек неопределенной породы беспокойно закружился, обнюхивая. Миша держит его на леске, прикрученной к деревяшке. Выглядит не особенно бодро.

— Извини, я был вынужден выйти с ним, — он заикался чуть сильнее обычного, — у второй собаки течка, и он страшно возбуждается. Я и в квартире держу их раздельно, суку на кухне, а этого в комнате, так они такой вой устраивают — соседи жалуются.

Вошли в знакомую квартиру. Сколько было здесь переговорено. Кухня, комната, коридор. Только на сей раз все особенно захламлено. Посреди комнаты, собственно почти

на всем пространстве, не занятом мебелью, громоздится пирамидой свалка из книг, ящиков, деталей старых электро- и радиоприборов, магнитофон «Яуза» конца 60-х, мои гантели, которые я оставил, когда уезжал («Мои гантели!» — радостно узнал я, Миша, вздохнув, кивнул), жизнь, ставшая мусором, ни разобрать, ни выбросить. Собаки заливались лаем.

— Погоди, я его привяжу, а то он будет тебя ебать. Человек еще может себя как-то переключить, а собака — бедняга...

На столе тоже свалка, но поменьше: бумаги, какие-то механизмы, детали, паяльник, на диван с мертвыми пружинами я боялся сесть — все было покрыто толстым слоем шерсти и невыносимо воняло. Окно было закрыто.

— Миш, — робко поинтересовался я, — а чего ты окно не откроешь?

— Понимаешь, они ведь лают, соседи в милицию жаловались... Но раз тебе... я знаю, что должно вонять, но я запахов ведь не различаю, — и он приоткрыл окно. Я подошел к окну, распахнул его и, забыв о врожденном страхе перед обрывами, наполовину высунулся наружу. Вдохнул полной грудью.

— От этого у меня и сексуальность деформирована, — продолжал он о своей нечувствительности к запахам, — у людей же, как у собак, все через запах.

— Слушай, а чего ты их не отпустишь, — отчаянный лай мешал разговаривать, — пусть себе ебутся, зато тихо будет.

— Ты что, а щенков я куда дену?

— Ну, максимум, можно и утопить...

— Нет. Пусть лучше терпят.

31.8. Министр иностранных дел Египта Абу Муса с визитом в Израиловке. По протоколу официальные визитеры такого ранга должны посещать «Яд ва Шем»[1], Абу Муса от-

[1] Музей Катастрофы.

казался. После этого надо было бы его по протоколу спустить с лестницы, но шобла Переса из кожи вон лезет, чтобы доказать своему народу, что он «не знает» важности для нас всего, что связано с Катастрофой. Телекомментатор спрашивает генерального директора МИДа, почему же Садат посетил, он что, «знал», а Муса «не знает»? У Садата, отвечает дипломат, были более компетентные советники. Еврейская дипломатия эту пощечину проглотила бы (из гордости шубу не сошьешь), но народ «еще не готов», скандальчик назрел, тогда бегут к Мусе, уговаривают, мол, войди в положение, народ у нас еще дик, и Муса смилостивился: «Распорядок дня у нас очень плотный, но мы в этот музей детей, да? (оборачиваясь к сопровождающим израильским дипломатам), ну, как его? памяти детей? да? вот, так мы его посетим». Музеон еладим. Звучит и как «музей для детей». Отхлестал жидов по брылям, а наш МИД вне себя от гордости и радости: инцидент исчерпан, можно даже похвастаться проявленной «твердостью».

На Севере идет, по официальному, хоть и сквозь зубы, признанию, настоящая война, и мы терпим в ней поражение (вчера еще солдат погиб). По признанию военных инициатива у противника, мы сидим в крепостях и ждем удара, похоже, вся армия уже перешла на стратегию «шмиры» (охраны), сонный и расхлябанный вохровец — вот тип еврейского вояки, и удары не заставляют себя долго ждать. Народу объясняют, по отработанной схеме, что тут ничего не поделаешь, борьба за мир требует жертв, что «окончательное решение» может быть только в рамках общего мирного урегулирования с Сирией, тогда сирийцы там сами наведут порядок. Палестинцы по такой же схеме уже порядок наводят. Видеть это тотальное разложение нестерпимо больно, горько и страшно.

Люди, которые шли в газовые камеры, до последней минуты верили, что их ждет «душ», срабатывал все тот же психологический механизм: легче рассчитывать на ми-

лость, чудо, логику, на что угодно или кого угодно, кто придет извне и спасет, чем брать на себя риск борьбы, риск войны. И, как ничтожный процент шел в начале века в «сионисты», так и в немецких загонах лишь ничтожное меньшинство готово было сопротивляться, а большинство мирно трудилось, «жило», даже развлекалось (в образцовом загоне Терезинштадт были театры, искусство, богема...), и мирно ждало «акций». И сегодня еврейский народ, вооруженный до зубов, мирно трудится, «живет», развлекается, ожидая очередных арабских «акций». Раньше «брали» одного-другого, теперь, с помощью «адских машин», берут десятками, но еврейские миролюбы объясняют (всенародно, публично, и рот им не запаяют!), что это болезненно, но не смертельно, зато нация выживет, ведь мы идем к миру, вот-вот уже. Эти миролюбы публично требуют от народа готовности приносить искупительные жертвы, хотят откупиться ими от молоха войны, а какая альтернатива, спрашивают они, вернуться в Газу? То есть вернуться в замкнутое кольцо войны? Нет уж, лучше мирно умирать. Жертвы мира им милей жертв войны, милей... Так что же, евреи — народ трусливых приспособленцев? Да, конечно. Но не потому, что они, так сказать, биологически трусливей, чем скажем англичане, полагаю, что нет. Суть в том, что евреи трусы идеологические. Это принципиальная позиция, философия выживания. Принять на себя ответственность за собственную смерть, решиться воевать за независимость — героическое решение. Героизм же еврейству чужд. В национальном воспитании нет такого понятия. И, соответственно, нет понятия чести. У европейцев, у арабов, у турок, у монголов, да у всех было рыцарство, был культ воина, были мифы о доблестях, о подвигах, о славе. Но нет этих «сказок» в еврейской мифологии. (В библейской есть, хотя бы миф о Самсоне.) По весне сионизма еще цвели легенды... Но сионизм, этот экстаз воли, выдохся, сошел на нет. Во всю идет развенчание мифов (во имя якобы научной добросо-

вестности, а на самом деле с целью «идеологического обеспечения» капитуляции, выдаваемой прогнившей верхушкой за «мирный процесс»), осмеяние мифов вообще, будто это государство — не результат победы великого мифа о возвращении. Жизнь индивида лицемерно провозглашается высшей ценностью. Лицемерно, потому что к жертвам террора относятся, как стадо крупнорогатых к своим случайно зазевавшимся и попавшим в пасть хищника членам стада, с равнодушием статистической неизбежности. (И «богобоязненные» туда же: пикуах нефеш, мол, жизнь человека превыше всего. Превыше Торы? Превыше заповедей? Чего больше в вас, евреи, лицемерия или трусости?) Победа оголтелого шкурничества под маской «борьбы с насилием». Оргия молокан. (Вспомнив, нашел у Хафиза Бухари: «Во имя чести и славы жертвуйте жизнью, всегда будьте готовы сложить головы в короне или шлеме, все равно сердце уйдет из жизни…». Еще Шопенгауэр хорошо сказал о чести: «Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь».) Впрочем, даже немцы и русские договорились до того, что называют войну (вообще, любую) разрешенным убийством, а армейскую подготовку — подготовкой убийц. Сегодня, у некогда сильных, а ныне только богатых наций возникло ощущение, что можно выжить и без героизма, за счет «технологий». Сильно в этом сомневаюсь, потому что если «технологии» можно освоить «по описанию», то героизм утерянный вряд ли вернешь. Завтра любая группа отчаянных террористов, овладев ядерным оружием, поставит на колени весь «цивилизованный мир», для которого уже давно «лучше быть красным, чем мертвым». Катастрофа явилась результатом тотального отсутствия героизма среди евреев, и так ее надо преподавать в школе. Надо преподавать нашу историю, как обреченность на героизм. Человек вообще обречен на героизм.

Жизнь индивида несущественна, если она не ради рода или идеи.

Иудей, иудей,
ты куда — без идей?

2.9.94. Вот посмотрел передачу о Валентине Зубкове, актере. Симпатичный мужик. И я загрустил. И подумал: нет, не прижилась моя душа у евреев, не прижилась... Тоски у них нет. А стало быть, не понять нам друг друга. Душа моя русской тоской отравлена, и без яда этого, яростного этого наркотика — сохнет, как без ответной любви. А еврейский оптимизм с неустанной деловитостью, особливо оптимизм этот — рвота ходячая. Шесть миллионов сожгли в печах, а они все верят в лучшее будущее, в «новый Ближний Восток», в «йихйе беседер» (все устроится). Будет вам, оптимисты, седер[1] в братских могилах.

Конечно, без оптимизма и настоящей деловитости быть не может. Русские деловиты только из-под палки, потому что в пользу, конечную, глобальную пользу деловитости не верят. Зато они в делах трезвее (игра слов), жестче, подозрительней, воздушных замков не строят. Они консервативны и революций не любят, разве что не прочь побузить с тоски.

3.9. Суббота. Утром пошел в бассейн. Когда вернулся, старший рассказал, что разбил нос своему партнеру, который дискотеку держит, черный (он ему молодняк туда загоняет и обеспечивает охрану, тот еще бизнес, но он деньгами гордится, любит пошуршать тугриками, и я ему давно не указ, вообще запах шальных денег дурманит), тот ему не заплатил, конфликт, угрозы, в общем — уголовщина. Мне не понравилось, что он испугался. Испугался — ладно, это нормально, но нельзя страх проявлять. Тот ему позвонил, сказал, что ездил в больницу, нос сломан, требовал опла-

[1] Седер — порядок (*ивр.*), «акол беседер» — все в порядке, стандартное выражение

тить медрасходы и таким образом «уладить» дело. 350 сикелей. Старший взял и повез. Я ему говорю: ни в коем случае! Обратись к адвокату, улаживай и плати только «официально», и как часть общего официального урегулирования. «Между собой» не пройдет, он увидит, что ты испугался и это разовьет у него аппетит. Но он сильно струхнул, захотелось «быстренько уладить» и «забыть». Да и обидно небось за собственную глупость. Учишь, учишь с дерьмом не связываться. Но очень хочется деньжат, быстро и много. Впрочем, он и работает много, сторожем, и учится, и котует где-то по ночам, темп бешеный, на износ. А радости жизни нет, даже какое-то ожесточение...

Смотрел австралийский фильм «История женщины», про старушку больную раком. О жути старости. Обиде смерти. «It's not faire!» (Это не честно!) — говорит одна из героинь, молодая сестра милосердия. 'It's not faire!»...

Вчера поехали вечером к морю, договорились с Левиками. Приехали к семи, было уже темно и безлюдно (время на час раньше сдвинули накануне, а мы и забыли). Пошли купаться, вспоминая ночные купания в Неринге. Она глубже, чем по колено не заходит — водобоязнь всех предков, от краковских раввинов до франкфуртских менял. Поплескались у берега. Непосредственна и весела, как девочка. Потом я один сплавал. Если белые гребни издалека не набегают, то не видно границ, водяная пустыня кругом мрачно поблескивает, затягивает. Страшно. Потом Левики приехали. Гуляли с Аркадием вдоль моря, прибой лизал ступни, и жевали все ту же тему: что народ морально разложился, что всему конец, что сионизм наш был ошибкой, «идеологической зашоренностью», вспоминали знакомых, которые уехали, значительно опередив нас в разочаровании, о том, что энтузиазм, воля к борьбе, незаурядные способности этих людей оказались тут невостребованными, и чем способней был человек, чем энергичней, тем больше он кон-

фликтовал, тем хуже уживался, тем труднее ему было свыкнуться, смириться. Вспоминали свою «травму абсорбции», о том, что мы чужие тут в сущности, и останемся чужими, что меня, кстати, уже почти не пугает, уже не могу себе представить, что где-то и с кем-то, то есть в каком-то обществе, я могу быть «своим», хотя именно это стремление было когда-то главным... Вот такой вышел длинный разговор в прибрежной тьме, под шумок прибоя. Его неприкрытая горечь, человека, в общем-то, преуспевшего, отменно делового, умного, смелого (не на шутку бодался с Империей), породистого, красивого мужчины (жена называет его «патрицием»), была неожиданна и пугающа. Подсознательно хочется, чтоб тебя в твоем пессимизме разубедили. Я даже решил, что он перегибает, что возрастное (он лет на десять старше).

Миша

Вот так я сидел на окне, видно было далеко вокруг: купола собора в Измайлове, Олимпийский комплекс, пруд у «Севастополя», рядом на пригорке церковь Ильи Пророка (в архитектуре русских церквей — все лучшее, что есть в русской душе, такое непритязательное изящество, почти нежность, в западной архитектуре этого совсем нет, или мне все это от любви кажется? я и грозных, хмурых Спасов русских люблю...), а рядом, подо мной, верхушки тополей, можно погладить...

Миша возился с собакой, привязывал ее, потом чай готовил, я открыл крышку старого пианино, попробовал — ужасно расстроено. Потом пили чай, я поднимал с пола книги, рассматривал, одна, маленькая, потрепанная, заинтересовала названием: «Ближневосточные ведуты», с фотографиями грифонов, барельефами богов пустыни. Показал ему фотографию скульптуры хеттского воина — точь-в-точь знакомый гаражник, «интересно, да?» говорю. «Возьми», — сказал Миша. «Нравица? Бэри, генацвали!» — смутился я и положил книгу на место. «Нет, возьми, я хочу тебе

подарить что-нибудь. Возьми. И еще, есть одна певица, ужасно мне нравится, Татьяна Буланова, слышал про такую группу «Летный сад»? Ну, в общем, у меня есть две кассеты, одну обязательно возьми. Сейчас я тебе поставлю...». Он долго возился с техникой, тянул провода из угла в угол, чего-то прилаживал, наконец, включил:

«И вновь
Две жизни существуют.
Одна — в которой ты остался...»

Настоял-таки на том, чтобы я взял кассету. Потом мы незаметно перешли к нашим сексуальным переживаниям, он увлекся рассказами о своих, как и 20 лет назад, все то же, все о том же, даже о тех же, ничего не изменилось. Рассказывал про Нину, потом про некую Лену, вокруг которой разгорелась война с Ваней (столетние войны с Ваней), Ваня ее любил, но она вернулась не то к мужу, не то к старому другу, и тут Миша встрял, посредничал, сам увлекся, «ты не представляешь, какие она мне вещи рассказывала, таких откровенностей я еще ни от кого не слышал, что-то пугающее, она хотела переехать ко мне, но мне было жалко Ваню..». И как она все-таки ушла к бывшему, и с Ваней была жуткая ссора, Ваня хотел его убить, а он лелеял планы мести ей, разоблачения, публикации ее откровений, но Вика отговорила. А совсем недавно он узнал в новой кассирше в соседнем магазине однокашницу, в которую был влюблен в школе, она хотела стать актрисой, была очень своеобразная, талантливая, но неудачно вышла замуж, ужасно влюбилась, муж бил, много лет, пока всю любовь не выбил, теперь одна, они встретились несколько раз, «и вот странно, казалось бы, так удобно ебаться, и живет рядом, но что-то мешало», потом встретил ее с каким-то парнем, тоже старым дружком, и легко можно было отбить, но стало жалко дружка... Я по старой привычке пустился в психоанализ его жалости к дружкам, по ходу этого нашего бес-

конечного разговора (мы можем встретиться еще через 20 лет, стариками, и продолжить его с той же точки что прервали, будто вчера расстались) вышли погулять, дошли до «Севастополя», перед прудом, над туннелем подземки на «Черкизово», вырос уродливый земляной вал, сам пруд отвратительно грязен, заброшен, да и кинотеатр одряхлел, обшарпанный, изрисованный авангардными фресками, коллективным творчеством молодого-незнакомого племени, взыскующего самовыражения. Зато церковь на пригорке обновили, я возжаждал запечатлеть, сфотографироваться (Фромм считает, что страсть фотографировать — симптом некрофилии), но Миша на фоне церкви не захотел, предпочел чуть в стороне, из деликатности к религиозным чувствам прихожан, Храм же ведь, нет, он не верует, но полгода назад, в период тяжелой депрессии, ходил на такой «кружок» интересующихся религией, вообще-то он даже подумывал креститься, останавливает только, что еврей, ведущая кружка, умница, говорит: ничего, и Иисус был еврей, но он пока не решился еще, но и фотографироваться на фоне Храма не хочет. Мимо церкви, по слякоти и хляби размытых дорожек, прошли в поросший бурьяном парк, я узнавал эти дорожки, покосившийся забор катка, высокая трава была мокрой, выгуливали больших собак, Миша занимался теперь психоанализом моих бредней: «Я помню одно место в твоей повести, где ты, твой герой, травмированный неудачей со своей первой женщиной, говорит себе: теперь все, значит, я никогда не буду кинорежиссером», я засмеялся, покраснев, наверное, потому что вспомнил, и то место в повести, и то шестнадцатое лето моей жизни, могучий дом на Миллионной, совсем рядом с Зимним, в котором лишился невинности на кровати с клопами, с тридцатилетней фабричной девушкой, которую звали сногсшибательно: Жанна Желаннова (муравейник коммуналки, старуха мать на сундуке в углу...), я подцепил ее в электричке, в которой возвращался в Ленинград с кузиной, ку-

зина была влюблена в меня и оказывалась невольной свидетельницей самых «роковых» моих встреч.., да, значит, не быть мне кинорежиссером, и я опять, устыдившись чего-то, засмеялся, а Миша все развивал это высказывание в сторону присущего мне императива власти над женщиной, коему мешают мои сексуальные недостатки, насколько он помнит, в прошлом меня беспокоила преждевременная эякуляция, кстати, как у меня с эякуляцией, по-прежнему столь преждевременна?

Через день-другой я позвонил ему утром, попросил подойти, помочь книги отбуксировать на почту.

14.9. Вчера был день рождения у Аси. Болтовня под закусь. О нашей политике, о российской, колоритные рассказы Паши и Феликса о русской мафии, Феликс воздушные линии натягивает с русской глубинкой, аж в Хабаровск: «поехали на разборку, с нашей стороны человек семь и с ихней, ругань на полчаса, пасть порву и т.д., главные молчат, тут наш главный ихнему говорит: вот тебе мой номер телефона, позвони, уладим, и разошлись, а на другую разборку меня не взяли, так там восемь человек положили из автоматов, в газетах — ни писка» (когда я у Паши в Москве был, к нему зашел его приятель, мы сидели на кухне, приятель достал золотые николаевские рубли, маленькие, стертые, десять ровно, разложил на столе, просил по куску за каждый, Паша глядел в лупу, причмокивал, по ходу дела о жизни болтали, кого-то из общих знакомых убили, «говорил я ему — не зарывайся», рассказывал приятель, «а ты не боишься?» спросил его Паша, «не, я теперь уже ничего не боюсь, вот заводик запустим — это полтора миллиона в год, все жуют и все довольны, я с этого дела дай бог четверть буду иметь, зато спать спокойно, главное не зарываться, на всех хватит»), восхищались русской телевизионной рекламой, особенно АОММММ, Голубковым — новеньким национальным героем. Дети смотрели фильм о Майкле Джексоне. С детьми нестыковочка. Разбегающиеся галактики.

Утром пошел в наш Хулонский лес собаку выгуливать. Пусто. Не жарко еще. Поливалки брызгаются, шиповник облетает. Есть куда убежать взгляду, к дюнам, полям через шоссе, горам вдалеке. Все вроде красиво...

Миша

Мы стояли одни на остановке, уже долго. Автобусы ходили по случаю, как в деревне. Собрались тучи. По направлению к нам, пошатываясь, перешла дорогу деваха неопределенного возраста, наверное, все-таки молодая, лет двадцать, но сильно помятая и ободранная, несла почти на вытянутой руке трехлитровую стеклянную банку, на дне которой качалась желтоватая жижа с легкой пеной, сначала подумалось «мочу на анализ несет», но потом догадался: пивком в соседнем ларьке отоварилась, на опохмелку.

— Ребят, — язык у нее заплетался, — давно ждете?

Не люблю пьяных баб, дремучий страх перед ними, еще охуячит тирсом...

— Давно, — ответил приветливо Миша. Он из того же страха старался их, как наших меньших сестер, любить.

Деваха, покачнувшись, кивнула. Постояли немного молча.

— Маме несу, — сказала деваха, кивнув на банку. — Вчера, блин, гудели-гудели... Теперь плохо ей. Говорила я ей: не надрызгайся... А вообще, блин, жисть — тоска.

— Да, — грустно подтвердил Миша.

Это было неосторожно.

— Во, — оживилась собеседница, — я и говорю... — Буржуи пухнут, а народ, блин...

Миша и тут сочувственно кивнул.

— Ребят, меня зовут Наташа, — распоясалась деваха. — А вас как?

— Меня Миша, — сказал Миша.

Настала моя очередь, и я, преодолевая неприятное ощущение ненужного, глупо спровоцированного саморазоблачения, выдавил из себя, наверное, даже усмехнувшись:

— А меня — Наум.

— Мы — евреи, — выпалил Миша.

Деваха покачнулась, по-королевски выгнула бровь и решительно заявила о своей веротерпимости:

— Ну чо? А кого ебет чужое горе?

Миша радостно оживился и уж было собрался поведать попутчице о еврейских горестях, но та, как старая любовница, перебила его о своем, как они вчера гудели, кто кому врезал и вдруг:

— А вы мне позвоните. Ну? Запиши телефон.

Я дал Мише ручку, и он записал ее телефон на спичечном коробке.

— Позвони, — сказала она, обращаясь только к Мише. — Да?

— Хорошо, — сказал Миша.

И менада, неуверенно ступая, отчалила. Словно лодочка в легкий бриз.

— Представляешь?! — Миша возбудился. — Пьяная, всё, а какая природная деликатность?! Почувствовала, что выпадает из разговора, и оставила нас одних.

Я не стал спорить.

— И дала бы запросто. Я б ей уже сегодня позвонил, если бы ее дружков не боялся.

Подъехал автобус.

17.9. Все страшней презрение к людям, к их убогим заботам, все настоятельней необходимость «оправдать» жизнь, оправдать свое, именно свое бытие, и все трудней, все мучительней жить, даже не потому, что смерть вот-вот раздавит тебя горькой, необъяснимой обидой, нет, не смерть, а невозможность радоваться жизни, вот так просто, по-отрочески, радоваться ее полнокровию, ее заманчивости, таинственности. Все больше, как улитка в панцирь, уходишь в себя, в бесконечную внутреннюю спираль, чтобы там, в ее безотрадных глубинах окуклиться и усохнуть, оставив лишь скрученный в послед-

нем выкрике прах. И уже говоришь только с бумагой, только с самим собой, с тем в тебе, кто, чем дальше, тем реже оставляет в покое...

Миша

Народу на почтамте было мало. Пока я возился с книгами, Миша сидел у окна, глядя на шумную Мясницкую, еще памятную, как Кировская, выходил покурить, возвращался, наблюдал за мной, опять выходил смолить. Отправив посылки, я нашел его на ступеньках почтамта, лицо в облаке дыма (раньше он так много не курил), мимо — мутная река людей и машин. Еле уговорил пройтись до «Книжного мира» и спуститься в метро на Лубянке, он требовал немедленно ехать, иначе опоздаем, я уверял, что не опоздаем, а если и опоздаем на пять минут, то Белашкин все равно явится на час позже, а если свершится чудо, и он будет вовремя, то, подумаешь несчастье, подождет пять минут. Такая постановка вопроса была для Миши просто оскорбительной, он считал опоздание страшным грехом неуважения, и согласился на мои уговоры только потому, что «понял, наблюдая за тобой: книги — твое настоящее сумасшествие. Ты бы видел себя со стороны, — с наслаждением анализировал он мое состояние, — глаза безумные, остервенелые…».

— Да, — говорю с притворной печалью, — страстишка. Это верно.

В «Книжном мире» я с торопливым сладострастием потолкался, вновь набил выпотрошенные на почте сумки, и вознамерился дальше идти пешком аж до самой Библиотеки Ленина, по дороге пускаясь во все книжные, но Миша уперся: опоздаем. В результате мы приехали на пять минут раньше. Собирались тучи. Спрятались под навес, держа под наблюдением вход в метро, у тонких граненых колонн, среди битых бутылок, рваных пакетиков, раздавленных пластмассовых стаканчиков, окурков — прям помойка. Миша все глотал, глубоко затягиваясь, едкий, злой дым

своих самокруток. Тучи стали совсем грязными, грозными. Бодро взбежав по ступенькам, прошла мимо женщина, пожалуй, около пятидесяти, плотно сбитая, в сиреневом обтягивающем коротком платье, взгляд молодой, дерзкий, глаза тоже сиреневые, белая прядь, как петушиный хохолок... Я засмотрелся, она обернулась. А Миша говорил о том, что нежелание участвовать в жизненной сваре, в борьбе за выживание, в борьбе за женщин — необходимый выбор для честного и доброго человека, о непротивлении злу, а я утверждал, что всякое непротивление, отстранение, есть результат непреодоленного страха и неприспособленности к жизненной борьбе. В основе — животная слабость, обреченность на уровне инстинкта, потом уже возникают от безвыходности соответствующие идеологичекие установки, но отстраненность — это просто трусость, и надо уметь себе в этом признаться, гуманизм конечно дело замечательное, теперь и у слабых есть возможность выжить, но пусть слабые при этом не считают себя солью земли и не строят религий для всего человечества.

— Если бы тебя меньше волновала эта твоя несостоятельность с женщинами, если бы ни эта твоя бесперспективная установка на героизм, ты бы гораздо больше преуспел творчески, ты всегда насиловал себя, воевал со своими страхами, не давал волю своей сути, своей слабости, и не корчился бы в муках самопрезрения и… не женился бы на Римме во всяком случае давно бы развелся и не уехал бы, был бы свободен... как я… (Наша речь становилась захлебывающейся, галопирующей, без пауз.)

— Да, вот именно — вот именно страх стать таким как ты страх отщепенства но не как отстаиваемой социальной позиции а как капитуляции ухода бегства да да позора бегства я боюсь больше всего и не хочу уступать перемалывающим жерновам жизни стать мукой я помню твой рассказ о том как ты подростком гулял у пруда в Останкино и там на берегу молодые мужики играли в волейбол и ты подумал что только бы ни стать такими как они а потом лет

через десять ты снова гулял там случайно снова увидел как они играют в волейбол вспомнил и с радостью подумал что ты таким как они не стал и не уходить смиряясь с пинками прячась а завоевывать право на отделение остаться в этом отделении независимым я недавно около нашей школы есть детсад наблюдал игру-возню малышей на площадке все бегали прыгали толкались дрались как обезьяны а один сидел в углу с кубиками и что-то строил и к нему все время подбегали шпыняли его разрушали его постройки а он только забивался все глубже в угол площадки становился все безропотней все равнодушней и все строил и строил уже скорей из упрямства а не вдохновения и мне было ужасно обидно за него и некому было его защитить защитить его право строить в углу вот у меня на работе самые трудные проблемы в тех классах а там уже лбы лет по 16–17 где среди толпы обезьян найдется один который хочет учится и он смотрит на тебя с надеждой ты его последняя опора и защитник в толпе дикарей и вот начинаешь бороться со стихиями бороться со всем классом злобно безнадежно бороться за его право учиться за этот росток человечества чудом мутации появившийся в обезьяньем питомнике так и во взрослой жизни если ты не бежишь со стадом хочешь выйти на обочину станешь добычей хищников а то и свои затопчут сметут и даже не из-за особой жестокости жестокие люди это люди которые сознательно ненавидят «отстраняющихся» а может они видят в них какую-то угрозу для себя или жалеют по-своему желая «научить» их жизни вообще жизнь сама по себе вещь жестокая аморальная то есть она вне морали...

— Нет, — перебил Миша, тоже возбудившись, — я не за полное непротивление я готов взять автомат и перебить всех кто хочет помешать малышу играть в своем углу в свои кубики...

— Да я тоже готов я вообще готов всех перестрелять (мы засмеялись) я не против того чтобы кто-то играл

в своем углу наоборот но я против того чтобы отключались не замечали действительности игнорировали ее меня это раздражает трусостью не только физиологической но и интеллектуальной я помню как мы спорили об антисемитизме ты говорил что тебя не задевает когда тебя обзовут «жидом» объясняя это нормальными житейскими неурядицами и недоразумениями а меня раздражало в этом твоем подходе нежелание признавать действительность которая есть тотальная безусловная ненависть жалкие старания не замечать ее потому что не знаешь что же можно ей противопоставить а ничего только зубы и когти...

— Да, антисемитизм — это сильный аргумент... Я вижу что и ты помнишь кое-что из наших тогдашних разговоров что я как раз позабыл... Но вот насчет трусости... все эти геройские комплексы булгаковщина чушь все это не бойся быть трусом не бойся своей слабости не бойся того что ты шизофреник ты же шизофреник как я не бойся быть человеком...

Вдруг вдохнуть терпкий, дурманящий запах каких-то трав-цветков из новогоднего букета, углубившись в статью Иосифа о Лосеве, о спасении религиозном, эстетическом, «умном», и подумать радостно, что вот, ощущение этого запаха и есть ощущение жизни, которого так не хватает. А не я ли сам виноват, не я ли так обустроил свою жизнь, что влачу дни не любя (не вкушая запахов), не выходя из норы, ни с кем не общаясь, ни на что не решаясь, компромиссы, компромиссы, да, и об этом, о компромиссах мы тогда говорили с Мишей...

В келью вторгаются грубые голоса еврейских простолюдинов, худший тип простолюдина, наглый до храбрости. Наглость, невежество, грубость, самодовольство — вот он «новый еврей», взлелеянный свободой и национальной независимостью.

Вчера были у Марика, гоняли в шахматы, оторвались послушать Биренбойма, он играл 2-й Брамса, дирижировал молодой израильтянин кавказской национальности, старательно открывавший рот пошире.

— Протеже, — прокомментировал Марик.

— И у вас, — говорю, — в музыке — интриги, война за места, кумовство, проституирование...

— А ты как думал?

«Посмотри, как он напряжен (о Биренбойме, в начале)... Боится... Бездарь (на дирижера)! Все время запаздывает! Интересно (опять о Биренбойме), на кого он так злится, на него, или на себя... («На Брамса», — вставил я, но шутку не оценили.) Ну зачем он берется за такую сложную вещь! Посмотри, как он вымучивает! Вот... это — самый трудный кусок... Конечно он — талант, усталый, но талант. Вытянул. Это же гениальная вещь, особенно третья часть, я ее очень люблю. Какая мощь!»

Любовь к мощи в музыке я не разделял, но спор был не по чину.

И. сегодня звонил, жаловался «на жидов»: «все кляузники, фискалы, наушники, пидарасы гнусные», видно на работе что-то не складывается.

Миша

Да, мы еще много говорили о компромиссах, я ненавидел их, а Миша считал признаком человечности, и он мне врезал: «Хочешь я тебе объясню эту твою склонность к компромиссу, и почему она так тебя раздражает? Это тебе любой психолог, даже не психоаналитик скажет, помнишь, ты рассказывал мне, как твой отец время от времени думал пуститься в разные рискованные предприятия, связанные с возможной отсидкой, и как твоя мама была категорически против, как она боялась риска, и как она всегда тебя опекала, берегла от жизненных передряг, так вот, эта твоя склонность к компромиссу, к уступке, это от матери, и ко-

гда материнское в тебе побеждает отцовское, ты злишься, потому что, как ты рассказывал, она даже от смерти отца тебя оградила, она на самом деле всегда тебя от него ограждала, инстинктивно..». От внезапно разверзшейся бездны меня затошнило — он был прав, я вдруг осознал, почему после ее приезда, когда она приехала одна, похоронив отца, я испытывал к ней необоримое чувство раздраженного, неприязненного отстранения, я не мог заставить себя обнять ее, или поцеловать, или погладить, и я вижу, как ей этого не хватает, но ничего не могу с собой поделать, и тем сильнее мое чувство долга по отношению к ней, а свои сыновьи долги я плачу, как мне кажется, исправно, но... все равно злюсь на ее безропотность, уступчивость, а отец был бесстрашным, пугающе бесстрашным, в бесстрашии есть что-то безумное, бесстрашие, которое мне не дано, и о котором я тоскую, как об отце... А еще он спросил меня: «А есть ли там с кем поговорить вот так, о последних тайнах бытия?» «Нет, — говорю, — вот так — нет, не с кем, да мне кажется, что там у нас вообще не принято разговаривать по душам, я уж и забыл, что это вообще возможно». «Не может быть, — удивился он, — не может быть, это ужасно!» Он опустил голову. «Да вообще, — говорю, — жизнь там куда рациональнее...» «Ну, вот что, — опять попытался он, — вот ты рассказывал про школу, ну что, никто из молодежи, ни с кем из молодежи тебе не удалось за все эти годы поговорить о жизни?» «Да о чем ты, какая молодежь, о какой жизни, — горько скривился я, — за все годы у меня был только один такой случай, и он действительно меня ужасно обрадовал и запомнился, я преподавал в одном классе, в девятом, “бейсик”, такой язык программирования, ну и там основы программирования, так вот, вижу один парень на задней парте меня не слушает, читает чего-то, а когда я диктую, не пишет, в общем, отключился, и знаешь, что интересно, вот странно так, он был очень на тебя похож, вот, так я подхожу, он книжку спрятал, а я говорю, дай посмотреть, он так глаза на меня поднял и отдал,

я смотрю: “Преступление и наказание”, вообще-то они это по программе проходят, но все равно, думаю, раз такое дело, читай, и вернул книжку, он очень удивился, а потом, в конце уроков, я шел домой, он меня перехватил и стал о России расспрашивать, о Достоевском, я ему объяснял там разное, да... и, что странно, он восточный был мальчик, из Ирака, и ужасно на тебя похож...»

Мишу рассказ взволновал. Он долго молчал, а потом сказал: «Ты знаешь, где, мне кажется, вот эти люди, с которыми поговорить можно, люди, которых духовные проблемы интересуют больше материальных, где их можно найти? Среди религиозных, вот туда тебе надо». «Да, — говорю, — верно, я, когда пересекался с ними, ловил себя на том, что они похожи, и так же книгами все забито в квартире, и действительно любят поговорить о жизни... но... это — другой мир, и, к сожалению, все в этом мире у них чересчур ясно, они готовы учить, но не спорить». Миша понимающе и печально кивал.

Крапал дождь. Белашкин опоздал ровно на час. Поболтав с ним о своей книге, дело было вроде на мази, Миша отчалил, а мы с Андреем пошли к Кропоткинской, там у него был на бульваре прилавок с книжками, торговала симпатичная девица, он чего-то выяснял у нее, я гулял вдоль раскладных столов, купил «Сопротивление и покорность» Бонхёффера, вдруг ливень пошел, короткий козырек навеса не спасал, книги мокли, кое-кто из соседей стал собирать манатки, но дождь также внезапно перестал, мы купили по пиву, издатель долго не давал себя угостить, и пошли в «Эйдос», впрочем, это уже рассказ про Белашкина.

А еще мы были с Мишей у Вики на вечеринке. Была ее подруга Таня, филолог, редактор в каком-то журнале, под 50, но еще сексапильна, был Боря Колымагин, который о Мише статью написал к подборке в первом номере НЛО, Боря был незатейлив и мне понравился, был философ Соловьев, чуть ли не членкор, лет под 60, державшийся запросто, пока Таня не стала проявлять признаки дозиро-

ванного благожелательства к моей особе, он тут же оживился, засыпал остротами, стал даже ехиден. Когда я рассказал о том, как мне 3 года назад, во время путча, приснился ночью страшный сон, что кто-то стоит у моего изголовья и поднимает топор (о, это было так явственно!), он съязвил: «еврею из Израиля снится в Москве сон Гринёва — поразительно!» Потом Вика мне по секрету сообщила, что он в Таню давно и безуспешно влюблен. Миша вынимал из него душу насчет кантианства, поскольку Соловьев официально причислил себя к последователям кенигсбергского чудика. Отбивался он от Мишиных наскоков деликатно. Вика неустанно хлопотала, создавая атмосферу, потом муж пришел, потом добыли у соседей гитару, и я, немного смущаясь, попел Есенина, удивляя публику, «что такое поют в Израиле». Ну, говорю, я вам не скажу за весь Израиль, а я вот — пою. А вообще, был не в ударе, какая-то чинность имела место быть, какая-то претензия на тусовочку. Миша, конечно, категорически выпадал из ансамбля, что вынуждало Вику давать пояснения о его трудной жизни и маргинальной позиции, вокруг которой пошел с Соловьевым горячий, нефилософский спор, в общем, Миша старался не подкачать и вел себя вполне маргинально.

9.9. Д. позвонила. «Хочешь, сыграю?» — и давай ржать. А у меня так напрягся, что смеяться больно. Это с тех пор, как я тогда затащил ее перед репетицией на квартиру, которую снимал для И. Дурацкая должность: перед репетициями их вздрючивать. Когда душ принимал, слышу что-то грустненькое выпиливает, вошел в комнату: лежит голая на диване и выпиливает. Я озверел, думал, хуй оторвется, так натянулся, а она все смеялась и брыкалась, а потом говорит: «Я тебе условный рефлекс сделаю, знаешь анекдот: скрипач к доктору приходит и говорит доктор просто ужас что со мной, не могу играть, как только начинаю, член встает, неудобно. Нука сыграйте, говорит доктор, ну тот заиграл и говорит: доктор, и у вас встал! Так ты ж играешь как пизда!»

Миша

С вечеринки мы ушли с Колымагиным. Долго прощались в метро. Колымагин простой и хороший мужик, раньше бы непременно захотелось продолжить и углубить знакомство, а теперь... Я понял вдруг, что отвык от России, отвык от русских, пожалуй, навсегда. И слава Богу.

Миша решил проводить меня от Черкизово. Мы шли пешком. Иногда накрапывало. Я побуждал его написать статью о книжке для «Ариона», в который, с подачи Гандлевского, у меня взяли подборку.

— Если бы я взялся написать, я бы написал не только о книжке, а вообще о тебе, о том, что ты живешь на побережье, я всегда мечтал жить у моря...

— Давай, вперед! Все что в голову влезет, хоть про преждевременную эякуляцию!

Посплетничали о вечеринке, о Вике, о Соловьеве: «Первый раз разговариваю с настоящим философом, профессионалом, не ухватишь его, в чем она, его философия-то, ну Канта изучил — это похвально, а себя-то как спасать?» Вику, слегка раздражавшую меня светской суетливостью, Миша защищал: «Она добрая». Рассказал ему, что Гандлевский дал мне свой роман прочитать, и как меня этот роман разозлил, больно ловок, не роман, а сплошное политическое маневрирование, все эти подчеркивания с кем пил в охотку, с кем нехотя, а с кем и сесть-то за один стол западло, кокетливое самобичевание: «умишко куц, воля слаба», про «собственноручно испохабленную жизнь», да чего ты, блин, паясничаешь, знаешь же прекрасно, что умишко твой не куц вовсе, и воля не так уж слаба, и в жизни все у тебя нормально: квартиру справил, дети замечательные, друзья знаменитые, и жена любит и уважает, и слава литературная на пороге, глядишь, и Букера, как задумал, получишь, какова литература, таков и Букер. Да и какую бы «хорошую» жизнь ты хотел? Вот череп тебе вскрыли, а «гиблая, слабая, нехорошая жизнь» твоя в чем изменилась-то? На веранде деревянной избы, где этот книж-

ный магазин, «25-го октября», кажется, мы с ним ливень пережидали, веранда дачная, и он рассказал, как ему сообщили про опухоль, как уже решил, что — все, как череп вскрыли, и как почувствовал, что будто родился заново, ну и что? да хоть еще десять раз родись заново! Всё, всё раздражало: залихвацкий тон «пропащего», все эти «зарядили банки», «оттянулись», «понавешали с пьяных глаз», да с «пердячим паром», и при том мы с понтом Ортегу-и-Гассета да Мартина с Бубером почитывали, есть в этом какое-то юродство, ей-богу, а я юродства русского терпеть не могу, этот ритуал «пропащей» жизни бездельников, попрошаек и пьяниц, в глубине души почему-то считающих себя солью земли, а свою жизнь — освященной великими целями и полной поэзии, власть только вот, подлая, на корню срубила, и ведь, главное, никого при всём при том не обидел (разве что Евтушенко, ну так того только что ленивый не отлягает). Да лучше партию родную прославлять, ей богу. А задело меня, конечно, в чем я Мише не признался, что поиграть не взяли в литературные игры, в персонажи не пригласили. Когда он описывает, как пил с Кибировым во время путча, как другая знаменитость позвонила и сообщила, что путчистов в аэропорту арестовали, и какие они там значительные или ироничные вещи говорили, и как в этот день, это был третий день путча, он своим «спиногрызам» двухэтажную кровать сколачивал, они переезжали, то обо мне, как сидел с ними и пил, генеральскими консервами из гостиницы «Спутник» потчевал, и сто долларов, которые ему позарез на ремонт нужны были, отстегнул за книги (тут некая еврейская неувязочка вышла с коэффициентами перевода, в общем, поторговался я, о чем вспоминать немного стыдно), и про танки на улицах докладывал — с утра, как угорелый, носился в тот день по городу: в Сохнут на Полянке, в штаб на Ленинском, в посольство, даже в редакцию «Юности» забежал с Сашей Макаровым, на Полянке была паника, врывались плачущие женщины и требовали немедленно отправить их в Изра-

иль, потом заскочил Бума-кибуцник: «Эйзе цава дафук!» («Ну и армия недоделанная! Видел танковую колонну, так штук пять насчитал на обочине, чинят, как после боя!»); и кровать спиногрызам помогал сколачивать, обо мне, понимаш, никакого упоминания, обидно, где ж историческая правда, документальная точность? А я даже малость какую, совсем неизвестно «на что работающую», боюсь выкинуть, все в кучу валю, не верю я ни в какие композиции, дневник, так дневник. Погром так погром. И ту беседу помню:

Кибиров: Ты знаешь, что Лукьянов стихи пишет?

Гандлевский: И Язов пишет.

Кибиров: Ну, Язов даже печатается.

Гандлевский: Язов просто большой поэт.

Тут я похвастался, что познакомился с Сапгиром, но это почему-то никого не порадовало. Кибиров заметил, что «Геня — бабник, как выпьет, лезет лапать». Гандлевский пожаловался, что прям при нем Лену лапал, «просто больной».

Может разница в том, что мне не «литература» важна, а очень хочется живую жизнь зацепить «пером», как багром, и вытащить эту рыбу трепыхающуюся на берег текста. И все хочется с самим собой разобраться, в себе. И если это настоящая шизофрения — я не боюсь, Миш, я уже не боюсь.

Но Миша в объяснениях моего раздражения на Гандлевского не нуждался, он «эту кодлу карьеристов» давно и гневно ненавидит. Считает, что и смерть Сопровского на их совести, что, мол, не вышли его проводить в дупель пьяного... Да, наверное, и зависть тут, но не только. Просто нам «спасение» подавай, а карьера — это мелко, неинтересно, унизительно даже, нет, никто от карьеры не отказывается, но не душу же за эту погремушку продавать. (Да, пусть высокопарно, пусть глупо.) Конечно, бывают «спасители» бесталанные и талантливые карьеристы, ну так что? Разве талант спасает? Спасает только правильная идеологическая установка. Так и до дома дошли. Я пригласил зайти, хоть и устал от разговоров. Попили чайку. Поговорили

о Иосифовой эстетике «спасения», но уже вяло. Миша сказал, что она хороша в лучшем случае для трагедии, а куда скульптуру девать, живопись, музыку? И нельзя сбрасывать со счета прикладной характер искусств. Опять засмолил. Уходить ему не хотелось. Из окна тянуло дождевой прохладой. Наслаждение, а не воздух. Кладбищенские тополя стояли стеной. Кладбище вон там, за забором, тропинка ведет. Хорошо о «спасении» философствовать, а на деле, вон, поди ж ты, спасись... И, глядя на Мишино лицо в клубах дыма, ему-то что, запаха не чувствует, вдруг любовь-жалость нахлынула, неожиданно. Может эта, вот такая, наша дружба — и есть спасение наше...

В последний раз я видел его за день до отъезда. Он опять зашел утром, и мы пошли пешком к метро «Черкизово», через Сиреневый сквер, где Иосиф дворничал. Я все хотел выспросить у него, аккуратно, чтоб опять не разозлиться, как он влез в это дело с теткиной квартирой, как его Зюс натравил, и что Зюс собственно хотел? Это было уже неважно, но поскольку очень обидно, что дело с квартирой лопнуло (хотелось, да, хотелось квартирку в Москве заиметь, хотя, если здраво рассудить — нахрен она мне, отроческие мечты о «хате»), так что тянуло выведать про змеюку-интригана Зюса. Миша Зусика защищал, чем выводил меня невольно из равновесия, потому что к брательнику своему двоюродному и, можно сказать, другу детства, я дышу неровно, неровно... В общем, никаких разоблачений я не добился от Миши, только желчь вскипятил, а пока, за разговором, мы к этому жуткому базару, к этому «чреву» на площади подошли, ко входу в метро не протолкнешься, и тут вышло наше время, хоть плачь, и мы, похлопав друг друга по плечу, пожав руки, не глядя в глаза, расстались.

Взялся за книгу Аниты Шапира «Херев айона» («Меч голубя»). Подзаголовок: «Сионизм и проблема силы. 1881–1948». По-английски звучит еще лучше: «Земля и сила».

«Land and power». Испугались, что чересчур сильные стали. Вот я и решил в генезисе этого опасения разобраться. Может, я чего в жизни не понял.

«Пинскер видел в готовности еврея примириться с тем, что его колотят время от времени, отсутствие самоуважения... Биренбаум отмечал трусость, как одну из позорных черт евреев, обнаруживающую полную потерю самоуважения. Тема чести евреев все время находилась в поле зрения и внимания Герцля, когда он обдумывал «Еврейское государство». Он был настолько обеспокоен презрением к евреям, что записал в дневнике о необходимости смертельной войны еврейскому юмору (?!!!), склонному к самоиздевательству. Внушение представления о евреях, как о нации уважающей себя и пользующейся общим уважением, было одной из центральных задач молодого сионистского движения».

Интересно, что «борода» сказал бы о Пересе с Рабиным.

«Образ чести был испокон веку связан со статусом воина. Того, кто способен постоять за свою честь и даже пожертвовать ради этого жизнью». Верно, голубушка. Так почему же этот статус так вам, левым, не нравится? Али честь не дорога?

А может во мне говорит привычка к имперскому мироощущению? Интересно, что самые рьяные еврейские террористы сегодня — репатрианты из Америки, именно в силу такого господского мышления не понимающие, как можно терпеть оскорбления, и тем более покушения, со стороны каких-то погонщиков верблюдов?

А ведь тут на пятачке от Иордана до моря за полсотни лет встала настоящая маленькая империя: букет наций, религий, общин, культур, совершенно друг другу враждебных, но объединенных еврейской всеядностью и полной волей для каждого обогащаться. Кстати, и — языком. Вот все говорят, как о чуде, что, мол, евреи, через тысячи лет, вновь заговорили на древнем своем языке. Это еще полчу-

да, а вот что арабы на древнееврейском заговорили, как на родном, или чистокровные русичи по-жидовски чешут, вот это действительно...

Я, конечно, не всё вспомнил из разговоров с Мишей. Вот всплыл вдруг отрывок:

— Когда в депрессии, то судорожно ищешь за что бы зацепиться, чтобы выжить, за какие воспоминания?, за чье сочувствие?.. И поэтому неинтересно писать ни о чем кроме вот такого пособия для отчаявшихся...

Гляжу на Вуди Алена («Война и мир») — галутный еврей, как и положено, смеется над героизмом — и вспоминаю джихад Герцеля еврейскому юмору. Героизм действительно чересчур серьезен, прям обхохочешься...

Но вот показали по ТВ толпу жизнерадостных школьниц, которых выгуливают по плато Голан, как они хором: «Лучше отдать, чем будут гибнуть люди», хоть одна добавила: «наши солдаты», и не до смеха. Вырежут же вас, дочурки, изнасилуют всем полком феллахов и кишки выпотрошат с вашей жизнерадостностью и заботой о людях. А мужичков шустрых-юморных подомнут и на кол. Потому что человечные очень. И бесшабашности, что гнилью дана, нет у них. Любят, любят жизнь. И общечеловеческие принципы. Вот и получается, что впору брататься с почвенниками, антисемитами и всякими романтиками сверхзадач... Показывали Варенникова, путчиста, говорит: «Да не смерть так страшна, как позор, ведь на весь мир опозоримся, так оно и вышло»... И Язов ему вторит (видеопротоколы допросов): «А народ-то уже не тот... в этом моя ошибка, не увидел..». Когда я утром 19 августа 1991-го, полный ужаса от свершившегося (кошмарные сны сбывались: власть меняется, ворота захлопываются и ты попался, воробушек, а паспортом своим иностранным хучь подотрись) я прискакал к Мише, он поразил меня своей невозмутимостью и спокойствием. «Да ты не бойся, Наум, это все ерунда, они

как дым рассеются, я им даю три дня от силы. Они, как и ты, оторвались от нашей действительности, народ-то уже не тот. Так что радуйся, благодари Бога, что он дал тебе возможность так сказать посетить сей мир в его минуты роковые…».

Неделю назад пикничок был вечерний на берегу моря, Мирон с Настей, Левики и Абрамович со своей подружкой, довольно ладной и еще молодой бабенкой. Выпили больше обычного, народ возбудился и решил голышом купаться. Бабы смело разоблачились и, ревниво оглядывая друг друга, бросились в море. Груди у подружки Абрамовича крепкие, маленькие, торчали над водой, и она задорно смеялась. Мужички посмущались немного, но тоже разоблачились, только я застеснялся. А когда коза моя из моря выскочила, гладенькая, меня звать, поволок ее, хоть и упиралась, на вышку спасателей и там наверху отодрал при лунном свете, на виду у резвящейся в море публики.

Выпили еще винца и давай дальше плескаться, вдруг из тьмы возникла компашка парней призывного возраста, человек шесть, и давай улюлюкать. Бабоньки вылезли, не шибко стесняясь. Абрамович рассвирепел и, жердь поддатая, пошел, болтая детородным (жена внимательно следила за его извивами), с ними драться. Пришлось пойти с ним и посоветовать им поберечь свои фаюмские портреты. Молодежь оказалась не особо воинственной, они отступили к вышке, ворча что-то про «русских блядей» и, поднявшись на нее, продолжали улюлюкать. Вынудили нас эвакуироваться. Возбуждение было необычным и, кажется, всем понравилось.

11.9. Весь Израиль обсуждает речь Асада в сирийском парламенте и ловит намеки на добрые намерения. Жители Голан открыли «новый этап борьбы». Главарь их, Ма́лка, оправдывался: «Мы не собираемся сваливать правительство. Мы заявляем ему наш протест». Правительство сваливает их с Голан, но они, верные партийцы, не собираются сваливать правительство.

Володя звонил. Его статью о Бокштейне напечатали в «Новостях недели». Доволен. Грандиозные планы заполнить все их приложения до пришествия Мессии. Зол, что не взяли статью о Генделеве: не хотят рекламировать конкурентов.

— Суки вонючие! Я — поэт! Я пишу о поэтах! «Пишите о ком угодно, только не о Генделеве»! А о ком, о Бараше что ль писать? Да я не хочу его топтать! О Вернике? Больше двух строк не напишешь! Кстати, когда твоя книжка выйдет?

А неделю-две назад была там его статья «Разговор о Дане». Недурно. Хотя вскользь. О Бокштейне — точно. Только за безвкусицу «птицечеловека» критиковать бессмысленно. В этой безвкусице — суть. Она оттеняет его метабред, придает ему подлинность. (Сам же пишет: «вдруг Оно живое?», и тут же — «лужи инфантильной тропики».) Иначе все было бы «сделано», то есть сухо, постно, натужно, а то и фальшиво, и всегда — мертво. Кто все время боится оступиться, у того походка неестественная (идет, как аршин проглотил). А Бокштейн чудесен естественностью, пусть даже и бредоносной. Его вообще «критиковать» бессмысленно. Критиковать можно «сделанное», а не явления природы. Бокштейну надо слагать гимны. И почему «досадно», что «ни тени иронии»? Да вся эта современная «ирония» — кокетливость шлюх! Или, в лучшем случае, «прыщавые» комплексы недовылупившихся.

В новостях была корреспонденция об исчезнавении хасидов из центра Тель-Авива (ул. Шенкин и вокруг): в синагогах не хватает молящихся для миньяна[1] (старики платят деньги молодым «богобоязненным» из других кварталов, чтоб те приходили с ними молиться, те, конечно, берут денежки безбоязненно, и доброе дело, и тут же тебе воз-

[1] Миньян — минимальное число (10) достигших совершеннолетия мужчин, необходимое для совершения публичной молитвы (*ивр.*).

даяние), насиженными их местами овладевают пацаны, долбающие рок на гитарах, полуголые девки, красные «ягуары» на тротуарах, педики в обнимку в кафе «Жопа». Корреспонденция сделана с едва сдерживаемой радостью по поводу ухода «старого мира», радостью, под маской сочувствия к одиноким седобородым дедушкам, чувствующим себя несколько неуютно в «новом мире», но проявляющим к нему удивившую меня снисходительность. Корреспондент подходит к парню лет 20-ти у входа в магазинчик кассет и дисков: «А ты не думал никогда, что может быть религия способна ответить на те вопросы, которые тебя волнуют?» Парень, на вид интеллигентный, пожал плечами:

— А меня ничего не волнует.

Это было гениально просто, в точку, в яблочко. Воистину новый народ, как и опасался Ахад Гаам: «без имени и культуры».

Вадим

Встречать меня в аэропорту Вадиму не хотелось. Как зимой коту на печке выбегать в сени. Меня это, конечно, задело, тем более ты ж ко мне в гости собираешься. Ну, ладно. Сам ленив, понимаю, да и, слава Богу, обойдусь. Позвонил через пару дней. Встретились у Почтамта на Мясницкой, где я своим обычным сумасшествием занимался — отправлял книги, первую партию. Обнялись. Подарил ему альбом фотографий «Христианские места в Израиле». Пока шла очередь, упаковка, писание адресов, он рассеянно листал его. Покосившись, смотрел, как пишу адрес на иврите.

— Загадочный древний язык!

— М-да, — ухмыльнулся я, не зная как реагировать на прилив романтики.

Книги были отправлены. Мы вышли к Гоголевскому и пошли вниз, к Чистым прудам. Погода была замечательная. Солнечно, не жарко. Сели на скамейку. Вадим закурил. Он совсем не изменился. Никак не дать сорока семи. Все тот

же прямой негустой пшеничный волос, никаких седин, залысин, брюха, скорбных морщин-борозд и прочих признаков разложения. Даже моложе чем три года назад, ни дать ни взять — тридцатилетний. Глядя на старый московский дом напротив (не Талызина ли, где Гоголь умирал?), на листву, купающуюся в солнечных ручьях, стекающих по стволам и ветвям, на девиц с породистыми собаками, на мужичков в маечках за домино, я вдруг узнал запах московского лета из прошлой жизни, пахнуло уютом родины, отпустила привычная напряженность, и снова нам было по тридцать, да что там — по двадцать!, и мы рассказывали друг другу очередные романтические сказания:

— Ты не представляешь, какая на меня удача свалилась! Я влюблен по уши! Она совершенно необыкновенная женщина...

12.9 Вчера младший играл на вечере, организованном англо-израильским культурным фондом в галерее Штерна на Гордон. Собирали деньги на поездку их оркестра в Англию. В самой галерее была выставка 4-х поколений Писсаро, наглядно демонстрирующая фамильное вырождение. Родоначальник был представлен несколькими завалящимися рисуночками по 5–10 тыс. долларов. Публика была светская, богатенькая, даже эти рисуночки покупали (а вот закусочку подали хилую), всякие бабы — в отчаянном возрасте, пара гомиков, тоже не первой свежести, настоящий светский лев: элегантно одетый, легкая седина, мужественное лицо, которое портил только налет скучающей наглости. Отпрыск в одном месте от волнения «поехал» не туда, смутился и вообще сбился. Вряд ли кто заметил, кроме, конечно, учительницы, тут же покрасневшей.

Вернувшись, мы пошли с супругой в наш Хулонский лес, выгулять кокера, старший, по вечерам это его обязанность, приболел. Сели на скамейку. Она легла, положив голову мне на бедро и закрыв глаза. Черный, с блестящей

шкурой, разжиревший кокер весело валялся в темно-зеленой траве, потом подбежал и тоже улегся рядом. Правой рукой я гладил ее волосы, а левой — кокера Клёпу.

Утром ходил в бассейн, потом, гуляя с собакой, встретил Жору, бывшего короля русской прессы. К моему удивлению он подошел, пожал руку, встал рядом, «как дела» и прочее. Видно паническое состояние располагает к доброжелательности по отношению к потенциальным сочувствующим, а Жора в панике, в ужасе от левых, от Рабина:

— Я вчера Шилянскому говорю, да уйдите вы все из Кнессета, перестаньте сотрудничать с этими большевиками! Тотально! Плюют на концензус, ну так пусть сами, в одиночку и правят!

— Правильно, — завожусь с пол-оборота, — если народ для этой местечковой аристократии — «пропеллеры», то нечего играть с ней в парламентские игры, нужны резкие методы, призыв к гражданскому неповиновению, нужно показать народу, что ситуация критическая, что эти капо тащат народ к печам, рассказывая, что там тепло и сухо.

Он рукой махнул: «Да не с кем же разговаривать. Одна надежда, что у них сейчас раскол будет».

— С чего это?

— Из-за Голан у них сейчас итъарерут (пробуждение, активизация).

— Да какой там итъарерут! Давно ясно, куда дело гнут, если они до сих пор не итъареру, так уж теперь, после драки.., знаете, как царь Агриппа жидков учил? Тот, кто, выразив покорность, потом восстанет против притеснителей, тот не свободолюбивый человек, а взбунтовавшийся раб. Нет, я смотрю на вещи куда пессимистичнее: не Рабин тут виноват, народ — говно. А он только всплыл, за говно это уцепившись. Народ — приспособленец и миролюбец. Дело швах. Были же мы у власти, и что?

— Мы?! — возмутился Жора. — Ликуд был у власти, и то бекоши (с трудом), а не мы! Сенильные ревизионисты

и хапуги черножопые! Даже аппарат не смогли поменять. Если б мы были у власти, они бы этих социалистов с увеличительным стеклом бы искали!

Вечером позвонил Верник, Чичибабин приезжает, 4-го октября вечер.

Жара. 34 по Цельсию. Йом Кипур на носу. Читаю Аниту. О тоске по героизму еврейских юношей сто лет назад. А нынешние мечтают о мире. Чтоб их в покое оставили, в милуим не забирали.

Вадим

— Мы познакомились на поэтическом вечере. Я года два назад стал немного выходить в люди, и, есть такая студия при одном клубе, народ уже не юный, поэты, художники, меня пригласили почитать. И вот что здорово — еще красавиц-то колдуют мои греховные стихи! Успех был замечательный, дамы обступили, просили автографы, и она. Я подарил ей книжку, потом она мне позвонила, попросила встретиться. Прочитала стихи, посвященные мне. Ну и... пошло-поехало. И, понимаешь, такая связь... неразрывная, такое взаимопонимание, буквально душа в душу... у меня еще так не было. Получилось, что и на мой закат печальный...

— М-да... А сколько ей лет?

— 35.

— Не замужем?

— Замужем, куча детей.

— Ого?!

— И ты не представляешь, на ней совершенно не заметно. Такая статная, красивая!

— А муж чего делает?

— Не знаю точно. Знаю только, что деньгу гребет. Одевается она шикарно, духи дорогие.

Захотелось мне ввернуть насчет спонсора, но сдержался, Вадим был настроен на полном серьезе восторженно.

— И как она время находит? — полюбопытствовал я.

— Вот, находит. Они находят, когда хотят.

— Это точно...

— И стихи она замечательные пишет. Все со мной советуется, я у нее вроде... ну так, поучаю, в общем. А поет как! И на гитаре играет. Ей твои песни очень нравятся. Да чего там, я вот на днях организую встречу, познакомлю вас.

— А-а, я с удовольствием.

— Совершенно удивительно, — продолжал Вадим мечтательно, — она тут уезжала с детьми и мужем в отпуск, прям плакала... И вернулась на три дня раньше, умираю, говорит, соскучилась...

— М-да, — я качнул головой и улыбнулся. — Здорово. Позавидовать можно.

А улыбнулся я тому, что и четверть века назад он вот так же, с таким же восторгом, рассказывал мне свои необыкновенные приключения, и я ему ужасно завидовал.

— Я сам просто не верю, что такая удача. Но я ее заслужил. Выстрадал. А как она мои стихи чувствует, понимает!

Потом, как водится, настала моя очередь делиться, только истории мои всегда были, по сравнению с его, попроще, пообыденней, без всякой романтики. Рассказал о своих неудачах с А.

— Ну, это не любовь у тебя, — прозвучал вердикт. — Это так. А что не встает, так это только баба виновата.

— Да, она совершенно холодна...

— Ясно. Однако я тебе удивляюсь. Ей богу, ты совсем не изменился. Ну зачем тебе это? Зачем без любви? Любишь ты ситуацию насиловать, не можешь примириться с тем, что любовь — редкость, странная встреча! Ее, как штангу, не выжмешь. Чувствуешь, что не то, и иди с Богом.

— М-да.

— А что ты мне рассказывал тогда про другую, которая потом уехала, про сон, в котором я ей приснился?

— С той... вроде все есть: взаимопонимание, интерес ко мне, что пишу, о чем думаю, что переживаю... Когда мы увиделись, прям мистика, через 15 лет, случайно, в другой стране... Но... какой-то страх... Когда уже сблизились, в первый раз, так после... обычно, знаешь, человек расслабляется… помню ее взгляд... бездонный, неотрывающийся, какой-то суровый, страшный... будто два дула за мной следят...

— Прям мурашки по телу. Так это ж и есть любовь! Я прям вижу этот взгляд!

И Вадим передернул плечами.

— Так что у вас?

— Ничего. Переписываемся. Приезжает иногда.

Два паренька в галстучках подошли:

— Колготки не желаете? Итальянские, по 10 тысяч?

— Хиляй-хиляй со своими колготками, — резанул Вадим с неожиданной грубостью.

— Чего это ты? — удивился я.

— Ходят тут, со своими колготками, прям НЭП какой-то.

— Ну конечно НЭП, а ты что думал? Мальчики шустрят, причем культурно, в галстучках, а что?

— Слушай, — неожиданно переключился Вадим, — угости меня пивом, а то, сам понимаешь, ни копья.

Передернуло меня от нищенской удали. Вот и Тарасов…

— Пошли, конечно, — говорю, — действительно что-то пить захотелось.

Герцль и Нордау, озабоченные еврейской трусостью и бесчестьем, писали пьесы о евреях, гибнущих на дуэлях, бросая вызов своим обидчикам, доктор Коэн у Нордау объясняет необходимость выйти на поединок тем, что речь идет не только о его собственной чести, но и о чести еврейского народа (видно с юмором они к тому времени успешно расправились). А вот Ахад Гаам считал, что оба не пони-

мают духа еврейства, что оскорбления не могут задеть чести «настоящего еврея», который гордо пройдет мимо. Ахад Гаам лучше понимал соплеменников, и его «настоящие» евреи, пройдя мимо оскорбителей и мимо сионизма, прямехонько и мирно приканали в Освенцим.

13.9. Сегодня Севела по русскому ТВ предлагал «намыленную веревку» для наведения порядка в России. «Вешать на площадях, публично» тех, кто готов «зарезать за видеокамеру». А ведь когда-то был знаменитый шутник («весело провели евреи субботу у Стены Плача»). Выступал он в паре с Кожиновым (программа «Я — лидер»). Начал так: «Если бы я был царем…», а потом о виселицах. Трижды еврей СССР.

15.9. Йом Кипур. Страшная жара. И так каждый Йом Кипур, как в осаде. Еще приболел вдобавок. Книжка не вышла. Посылок нет. Читаю Аниту. Сформулировала трагическую дилемму еврейской национальной независимости: стремление к силе для самозащиты, и, противоположное ему, стремление к справедливости. Страх перед насилием стал страхом перед силой. Так дети, которых часто били в детстве, либо чувствуют отвращение к силе, либо ей поклоняются.

Сейчас — переломный момент. Хотят сделать из нас нацию молокан, пацифистов. Если не устоим, не выдержим, покатимся с Голан и ото всюду — это будет означать психологический коллапс. Не в территории дело, а в психологии. Мы уже сдались. Осталось только аккуратненько прибрать нас к рукам. Главное аккуратненько, постепенно, не делая чересчур резких движений. Чувство независимости (а оно из чувства чести вытекает!) потеряно. Мы давно (и с радостью!) стали американскими «бней хасут» (вот на Гаити послали подразделение, все орут: что наши парни делают в Газе, но никто и не пикнет: что наши парни дела-

ют на Гаити?), в русском языке даже слова такого нет, вассалы? нет, вассал — звучит чересчур благородно, «находящиеся под покровительством», вот точный смысл.

В «Маариве» за 14.9. письмо Хаима Анегби своему школьному приятелю Егуде Арелю, который голодает сейчас в Гамле против эвакуации.

«Твоя голодная забастовка, не могу отрицать, смешна мне. Политика отчаявшихся фанатиков, пытающихся выжать слезы у публики ради призрачной идеи — «жить благодаря мечу своему». Этот ваш бунт против нового порядка, формирующегося в нашем районе, обречен. В этом смысле вы правильно выбрали Гамлу... Глаза твои не видят того, что «знамение на стене» уже появилось, уши не слышат голоса нового мира» Дальше: «Никто меня не уполномочивал говорить от имени сотен тысяч (?!!!) беженцев с плато Голан в 1967 году. Десятки деревень были разрушены. А вы, сидящие на их землях, еще смеете опираться на принцип связи человека со своей землей!»

И последний аккорд: «Прямая ответственность ложится на каждого врага мира за каждую каплю крови, пролитую ради лживых идеалов национального величия».

А как насчет ответственности поборников мира за каждую каплю крови, пролитую ради их лживых идеалов «нового Ближнего Востока»?

Самое отвратительное у левых — когда попытку политического урегулирования конфликта с арабами поднимают на религиозную высоту «идеологии мира», когда дискуссия вокруг тактики политического урегулирования подменяется борьбой с «врагами мира» (увы, здесь не только пропагандистская логика, здесь попытка найти свою мифологию, свою витальную энергетику). Несогласных с политикой правительства клеймят «отчаявшимися фанатиками», жаждущими народной крови ради «лживых идеалов национального величия», уже не только клеймят, но и проводят превентивные аресты, запрещают «экстре-

мистские» организации, якобы за подготовку к терактам (не удивлюсь, если половина этих «экстремистов» — провокаторы). Ведется тотальная промывка мозгов с использованием всех госсредств, в школах объявлен «год мира», наплыв левых лекторов, которые за счет часов обучения ебут мозги несмышленышам о «дружбе народов», в каникулы для детсадовской малышни целую передачу о мире сделали, аж Переса пригласили!, и «дедушка Перес» рассказывал малышне те же сказки, что и взрослым, материнского вида тёха показывала карту Ближнего Востока «без границ», «как в Европе», и сладким голосом пела деткам как будет здорово, когда будет «мир». Все здоровое и живое в народе объявляется «устаревшим» и подвергается осмеянию и дискредитации: религия — мрак средневековья, стремление дать отпор врагам — культ силы, Бар-Кохбе, как отъявленному фанатику, историки устраивают телевизионное судилище (по этому поводу неплохо пошутил Франц Меринг: «военные историки считают, что спартанский царь Леонид должен был отступить при Фермопилах, во всяком случае, историки отступили бы»). Мы на шаг от тоталитарной пропасти. Чем сильней политическая тактика левых будет увязываться со святостью «идеологии мира», тем трудней им будет признаться в тактических ошибках (ведь они тогда превратятся в идеологические, в отрицание пути!), и тем более отчаянно они «пойдут вперед», «несмотря ни на что». Чтобы оправдать ошибки, пойдут на маленькие преступления, а чтобы скрыть эти маленькие — совершат большие.

Жена: «Этот день меня уже достал, напилась бы щас…». И впрямь, прослонялась целый день из угла в угол, русские телепередачи смотрела, самой стыдно стало. А за окном народные гуляния, дети на велосипедах.

Прочитал ей отрывок из письма Бен Гуриона (читаю Аниту). Перед цитатой было вступление о том, что он «рассказывал в письме о своем «медовом месяце».

— С Манькой его? — жена спрашивает.

— С какой Манькой?

— Или с Полинкой, с кем он там?

— Да ни с кем, с сионизмом! «Медовый месяц» — это метафора такая, понимаешь?

Начала, заикаясь, ржать. Когда успокоилась, я прочитал ей на иврите: «Пионеры-завоеватели превратились в сутенеров и лавочников, торгующих надеждами измученного народа и по кусочкам продающих стремления своей юности. Образ Галута внесен ими в Храм Возрождения, а восстановление родины идет чужими руками».

Она опять заржала, со слезами.

— Что такое?

— Ты меня... просто... я половину слов не поняла...

Однажды в милуиме ховеш[1], симпатуля такой, сказал мне, что сам лично готов сжечь всех «досов»[2] в печах, причем, говорит, живыми, Гитлер был гуманист, сначала умертвлял их. Я тогда не понял этой ненависти. Приписал бытовухе, недовольством, что в армии не служат, что по субботам не ходят автобусы. А дело-то глубже, принципиальней. Десятилетия шла оголтелая пропаганда социалистов-ассимиляторов (они ж тут коммунизм собирались строить вместе с феллахами), против еврейского национализма. Для ассимилянта смерть нации есть доказательство его правоты, а живая нация — живой свидетель его низости и предательства. Потому левакиассимилянты с таким ожесточением и борятся против религиозных (в России евреи-коммунисты тем же путем доказывали свой интернационализм), что это ядро нации, и ненависть к ним сильнее, чем к арабам, впрочем, что я говорю, арабы для них союзники в борьбе с собственным национальным ядром.

---

[1] Санитар (*ивр*).

[2] Дос — кличка ультраортодоксов, «богобоязненных» (*ивр*. сленг).

Самое страшное, что народ уже не сможет подняться на войну единым. Отныне (началось еще с Ливанской кампании, которую левые объявили войной правых и отказывались, как генерал Гева, в ней участвовать) всегда в решающий момент будет раскол на «партию войны» и «партию мира». Если «партия мира» будет у власти, как сейчас, она не сможет решиться на войну, потому что это будет означать признание лживости ее концепций и политическое самоубийство, связанное и с риском для жизни, потому что при смене власти на волне тотального разочарования с ними сведут счеты, она вынуждена будет отступать и отступать, уступать и уступать, до конца. Если правые будут у власти, им будет очень трудно решиться на войну, потому что «партия мира» всегда будет утверждать, что можно было еще немножко уступить и потерпеть, чтобы предотвратить кровопролитие, и она сделает все, что в ее силах, включая прямое предательство и сотрудничество с врагом, чтобы предотвратить возможную победу в войне, то есть победу правых. Вся эта логика (ее признаки уже обнаружились в Ливанской войне и Интифаде) неизбежно приведет к превращению следующей войны в войну гражданскую, как было две тысячи лет назад в страшной тяжбе с Римом.

По русскому ТВ в программе «Час пик» с Листьевым выступала некая Альбац, профессиональный борец с антисемитизмом. «Антисемитизм, — говорит, — это не проблема евреев». И что «их не любят за то, что они чужие». И что «каждый народ имеет право на своих подлецов». Телезрительница спросила, а как вы своего ребенка воспитываете, вы ему объясняете, что он принадлежит к великому еврейскому народу? «Видите ли, — нимало не смущаясь, ответила борец, — вопрос сложный и очень личный. Дело в том, что мама у меня русская, а отец еврей. Отец же дочери тоже русский. А я считаю себя еврейкой пока живу в антисемитском государстве». Профессиональные евреи. До

последнего антисемита. Евтушенко тож. Кстати, это был ловкий ход с «Бабьим яром». Великолепное поэтическое капиталовложение. До сих пор купоны стрижет, так и известен на Западе, и в истории останется, как автор «Бабьего яра». (Вот и я камень в беднягу кинул.)

Когда старшего моего 17 лет назад в английскую школу принимали, спросили на собеседовании: кто твой папа по специальности?

— Еврей, — ответил растерявшийся 7-летний мальчик.

Видеоклипы с песнями бывают совершенно замечательные. Авангардная кинопоэзия.

Вчера смотрел, раз в пятый, «Андрея Рублева». Хорошо пошел в Йом Кипур. Вот типичный «спасатель» от искусства, Андрей Арсеньевич. Еще верил тогда (в «Рублеве»), что красота спасет.

— Ох уж мне эти заянисты, — и ласково сгребла мои гениталии.

(Игра слов: сионизм по-английски звучит, как «зайонизм», а «заин» на иврите — член.)

Генералитет (гениталитет) ведет себя как свора продажных чиновников, выполняющих заказы своих партийных боссов, откровенно наглая политизация армии: офицеры ведут политические переговоры, в печати официально обсуждается, какие посты в правительстве и госаппарате готовит высшим офицерам правящая партия за верную партийную службу, в отборные части армии стараются не брать новобранцев с подмоченной политической репутацией (например, участие в антиправительственных демонстрациях), при мобилизации или при повышении выясняют на собеседованиях, или, распространяя соответствующие анкеты (плюс стукачи работают), политические взгляды, «закрывают» армию от лекторов, идеологически «чуждых»,

в то время когда в армии идет разлагающая «промывка мозгов» идеями «мира». Можно ли рассчитывать на профессиональную объективность» таких офицеров?

Ликуд у власти робел. Левые повели себя, как хозяева, вернувшиеся домой после долгого отсутствия, решительно, нагло, по принципу «я знаю, что нужно моему народу».

16.9. Большинству людей наплевать на то, что было и на тех, кто был. Они «смотрят вперед». А я вот все время оглядываюсь. Хлебом меня не корми — дай почитать старые письма, хроники, мемуары, старинную монету пальцами обогреть, соскрести патину...

Анита пыжится доказать (тоже один из облюбованных тезисов левых), что «мирный подход» — подход рациональный, взвешенный, а «силовой» — безумный, и присущ религиозным фанатикам. С неудовольствием описывая добровольческий энтузиазм при создании еврейского полка в армии Алленби (в 1917-м) она пишет: «Собрания добровольцев были похожи на сходки религиозных сект во время экстаза». Пытается приравнять национальное воодушевление чуть ли не к кровожадности, цитируя с возмущением (неясно кого, в примечаниях сказано: «Может быть, Жаботинский?» — потрясный «ученый»!): «Народ, готовый пролить свою кровь за освобождение, тем самым доказывает свое право на существование». «Готовность воевать за Страну выражалась в таких религиозных понятиях, как «святая жертва». Об отрицательном влиянии на общественное сознание декларации Бальфура пишет: «Декларация Бальфура породила у части еврейского общества в Стране мессианские надежды... Даже у людей обычно уравновешенных она вызвала своего рода чувство опьянения».

А вот Бонхёффер в «Сопротивлении и покорности», как раз для левачков наших, пишет:

«Не вызывает сомнений поражение «разумных»… Близорукие, они хотят отдать справедливость всем сторонам и, ничего не достигнув, гибнут между молотом и наковальней противоборствующих сил. Разочарованные неразумностью мира, они с тоской отходят в сторону или без сопротивления делаются добычей сильнейшего». Даром, что пастор.

7.9. И всегда отношение к жене (в минуты покоя) отцовское, как к маленькой девочке: нежность, жалость, любование красотой, желание поцеловать в завиток у шеи, в бровь, в волосы на голове, в веки, трепещущие крыльями бабочки...

Звонок в дверь — пингвин бородатый. Пропагандирует Каббалу (приглашает на лекции, раздает рекламные проспекты изданных книг: «Ключ к Каббале», «Молитва, чудеса и тайны», «Тайны времени», «Переселение душ», «Единственная сила», «Заговор звезд». Автор — рав Шрага Берг. Ну и, конечно, «Зоар». С такой аннотацией: «Книга «Зоар» с объяснением «Лестницы» — это система связи души со светом Творения, в нем всё знание и вся сила Мира. Раби Шимон Бар Йохай, который написал 24 тома «Зоара», дал нам инструмент изумительный по силе и по простоте, продолжающий благословлять дела рук наших. По мнению великих раввинов всех времен сам факт чтения книги «Зоар» (даже не понимая) может оказать благотворное влияние на все области вашей жизни: здоровье, доход, дети, успех, безопасность, семья, учеба, удача и судьба. Факт, чтение книги «Зоар» помогает всем!» И крупными буквами: «Десятки тысяч уже улучшили свою жизнь!» (Когда меня соблазняли трансцендентальной медитацией, аргументация была точно такой же.)

Кстати, историки Каббалы считают, что Раби Шимон Бар Йохай персонаж, а не автор книги «Зоар», которая написана лет через тысячу, после того, как он «учил», странствуя.

Утром проснулся, увидел книжку Аниты на полу у кровати и вдруг такую оскомину почувствовал к этому сионизьму... Все эти дискуссии о степени применения силы похожи на дискуссии в «Комсомольской правде» в середине 60-х на тему: «до какого места можно позволить мальчику целовать себя». Горы писем шли в редакцию.

Портос вчера заходил. Все, как и 20 лет назад, про работу. И анекдоты. И матюгается. И курит безостановочно. Позвонили Озрику. Портос ему работу нашел, письмо официальное послали. Хочется кому-то помочь, вновь обрести социальную значимость...

— А работа хорошая? — спрашивает Озрик.

Звонила Д. Нить между нами еще живет, протянута, иногда она ее натягивает на другом конце, проверяет, а может, зовет? Меня и самого иной раз тянет дернуть за ниточку, побежать по ней навстречу... Паучьи игры.

19.9. Неужто облажал Белашкин? Звонил Иосиф в панике, говорит, что тот деньги вперед требует. Я сказал: «Ни в коем случае, денежки — наш последний шанс». Позвонил Белашкину, объяснил сонной тетере, что только как договорились: товар на стол — получай деньги. А если нечем расплатиться с типографией — займи на короткое время, а если тебе никто не верит, то почему я тебе должен верить? Это я, конечно, ему не сказал, но он понял. Однако дело, боюсь, завязло. Вот, черт.

Вадим

Пошли к Чистым. Купили в ларьке пиво. Оказалось теплым. Дребезжали трамваи. Свернули за «Тургеневкой» направо, в незнакомые безлюдные переулки. Церквушка на всхолмье, едва видна за кудрявой листвой, переулочки, встречи, любови, друзья, прогулки, библиотеки, гнильцой несет с Яузы, жизнь, которую смело отрезал, как нарост,

мол, другая вырастет. Ан болит... От желания уцепиться за эту листву, купола, обшарпанные заборы, куда-то пропавшую юность, принялся, как сумасшедший фотографировать. И Вадима на фоне. Попросил, чтобы и он меня щелкнул. Из церквушки мужик кривоногий выбежал с сучковатой палкой, стал гнать, нельзя, Божий храм. «Чего нельзя, фотографировать?» — обозлился я вдруг. «Нельзя, нельзя!» — разъярился он. «Что-то я, пардон, не понял, — засыпал я цитатами, ух, как захотелось мне с этим антропоидом помахаться, — я, кажись, на улице стою, в Храм ваш не захожу, и вообще, можно сказать, никого не трогаю, починяю...».

— А ну пошел отседова!!

Мужик крепенький, с одного раза не вырубишь, поднял сучок, тут Вадик вмешался: «Ладно-ладно», — и взял меня за плечи. — «Ну его нахуй. Не прошибешь ведь». Да, верно. И я опять отступил, и, конечно, правильно сделал, и правильно сделал, что уехал, этот мужик вдруг примирил меня с самим собой, но что-то, как и тогда, страшно мешало, не было настоящего примирения, оно не давало жить, себя уважая, да, вот это вечное отступление, умное отступление, предательское отступление, ведь так и места на земле не останется... Закружились по переулкам, оказались на Старосадском, я сюда в Историческую библиотеку ходил, декабристами интересовался, Вигеля мне тогда почему-то не дали, только, говорят, историкам по специальности, вышли на Архипова, прошли по ней вверх, к ул. Хмельницкого, у синагоги было пустынно, группка 3–4 человека, а помнится молодежь тут кишмя кишела, милицейские машины во дворах наготове, милиционеры покуривают, на жидков поглядывают, притоптывают на холоде, конец октября, праздник дарования Торы… На Хмельницкого, тут, напротив зеленой церкви, Оля жила, последняя предотъездная, я к ней забегал после сионистских оргиазмов, комната в коммуналке, лампа с желтым абажуром над тахтой, уют пристанища сбежавшего перед казнью, ее великое те-

ло надо мной в золотых отсветах, колдовские взмахи рук, колыхания, прогоняющие от меня будущее и прошлое... Храню ее стих:

Тебя схвачу —
И вниз, к твоим ногам.
Не плакать — выть хочу,
Стонать — я не отдам!
Я не пущу!
Люблю!
Хоть бей!
И с хрипом я молю:
Не уезжай, не смей!
Ты видишь, я умру.
Проклятый род!
Дели ж его судьбу!
Прости.
Не покидай.
Погладь свою рабу...
О, Боже, как ты горд!

В.

В. была некрасива, но ладно сбита, смахивала на мальчишку-татарина, только что спрыгнувшего с коня. Писала грубые ню в стиле Шиле на фоне транспарантов типа «Слава героям-шахтерам!». Потом заменила фон натурально выписанными полковыми знаменами прошлого века, и под знамена эти явилась клиентура, пришла широкая известность в узких кругах. Картины мне нравились вызывающим, и в то же время наивным бесстыдством, но я безуспешно искал в ней самой предполагаемые следы воинственной испорченности. Да, было какое-то детское любопытство к мужскому телу и неуемная требовательность в любви... И вообще была наивна, радушна, отзывчива, невозможно было представить себе, что писала такие отчаянные картины. Увлекала еще, конечно, романтика экзотических подвалов, непризнанных гениев, неустанных споров об искусствах, пикантные сплетенки и хитросплe-

тения, со знаменитыми поэтами зналась, Бродского, зачитанные машинописные копии, все время в постель брала, пыталась меня приучить, измученного, во время коротких перерывов (не с тех ли пор стойкое к нему отвращение?), опять же «белая кость», что меня, пролетария и жида, прельщало особенно, княжеских неподдельных кровей, только, видать, из Орды пошли, князьки-то. Вокруг нежные девицы-натурщицы (одну я даже умудрился трахнуть для проверки, подозревал всех в лесбиянстве, она прознала и жестоко обиделась). Ее все любили и даже ко мне из-за этого относились ласково, но я не ценил, предпочитая злобную зависть. Я был тогда в великом предотъездном загуле, пьяный от гибельности происходящего, лез на всех, и дамы в мое положение сочувственно вникали, жалели по мере возможностей. Это были совершенно райские головокружения под залог скоротечности. Наконец-то я вкушал свободную любовь, о которой мечтал в юности, блаженно легкомысленную, неизменно ласковую, без требований и обязательств. А В. вдруг развела не ко времени тягомотину про любовь, стала хватать за фалды, грозить самоубийством, непоправимо отравив разгульное пиршество перед дальней дорогой. Особенно пугали жаркие ее речитативы («О! Как я тебя люблю! Как же я тебя люблю! Боже мой, как же я тебя люблю! О, любимый мой!»), доводившие меня до импотенции. Слово «любовь», мне кажется, я ни разу в жизни не произнес, во всяком случае, искренно или в прямом смысле...

Растолстела. Усы пробились. Погуляли по центру, было ветрено, дождик накрапывал, она была неестественно весела. В метро, когда стали прощаться, повисла у меня на руке, прижималась, тяжело дышала. Я знал, что этого нельзя делать, но...

— Как у тебя со временем?

— Я сегодня целый день свободна.

— Да? У меня-то вообще в пять встреча... Так что мне надо домой заскочить... Хочешь зайти?

— Я не против.

В первый раз точно так же было. Витя мне ключи дал, а я что-то колебался, между делом говорю: вот ключи дружок дал, уехал в экспедицию... А она: так чего ж мы время теряем?!

Долго ждали автобуса. Шел сильный дождь.

20.9. Суккот. Вчера кутили у Н. Ночью сон тоскливый приснился, не помню о чем, но помню тоску, чувство, что жизнь заканчивается. С обжорства?

Позвонил Белашкину. Книга должна быть готова через неделю. Порадовал. Может старший успеет забрать? Он сегодня летит в Санкт-Петербург.

21.9. В.

Только вошли, стали промокшую одежду с себя срывать и на пол кидать, и вдруг, будто вчера расстались, пошли те же захлебывающиеся причитания: «мой.., мой..., любимый.., люблю.., люблю.., ты не представляешь, как я тебя люблю!», легла под эти причитания на диван, я старался не глядеть на нее, но, как назло, солнышко показалось, в окошко сунулось с детской непосредственностью, так что невозможно было не заметить расплывшееся тело немолодой женщины, живот в «завязочках» и волосатые ноги, прям шерсть, а там и копыта привиделись.., а она все причитала безостановочно: «О, как я тебя люблю! Как я тебя люблю!» В таких условиях ничего полноценного выйти и не могло, и я тут же убежал в ванную, долго мылился, весь охваченный паническим ужасом от случившегося. Потом она пошла в ванную, а я кофе готовил. Мешал, растирал, варил, все как Шуки учил, седой йеменит из Рамле, отчаянный картежник. Запах кофе потянул меня в Синай, в ту бешеную жару, к скорпионам, разгуливающим ночью под раскладушкой... Достал коньячок, разлил, дернул сам рюмочку и сел у окна. Распогодилось. Влажные листья шеве-

лил ветерок, и они блестели на солнце, как стаи рыб у кораллов в Рас-Мухаммеде, чудесный был милуим, мужик, босой, с тапками в подмышке и авоськой в руке сигал через лужи к кладбищу, наверное, к церкви, что за кладбищем. Она села с полотенцем на голове. Выпили. Похвалила кофе. Армейский, говорю, навык. Вообще я старался не выдать своего потрясения, своей внутренней омертвелости. Но кривые усмешки, тяжкие вздохи... «Ты уж не переживай так», — сказала она. Ее насмешливый тон слегка ободрил меня. Заговорили о всякой бытухе, на дачу звала погостить. Сказал: созвонимся. Было около пяти. В метро расстались. Сказала: «Все-таки я рада, что тебя повидала».

Когда Володя с первой женой развелся, то долго, больше года жил один, то есть совершенно один. Я даже удивился, как ты, говорю, можешь так долго без бабы? А он стал жену вспоминать, мол, после нее не мил никто. «Тогда я не понял — чего ты развелся?» «Разлюбил». Я еще больше удивился. Подумаешь, разлюбил. Другие так вообще никогда не любили, что ж теперь и не трахаться. А он мне: «Нельзя унижать женщину нелюбовью».

У Калика в «И возвращается ветер…». есть сцена (похожая на сцену в «Амаркорде»), в которой огромная бабища лишает чести благородного юношу, а когда приходит мама, благородный юноша беззвучно плачет, и мама все понимает. У меня не раз были подобные ощущения в юности, что чести лишился, чувство непоправимой катастрофы, рвотная тошнота от ужаса. Ведь сам себя лишал, целеустремленно... А наказание тут как тут: новая невинная жизнь, зачатая в муках самоотвращения.

Скажут, чего ты в истерике-то забился, дело житейское, кто за нее, за щель хлюпающую не пропадал, не горел в Геенне? Плюнь, старик, и забудь! Не могу. Стойкая травма. Возникла, когда в свои 17 лет на Новослободской, что и от Каретной недалече, обрюхатил Т. Отврати-

тельным, причем осознанно отвратительным, здесь было все: она сама, рвущая телесами платье мещаночка (случайно ли образ греха толстомяс?), перевелась к нам в последнем, 11-м классе, ее жеманство, папаша-кабан, застукавший нас на диване несколько растрепанными, когда я помогал ей по математике, после чего пришлось перейти к свиданиям во тьме вечерней, в садиках, где детские грибочки, сам я протекал отовсюду от вожделения… Кстати, этот кусочек у классика: «Протекаю, говоришь? Но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я, не бывало», всегда вызывал у меня недоумение. Неужто не бывало? Какое-то детское бахвальство. Уж не тайные ли тут страхи перед несостоятельностью в самом главном мужском деле? Страхи-то — дело житейское, но ощущается их неуместность в контексте меланхолической элегии, в общем-то, изрядной, некоторые утверждают — великой. Вообще, по женской части, он часто в пошлость проваливается, в какие-то неувязочки, «звука не держит». Под маской меланхолика конца прекрасной эпохи билась живая тоска по хорошей вздрючке. «Дева тешит до известного пгедела — дальше локтя не пойдешь или колена (??). Сколь же гадостней пгекгасное вне тела..». Философия, например, поэзия? Да, отвратительным, мерзким было это вожделение, совершенно непосильное для самообладания, и течка эта животная, да еще холостая, а ведь я готовил себя в герои.., ну и все, что было потом, скандальчик — заявила, что аборт делать не будет, любит, хочет замуж, а я тем летом в институт поступал, ну и со всем букетом заявлений в комсомольскую организацию, домком, профком и даже партком института о гнусном моральном облике будущего советского студента, в общем, засветил мне армейский этап вместо высшего образования, грубые люди, мамины слезы, папино отчаяние. Секретарь парткома полковник Вацура, огромный усатый мужик, которому я по совету дяди Вали врал, что «не кончал в нее», а «рядышком», сочувственно рас-

сказывал мне злоключения солдатской юности: «Знаешь, какие у нас бабы ушлые были, сольешь на простынку, а она тут же сядет на лужу, да и втягивает, а потом к начальству, мол, беременна от такого-то, многие погорели таким макаром. Так что и ты женись, не отвяжется ведь». Спасла от этапа решимость: жениться на ней было для меня страшней армии и краха родительских надежд, так что, когда последний срок подошел, и возможности шантажа выдохлись, пришлось ей древний мой генофонд из своей юной плоти исторгнуть.

А потом была еще одна история, друзья жестоко тогда со мной поступили. Шутки-шутками, но однако ж... Может, не представляли, насколько шутка удачна?

Кружусь по квартире, а позвонить не решаюсь. Праздники, муж, наверное, дома, даже если и не нарвешься, все равно не поговоришь. Но так хочется хоть голос послушать...

Да, так насчет той шутки. На курорте было дело, гулял там с одной, Юлей из Киева, одурманены были морем и солнцем, и молодостью — ну почему, почему обязательно должны быть при этом какие-то сложности?! — она уезжала раньше, просила адресок, я увильнул, а вечером встречаю Портоса, он и говорит, что встретил Юлю перед отъездом, и она у него мой адрес попросила, ну, он и дал. Я рассвирепел, но делать было нечего. А потом он мне письма от ее имени стал сочинять, вместе с Берчиком, ловко сочиняли, и оформляли ловко: киевский адрес, марки, конверты, почерк, духи — ну все продумали. Впрочем, я так ошалел от непрошенной любви, что вряд ли что и заметил бы. Ну, и главное письмо: беременна, выезжаю к тебе и т.д. Я впал в настоящую депрессию, и тогда Портос надо мной сжалился. А вот Берчик предлагал продолжить этот роман в письмах и опубликовать его. Сказал, что надо было дождаться моего самоубийства, шумный успех был бы у романа...

23.9.

Вадим

День был насыщенный, с утра я поехал к Сереже Гандлевскому, отдать ему роман, в 12 встречался с Зуевым насчет книжки, потом заскочил в редакцию «Ариона», стишки свои, с подачи Сережи, подкинуть, в облике редактора было что-то канцелярское, впрочем, принял меня мило, стихи посмотрел не отходя от кассы, отобрал, Сережина протекция, полагаю, сыграла роль, сказал — пойдет через полгода (они раз в квартал выходят), поведал, что израильтяне давно уже пороги у него обивают, и Баух, и Левинзон (первое движение было — тут же удрать, но подумал: а в какое место они еще не сунулись, Баух и Левинзон, чего уж теперь, изменившимся лицом бежать пруду? так что остался, скуксившись), интересовался возможностью коммерческого распространения у нас, а на десерт признался, что и сам. Не, не в смысле, что поэт, книжку свою подарил сразу, а что — еврей. И грустно на меня посмотрел. Я не знал как среагировать, обрадоваться ли, посочувствовать, растерянно брякнул «бывает» и криво усмехнулся.

После редакции один женский вариант проверил на вшивость, без успеха, и усталый потащился к Вадиму. Хотелось спать. На ВДНХ, уже на выходе, накрыл сильный дождь. Бегал в поисках нужного трамвая. До Вадима добрался мокрый и мрачный. Меня заждались. Стол был накрыт на четверых: бутерброды и местная водка. Мои консервы и водку Вадик спрятал в холодильник. Ели-пили при свечах. Подруга Вадима, Люба, была действительно хороша, статная, в теле, хоть и несколько простовата на вид, так сказать, без тайного изъяна. Вторая дама выглядела постарше, на «чуть за сорок», в белом платье, недурна собой, но восточного типа: смуглая, глаза-брови темные, следы увядания... Вела себя скромно, принимая роль статистки. Люба оказалась очень напористой, жадной к успеху, что меня в женщинах мало привлекает, но мне с ней детей не крестить. Утолив голод, без прелюдий перешли к большо-

му концерту. Я уступил честь открытия Любе, и она ломаться не стала. Водка, которую я усердно в себя вливал, тоску не рассеивала. Хотелось просто забиться в угол... Люба пела песни на свои слова и музыку. Пела хорошо, чистым, высоким голосом, музыкально правильно, гитара иногда подводила, но такая уж была гитара, фабричная деревяшка. Песни были складные, «женские», про травушку-муравушку, несколько однообразные. Вадим восхищенно-влюбленно глядел на нее, восторженно выделял «гениальные» на его взгляд места («Вот это — гениально!», восточная красавица при этом согласно кивала, группа работала слаженно), приглашая и меня к каскаду комплиментов, целовал ей пальчики, и она спела романс ему посвященный, как он «дарит ей робкую ласку, со своих драгоценнейших уст». Последнюю фразу Вадим неоднократно восхищенно повторял, настоятельно приглашая и меня выразить свое восхищение. Я вообще-то скуп на восторги, а тут еще настроеньице, но, как мог, выражал. Пела она долго, пока Вадим, мягко, как игрушку у заигравшегося ребенка, не отобрал у нее гитару, мол, черед гостя. Я спел свой шлягер «И другу на руку легло крылатки легкое крыло», «Твое что ль?!» с пьяным восторгом воскликнул Вадим. «Ну уж. Цвета-ева!» — заскромничал я. «Ну, не знаю!» — Вадим почему-то обиделся. Спел я еще пару песен Вадима, удостоился бури восторга, Вадим утверждал, что со мной «что-то случилось», «ты сделал скачок», «ты никогда так не пел», «и на гитаре стал здорого играть», но я чувствовал, что «слабею» с каждой песней, и передал эстафету Любе, она тоже спела несколько песен на слова Вадима, у нее была другая манера, не столь угрюмая, как у меня, пару песен мы спели вместе (Вадик блаженствовал в лучах славы, крутил пленку во все стороны, записывал, переписывал — в нем вдруг проснулся недоучившийся инженер связи), потом перешли на русские романсы, пение стало хоровым и докатилось почти до крика, когда мы с Вадимом грянули нашу ударную: «пора, мой друг, пора». На десерт спели вместе Любин романс,

посвященный маэстро: «освяти поцелуем, обратный мой путь», мелодия была удачная, заразительная, Вадим даже слезу пустил, тут дамы стали его упрашивать почитать, он долго ломался, но согласился. Стихи его ужаснули. Он все еще перепевал свои юношеские мотивы о татарских бунчуках в великой русской степи, о лихой стороне, беззаветной удали, неумолимой участи и глухой тоске. Заезженная песня. Впрочем, царапали еще старые аккорды, теребили бедное сердечко... Да и дыхание укоротилось, выдохлась прана, ляпсусы вопиющие, в одном стихотворении у него «мыши скребли за озером», тут я, до этого покорно мычавший в такт Любиным восторгам, не выдержал: извини, говорю, Платон мне друг, но мыши за озером — пардон, за шкафом там, или за печкой поскрести — еще туда-сюда, но за озером. Маэстро легко не сдался, стал объяснять, что это чтоб подчеркнуть тишину вокруг, такая, мол, что даже слышно, как они за озером скребут. Я только головой покачал, но Люба меня очень мягко, дипломатично поддержала, они вдвоем нашли компромиссную формулировку и инцидент был исчерпан. Ну и мне, конечно, пришлось почитать. Успех был оглушительный. Подарил дамам по книжечке и надписал что-то куртуазное. Дали, наконец, и восточной красавице слово молвить. Она тоже стихи почитала и спела на гитаре (боже, сколько в России талантов!), но Люба ей не дала разгуляться, перехватила инициативу и уже не упускала ее до конца, пела все подряд: Окуджаву, песни по-французски собственного перевода («французский с доннами учила», шепнул Вадим), потом достала тетрадь, исписанную почерком отличницы («книгу готовит», шепоток Вадима), и стала читать все подряд. Стихи были, как и почерк, стихами отличницы для стенгазеты, я слушал с изумлением, граничащим с легким испугом. Поток был неиссякаем, и все так гладко, легко, ровно! Журчит себе ручеек, ни одного камушка не перевернет, благодать. Только вот напористость, бездонное тщеславие малость смущали... Пришла пора закругляться. Я со-

слался на тяжелый день, было и впрямь поздновато, около одиннадцати, дождь все еще шел. Восточная красавица тоже откланялась. Мы вышли вместе. У нее не было даже зонтика, так что мы вынуждены были идти, прижавшись, но все равно быстро промокли. Дошли до автобусной на шоссе. Вокруг — ни души.

— Вам куда? — спрашиваю.

— Ой, мне ужасно далеко. Мне надо до электрички добраться, полчаса ехать, а там еще со станции — на автобусе.

— Ого! А вы непременно должны сегодня вернуться?

— М-да, желательно, — усмехнулась она, и я догадался, что дама замужем. Кольцо-то и раньше можно было при желании разглядеть, тяжелое такое кольцо... И все же, на всякий случай, я рубанул:

— А то можете у меня переночевать. Сейчас такси поймаем и — через 20 минут дома.

Она грустно, но решительно, покачала головой.

— Ладно, — говорю, — тогда прощайте. Может, свидимся еще, кто знает.

Она осталась на остановке, а я побежал на другую сторону дороги, дождь разошелся не на шутку. Ярославское шоссе вымерло, ни людей, ни машин. И вдруг она явилась из подземного перехода. Передумала? А я уже настроился отоспаться в обнимку с эстетикой.

— Я решила тут, через стройку, напрямик пойти к станции, здесь недалеко, неудобно немножко, — сказала, неловко улыбаясь.

— Неудобно?! А... не опасно?

— Да нет.

— Лучше такси возьмите.

— Да сколько его ждать... Ничего, я тут, дворами пройду.

Я подивился ее смелости. И опять совесть слегка мяукнула, упрекнула, мол, что ж ты, рыцарь, так и бросишь беззащитную в темном лесу городском? Ну а что, не тащиться же с ней бог знает куда, я ведь ей предложил ночлег, а по-

том, в конце концов, я рыцарь заезжий, и коль свои не проявляют, Вадим даже не спросил, как она добираться будет, то мне — что и кому доказывать... Самому себе? Ну, себе-то я уже все доказал...

Ходили всей компанией (еще Ж. 25 лет, дочка приятеля, в последнее время стала тереться в нашей великовозрастной компании, какой интерес? и опять же — провокация, хорошенькая, даже ножки недурны...) в кино, на «Четыре свадьбы и одни похороны», комедь английская. Перед фильмом показали рекламный ролик про Голаны, под клятвы Рабина не отступать, как только Рабин появился, я засвистел, на меня стали гневно оборачиваться, жена зашикала, но я смело свистнул еще раз. Вот и весь мой протест. В темноте на Рабина свистнуть. Потом, после фильма, сидели в «Апропо», ели «рикшу» (салат такой). Я говорю: может они, рабины-то, и мудры, зная, что народ — не герой. И, что характерно, героем никогда не был. Даже в те сороковые-роковые не был, судя по книжке профессора Шапиры. И вообще непонятно, как это государство умудрилось возникнуть.

24.9. Самоубийство — высочайшее выражение свободы человека, свободы от страха смерти. Свободный от страха смерти — бог! Легенда Масады жива до сих пор, и даже Ёська Флавиус, враг сикариев, дал волю восхищению и взахлеб описывал трепет римлян, «поразившихся благородству решения этих людей и их несокрушимому презрению к смерти». (Интересно, чтоб уговорить евреев на эдакое, Эльазар предложил им «обратиться к индусам, которые, быть может, научат нас мудрости».) Кстати, готовность к самопожертвованию успешно воспитывалась, да и воспитывается, в определенных обществах. Средствами искусства. Культура самоубийства. Почему-то в юности я презирал самоубийство, как трусость. Эту мысль упорно внушал отец.

Массовое искусство — вроде иглоукалывания. Просто вгоняют иголки в нужные нервные узелки: «секс», «насилие», «ужасы» — и готово дело. Лечит!

Ури Цви Гринберга Анита считает фашистом (ведущий израильский историк, государственную премию получила!), пишет, что его стихи толкали «правую» молодежь в петли английских виселиц. Помню, как меня, еще «зеленого» и идеологически «тепленького» репатриантика, поразило утверждение одной молодой журналистки, она брала интервью у Кузнецова, и мы сидели втроем в кафе на Ярконе, что Бегин, которого я считал либералом-слюнтяем, фашист, «вы ничего не знаете, они (ревизионисты) ходили в тридцатых в черных рубашках!»

А в чем вообще разница между романтическим радикализмом левых и правых? И тех и других вел пафос власти человека, сверхчеловека, над миром (воля есть — ума не надо, это немецкая поговорка). И те и другие начинали с бунта в эстетике (разве авангард — не новый романтизм?). Поразительно Вагнеровское: «политика должна стать грандиозным зрелищем, государство — произведением искусства, а человек искусства, должен занять место государственного деятеля».

Может быть, катаклизмы 20-го века были результатом потребности в грандиозных спектаклях, в глобальных театральных действах-мистериях, где слияние с родовым в мятущихся, восторженных толпах и должно было стать, и стало, великим катарсисом? Гитлер в юности рисовал, а Сталин стихи писал. Так куда же меня несет с моими идеями героизма? «Война — гигиена мира?» «Гуманность — служанка слабости»? Но с другой стороны уж больно отвратителен, неэстетичен, другой полюс: мелкая, обывательская (чуть не сказал — еврейская) расчетливость...

А вот левые тебе скажут — давай к нам, у нас пафос борьбы за достоинство человека, за его непоруганность. Ну

что ж, скажу, братцы, дело хорошее, и вроде посочувствовать да поспособствовать бы сему не грех, но... не знаю, не знаю... Вы ж не за свою поруганность отомстить встали, у вас, господа, никто достоинства не отнимал, вы всё за «простых людей» радеете. А они, простые-то, пусть сами о своем достоинстве позаботятся, своё вы им не внушите. Только горе умножите. От ваших проповедей чистыми передничками пованивает, серебряными ложечками и университетской зубрежкой, вот что. Героизьма в ваших благородных заботах нет! Страстей и страданий! Плевать мне, получается, на права человеков, жаль вот сверхчеловека... И душой я с Ури Цви Гринбергом, и с Аббой Ахимеиром, и со Штерном, жгите, суки, клеймом фашизма!

Мне приснился чудный вид:
За окном висит Сарид.
В желтой раме стиля ретро,
И его качает ветром.

Лучше пидор на рее, чем акула в трюме.

26.9. Вадим звонил. 8-го октября приезжает.

Вадим

Через несколько дней Вадик пригласил меня еще на один раут. Мы встретились с ним и с Любой у бывшего Театра на Таганке, я не узнал, все развоpотили вокруг, шли вдоль строительных заборов, непонятными переулками, Люба с гитарой, эффектная, да и мы — старички хоть куда, оказались на какой-то старомосковской улице, двухэтажные дома романтично обшарпанные, магазин «Вино» на углу, свернули в переулочек, в конце переулочка пряталась церквушка с зелеными куполами, подошли ближе, повосхищались — 17-й век, за церковью московский дворик с высокими липами, поднялись на второй этаж. Нам открыла прекрасно сохранившаяся дама с красивыми еврей-

скими глазами, в маске безропотной доброжелательности, «мама». Затем появилась и хозяйка, девушка в возрасте, слегка раздраженная своим одиночеством. Все здесь было так неприятно знакомо, будто зашел к старой школьной подруге, из тех, что ходили в умных, но некрасивых, да так в этом качестве и остались, прибавилась только обида и фанатичная увлеченность каким-нибудь искусством, или политикой, или защитой животных. Прихожая, две комнаты, кухня. В салоне накрытый стол, последние хлопоты. Стены плотно увешаны самодельными картинами. Обстановка подчеркнуто «интеллигентная», до чопорности, манеры вычурно приветливые. Мать выглядела даже привлекательней: не было этой горечи упорства в верности вымирающему клану «последних русских интеллигентов», натянутой приветливости, длинного, закрытого платья дочурки, которой мы подарили цветы, за что удостоились всплеска рук, восхищения, изумления. Затем я достал бутылку «Финской» (пол-ящика закупил при отлете) и стукнул ею по столу, мол, а мы пить будям, а мы гулять будям, но сей псевдокупеческий жест встретил прохладный прием, было суховато сказано, что водку в этом доме не употребляют. Вот не люблю волосатых и которые водку не пьют. (Подружился я однажды в милуиме, под Мицпе Рамон, станция раннего обнаружения на высокой горе, вся в куполах радаров, казалась издалека сказочным Багдадом посреди пустыни, с неким месье Варшавским из Кишинева, вся палатка была «русская», даже офицер оказался «русский», так что прожили мы месяц чудесно, с некоторыми из сослуживцев я даже общался потом, на гражданке, так этот Варшавский делился со мной своей страстью к волосатым — в какие только тайны мы друг друга не посвящали! — страсть была совершенно болезненная, ох, как он обожал пожилых восточных женщин! Помню такую историю: понравилась ему одна девушка, ходила в брюках — уже обещание! — и руки были волосатые, и шея, в общем, влюбился не на шутку, даже на пляже ее без брюк под-

смотрел — все в порядке, волосяной покров достаточный, подъехал, а мужик был лихой, закрутил с ней, назначил решительное свидание, квартирку организовал, в общем, все путем, жил предвкушая, а она перед свиданием взяла да побрилась, ноги побрила и т.д. Ну, у мужчины сразу все упало, еле ноги унес, а она, небось, так и не поняла чем напугала.) Люба при виде водяры лицемерно закудахтала, мол, совсем забыла нам сказать, что водку тут не пьют, только сухое иногда... Мы с Вадимом переглянулись.

— Так что, — говорю, — сбегаем за винцом?

— Давайте, давайте, мальчики, — подтолкнула нас Люба, — чего-нибудь легкое, только в темпе.

Мы вернулись через дворик к церкви, спустились к обшарпанной улице, где «Вино» на углу. Народу было немного, но и выбор невелик. Взяли пару бутылок с грузинскими этикетками, чуть ли не «Мукузани», этикетки были криво наклеены, я покрутил бутылку в руке, «"Макузани" что ль?», — спрашиваю? «А черт их знает», — сказала продавщица. Взяли и по бутылке «Пепси» (Москва завоёвана «Пепси»), попросили их открыть и поплыли обратно, потягивая по дороге — пить очень хотелось. Вдоль подъема к знакомой уже церквушке стояли одноэтажные московские домики с окнами на полметра от земли, у одного из них, у дерева, стояла компания из трех женщин и мужика, ничем не примечательных, внимательно нас осмотревших, одна из них непринужденно крикнула вслед: «Мужчина! Вы бутылочку-то, как закончите, не выбрасывайте, где-нибудь там по дороге и оставьте». Я, уже закончив, поставил ее на подоконник одного из домишек и показал на нее пальцем, обернувшись к той женщине. Она кивнула и отвернулась. Мы были уже далеко, а Вадим все тянул свою всласть, будто назло. Перед поворотом я забеспокоился:

— Оставь им тут, а то не найдут.

— Перебьются, — с неожиданным озлоблением отрезал Вадим.

Вокруг стола еще шли хлопоты. Мы неловко топтались, рассматривали картины. Вадим с Любой усердно восхищались. На одной, огромной, во всю стену, изображалась сцена из какого-то фифо-мистического сюжета: дева в белых одеждах убегает к реке, рыцарь в золотых латах пытается ее удержать, а вдали, в черной развевающейся рвани ступает ангел смерти. Дева, как бы споткнувшись, падает на колени и оказывается на четвереньках, а рыцарь как-то так пристроился сзади, что эта драматическая сцена выглядела позой номер два из простеньких сексуальных пособий. Я обратил внимание Вадима на пикантность золотых лат в такой ситуации. Вадюша гвардейски хмыкнул. «Это моя ранняя работа», с кокетливым пренебрежением бросила хозяйка, проходя мимо. Наконец расселись, выпили за знакомство, куснули по бутербродику. Внимание — на меня. Со стороны хозяйки — не без тайной враждебности. Как поэт, а стало быть, Русский Интеллигент, я своим израильским гражданством символизировал предательство касты. И, соответственно, был ее, касты этой, недостоин. Тем не менее позиция была любопытная, и мне с искренней пытливостью задавались вопросы. Например, как я нашел сегодняшнюю Россию? Я простодушно рассказал, что вначале испытал шок страха, как давно освободившийся заключенный, которого вдруг в родную тюрягу привезли на экскурсию. Ну уж, ну уж, что же это мне могло теперь напомнить давно разрушенную тюрягу, не согласились со мной. Да больно, говорю, рожи кругом угрюмые. Подергивание лицевых мышц у присутствующих намекнуло мне, что я забылся, будто среди своих, что я для них человек с того берега, и мне негоже, даже невежливо... Потом мы разошлись в оценке октябрьских событий 93-го, я сказал, что расстрел парламента танками вряд ли может считаться демократическим актом, на что мне заметили, что я утратил диалектичность мышления, а хозяйка заявила, что эту «сволочь» надо было раздавить гусеницами. Наткнулись мы по дороге и на слово «порядочность», что, мол, кое-кто

из русской интеллигенции повел себя непорядочно, хозяйка посетовала, что все стало продажно, духовные ценности утрачиваются и даже интеллигенция.., тут и всплыл старый пароль — «порядочность». Я и в нормальной обстановке при этом слове хватаюсь за револьвер, а тут был дополнительно раздражен тем, что всю эту мерехлюндию исповедовала старая еврейка, по-видимому, считавшая себя «русской духовной аристократией», и обожавшая ее прекраснодушные кашки-малашки о «примате духовных ценностей». Я пошел на лобовое столкновение: а не соблаговолят ли мне объяснить, что это такое, эта пресловутая порядочность? Но хозяйка неожиданно проявила мудрость уступчивости и уклонилась от схватки, мол, есть вещи, которые, если само собой не понимаются, то их объяснить невозможно. «Давайте лучше стихи почитаем». Ну, я почитал. Видно было, что стихи приятно ее удивили, и она, как и все окружающие, не сдерживала своего восхищения: «Ой, как здорово! Потрясающе, я прям вижу все это!», ну и т.д. Лесть — хмель дурманящий, но я все-таки догадался, что «перечитал», что другие, особенно Люба, с нетерпением ждут своей очереди.

После меня читал Вадим, видно, полагалось по чину, за ним Люба. Ну, та уже не останавливалась, пока не пришли еще гости: две дамы за 50 и молодой человек лет 25, художник Каха, грузин. Одна из дам, похожая на Мэри Попинс, с буклями и противным лязгающим голосом, была, шепнули, княгиней Вронской, уроженкой и гражданкой Великобритании, пасущейся тут на ниве перестройки и журналистики. Говорила она безапелляционно, почти без акцента, если не считать акцентом высокомерие, носила толстенные круглые очки, Каха был при ней, функции его были неясны, за весь вечер он не проронил ни слова, а если к нему обращались, неопределенно кивал головой. Вторая дама, восточного типа, держалась не менее уверенно, но в тени, по всему видать стихов и картин не писала, но от нее густопсово пахло финансами. Княги-

ня лязгала беспрерывно, как телетайп, о том, как она рассорилась с «Московским комсомольцем» и теперь будет в «Известиях», пошли светские сплетни, мелькали названия газет и банков, хозяйка с завидным терпением, изобличающем светскую опытность, постепенно сманеврировала к напоминанию о том, что она бы хотела на этом вечере представить княгине «очень интересных поэтов», такого-то, такую-то, и даже одного поэта из Израиля. Княгиня вскинула бровь, будто на великосветском балу мажордом выкрикнул фамилию корчмаря из пригорода, осмотрела представленных: «Да? Ну что ж. Мм-да... Ну, давайте послушаем». Это смахивало на приемную комиссию. Мне поступать было некуда, и я предоставил арену Вадику, который стал читать по второму кругу, запинаясь и нервничая, как на экзамене. Потом Люба лихо затарабанила. Княгиня снисходительно кивала. Без большого энтузиазма. Явился наконец последний из приглашенных, какой-то модный гитарист, небольшого росточка, помятое круглое лицо придурковатого трактирного полового, не старше 30. Ждали его гитару, чтобы начать спевку. Предложили дать ее мне. Гитарист среагировал на предложение болезненно: долго-долго доставал ее, упакованную и спеленатую, затем стал обстоятельно, со всех сторон, вытирать ее шелковой тряпочкой...

— Кажется гитара очень ценная, — решил я прийти к нему на помощь, — не будем мучить хозяина, я и на этой сбацаю.

И взял Любину. Гитарист тут же убрал свою и никакой благодарности не выказал. Я спел пару своих стишат, удостоился сдержанного одобрения — ситуация вообще напряглась — гитарист кривил рожу и отворачивался. Я не стал навязываться и передал гитару Любаше. Она же потребовала гитару у маэстро, имела, значит, основания, но даже ей было отказано: «Давай я лучше тебе подыграю». Тут еще было желание изобразить тандем. Но нашла коса на камень: Люба предпочитала соло. Соло при-

шлось играть на своей. На третьей песне он все же вклинился, выдав залихватскую трель и сорвав аплодисменты. Дальше пошло совместное выступление, перед каждой песней они долго и интимно совещались и настраивались. Затем хозяйка мягко, но решительно передала эстафету гитаристу. Соло. Гитарист держал равнение на княгиню, он играл только ей и только ее одобрения алкал, будто от нее что-то зависело, возможно, так оно и было. Он играл ей какие-то баллады Роберта Бернса собственного изготовления, да еще по-аглицки, княгиня хвалила его английский, сравнивала с какими-то английскими стукачами на гитарах, и даже бросила даме с финансами, что надо бы сказать о нем кое-кому. Гитарист вошел в раж, он играл и играл, пел и пел. Играл лихо, пел — так себе, да все длиннющие эти баллады на невнятном английском... Люба попробовала намекнуть ему, что надо бы и хозяйке дома дать проявить себя с творческой стороны, но он не унимался. Вадим в раздражении вышел. Я с удовольствием последовал за ним. На кухне Вадик закурил. «Что за мудак!» Княгиня нам тоже не понравилась. Вышла Люба. Вадим сказал, что он уходит, все. Люба отнеслась с пониманием, но просила подождать, надо было еще послушать хозяйку, а то невежливо. Гитариста она бралась остановить. И действительно, стук вскоре умолк, и мы вернулись в салон. Хозяйка спела свои стихи, какая-то гриновская романтика, усталые паруса. Потом гитарист снова схватил инструмент, а мы, ссылаясь на поздний час (около десяти) откланялись. Хозяйка подарила мне какую-то антологию, где была ее «ритмизованная проза», я ей свою книжицу. Только подняли якорь, гитарист вдруг спохватился, бросился к Любе, долго держал ее на лестнице, предлагая совместные записи, репетиции, вид у него был, как у пса, заметавшегося между косточкой и случкой, Люба, наконец, отлепилась от него, удрученного, и мы вышли на улицу. Любе хотелось петь.

28.9. Иосиф не позвонил, значит, Белашкин обещания не сдержал. Как Миша говорит: что можно ожидать от человека, который опаздывает на целый час.

Звонил Миша. Его несколько дней не было, где-то в деревне картошку убирал.

— Как себя чувствуешь? — спросил он.

— Так, — говорю, — вяло... А ты?

— Ну, тоже трудно, — выдохнул Миша… — Держусь, но с трудом.

— Ну-ну, ты уж держись...

— Стараюсь, — устало сказал он.

Вадим

И она запела песенки Ив Монтана, популярные в России с его приезда в 50-е, дядя Валя их тогда разучивал и пел у нас, они всё с отцом спорили: Ив Монтан дяде Вале нравился, а папа говорил: «нет голоса», дядя Валя был актером, играл в народном театре, мечтал о профессиональном, но никак не получалось, говорили: голос слабый, он годами брал уроки, голос ставил, маленького роста, неудержимого темперамента, с огромной копной курчавых черных волос, занимался культуризмом, йогой, правильным дыханием, обожал об искусстве поспорить, личная жизнь не складывалась, женщин побаивался, мать бросила его, младенца, в Одессе, удрав с белыми, пока отец дяди Вали, лихой красный командир, воевал за лучшую жизнь, а в 37-м или 38-м отца, иркутского наместника и друга Блюхера, повязали опричники и в расход пустили, и стал маленький интеллигентный еврейский подросток беспризорным, мой отец его в Куйбышеве, в начале войны, подобрал, и с тех пор он был в нашем доме, как младший брат папин, мы все его любили, слегка подтрунивали над его горячностью, потом он от театра отошел, увлекся изобретательством на радиозаводе, а три года назад, когда мы поехали на могилу отца, он приставал к кладбищенским ка-

лекам, обещая поставить их на ноги своей «системой», приставал и ко мне, заманивая продлением жизни, и меня царапает совесть, что я «отключился» от него, совсем одинокого, Вадим тоже увлекся: спой то, да спой это, а время уже к одиннадцати, на улице пустынно, домой хочется, памятуя о криминогенной обстановке в городе, а эти голубки влюбленные, как назло, распелись, разворковались. За церковью был небольшой земляной вал, а на нем доски свалены, они затянули меня туда, Люба села, взяла гитару поудобней и... Я слушал невнимательно, трухая, как бы хулиганы на огонек не слетелись, и думал раздраженно: вот, почти пятидесятилетние мужики и тетка многодетная во дворе ночном на досках распевают, как в юности, и на гитаре бацают, и что здесь больше: грустного, смешного, а может великого? Когда Любаша дошла до своего коронного номера «освяти поцелуем обратный мой путь», я ввернул, что во-во, не пора бы уже освятить, в общем, оторвал их кое-как от досок, и мы подались к метро, в обнимку, в экстазе дружбы и любви, напевая хором «освяти поцелуем обратный мой путь», как и четверть века назад, когда он или я, поочередно влюбляясь, и по отработанному сценарию (второй радостно подыгрывал) создавали атмосферу экстаза: вино, стихи, гитара, ночные купания в грязных подмосковных прудах, бог знает на каких станциях, я и на этот раз подыгрывал (эта роль вообще доставалась мне чаще), но неискренно, чувствуя не зависть, как когда-то, а отчужденность, мне стыдно было почему-то играть в эти игры, боюсь, что я вообще никогда не был юным, никогда не был искренним в восторгах, а тем паче теперь, когда готовишься уже так сказать достойно встретить.

Недалеко от метро омоновцы в бронежилетах и автоматах наизготовку перекрыли проспект и дулами направляли иномарки к тротуару, вытряхивали пассажиров кавказской национальности в переливающихся блеском костюмах, проверяли документы, вокруг мигали милицейские огни, выли сирены, плясали фары машин и огни ручных

фонарей. (На меня тоже милиционеры в метро заглядываются, но не пристали ни разу. А как-то раз иду по Мясницкой, хотел в пункт обмена валюты свернуть, а посреди улицы баба-ведьма с красной рожей, машины ее объезжают, орет: «Всем усатым яйца отрежем!», и на меня в упор смотрит, на всякий случай я этот пункт обмена пропустил, думаю, будут еще по дороге.)

В метро меня нежно поцеловали, как и положено целовать верного друга, Меркуцио. Обнимались, обещали писать, обязательно встретиться, хранить в сердце своем эти чудесные минуты.

29.9. Иосиф звонил, сказал: вышла книга. Говорит: хорошо получилась.

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

30.9. Приснился сон про любовь. Из тех, незабываемых снов. Их было несколько за всю жизнь. То есть незабываемым было чувство, чувство любви, растворение в нем, ничего подобного я наяву не испытывал. Помню первый сон из этой «серии», вернее, эпизод из сна: я стою на крыше, в потоке света, тускло-зеленого, как сквозь толщу прозрачной морской воды, и плачу от любви, от невозможной к кому-то нежности... А сегодня приснилось, что я преподаю в каком-то университете (горы вдали, в Ариэле?) и увиваюсь вокруг одной не то студентки, не то молодой училки, высокой, стройной, в плаще, красота лица неяркая, хрупкая, иконописная, Богоматерь Белоозерская с чертами полуутраченными, я иногда провожаю ее, подшучивая над кем-то, над чем-то, она улыбается, некоторая неловкость и ощущение упрямой тяги друг к другу, которая всё не решается проявить себя, случайные встречи по дороге на работу или с работы, обмен малозначащими замечаниями. И вот однажды, провожая, вернее просто прогуливаясь с ней по пути к машине, после работы, что-то рассказывая и улыбаясь, я вдруг уступаю неодолимому тяготению и беру двумя пальцами вьющийся у виска локон. А она неожиданно ловит мою руку между плечом и щекой и целует в запястье, и тут вновь возникает вот это чувство, назовем его условно чувством любви, передать его не берусь, вроде освобождения, «освобождает от земного», этот стих Бунина я певал когда-то, и не случайно вспомнилось, любви учился по Бунину, ох, по Бунину (многоумная Наташа Рубинштейн его ненавидела, говорила «рыбья похоть», уж не с того ли муж ее сбежал с танцовщицей?).

Утром, наконец, письмо. Фото: выцветший барельеф на обломке камня: мужская длиннопалая кисть держит ветку оливы, Египет, 18-я династия.

...-ого приезжаешь.

А еще мне снилась Д., в толпе студентов, короткая стрижка, седая прядь, ловлю ее взгляд, все еще влюблен и хочу познакомить с новым моим увлечением, но она исчезает...

Так и не изловчусь никак позвонить А., и эта нерешительность меня донимает.

Наяву было раз нечто похожее. Мне 15 лет, в спортлагере, в деревне, ей 16, но она уже женщина (не про неё ли тот сон первый?!), уже уязвленная мужскими обидами (потом рассказывала), красоты строгой, материнской, мои отроческие наскоки неумелы, слепы, но упорны, неловкие попытки обнять, повалить в землянику, злость за испачканное платье, прокушенная губа, соперничество (хоккеист, мастер спорта лет 19), ревность, костры, походы, поцелуи в темной палатке (у меня температура, слышен треск костра, песни, гитара), а когда вернулись в Москву и разгружали грузовик, день был солнечный, конец августа, я, взбегая по ступенькам школы с нетяжкой ношей, а она стояла наверху, поднял голову — и на меня снизошел свет, как в том сне, тускло-зеленый, красота-светслава, он толкнул ласково и остановил. Я так и остался навсегда на этих ступенях, застыл, как в стоп-кадре... Ее звали Вера Угрюмова.

А вот сейчас вспомнил, как мы с тобой в первый раз на Фавор поднялись, стояли на крыше пристройки у обрыва, предгрозовое небо и странный, мерцающий свет, будто в глубинах небесных спрятанный…

«Пойдем к сиянию оного света и, возжаждав красоты его неизменной славы, очистим зрение ума своего от земных скверн». У Григория Паламы недавно вычитал.

1.10. Вадим

Мы еще зашли в Музей Частных коллекций. В бывшей квартире Пастернаков. Там тоже много было модного нынче русского авангарда начала века, я его люблю, эту несрочную весну, неожиданную свободу, открытую, вызывающую... Потом пошли в Кремль, но у ворот проверяли документы, и я расстаться с анонимностью не решился. На одной из дорожек Александровского сада купили у тетки с грязным фартуком по бутылке пепси и по булочке с изюмом, похожи были на те, круглые, с коричневой корочкой, с запеченными в ней орехами и изюмом, за 10 копеек, которые я всегда, удрав с уроков к Альтшуллеру, покупал в булочной у Новослободского метро, одну себе, другую Альтшуллеру, толстому, добродушному, я его побил в первый же день, когда он пришел в класс, уж больно раздражал покладистостью, потом устыдился и подружился, он часто сидел дома и играл на пианино, бабушка его звала меня «Нюма — не фунт изюма», а я гордился тем, что врезал Моргуну за то, что тот назойливо дразнил его «жиртрест», вообще в 13–14 лет я частенько дрался, за что бывал наказан Клавдией Ивановной с особым пристрастием («Как это так — Вайман побил Иванова?!» — смеялся папа, передразнивая ее скрипучий голос), но мое рыцарство кончилось после того как однажды на переменке я вступился за Сашку Петрова, которого колотили трое, и после школы меня встретила целая кодла, Петров исчез, остался только Альтшуллер, уж больно неповоротлив был, и ему досталось, впрочем, больше было паники, чем побоев, ну и насчет Гитлера, что «зря он всех вас не», и позор бегства, и страх вернуться в школу, а Петров мне потом с вызовом заявил, что не просил защиты. Это было в седьмом классе, красная эта школа еще стоит на Тихвинской, в глубине дворов, а саму улицу разворотили, только баня на углу («вам шаечка больше не нужна?», огромный зал в клубах пара, голое мужичье, папа, на которого я старался не смотреть, разве что украдкой...) и Дом пионеров Октябрьского

района, за который я не без успеха выступал на четвертой доске, на третьей — Леня Бунимович, вундеркинд-математик, а тренером Рошаль подрабатывал, разбитной красавчик, дружок Старшинова[1], много пива и болтовни о хоккее, но потом Рошаль пробился все-таки, стал спортжурналистом, а с Леней знакомство продолжилось по другой линии и осталось до сих пор, ну а с Вадимом мы учились вместе в 200-й школе на Сущевском, но только один год и в разных классах, потом мы переехали на Руставели, и я его встречал, когда приезжал в школу на литературный кружок Виктора Исааковича, а подружились мы, узнав друг друга на лестнице института... Все эти места я посетил еще в прошлый раз, сфотографировал пустырь на месте нашего двора, который иногда снился, снилась скрипучая, еле живая деревянная лестница бабкиного дома...

Сели у крепостной стены, вокруг валялись обрывки газет, бутылки, я выразил ему свое восхищение Любой, почти искреннее, добавив:

— Ты с ней поосторожней. Меня пугают такие решительные женщины... Они бросают внезапно и бесповоротно.

— Да я знаю, — успокоил он меня. — Ты не волнуйся, мы тоже не лыком шиты. На войне как на войне. Пока я ее крепко держу.

— Ну-ну, старик, держи крепче.

— Не волнуйся. Я уж тоже калач тёртый.

Я попросил у проходящей пары сфотографировать нас, парень оказался парижанином, а когда узнал, что я из Израиля, обрадовался, будто земляка на чужбине встретил.

Перекусив, двинулись в сторону Красной площади. У памятника Неизвестному солдату по-прежнему вереницей сменялись молодожены, с юности почему-то не люблю молодоженов и дур этих в белых платьях, их штампованное,

[1] Популярнейший нападающий хоккейной команды «Спартак» (я всегда болел за «Спартак»).

манекенное счастье. Манежную по-прежнему рыли, Церковь Казанской Божьей Матери уже восстановили, Вадик перекрестился, а я рассказал ему, что три года назад, будучи засланецем Сохнута, вложил свою лепту в копилку на восстановление храма Христа Спасителя, которая висела тогда на углу ул. 25-го Октября. Я завел его во дворик, где редакция «Знамени», показать чудесную церквушку 17-го века, что спряталась там в глубине, московское барокко. Дотопали до Лубянки, в метро расстались.

Из эпитафий еврейского кладбища в Востряково:

ты ушел
но дело твое идет
семья, сослуживцы
—
все страдания и беды позади
рыдаем на твоей каменной груди
Ася, дети, внуки
—
Ефим Абрамович Орел
1901–1990
твое добро с нами
дети, друзья
—
Моисей Аронович Немировский
1921–1991
какой светильник разума угас
от Института Низких Температур
—
принимая жизнь всерьез
ты прольешь немало слез

(А эту я сам придумал, осталось только плиту найти подходящую.)

2. 10. Иосиф

Стоим в очереди на Почтамте, книги отправляем (еще не пришли, кстати), чемоданчик свой он поставил справа от себя, прислонив к стойке, а я стоял, облокотившись на прилавок, вполоборота к нему, чтоб не пропустить движение очереди, и чемоданчик этот вполглаза видел. О чем говорили — не помню, небось, все о том же, о катарсисе, ну да, о Вячеславе Иванове, а тут за Иосифом пристроился молодой человек невзрачного вида, даже можно сказать плюгавенький, все головой вертел, наклонялся, в окошко заглядывал, будто искал чего-то, и, смотрю, ручку-то от чемоданчика Иосифа — хвать! А Иосиф был в самом разгаре объяснений концепции дионисийства, я и говорю:

— Гражданин, — эдак игриво, — а чемоданчик-то, извинямсь, не ваш!

— Чего? — не понял моей реакции на дионисийство Иосиф. Плюгавенький тут же отпустил ручку и, скользнув по мне взглядом, что-то невнятное забормотал, мол, случайно задел, пошарил еще вокруг глазами и смылся.

— Во, — удивился Иосиф, — а я б и не заметил.

Еще бы, Сережа Костырко рассказал, как полгода назад, зимой, Иосиф, размечтавшись, выпал из автобуса и сильно разбился. Оно конечно на повороте, на подножке, и дверь открыта — с каждым может случиться, но в рассеянности некоторой «философской» не откажешь. Философ, впрочем, изрядный. Беспросветно умен. Я обязан ему многим, хотя бы открытием Грибоедова, Баратынского. После урока иврита он с особенным увлечением разбирал «Горе от ума», доказывая, что главный герой — Молчалин, Чацкий же — типичный русский благонамеренный пустомеля, а их конфликт — вечный русский, между западниками и славянофилами, и оба за одну бабу борются, каждый на свой манер, Молчалин-то спал с ней, пока Чацкий разглагольствовал, так что и в дерзости не откажешь герою, а баба-то Софией, т.е. мудростью, не зря названа, а я при этом делился актерским опытом: играл Молчалина в труп-

пе пионерлагеря от Гипроавиапрома и перечил постановщице, из какого-то театра была актриса, заставляла меня играть мелкотравчатую подлюгу, чему я инстинктивно сопротивлялся, а Лизаньку, кстати («Аа, Лизанька, ты от себя ли?», «Наум», — ну вы что, не можете запомнить, не «аа», а «ах», в тексте: «Ах, Лизанька, вы от себя ли?», а я все свое гну, дон-жуанское: «Аа, Лизанька…»), играла Оля Иванова, пцаца ло нормалит[1], чудо-Оленька, когда кино показывали, все пацаны к ней жались и хватали в темноте за зреющие груди, визгу!.. А Софулю играла дородная евреечка Ксана, ко мне неравнодушная. Ну вот, пузырьки со дна памяти... Потом наши с Иосифом пути разошлись, я уехал, весь в сомнениях и надеждах, а он, несмотря на «категорический императив» (это он так называл необходимость уехать) и значительные успехи в иврите, способный, черт, остался «русскую идею» додумывать. Женился тоже рано, на здравомыслящей русской девочке, дочери красавца-полковника, приглашавшего меня выпить на кухне, но даже она не смогла оторвать его от этой «идеи». Правда нынче он широко берет, эстетические системы строит. А я совсем стал эклектиком, от ленности ума, а ведь так хорошо начинал, в тринадцать лет за Аристотеля брался, телескопы варганил, что б понять, как небо устроено. Вот уже и жизнь на излете, в голове все беспутно перемешалось, втайне презираешь все системы, читать ничего не хочется, да и забываешь тут же. Вот эту Аниту все домучиваю, и скучно, и глупо, но — взялся вроде, из научных соображений...

2.10. Иосиф

В первый раз я позвал Иосифа на помощь через пару дней после приезда: столько книг накупил, что все сразу до почты не дотащить, да и спину боялся надорвать, а Иосиф, он хоть и махонький, но крепышок, к тасканию книг привыкший, и вот мы с этими тяжеленными баулами аж до са-

[1] Секс-бомба экстраординарная (*ивр.*, сленг).

мого Черкизово пешком перли, через Сиреневый сквер, Иосиф поведал, как хорошо тут дворничать, навевает. Книжный наш бизнес уже года четыре держится. Сейчас, конечно, не то, цены на книги в России подскочили, а в Израиловке наоборот, упали. Отправив посылки на Мясницкой, мы взяли по бутылке пива и пошли по бульвару в сторону Сретенки. Приметили полскамейки свободных, на другом конце парочка из мещан, и уселись, пивко потягивая. Скамейка длинная, парочка милуется, и я завел о наболевшем.

— ...удивительно до чего похожи ситуации и тут и там: крах идеи, деморализация, паралич национальной воли. Новый этот мир — чужой, пустой. Была цель, смысл, а теперь что? Обогащайся!? Не могу смотреть, как бывшие борцы-диссиденты, прославляют власть ворюг, я понимаю, что ворюги им милей, чем кровопийцы, и денег хоца, но даже перед Сталиным так не сюсюкали. Ловлю себя на парадоксах: русский «почвенник», жидоед, мне милее своего, святоотеческого левака, борца за права, даже антисемитизм готов понять и простить. Хоть реставрации всякие — дело неблагодарное, но так и тянет в контрреволюционеры, на манер Лимонова…».

— Кстати книжонка вышла «Лимонов против Жириновского», говорят любопытно...

— Да? Встречу — куплю... И советское государство и сионистское родились верой, порывом воли, и держались только жертвенностью. Да, театральностью, если хочешь, они были обречены играть роль. А когда играть надоело, жертвенность показалась «жестокой», захотелось «просто жить» — конец стал неизбежен. Вроде бы радоваться надо, и что уж греха таить, жизнь стала удобней: личная свобода, благополучие, «просто жить» вообще удобнее, естественней, чем позы корчить, но мне почему-то неуютно, холодно, страшно... Боюсь, что это не только конец спектакля, когда граждане довольные расходятся по домам, не только конец игре, а и жизни конец, расходиться-то некуда, нет дома, родной дом — сцена!

— Все что ты говоришь замечательно вписывается в мою концепцию, а это говорит о том, что ее можно применять не только для эстетических аллюзий. Может я вообще открыл универсальную систему, хи-хи-хи? То, что ты испытываешь, как и миллионы других, — это страх индивидуации. Вообще, страх перед буржуазным образом жизни — это страх перед индивидуацией и желание вернуться в родовое стадо. Ну, у нас еще и жрать многим нечего, но этот страх все равно — главное. И не случайно, что у русских и у евреев. А то, что одновременно — ирония судьбы...

Парень на другом конце скамейки стал разбрасывать крошки. Слетелись голуби. Девушка смеялась, показывая пальцем на голубиные ссоры. А мы разбирались с индивидуализмом: отчего побеждает, если все его так боятся.

— Да индивидуализм-либерализм против рода и не бунтует, — горячусь, — скорей он против романтизма, идеологической целеустремленности! В этом и сила его, что никаких целей перед собой не ставит, и поэтому формирует систему открытую, саморегулирующуюся, для которой приспособляемость — главное, и получается, что способность такой системы к технологическому усовершенствованию на порядок выше, чем у систем идеологически заданных. Так что неувязочка получается...

— Открытая система, да, но в открытой системе неизбежно углубляется обособленность, а вместе с ней тоска индивидуации, да, жить становится легче, но эта легкость невыносима...

Тоска навалилась. Тяжелая, параноидальная. Завтра свиданка. Уж не с того ли...

А может, правда: чушь — вся эта романтика героизма? Полюби беззащитность, прикипи к кочевой судьбе. И обид не копи. Как рыба на льду, раздувай жабры, дыша памятью. Лед молодой, слышь, цонкает, будто перетянутая струна... Силу жизни дано сохранить лишь великим слабакам, одиноким дервишам, в немыслимом танце отрешения и любви.

Фильм «Враги. Любовная история». По Зингеру. О прибитых бурей к спасительному, но чужому берегу, судороги одиночеств, извивающиеся обрубки жизней...

14.10. Третьего утром перехватил ее в Ришоне и поехали в «Империал». Жара была давящей. Выглядела прекрасно. Три пистона хлопнул, как в старое доброе время. Потом поехал на работу. Вечером еще один, жене, по инерции. На следующий день рано закончил: бесенят из-за жары отпустили, и опять в «Империал». Пятого — отдыхал. Шестого рано закончил, все та же жара несусветная, пошли в Музей. «Портрет в живописи 17-го века», буфет, кино, «Дневник Нени», итальянское. В последнем ряду. Это было интересно — дневниковая форма в кино, но только полфильма, а потом пошла истерика в тупике. В тупике творческого замысла. Или дневник — форма безвыходная? На ее закидоны голых ног не реагировал, чувствовал — надорвался малость в этом «Империале». Да, пятого старший прилетел, книжку привез. Так значит, шестого мы были в «Импеиале»? А когда ж в Музее? Спуталось. Седьмого «Империал», в промежутке — о книжке, потом пляж, потом обмыли книженцию в ресторации. Когда ждал ее у выхода, увидел на другой стороне Володю, попытался за столб спрятаться, но он заметил, замахал руками, пришлось подойти. Приблизившись, узнал в озабоченно суетящейся группке Дану и Некода. Дана была в шляпке, вид измученный. «Наум, у нас национальная катастрофа». Оказалось, что Некод свою инсталляцию оставил на ночь в садике на набережной, где была выставка, ну и ее, конечно, разломали, доски расписанные на костер пошли. «Варвары!» — выразилась малорослая экономка. Мужичонка с носом-картошкой помогал собирать недоломаннное. Дана поинтересовалась, не с машиной ли я, помочь доски транспортировать. Нет, говорю, ужасно жаль, но никак не могу, просто вот никак, ужасно спешу. Володя заприметил мою суетливость и возлюбопытствовал, но я, отнекиваясь, откланялся. Ты уже вышла, искала меня глазами.

А дома небольшой скандальцоно, подозрения, где был и т.д. Ну, натурально, встречей с Володей, гибелью культурных ценностей и нашествием варваров объяснил (повезло, она перед этим Володе звонила, и он сказал, что меня видел), возмутился подозрениями. Искренно.

В воскресенье поехали в Наби-Самуэль. Поднялись на крышу мечети. Там будка с часовым. Будка есть, часовой — ёк. Дверь на минарет под замком. Но и так высоко. Продувает жабры. И Иудея внизу: холмы, деревеньки, минареты.

Москва уходит, съедается туманом, равнодушием усталости и злостью от здешних дел. Сейчас свистопляска вокруг похищенного солдата. Рабин затопал сапогами на Арафата, как ленивый барин на денщика-прохвоста: и надо бы за воровство выгнать, да разве ж без него обойдешься?

15.10. Суббота. Вчера ночью этот кретин отдал приказ штурмовать дом, где прятали похищенного солдата, подписав ему тем самым смертный приговор. Погиб и командир штурмующих. Дюжина раненых. (А что, не пойму, нельзя всех газом каким-нибудь усыпить?) Поспешил ликвидировать «дело» — скоро Нобеля получать, как бы ни сорвалось. Пожертвовал солдатами, чтобы выручить Арафата, а вернее — себя, свою политику, связанную намертво с Арафатом. Они теперь сиамские близнецы. Тяжкую ответственность, которую поначалу сгоряча взвалили на Арафата, быстренько с него сняли, под предлогом, что солдата прятали, мол, не в Газе. И оппозиция операцию поддержала! Опереться в этой стране не на кого. Всё, сгнила.

Протоколы сиамских близнецов. Неплохое название для порноромана.

После Наби-Самуэль поехали через Иерусалим в Абу Гош, перекусили, и — в аэропорт. Тут я посадил ее на автобус и остался встречать Вадика. Жуткий хамсин, затяжной,

уже месяц держится. Народ иудейский, обливаясь потом, смеясь и ругаясь, плотной толпой окружал выход из терминала. Прилетевшие на Святую землю с трудом пробивались. Наконец, появился Вадик. Он нес только сумку. Обнялись.

— А где чемодан?

— А я все в сумку запихнул, чего лишнее таскать. Но я тебе книжки взял.

— Аа, отлично.

— Одну только не взял, не влезла.

Ну, это мне сразу не понравилось. Как это не влезла? Вон у тебя целлофановый пакет в руке, пустой. Идем к машине. Молчим. Даже неловкость возникла.

— Знаешь, — решил я переключиться, — вот годами мечталось о том, что ты приедешь, и вот... чудеса!

— Да, чудеса.

Привез письмо от Любы.

Наум, здравствуй!

Я рада, что мое письмо, этот листок окунется в атмосферу Земли Обетованной, что его коснется ветер с моря или из пустыни. Сквозь расстоянье я протягиваю руку для рукопожатья.

Тебе слышны пески пустыни,
Тебе история — не новь!
Пусть удивленье не остынет
И не оставит пусть любовь.

Песчинки сыпятся с ладони
Как жесты, встречи, как вода, —
Руки пожатье тем бездонней,
Чем быстротечнее года.

—

Вот какие строчки, Наум, мне пришли однажды на ум...

Вадим мне передаст альбом про Израиль и, листая его, я буду мысленно и иллюстративно представлять те угол-

ки природы и архитектуры, которые предстанут перед Вашими светлыми (голубыми и карими) очами, мои уважаемые собратья по перу!

Я желаю Вам приятных совместных прогулок, веселых минут, а лучше часов. Конечно же, лётной погоды в поэтических взлетах. Наум, мне особенно понравились три Ваших стихотворения.

1. «Преклониться хоть дай, дай опомниться».

В нем такая боль и неизбежность разлуки, такое желание удержать миг и неповторимость любой встречи.

Я его напеваю на новый, постоянный мотив, правда, без гитары.

2. «Текут, текут неторопливо…»

По форме и содержанию — шедевр. Оно такое плавно-переливающееся, все движется: «текут», «крутились», «скользила», «текли» и... остановка — «стоял я» — какой-то элемент непоколебимости и вечности, тихого замирания перед непреходящим и неизчезающим.

3. «Ах ты распутная и дикая…»

От этого стихотворения веет ромашковым полем и полынной свежестью, а не ладаном (хотя ладан тоже приятен). Я его читаю всегда со светлой таинственной улыбкой, думая о том, что любовь, если она истинна и прекрасна, никогда не бывает греховна.

Наум, если будет возможность и время, то напишите мне пару строк о вашем досуге с Вадимом. Кстати, мы очень часто слушаем «Крылатку».

Привет Вашей супруге и сыновьям, ведь они (я скромно надеюсь) уже знают меня по сборнику «Я не одна…».

И эти две недели я тоже не одна, а мысленно с Вами, с вашей улыбчиво-теплой землей.

С уважением и пожеланием всего счастливого и доброго,

Люба

Утром ездили втроем на море, в Пальмахим. Шла большая волна. Вадим собирал ракушки. А я гулял с супругой вдоль моря. Её взяла. Её всегда берет. И чем дальше, тем цепче. Вдоль кромки моря носились два белых лабрадора. Вечером домашний закусон с водочкой, с рыбками всякими и солениями. Завтра поедем на Север.

Вадим назвал свою новую, третью, книжку «На Востоке». Дал почитать, стесняясь.

Я гадал ей по иранской ткани
Цвета крови в розовой пыли
В эту пыль свалили на аркане
За конем меня поволокли.

Сколько было их жестоких стычек
В жизни той, небывшей — сколько дел!
Из-за дамы с сотнею косичек
Я большие муки претерпел.

Помню лишь насупленные брови
Тонкий нос победный и прямой...
Но подол расшит моею кровью
У московской женщины одной.

С ней далек я от цветного рая.
Задыхаюсь, брежу, ворожу.
Волосы ее перебираю
И слова персидские твержу.

Персидские... И по-английски-то двух слов не знаешь, эх-ма!

В понедельник с утра опять к морю — дорвался житель равнин. И еще он загореть хочет, чтоб в октябрьской Москве шоколадной кожей пофикстулить. Пляж был безлюден.

— Да, совсем забыл, — сказал он, доставая конверт из сумки, тебе ж письмо от Миши. Тут промокло немного... Да я думаю, там ничего особенно важного.

Я жадно глотал Мишино письмо. Оно было о книжке. Углы были замочены, и я с трудом разбирал.

6 октября 94

Здравствуй, Наум!

Вот уже два месяца, как ты уехал — грустно ужасно! Ты говорил, что у вас не получаются вести такие разговоры (как мы вели), а здесь другое: такого человека, как ты, нет. Я просто поражаюсь твоей способности долго таить в себе... — ну, то, что ты называешь в стихотворении «изнурительная тоска по любви» — и сохранять ее. Верно я понимаю, что когда ты оказался здесь, эта тоска как бы исчезла, и было ощущение любви?

Конечно, это связано с молодостью. Но и еще что-то: мне трудно сказать, что это такое — в стихах твоих я это чувствую, а назвать трудно.

Вот видишь, вышла книжка — и хоть чуть позже, чем Андрей обещал, но довольно быстро. Для меня книга стала как бы открытием: буквально — открылась некая дверь. И то, что прежде я недопонимал в твоих стихах, стало гораздо более понятным. И близким. Я попробую написать рецензию — попробую в НЛО, в «Арионе».

Понимаешь, я как бы стал чувствовать эти вещи за тебя: «Когда иссохнет сердца лук тугой...» Или это место: «И вспомнишь тут Москву,//дороги в выбоинах...» То есть, я понял, наконец, как ты видишь прежнее — и хоть ты говоришь, что забываешь то, что было, в стихах видно: что-то в глубине души — не забывает. А потом, той Москвы и здесь теперь нет. Конечно, это о нашей молодости.

Мне очень нравится «Дурманом бессмертия рода» — посвященное Иосифу. Вообще я понял, что многое из того, что я критиковал прежде в твоих стихах, — это особый строй мысли. И когда этот строй мысли превратился в стиль — а в книжке это сразу видно, все стало на свои места.

Это действительно особый стиль — и сочетание то верлибра, то белых, то рифмованных. То есть я почувствовал, что душа сказывает себя, оставаясь собою, по-разному. По сути, каждое стихотворение — рассказ. И у меня исчезло то ощущение, которое было прежде — что главное настроение — разочарование в Израиле. Нет, по этим стихам видно, что я был не прав. Просто у тебя такое отношение к реальности, к реалиям, к тому, что вокруг — и интересно, что это не «ироническое» отношение, а как бы несколько полярностей. На полюсах — сарказм и нежное любование. А между ними трезвая, хоть и горькая констатация; просто наблюдение как бы со стороны.

Мне очень нравится «Хорошо сидеть в пустом нарядном кафе...»

Но и «Какие-то блаженные пространства» — и насколько это разные стихи.

Основное, мне кажется, ты пишешь правду: как душа чувствует, так говоришь. Если правда жестокая, ты этого не пугаешься. И как бы эта правда стала основной струной, и художественные особенности вырастают из этой правды, из этого строя души. Порою ты прямо с ожесточением кричишь тому, что вокруг — но не спрашиваешь его почему оно такое, но и не обвиняешь.

Теперь мне нравится и «14.1.91. Семь вечера» — а прежде я счел бы его угловатым. Но — и это именно книга сделала — я почувствовал этот основной тон, и как бы он организовал художественные средства.

«Романтическая баллада» мне нравится по-прежнему — и я удивляюсь, как разные настрои дают жизнь стихам.

И это — «Я вышел вон из кокона канона» — в конце, и правда ощущение неба, и, как ни странно, не иного, а земного. Голубого неба, которое всегда сопутствует мечте. А по сути, ведь именно мечта переносит как через «пустые» пространства: к новому ожидаемому. Я помню это стихотворение прежде, но теперь читаю его по-новому.

Вообще, в этот приезд ты и предстал как бы по-новому: жизнь до 78-го, приезд в 91-м — все как бы другие эпохи и ты был другим. А в этот раз — видны сразу и тоска и надежда. У тебя есть буквально стихотворение об этом: «Садится солнце...» И ты пишешь, (говоришь) «почудится», а ведь это не то, что почудилось и ушло, оно готово почудиться снова, оно ждет только минуты. А рядом спокойно-мудрое: «Рано утром сойду»...

Интересная вещь, Наум: умом понимаешь, что стихи написаны в разное время и в разных обстоятельствах и разных настроениях — но когда они рядом в книге, возникает ощущение, что это как бы страницы души, и они рядом друг с другом.

Конечно мне по душе, ближе те стихи, где веет покой, или мечта, или мудрое понимание. Но я научился понимать и более брутальные — как «скелет столицы». Это вообще очень хорошо сказано — «скелет столицы». Мне кажется даже, что в определенном настроении ты видишь окружающее действительно как «скелет» бытия, и я начинаю доверять этому. «Опять повалит гнусь из всех щелей, под звон трамвайных окон...»

Наум, сейчас мне не хочется говорить что-то критическое: когда любишь книжку, хочется что-то и не замечать. Но по сути, выразительность почти всегда соответствует у тебя сюжету. То есть я отучаюсь думать, что я, допустим, сказал бы иначе: я бы просто увидел это иначе. А из твоего видения вытекают и такие слова.

В каком-то смысле строй баллады прорывается почти в каждом стихотворении — что-то такое: видимо, в каждом стихотворении ты хочешь рассказать о том, что переживаешь. Даже в этом маленьком «На каждой травинке...» тоже рассказ.

В общем, я попробую все эти впечатления собрать в рецензию-рассуждение. Но — еще раз — впечатление от стихов в книге — совсем другое, чем было прежде.

Дела мои, Наум, не важные: не удалось обойти депрессию. Мучаюсь ужасно, и, главное, трудным становится что-то сделать, позвонить, организовать. И хотя «опыт» такой жизни есть — все равно пугает. Да и просто тяжело. Терпимо, но трудно.

Когда говорим с Иосифом, я удивляюсь: он вообще считает, что культура кончается. Правда «конец» он отодвигает далеко — когда он будет, никто не знает. Я чувствую, что в каком-то смысле он прав. А в другом — нет: трудно поверить, что все, что так дорого, может кончиться.

Я скорее чувствую, что возможности большие, и сделать можно много — и так обидно, что у меня самого сил сейчас нет: болезнь оставляет только борьбу за ежедневное существование.

Вика поехала на весь октябрь в Германию: сначала ярмарка, потом три лекции в университете. Она просила передать тебе привет. Боря Колымагин потерял работу в журнале, а за три года привык и теперь нервничает. О Ване я тебе говорил, что пока помириться толком не удалось. Конечно, и я виноват, и у него характер трудный. Я рассказал ему, как ты приезжал, он передает привет. С Андреем я еще не виделся, но увижусь, передам фотографии, заберу «Ведуты».

Вот сегодня отдам это письмо Вадиму, а он совсем скоро уже будет у тебя. Черт, по-дурацки я устроил жизнь: так хочется тоже слетать к тебе, а — собаки, и денег нет. Когда берешь собаку в дом, жалеешь, а потом это связывает дико. Но конечно если бы дух был на подъеме, нашел бы и способ...

Нина неважно себя чувствует — депрессия. Так жалко ее. Она шлет тебе привет. Наум, ты, как будет хоть немного настроения, пиши мне. Пиши всякие впечатления: от книг, от фильмов, от жизни. Конечно, теперь можно приезжать хоть каждый год, но письма — нечто другое.

Помнишь эпоху, когда можно было только писать, звонили-то редко-редко, а уж приехать — и вовсе невозможно. Все-таки, хоть что-то лучше стало.

Наум, спасибо за деньги. Сейчас это очень было важно. Я помню про свой долг, и буду собирать.

Ну, пока что все. Пиши обязательно! Передавай всем дома привет; пожелай всем здоровья.

Обнимаю. Миша

Вадик бродил вдоль моря. Я лег на песок и закрыл глаза, отгоняя демона злости. «Я думаю там ничего особенно важного»... Потом приподнялся, огляделся, а Вадик пропал. В море никого. Вокруг — никого. Какой-то старичок в кепочке, с тоненькими ручками у моря присел. Вдруг выпрямился и оказался Вадимом, бывшим чемпионом Института Связи по боксу во втором полусреднем весе... Эта мистическая метаморфоза меня испугала...

Вечером повезли его в Яффо.

Взял отгул на три дня, отвез Вадика рано утром на экскурсию, а сам поспешил на свиданку. Еще на пляже проболтался ему, что «она» приехала. Он взволновался, захотел познакомиться. Однажды, давным-давно, в результате моих россказней, он ей приснился, что она с ним в ванне, а я рассказал ему о ее сне, кроме ванны, три года назад, в Москве, и он был ужасно взволнован тем, что снился кому-то в далекой стране, женщине, о которой ничего знал... Да, свести их было бы любопытно. Но, подумав, я решил этого не делать.

Поехали в Иерусалим на открытие выставки Писсаро. В пять надо маму встречать. По дороге попросилась в Латрун. Завернули. Поднялись в нашу келью паладина. Свершили обряд у бойницы. Внизу все те же закутанные в белые платки арабские бабы собирали маслины в решетчатые корзины. Другие сидели под оливами на ковре, сортировали да песни пели. Постоянство этого пейзажа со сбор-

щиками маслин напугало. Или то, что они были совсем рядом? Короче у меня что-то ослабел перед входом (как у тебя с девушками выходит? выходит хорошо, входит плохо). Однако ж с грехом пополам свершили. Потом сидели у порога кельи, смотрели вниз, на разбег полей. Звякнул тонко и нежно колокол. Еще раз.

— Мне этот вид иногда снится, и голос высокий одну ноту тянет, будто воет... Недавно, перед отъездом, вот будто сижу здесь, и вдруг мама меня зовет. А утром — звонок...

Открытие выставки Писсаро перенесли. Перекусили на скамеечке в «Саду колокольчиков». Зашли в Монастырь Креста, где Шота Руставели пописывал «Витязя». Побродили по пустому собору. Русская девушка ступеньки подметает. Солнце купола плавит, а во дворике тенисто, прохладно. Потом отвез ее домой, вернулся, и через час потащился встречать маму: опять толпища, толкотня, духота. Дождь пошел, но духота только усугубилась. Мерзкий дождь, горячий. Долго ждал. Появилась, наконец. Совсем старушка...

В среду с утра поехали с Вадимом в Иерусалим. Завернули в Латрун. Поднялись в крепость. Восхищенно глядя вокруг, спросил, был ли я тут с ней. Рюхает. «Да это наше место». Кивнул понимающе. Еще в Эмаус заглянули, в стене оставшейся от византийской базилики, в нише кто-то пристроил копию иконки Владимирской Божьей матери. Вадик богобоязненно закрестился. По дороге в Старый город заехали в Синематеку, перекусить в кафе над Геенной Огненной, дернули пива как следует, и — пешком в Старый город, по полной программе: Еврейский квартал, Кадро, Стена Плача, арабский рынок, Церковь Гроба Господня, Виа Долороса, Львиные ворота... Церковью Гроба восхищался: «Средневековье!», крестился во все стороны, свечи ставил, пару свечей домой взял: «Мама рада будет». Вернулись без сил. И уж которую ночь сплю плохо...

Утром — на море.

— Я всегда испытываю облегчение, когда она уезжает, — делюсь с ним. — И сейчас... На самом деле я никогда ее не любил. Никогда не был в нее влюблен... Я вообще никогда никого не любил. А женщины, в которых я был влюблен, иногда даже сильно влюблен, были мне настолько чужды, что даже влюбленность не помогала. А с ней этой чуждости нет, она мне близка. Настолько, что без неё уж и не представляю себе. Но и любви нет.

— А у нас (мы просто обменивались монологами, покачивая головами в знак понимания) — все вместе, и страсть, и дух, такой сплав... Часами занимаемся любовью, такого со мной еще никогда не было... А потом часами стихи разбираем...

— Знаешь, это интересное дело, я вот тоже обычно этот процесс не затягиваю, иной раз и рад бы, да.., вот, а с ней — такое ощущение, что можно это делать вечно...

— Однажды была страшная гроза, мир за окном раскалывался, дождь, град, ну знаешь, как бывает в Москве, и мы с ней в постели, и такое ощущение накала, единства со всей этой бушующей стихией, единства с хаосом, будто куда-то в преисподнюю несет нас.., и вдруг гроза кончилась, и стало как-то страшно, и неловко, будто жуткую тайну узнали, будто... какие-то мы теперь покинутые.., и даже разъединились и лежали рядом, боясь коснуться друг друга...

— А у меня с ней тоже однажды странная вещь произошла, такое было состояние... будто какой-то страшной тягой душу из нутра вытягивает... и я заплакал, просто слезами облился...

— А у меня даже с ней иногда... ну знаешь, слишком... слишком много тела. Тлен какой-то ласкаешь... я недавно утопленника видел... на глазах синел, лежал на берегу... и я подумал: вот тело — дунул и нет.

Потом встретились у Музея с Володей. Познакомил их. Пошли в Дом Азии, Володя сказал, что там кофеюшка есть симпатичная. Ходили по этажам, ремонт идет, Володя ма-

терится, наконец, нашли кофеюшку, чинно, адвокатишки сидят, бизнесмены. Сели у окна. Я преподнес маэстро и учителю свой «Левант». Володя поблагодарил. Покрутил в руках: обложка, печать, аннотации. «Ничего, — сказал. — Я дома внимательно посмотрю. Потом поговорим». Заказали по чашке кофе, двойной экспрессо, и круасанчик на всех, Вадим попросил еще пиво. Володя: «Кофе с пивом?!!» Вадим страшно смутился, как деревенщина, попавший на завтрак аристократа. Потом долго мучился своей промашкой, что Володя про него подумает. Дома попросил Володин сборник. Остался в недоумении. Потом бросился свою рукопись править. «А ты знаешь, я тут девиц видал, из Африки они что ль? ну точно как у меня в стихах «из-за дамы с сотнею косичек я большие муки претерпел», вот я сейчас переделал: «из-за дамы с тысячью косичек» — правда, лучше?» Я кивнул. «Только слово “дама” к такого рода существам не подходит. Уж лучше “дева”». «Да?» Задумался. Вечером заставил меня есенинские романсы петь и любин «освяти поцелуем обратный мой путь», изнасиловал. Я даже позволил себе критическое замечание. Но потрясенный встречей с Володей, он в глубоком припадке неудовлетворения собой даже Любу не защитил: «Да, да, «букашки» — это нехорошо, неконкретно, я скажу ей…».

А когда с Володей распрощались, пошли в Музей.

— Аа, импрессионисты, — кисло сказал Вадик, — не люблю я их... С них-то все и началось...

— Все это безобразие, — говорю.

— Вот именно, — поддержал он на полном серьезе.

16.10. Ночью лил дождь, но с утра распогодилось. Поехали на Север. Накрапывало. Поднялись на Фавор. Вкусили грозовых далей Преображения. Потом — на гору Арбель над Тивериадой. По дороге показал ему место, где Саладин крестоносцев разбил, объяснял ему стратегический смысл позиции, и про жару, как латы у них прокалились, а людям и лошадям пить было нечего, Вадиму их жалко стало,

и рассказал, что прочитал недавно у Тита Ливия жуткое описание битвы при Каннах, молчаливую, многочасовую резню стиснутых легионов. Оставили машину у фермы, где ослов сдают на прокат, и пошли в гору пешком. Ну, гора — это громко сказано, так, подъем пологий на полкилометра, манил вид на округу. Шли не спеша, впереди группа туристов, немчура, молодые. Ласково ворчал гром. Густела мгла, часть озера уже пропадала в ней, легкая тревога охватывала, но мы шли, как и тогда, через Клухорский, не отступать же. Уже почти поднялись на вершину, немцы дружно, почти бегом, спускались навстречу, поглядывая на небо, еще небольшой подъем и мы станем у края, одни, над миром. И тут небо ка-ак рявкнет! Прямо над нами. И кривой посох молнии в тьму над озером как вонзит! И дождь — потоком! А кругом ни деревца, глина да камни, да золотая трава. Попробовали идти дальше, к краю, но куда там, кеды облипли грязью, скользили, того и гляди вниз смоет, а вверх — только на четвереньках карабкаться. Стало страшно. Молнии рвали небо, как папиросную бумагу, вонзаясь в землю совсем рядом, гром ярился, дождь хлестал мокрой плетью, тьма заволокла все вокруг, дорога превратилась в мутный ручей, который все набирал силу, увлекая за собой камни и превращаясь в оползень, разыгрался ветер, похолодало, вдруг дождь перешел в град. Скользя и переваливаясь, качаясь под ветром, смеясь и ойкая от уколов больших градин, мы побежали вниз. Кеды, обросшие глиной, превратились в маленькие лыжи. Вадим гоготал и возбужденно махал руками:

— Как тогда на Перевале!

Я кивнул, потому что тоже подумал про Перевал, вот, еще один круг замкнулся, только на этот раз мы не дошли до конца, мы отступили, и хоть вроде бы не из трусости, но какая разница, все равно осталось чувство незавершенности, поражения, нет чувства ужаснее, даже если ты и не виноват, просто оказался слабее... Поражения быть не должно, победа или смерть, и мы могли, могли на самом деле...

Поэтому я только кивнул, промолчал, горько ухмыльнувшись. А Вадим все охал восхищенно, все бормотал, что сие неспроста, знак, предупреждение или благословение?

Когда мы пришли в начале мая в Домбай, добираясь из Пятигорска на автобусах и попутках, и стали узнавать, как перейти Клухорский, нас подняли на смех. Инструктор турбазы даже сводил нас на местное кладбище и показал могилы героев-альпинистов. Нет, все правильно вы спланировали, Военно-Грузинская дорога через перевал существует, но сейчас все под снегом, лавины сходят, надо недельки две переждать, или, говорит, езжайте поездом, через Анапу. Ждать мы не могли, отпуск кончался, а отход через Анапу казался... Если отступим, сказал Вадик, никогда себе не простим. Срубили по два березовых посоха, заточили их, и часов в семь утра вышли. Горная тропа, гордо названная дорогой, была перерезана лавинами, снег на солнце таял и леденел. Поскользнуться было не желательно: лавины кончались далеко внизу, в ущельях. К двенадцати мы поднялись на самый верх, там была метеостанция, из нее в испуге выбежал парень: «Вы куда?!» Мы объяснили, что хотели бы в Сухуми. А далеко до ближайшей деревни, или турбазы? Он стал кричать, чтоб мы немедленно возвращались, дороги до Южного Приюта нет, все в снегу, не видите что ли?!

Небольшую долину обступали горы. Черные скалы рядились в блистающие на солнце снежные шубы. Мы сказали ладно, только погуляем тут немного и пойдем обратно. У края долины торчал каменный крест. За ним шло вниз огромное ущелье, по краю кое-где виднелась тропа. Мы присели у креста на камни и съели продзапас. И вдруг перед нами оказался мужичок, голова бритая, в руках сумка, в тапочках. «Откуда?!» Он махнул рукой в ущелье. «До жилья далеко?» Он пожал плечами. «Нэ надо ходить», — сказал он. «Но ты-то прошел?!» Он опять пожал плечами. «Я все врэмя хожу». «Ну что, — сказал я Вадиму, — если он прошел, то значит пройти можно». И мы пошли. Не раз теряли дорогу, портилась погода и шел холодный колючий

дождь, когда стемнело, провалились куда-то, выбирая путь наобум, вертолет кружил, смутно видимый в сумраке, а мы истошно орали, думали заночевать на краю неизвестно чего, но поняли, что замерзнем. Нам повезло, к часу ночи вдруг увидели огонек... А утром мы почувствовали себя другими людьми, окрыленными, для которых нет непреодолимых преград. И это чувство стоило риска.

17.10. Жена: «Вадик — эдакий плейбой. Мне еще тогда Марина (его первая жена) рассказывала, как он ее кремами мазался. Вообще он не прочь женщин поэксплуатировать. Я его спросила, откуда он деньги достал на поездку, говорит, мать дала, для нее это престижно, что сын в Святую Землю поедет. Вот так вы все, играете на бабьих чувствах. А уж на счет сыграть — это он умеет. На доброе слово щедр».

— Плей-гой, — говорю.

Вчера вечером, когда вернулись, водочки тяпнули, а тут и свет потух, гроза-с. Доели-допили при свечах. Потом спели. Поездка нас сблизила, а вернее, меня с ним несколько примирила.

Пришли почти все посылки, около ста книг. Не хватает еще двух-трех. С утра раскладывал их по полочкам. Вадик, поглядывая на оргию сию, обронил осторожно-иронично: «Бастионы строишь?» В точку попал. Все-таки он поэт. И умнющий-хитрющий, как поэту и положено быть. И даже стихи его иногда увлекают, хоть и муть, но он мути этой, бреду своему о «сумеречной земле», «вороньих стаях», «дорогах вдаль» — предан. Наивно предан. Только вот барства русского я не люблю, якобы «презрения к деньгам», мол, Бог пошлет, как манну небесную. И самое интересное — посылает. А ты тут корячишься... Значит, Господу нелюбезен.

Вадим, погуляв по Тель-Авиву: «Девки у вас тут с-сытые, з-здор-ровые!»

20.10. Вчера взорвали автобус, когда Вадик по Тель-Авиву гулял. 22 убитых. Куски тел на ветвях, кровавыми плодами висели. Народ повозмущался немного, но в рамочках. Опять же объяснили ему, что, мол, происки врагов мира.

Москва ушла совсем. Пропала куда-то.

Когда мы с Вадимом с горы Арбель вниз скользили, он все твердил молитвенно: «...неспроста это все... неспроста... Бог все знает, он знает...». А я ему сквозь клекот дождя и гром кричу: «Это мне напоминает анекдот: архангел Гавриил Господа спрашивает, про группу женщин поступивших, куда, мол, их, в рай или ад? Господь говорит: а ты спроси их, мужу изменяли? Ну, архангел по-военному: кто изменял — шаг вперед. Все вышли, кроме одной. Господь и говорит: «Всех в ад». «А эта ведь не вышла?» — удивился архангел. «И эту глухую блядь тоже!» — разозлился Господь.

Вадим гвардейски захохотал, потом смолк и пробормотал: «Ох, прости Господи».

22.10. Противно было смотреть, как наши вожди облизывали короля Хусейна, не в силах (да сдуру и не считая нужным) скрыть своей детской радости, жалкой еврейской радости «быть признанными», наконец, «стать своими». Всё их «стремление к миру» — это галутное еврейское несбыточное стремление «стать своими» среди чужих. Не стать собой, а стать своим...

А этот плебейский восторг общения с королем! Пусть хоть с бидэинским. Король Хусейн принял, король Хусейн поздравил, король Хусейн приветливо улыбнулся.

В 75-м убил полгода, домогаясь одной старой лесбиянки, которую в трамвае склеил, кандидата искусствоведческих наук, только лапать давала и альбомы листать. Лет сорок ей было? Пару раз я на ней кончил от трения, так и не дала. Поучала, что Фальк — это Мандельштам в живописи, а Филонов — Платонов.

26.10. Подписали мир с Иорданией. Клинтон по такому случаю потрудился притащить в пустыню свой зад. Тёр слезившиеся глаза — во время церемонии разыгралась песчаная буря.

Ездили с Вадиком в Вади Кельт. Монастырь — ящерицей к скале прилепился. Потом на Мертвое море. Долго лежали в нем без движения. Снизошел покой и сонливость. Вадима этот расслабон вдохновил. «Теперь я знаю, что на этой земле все возможно! Здесь все дышит тайной чуда!» Поднялись на Масаду. Его взволнованность шла по нарастающей. Следы римского лагеря внизу, скворцы на ограде, портик Ирода над кручей, розовые горы на закате — все восхищало. «Я прям вижу это ужасное противостояние: наверху — тоска, а внизу — скука».

Вечером он еще раз попросил сборник Володи. «Нет, не пойму ничего. Ты мне говорил, что рецензию написал на его первый сборник? Дай почитать». Почитал. Сказал, широко улыбаясь: «По-моему рецензия лучше, чем книжка». Ну, я спорить не стал.

А утром в последний раз поехали к морю. Шли редкие большие волны. Бабка в шляпке ловила рыбу леской. Два парня с досками ждали волну, чтоб оседлать. Вадим уже предвкушал свидание с Любой, свои рассказы, «она поймет, как никто». После работы я отвез его в аэропорт, торчали там часа три — вылет задержали, таможенники тянули резину. Еле доплелся до кресла. Устал. Ужасно устал. Утром еще писал письма. И грустно. Он странный. И есть какая-то магия в его стихах, в упор не видящих этот мир, упрямо цепляющихся за милые образы-образа...

Бесконечные жухлые травы.
Неоглядного неба пустырь...
Не бывает сильнее отравы,
Чем дорожная русская пыль!

Или:

Хорошо б хоть раз без толка
мне пожить в степной глуши!
Быть влюбленным, да и только,
без оглядки, от души!

(две строфы пропускаю)

И пурге над полем внемля,
о подруге не вздыхать,
лишь заснеженную землю
легким шагом целовать...

5. 11. Смотрел «Ахаим лефи агфа» («Жизнь по версии Agfa[1]»), нашумевший и набравший призов фильм Аси Даяна, олицетворяющего собой израильскую гниль. Все как по писаному: дети героя и отца-основателя ненавидят основанный и отвоеванный для них мир. Этот сынок генерала — лихой бездарь: ни школы, ни эстетического чутья, типичная израильская голытьба от искусства, но. Да, есть но. Его клокочущая истерика убедительна, почти увлекательна в своей омерзительности. Фильм примитивненький, но гниль дана со смаком. И неважно откуда она взялась, для него эта гниль, а еще лучше — хара (вроде русского «говна», только вонь познатнее) — нечто неизбывное, вечно царствующее, материя, из которой воздвигли Вселенную, будто Большой Хлопок был взрывом кучи дерьма, которое с тех пор наполнило Космос. В конце фильма пьяная израильская военщина, доведенная до отчаяния захватническими войнами, врывается в кафе (весь фильм в этом маленьком уютно-блядском кафе, с его блядью-хозяйкой, блядьми-официантками и распиздяями-завсегдатаями), где им выпить и пошуметь не дали, и расстреливает из автоматов всю эту аримат хара, все это отхожее место, кэбенемать. Фильм дышит живой, заразительной ненавистью к родной армии, а так же, непод-

[1] Agfa — популярная (когда-то) фирма по изготовлению фотопленки.

дельной и животной — к родным «френкам»[1]. И полон элегического сочувствия к измученным, беззащитным и таким уютным блядям, наркоманам и гомосекам. Впечатление производит. Так и хочется тоже взять автомат и все это даяновское отродье, всю эту гнусь...

Потом на Останкино переключил — лихой концерт Гребенщикова.

Тут ребятки покруче, тут не визгливая, истеричная музыка гнили, тут ее суровая летопись. Да со смешком, стёб в обнимку с блядью-историей.

Днём поехали в лес. Моросило. Небеса набухли, вдалеке сверкало. Воздух был уже зимний, освежающий, мокрый лес блестел яркой травой. Распили бутылку красного. Поднялись на холм. Никого вокруг. Дамы отдалились, цветочки рвали, а мы с Аркадием переминались на месте.

А: Представляешь, они уже готовы на переговоры с Хамасом!

Я: Да... Кто нас половчей убивает, с тем и поговорить интересней. Кстати, Рабин опроверг, сказал, что мы с ними разговаривать не будем, потому что они враги мира. Что убивают жиденят, это ничего, это нормально, может даже похвально, дали же одному убивцу Нобелевскую премию мира.

А: Да. Они (речь о правящей верхушке) это поняли раньше нас, что все сгнило. И ведь деваться-то некуда... Если бы мне было сейчас хотя бы пятьдесят...».

Я: Малькодет, малькодет (западня, западня). Малькодет мавет (смертельная западня).

Аркадий поднял на меня взгляд седой волчары на заслуженном отдыхе: «М-да, м-да... Малкодет» («л» в слове малкодет он произносит пожестче).

Вот так мы всегда в последнее время, соберемся и каркаем дружно под добрую закусь, два старых, разочарованных во всем ворона. Мирон с нами не каркает, он «за мир». И вообще презирает «государственные заботы». Выпить

[1] Кличка восточных евреев (израильский сленг).

вечерком с подружкой, позубоскалить с приятелем раз в неделю, съездить пару раз в год в Италию, а когда пропадет оно все пропадом — не нашего воли и ума дело, да и все одно, медики говорят, помирать придется.

А жена моя смеялась, рвала цветы, восхищалась «чудным видом», и я любовался ею, как расшалившейся девочкой. Все разъехались, а мы еще остались, дождик пошел, в машине потрахались, неудобно, но в кайф.

Однако если покопаться, насчет инцестуозного... Вот это: любить, не желая, и желать не любя. Это явно мое. Значит любовь к родине — это вытесненная любовь к матери? Глубоко. А если ты ее — странною любовью? А ежели у человека как бы две родины, и обе он — странною любовью?

Материнского в себе всегда боялся, этой всегдашней уступчивости, мягкости, осторожности, запуганности, в сочетании с упрямой, сверлящей настойчивостью. А сейчас злюсь на ее старость, не могу, не хочу примириться с ней? Тут, может, что эдиповское и проглядывает, может и вытеснял что когда... А с отцом, резким, вспыльчивым, гневливым, с отрочества часто ссорился по пустякам, таил злобу. Отец не был ни жестоким, ни скаредным, и меня, знаю, любил, но необъяснимая напряженка, как мы не старались, все равно была между нами... Я уехал, потому что побоялся увидеть его мертвым. (На ночь Нейфельда начитался, психоаналитический портрет Федора Михайловича. Все не спится...)

12. 11. Евреи так и остались «переживателями». У Аверинцева хорошо было про огонь сказано, что для грека главное в огне свет, инструмент познания, а для иудея — жар, сила жизни. Поэтому греческое искусство холодно, чересчур они к порядку стремятся. А еврейское — страстно.

Китайцы же — благоговейные созерцатели, нет у них страсти к преобразованию мира. Да, пожалуй, и страсти к познанию. На китайского фазана какого-нибудь на ветке цветущей сливы посмотришь и ничего больше не надо, хоть плачь от счастья.

Но разве познание — не есть начало преобразований? Разве может оно быть бесстрастным?

Страсть мысли сильней страсти любви, как жажда бессмертия сильней жажды жизни.

И эта концепция Аверинцева спорна, что евреи внесли в историю «вертикальную» составляющую, ось времени, ось развития, тогда как эллины водили хороводы в замкнутом космосе никуда не стремясь, осваивая пространство. Разница скорей в том, что греки уповали на Разум, наблюдающий-познающий формы жизни, а евреи на чувство, способное переживать сущность мира. Греки отстранялись от жизни формой, идеей, маской, а евреи к ней прорывались тараном веры. Еврей не мог быть теургом. А значит, и историю он творить не мог. Время не могло его беспокоить (солдат спит, а служба идет), время, как путешествие. Судьба мира зависела не от него.

Поэтому у евреев нет цели, а значит, и нет воли. Бог ведет их и требует дисциплины, только дисциплины. У еврея одна задача — выжить, чтобы дойти. Как на этапе. Этапная психология. Вечно на пересылке... А история их занудно циклична — то просрут Храм, то отстроят.

Еврею чуждо самоотвращение, он скорей самодоволен, а потому и лишен пружины самосовершенствования.

А сионизм — зараза немецкая: Гесс, Герцель, Нордау, мир, как воля и представление...

Роковая отвага германцев, уязвленная христианством, толкнула европейского человека на великие походы к неизведанному, на бунт преобразования мира, богоборчества и богостроительства. Вот та ось, та великая пружина, которая «энергийно» создала западную цивилизацию.

«Гоги, что такой ос?» «Ос, учитель, это такой балшой паласатый мух». «Нэт, Гоги, балшой паласатый мух — это шмэл. А ос — это на чём зэмля дэржится!»

Еврей страдает духовной импотенцией. И не рассказывайте мне сказки про марксов, фрейдов и эйнштейнов, это плоды европейской цивилизации, бунта против еврейства, а сто лет национального одиночества на родной земле не породили ничего кроме жалких потуг на американизацию.

В России хотя бы разгул постмодернизма и всякой, как Гольдштейн выразился, шизоидной развлекухи с приколом. Все-таки пытаются как-то освоить творчески свой пиздец.

19.11. Бессонница не унимается. Который месяц. Просыпаюсь среди ночи и... не сплю уже до первых петухов. Перевозбужден. На работе срываюсь. Конфликты.

Сегодня суббота. Солнышко. Открыл глаза. Нервный напряг отпускает. Луг красных маков Климта на белой стене залит солнцем. Жизнерадостная картина моей жизнерадостной жены. Золотистые волосы на черной комбинашке с бретельками, красные коготки, кожа еще атласна, только на руках вены вспухли... Распахнул одеяло — полотенце торчит между ног, резкий запах засохшей спермы.

Вчера «паати» у Шоров. Опять повздорил с угрюмым быком[1], невыносима эта вера в прогресс и в родную партию Труда — его проводника. Задохнувшись от возмущения моими «картинками» развала государства («мы сильны как никогда!»), обозвал меня Жириновским. А что, говорю, он милый. Дерганный такой, нелепый. Ну, тут Шор стал уже пар из ноздрей пускать и рога опустил, так что жена его увела, а мне от моей досталось за провокацию.

Протянул руку и вытащил «Лимонов против Жириновского», она у меня в углу начатых и брошенных, вместе с «Исповедью еврея» Мелехова, «Портретом еврея» Парамонова и всякой недочитанной хуйней. Листанул и опять отбросил. Протокольные воспоминания о пар-

[1] Шор — бык (*ивр.*)

тийных дрязгах, как-то даже Лимонову и негоже. Впрочем, возможно я его переоцениваю. А Жириновский — гениальный стебала в натуре.

А еще, когда я видел их презренную радость по поводу подписания мира с бедуинским королем, вдруг подумал, что народ этот чудовищно наивен, и, что странно, в этом его необычайная, буквально зверская, животная сила. Цепкость. Живучесть. Мы презренны, как жизнь, и, как жизнь, непобедимы. Мы? Они? Вот они готовы отдать Голаны, часть родины, чтобы получить возможность, как выразился их лихой президент, «полакомиться хумусом на дамасском базаре», или переночевать в вонючем Рабат-Амоне. И, конечно, не выйдет у них ничего с государством, но какая силища в этой нахрапистой беззаботности, в этом бескомпромиссном оптимизме, какой могучий наивняк, корень жизни... Я будто почуял биение этого глупого, могучего сердца. Уж не знаю, апология сие или панегирик...

О евреях в последнее время все больше думаю в третьем лице, «они» (а ведь так в первые годы гордился своей «принадлежностью»). Иной раз проснешься под утро и давай планы покушения на Рабина с Арафатом строить...

И еще вчера — у всех радостные ухмылки, у левой профессуры особо: в Газе, наконец, начали стрелять друг в друга. Мол, до чего глубоко наше родное правительство все продумало, теперь им не до нас будет.

Тарковский все искал оправдание этому миру. Даже спасатели человечества, чью суровую школу жизни пришлось пройти, не отучили его от тяжеловесных манер инфантильного русского мессианизма. От фильма к фильму действие подменяется притчей, свидетельство — призывом, замысел прячется в вымученную метафору («комната» в «Сталкере»), пророчество превращается в проповедь,

проповедь — в занудь. Герой становится театрально мрачен, вызывающе аскетичен, и живет уже только тоска, ностальгия по миру, как Храму, апокалипсический ужас перед грядущим разрушением. И поэтому повсюду у него — капающая вода, символ разрушения, которая точит камень Храма.

Вот и я тоже, все-то спастись хочу. И вину, не понятно за что, чувствую...

В последних фильмах у него много китайских аллюзий, Лао-цзы цитирует в «Сталкере», в «Ностальгии» музыку китайскую какой-то генерал заводит в пустой гостинице. Русских всегда пугал Запад и манил Восток. Измученному идеей спасения чудятся горние выси безмятежной созерцательности.

В сущности «русская идея» состоит в том, что русским свойственно заниматься поиском «русской идеи», то есть искать смысл предназначения целого народа, оправдание его существования, мессианское такое томление, никакому другому народу не свойственное, даже евреям, которые Мессию своего ожидают довольно дисциплинированно, в тоске не корчась и в оправдании своей избранности не нуждаясь. (Чем Мессию ожидать, лучше просто жиду дать, как Дана сострить изволила.)

Немцы тоже народ с претензиями на руководящую роль в мире, но на роль простую, этакого класса высшего чиновничества.

А эта русская «соборность» — есть тупик «русской идеи». Невозможно совместить «свободу» и «братство». Свобода распускает братство, а братство — сковывает свободу.

20.11. Сорвался и позвонил Д. С гнусными намерениями. Она плохо себя чувствует. В постели. «Гостей, — говорю, — не принимаешь?» Подумала.

— Нет… — неуверенно, — я совсем не в форме. Давай в другой раз.

— Ладно.

Поболтали о житейском.

— Ладно, — говорю, — рад был послушать твой голосок.

— Я тоже. А вообще...

И тут ее прорвало, настоящее признание в любви. Что она часто обо мне думает, и что я всегда с ней, и что ей тепло от мысли, что я где-то рядом, и что...

— ...в общем, не проходит. Думала уже столько времени прошло, а... не проходит... Что-то... глубоко так сидит...

— И у меня тоже, — говорю. — Не проходит.

И не вру.

24.11. Позвонил вчера Миша.

— Ну, — бодренько спрашиваю, — как делишки?

— Да плохо, Наум.

— Что...

— Да болею я...

— Ну, ты как-то... лечишься?

— Да нет, просто мучаюсь.

Потом:

— Так вот получается, что как ты уезжаешь, я заболеваю...

И в конце:

— Ты мне звони время от времени, ладно? Это меня хоть немного возвращает к реальности...

Рабин в интервью в Америке выразил недовольство народом, мол, потерял стойкость. Перед лицом террора. «Во время Войны за Независимость бомбили Тель-Авив и погибло 35 человек, но это не подорвало духовный иммунитет народа, а сейчас: тут пырнут кого-то, там пырнут, а народ уже нервничает».

Устроил нам разгул террора, а мы должны проявлять стойкость. Не стойкость в бою, не дай Бог, а чтоб под ножом не суетились. От баранов, ведомых на бойню, требуют сохранять хладнокровие. Чем не юденрат. И на ушко тебе шепчут: «Ничего не поделаешь, Америка требует!» Банда капо.

27.11. С ночи льет дождь не переставая. Позвонил утром А., как договорились, но она на работе. Думал позвонить Д, может подскочить и трахнуть, но позвонил жене, чтоб пораньше приехала, надо младшего в консерваторию отвезти, а она:

— Ты мой кто? Щас тебя всего исщипаю! В ушко укушу!

Так я Д. и не позвонил.

Вчера были у профессора Розенкранца, а позавчера — у профессора Гильденштерна. Опять пророчил им гибель, обжираясь деликатесами.

Зомбарт: «Значительная часть тех еврейских особенностей, которые доставляют нам, неевреям, особенно неприятное ощущение, обязана своим возникновением и развитием жажде ассимиляции, приспособления и тесного сближения. Бестактность, разлагающее направление духа — это настоящие «гнусные» недостатки ассимиляционно настроенного еврея».

«Гордый еврей — это великое приобретение для человечества в эпоху, когда все мужественные добродетели так низко ценятся!» (Это он про сионистов.)

«Как обнищал бы мир, если бы в нем остались одни только американцы-зубоскалы..».

Вот это по делу: «Даже гордые евреи, преданные телом и душой идее сохранения и усиления еврейства, в большинстве своем состоят из посредственных людей. А от посредственного человека нельзя ожидать продолжительного напряжения высокого идеализма…». Увы, увы.

Мое давнишнее заблуждение (антисемиты внушили): еврей не может быть посредственностью.

Стремление к ассимиляции — стремление посредственности освободиться от тяжкой ноши «избранности», от «напряжения высокого идеализма».

28.11. Я на самом деле реалист. Даже немного социалистический.

И не против я индивидуализма. Просто шкурничество не по нутру.

Ответ на «вызов» сегодняшнего мира — тотальный текст. «Улисс»? Но я его не осилил.

Вообще-то Библия и есть требуемый тотальный текст. Но что б написать такое, надо верить. В силу слова.

Когда все осмеивается, и традиция идет на подножный корм резонерам, только чтобы остаться серьезным требуется убежденность и мужество, ведь так легко притвориться умником, посмеиваясь над любой привязанностью.

Прочитал статью Иосифа в «Началах» (№1). Слишком торопливая, будто последняя, слишком много в себя включает, пытается «объяснить мир». Понятно по-человечески, но непростительно «по тексту», текст не прощает недоработанности. Местами — блеск (скажем, о Вячеславе Иванове), но все вместе — разрывается, мысль скачет, как конн нэудэржимий... Заявленная тема: анализ эстетических идей Соловьева, Иванова и Лосева, велика сама по себе, и анализ хорош, на нем бы остановиться, а тут еще соотнесение с собственной философской системой. А вообще читал с увлечением, уже подготовленный нашими беседами в Москве, дискуссией в письмах, люблю приключения мысли.

Вот и Иванов: «Красота вся станет жизнь, а жизнь — красотой». Непонятно.

Все думаю: вот нежится по утрам одна, ждет тебя со страхом, так прийди, устрой декадентский пир сладострастия и предательства, упреков и признаний! Чем ты смущен? Силой собственной похоти? Или ее слабостью? Что тебе, художнику, рабу Диониса, мешает нарушить, преступить, вкусить? (Потянуло на демоническое, как Кузмин бы выразился.)

Впрочем, все это — искушения одиночества, а не сладострастия. Опять лакать яд тщеты. Однако ж раньше-то я был совсем не прочь полакать. Да и меня энергичней атаковали. А теперь мы с Д. как разбойник и самурай из «Расёмона» Куросавы, махнем друг на друга саблями — и врассыпную со страху...

Добродетель — обратная функция гормональной активности.

Поскольку мужчине в большей степени свойственна «тоска индивидуации», а женщина, конечно же, ближе к «роду», то подход к взаимодействию полов у них разный: мужчина видит в этом акт искусства, катартического снятия индивидуации в играх слияния с родом, а женщине нужна Любовь, как теургический проект, ей нужно спасение не понарошку, через искусство и катарсис, а по-настоящему, через обрядово-синкретический акт любви, следствием коего становится продление родовой жизни. Женщина спасается верой, обрядом, жертвой. Мужчина тяготеет к искусству, женщина — к магии. Мужчина спускается в половом акте (если не сказать «опускается»), а женщина — поднимается.

Все-таки позвонил Д. Звонок — еще не обрядово-синкретический акт. Дело, скорее всего, кончится занудственным чаепитием с перечнем забот о детях, а когда муж из дальних странствий вернется, пойдут смелые приглашения на вечеринки, вороватые взгляды, лукавые нашептывания, отчаянные случайные прикосновения... Однако никто не ответил. Значит выздоровела.

Вчера нашего рава под Хевроном убили. Додик и Сережа, московская университетская гвардия, учились у него, Сережа в результате хазар бетшува (призвал себя к ответу, перед Богом, разумеется[1]) теперь отец шестерых детей, мал-мала, я ему сто лет не звонил, с тех пор как «Возрождение» наше отложили на другой эон или меон, не силен я в греческом, раньше в гости к ним в Хеврон ездил, с равом мы теологические споры вели. Он был настоящим фанатом, со слезами ласкал хевронские камни. Тогда мне это не нравилось, а теперь все чаще кажется, что Sola fide... Позвонил Додику. «Наум?! Вот здорово, что позвонил! А, да, сегодня похоронили... Да... Все это нестерпимо…». Обещал, что выберусь к ним, обязательно.

То, что евреи не реагируют на избиения, даже когда их отстреливают или, как рыбу, бомбами глушат в своей стране, вызывает желание взрывать их и убивать все в больших и больших количествах — интересно, когда ж они все-таки разозлятся. Думаю, что подобное же садистское любопытство возникало и у исполнителей геноцида, вообще непротивление неестественно, и этот психологический феномен вызывает почти научное любопытство, а инструмент исследования — жестокость. Прям мечтаю каждый день перед сном, чтоб взорвали что-нибудь, желательно в Рамат-Авиве, или Красной Хайфе, где-нибудь в районе генеральских коттеджей. Но эти хамасники туго свое дело знают: руководство и истеблишмент не трогают, не перетягивают струну, расчетливо на себя тянут, им главное народ деморализировать, а с начальством деморализованного народа потом договориться, а если хотят иногда что-то «объяснить» руководству по ходу их внутреннего диалога, то делают это, правил игры не нарушая, поджентельменски, «точечным» ударом, как убрали из заса-

[1] Хазара бе тшува (*ивр.*) можно перевести как покаяние, хотя это более сложное понятие, означающее возвращение к вере отцов.

ды генерала разведки, который ихнюю братию чересчур успешно отлавливал. А в утреннем автобусе в Тель-Авиве ну кто ездит? — простонародье: пенсионеры, френки, олим хадашим[1]. Не велика убыль.

Со всех сторон только и слышишь: «А что делать?», «А какова альтернатива?» Прыгнули в пропасть (заявляя, что «мирный процесс» якобы «обратимый»), а тех, кто со страху завизжал, ехидно спрашивают: «Ну, так а что ви предлагаете?» Или, со снисходительным смешком: «Ну что, убивать их, выселять, да?» Конечно, легче быть убитым и выселенным. Они даже заветы своих вождей из Рабочей партии позабыли, Голда говорила: лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования.

Кибуцник по ТВ: «Если правительство (читай: родная партия) решит, что мое поселение не нужно, значит, будем эвакуироваться».

Терем эрев навин, терем эрев навин... Поймем ли мы, пока еще не вечер...

30.11. Вчера по русскому ТВ был день Андрея Кончаловского. Когда-то мне понравились его американские фильмы «Поезд свободы» и особенно «Любовники Марии», очень русские, ностальгические. А тут он выступал в программе «Час пик», жаловался на русские туалеты общественные, утверждая, что это основной показатель уровня цивилизации, потом «Курочку рябу» показывали, где этой теме тоже внимание уделено, а потом всенародно «Курочку» обсуждали, правдиво или не правдиво. Андрон, обычно хмуроватый и желчный, на этот раз был радостно возбужден, играл с курочкой, которая по залу носилась, чувствовалось, что мечта превзойти славу брата, наконец, начинает сбываться. Весь фильм ради этого, ради общественной дискуссии. Как хочется русскому ху-

[1] Новые репатрианты (*ивр.*).

дожнику быть властителем дум! И от этого все норовит «в лоб заехать». Это тебе не танцующая курица Вернера Герцога в «Строшеке».

1.12. По Лосеву «искусство — продукт удушения трансцедентных ценностей» и «выражает мироощущение либерально-буржуазного, самодовлеющего, капризного, деспотического, изолированного субъекта». А подлинное творчество — есть усовершенствование самого себя.

3.12. Гулял по Шенкин. Погода солнечная, празднично.

5.12. Газа превращается в маленький Ливан. Они что, не понимают, что там и атомную бомбу сварганят?

10.12. Читая Слонима «Три любви Достоевского», подумал, что и меня всегда тянуло к одиноким, а стало быть несчастным, даже ущербным, и я не раз в юности воображал себе «встречу» с женщиной умной, знатной и ущербной, скажем немолодой... Эти видения были довольно настойчивыми, и я объяснял их то своей мужской неуверенностью, ищущей «добычу полегче», то острым желанием доставить радость «отверженному» (а я и себя таким ощущал, так что тут было желание помочь «сестрице по разуму»), но, если вспомнить явный элемент сладострастия в этих мечтах о хромоножках, то можно заключить, что садо-мазохистская основа здесь была, и это смыкается с моей странной агрессивностью, ночными мечтаниями о гигантских взрывах, о пожарах и химчистках «грязных» кварталов и городов).

Однако женщины, с которыми меня сводила судьба, изъянами уязвлены не были...

Вдруг вспомнил платформу «Измайловского парка», реденький хиловатый лесок вокруг, какой-то ветеран газетку на лавке читает...

Я — Синнахериб, царь Ассирии, премудрый пастырь, хранитель истины, совершенный герой, могучий мужчина, узда, смиряющая строптивых, от Верхнего моря, где закат солнца, до Нижнего моря, где восход солнца, склонил я черноголовых к стопам моим, цари четырех стран устрашились боя со мной, покинули крепости, как летучие мыши свои пещеры и улетели одиноко в места неведомые...

Шузубу-халдей, арамей беглый, кровопийца лишенный мужской силы, Вавилон поднял, Шумер и Аккад, и Элам неблагоразумный, открыли они сокровищницу Эсагилы, золото и серебро бога Бела и богини Царпанит вынесли, вывели войско, как саранчу весной, пыль от ног их закрыла небо, как гроза в зимние холода, я же взмолился Ашшуру и он пришел мне на помощь.

Опьянился я яростью, одел доспехи, украшение битвы, и взошел на колесницу высокую. Как связанных жирных волов я пронзил их, словно жертвенных баранов я их перерезал, дорогие им жизни их обрубил я, как нити ковра ткущегося, кровь их текла, словно половодье в сезон дождей, золотые колеса моей колесницы погружались в кровь их как в реку, разбрызгивая утробу и нечистоты.

Я отрезал им бороды, обесчестив, я отрубил их руки, как зрелые огурцы, и кольца и пояса я забрал их, и не останавливал избиения, шатры свои они бросили, ради спасения жизней своих топтали раненых, как у пойманного птенца голубя трепетали сердца их, они мочу горячую испускали и кал оставили в своих колесницах.

Ездил в четверг в Иерусалим, зашли вчетвером, с Гольдштейном, Моревым и Верником, в забегаловку на Мерказухе, пустую к ночи, Верник достал початый коньяк, завернутый в газетку, попиздели о русских журналах, потом о Сорокине, Верник признался, что не дочитал, не осилил «Сердца четырех», а Гольдштейну роман понравился, высказались о власти «структур» и структуре власти, потом Морев перескочил на мемуары Комаровского и Кузмина,

а я рассказал о фильме «Бруклин, последняя остановка», который меня увлек темой бунта. На обратном пути отвез Гольдштейна, очень смущался, ну просто не хотел отвозиться, видно сильно побаивается данайцев, как девица, привыкшая видеть в каждой услуге мужчины непрошенный аванс за грядущий зиюн[1].

Сегодня святая троица получает премию Нобеля. Премия мира — утешение за бесславие.

Нужна новая эпоха рабства. Чернь обнаглела, тоскуя по подвалам.

Вчера с утра поехали вдвоем грибы собирать. Погода солнечная, полно маслят.

Обед у родни. Итеэры. Юбеляру 70. Еще крепок. Перечень заслуг в мирное и военное время. Какие посты занимал, какое значение имел. Старушки-подружки читали посвящения в стихах. После нескольких рюмок, разбившись на кучки, талдычили о политике, о том, как их тут недооценили, и о собственной глупости, что не поняли в какую восточную, провинциальную, бескультурную, бестолковую и безалаберную страну их «тянут».

12.12. У Слонима: «...самое обидное для мужчины — знать, что для любимой он попросту один из многих и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой: ее редко прощают даже обыкновенные таланты».

Вчера звонил профессор К., приглашал на сходку — русскую партию создают. «Юлик придет». Что-то мне совсем расхотелось играть в эти игры. На что ему и намекнул. А он почему-то обиделся...

---

[1] Трах-тарарах (*ивр.*), по-аглицки fuck.

16.12. Случайно встретил А. Всплеснула руками: «Так что ж ты не позвонил? Я день тогда освободила...» Я что-то промычал про неважное самочувствие. И вот опять мучаюсь: звонить — не звонить.

Один солдатик, проезжая Рамаллу, не туда заехал, его забросали камнями, чуть не растерзали, повезло, случился рядом патруль. Первые страницы газет украсили фотографии его окровавленного, обезумевшего от страха лица и сакральную радость дикарей с камнями и ножами вокруг — пир ненависти. В официальном коммюнике армии солдат был морально осужден за то, что не пустил в ход оружие, даже обещали под суд за это отдать, когда из больницы выйдет. Сначала морально обезоружат нацию, и ее армию, а потом обвиняют ее в трусости. А если бы он стал стрелять и перебил бы человек 20, какой хай поднялся бы о резне, о погроме (может это была провокация, вокруг было полно фоторепортеров), и его наверняка осудили бы как нового Баруха Гольдштейна. Но наш доблестный воин на провокацию не поддался. Всегда легче чем убить — быть убитым.

17.12. Дождит.

Ночью русские начали войну в Чечне. Я так же радовался, когда Саддамушка лихо Кувейт захватил: ну, вляпались. Сама-то война плевая, Грозный быстро возьмут, но партизанщина. Буча может завариться немалая. Если встанет Россия грудями на басурман, то и мы бы свой навар поимели, конечно, не с бейлиными и пересами. Прибалты уже дрожат, Европа напряглась. Так-то дразнить медведей, теперь держись! Люблю безобразия!

И в России «Шалом ахшав» («мира немедля»). Какой-то «демократ», книжек обчитавшись, под стать нашим болтунам, выразился: «Никакие политические идеи не могут оп-

равдать гибели даже одного невинного человека». В том числе и идея свободы? Иль там демократии? Да и в каком смысле «невинного»?

22.12.

Наум, извини, что я тут заткнулся — честное слово, раз пять порывался за перо, но отходил. Жизнь слишком суматошная. Не знаю, слышал ли ты, но нашу станцию Клинтон придушил, а остатки должны в будущем году перевезти в Прагу. Возможно, мы окажемся там во второй половине будущего года, хотя пока нет уверенности. Мы там с женой уже побывали в частном порядке — город поразительной красоты, так что если будете опять в Европе, заглядывайте.

Что касается моей поездки в Израиль, то это как с письмом — тоже раз пять собирался. Попробую ухитриться весной, хотя и без гарантий, если денег наскребу. Сейчас приходится считать каждую копейку, потому что будущее туманно.

Спасибо за книжку. Не буду настаивать, что у тебя получился шедевр — ты ведь знаешь мою доброту, я собственных стишков не жалую. Но вообще мне твои стихи, начиная с прошлой книги, стали нравиться больше, жизнь в Израиле в каком-то смысле пошла тебе на пользу.

Что касается моей писанины, то кусок был опубликован в «Знамени», по-моему, еще в конце позапрошлого года. Ожидается еще обрывок в «Октябре», но не могу сказать в точности, когда. Это если «Октябрь» еще просуществует, а то ведь страна погружается в непроходимое говно. Я после нашей встречи был там еще два или три раза, больше ни за что не хочется.

С Андреем я последнее время вижусь не часто. У него родился ребенок, человек занятой, трудящийся. Да и я тоже.

Привет Римме. Пиши, не пропадай. Авось еще свидимся до полного мира на Ближнем Востоке.

А. Ц.[1]

Здравствуй, Леша!

Поздравляю тебя и всю твою семью с Рождеством и наступающим Новым годом! Здоровья и побольше радостных дней в новом году.

Рад был твоему письму, хотелось бы вообще встретиться, пообщаться, так что если удастся выбраться к нам весной — замечательно. Ну а ты, когда в Прагу переберешься, не потеряйся. Вообще-то у меня в Праге даже какие-то дальние родственники есть, приглашали в свое время, а поскольку город и вправду красивый и для русского слуха (а также и для еврейского) не чужой, то рано или поздно я туда загляну.

Ну а стихи (о своих говорю), они что ж, конечно не шедевр, да не в этом уже и дело-то, уж не призов ради, и не ради спасения души даж, а просто бормочешь что-то, по привычке, себе самому, а иногда приятелю, или подружке. Вроде разговора, кому интересно, конечно… Если уж совсем никому не интересно — это обидно, но… жить молча все равно не получится (у меня лично), так что цепляешься еще за словцо, за оброненную мысль, за напетую песню...

А попросту говоря, я люблю писать письма, а для этого нужно их получать, и это я тоже очень люблю, так что не скупись приятелям на подарки, пиши, на небесах зачтется.

Привет домашним.

Наум

24.12. Отправил все письма и поздравления с Новым годом. Договорился с А увидеться в среду. Старший вчера праздновал с приятелями свое 25-летие. А мы уехали к Гоше, поели, поболтали с ним о политике, он считает, что с Арафатом очень ловко провернули дело, втянули его в коллаборационизм и деваться ему некуда. А нам есть куда?

[1] Алексей Цветков, поэт.

Гоша в профсоюзе инженеров серьезную карьеру сделал. Потом пошли на фильм с Гарисоном Фордом про борьбу с колумбийской мафией и предательскую сущность политиков, фильм для американских детей, потому что израильские дети дружно смеялись, когда благородный Гарисон Форд делает американскому президенту втык за аморалку. А своим политикам верят. Один учитель мне недавно говорит: но ведь генерал такой-то не боится отдать Голаны, он что хуже тебя понимает? А если, говорю ему, твой генерал — продажная шкура, и за джобик после армии родную маму продаст? Он говорит: тебя страшно слушать, и рукой отмахнулся.

Утром в лес ездили, грибов полно, Клёпа с восторгом носится по хвойному ковру, совокупление по-собачьи, быстрое, жадное, Клёпа рядом, высунув язык, наблюдает. «Это мы были мерзкие животные? — жена мяукает.

А вечером опять изнасиловала.

Прочитал статью Мандельштама «О природе слова». Хорошо о Розанове, но почему Розанов «оказался ненужным и бесполезным писателем»? Брюсова по делу отделал, очень мило отхлестал теософию, расправился с «дурной бесконечностью эволюционной теории» и с «ее вульгарным прихвостнем — теорией прогресса». А вот насчет «эллинизма» русского языка — спорно. «Европа без филологии — даже не Америка; это цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения»: и тогда в России Америку презирали.

А то, что критерием единства русской литературы «может быть признан только язык», это тавтология. И кроме того — чисто еврейский взгляд: язык-то можно выучить и так «приобщиться», а вот перенять тип мышления… Сам же говорит, что «ум не есть совокупность знаний, а есть хватка, метод». И по «методу» (да и по теме) «Египетская марка», например, никак не русская проза, а еврейская.

Взялся за Карлейля, о героях. И экзамены надо готовить... Сейчас поедем в лес жрать, опять стал жрать много и сразу прибавил в весе, и зуд внутренний, беспокойство раздражающее. В Ливане еще двух солдат убили, русские в Чечне закопались, ну и — тут как тут — миролюбы, чеченцев жалеют, права человека, нельзя бомбить мирное население, а вот правду о войне, о хитросплетениях личных и групповых интересов, из-за которых людишки оптом гибнут, никто не напишет, страшно, за правду и замочить могут. Вечером к Марку поедем, пожрем, в шахматы поиграем, музыку послушаем, живем, блин, мельтешим...

25.12. Отправил письма. Заказали с мамой букет дяде Самуилу, через моря и океаны, ему 80. Потом поехал на Алленби, по книжным. Зашел к Сове, Сова пяток книжек взял, а расплатился огромным томом писем Владимира Соловьева, вроде ни к чему, но взял, что с него еще взять, дела, небось, не шибко идут. Еще интересную брошюрку о символике в искусстве у него выклянчил. Сова, как всегда, шутковал-балагурил, и вдруг таинственно вывел меня в тупичок и завел такие речи: вот, мол, русские не хотят голосовать за богатых, за всяких там щаранских, а вот он со многими общается и понял, что за такого как он будут голосовать, что пора заняться политикой, что прочитал Геббельса и Жириновского, очень полезно, и понял — нужно обещать по-больше: налоги — нахуй, службу — нахуй сократить, резервистскую — нахуй отменить, террор — в пизду, под корень и т.д., что у него родня 70 лет в Израиле, недавно на семейном торжестве была племянница Герцога и сам Папу, знаешь Папу? с гостиницами? что народ нихуя не знает, тут у нас на Аленби бюро помощи рабочим, никто нихуя об этом не знает, а там есть баба, ну совсем припизднутая, говорит, что Елин, ну знаешь Елина? министр внутренних дел России, поклялся ее извести, что ФеЭсКа и ФеБеЭр за ней следят.., я от него все отодвигаюсь, а он напирает, рыбьим супом от бороды несет, пуговицы крутит, я-то по-

началу думал, что он стебается, как обычно, варежку раззявил из вежливости, а его вишь куда повело. Еле ноги унес. Да, а по дороге, в автобусе, встретил Жору, так он мне тоже всю дорогу вдохновенно мозги ебал что Рабин — клинический случай, Перес — сука, как бы их подзорвать не знаешь? у них блядей вертолеты есть на всякий случай, на американский авианосец удрать, а мы куда денемся? что от Рафуля он ушел, Рафуль полный мудак, что России скоро конец, что вся мафия там — евреи, и скоро им крышка, что «Маарив» он больше не читает, потому что они наглые суки и т.д. Напротив нас сидела сорокалетняя русская блядь с перебитым носом, ажурными черными чулками и декольте по пояс, день был солнечный, на редкость теплый.

Карлейль: «Почитание героя — есть трансцендентное удивление перед величием. В груди человека нет чувства более благородного, чем удивление перед тем, кто выше его. Религия держится на нем. Почитание героя, удивление, исходящее из самого сердца и повергающее человека ниц, горячая, беспредельная покорность перед идеально-благородным, богоподобным человеком — не таково ли именно зерно самого христианства?» Назвал Христа «величайшим из всех героев».

И дальше: «Я хорошо знаю, что в настоящее время почитание героев признается культом отжившим, окончательно прекратившим свое существование. Наш век есть век отрицающий самою желательность их. Покажите нашим критикам великого человека, например, Лютера, и они начнут с так называемого «объяснения»; они не преклонятся перед ним, а примутся измерять его... Он был «продуктом своего времени», скажут они. Время вызвало его. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко призывавшие своего великого человека, но не обретавшие его! Время, призывавшее его изо всех сил, должно было погрузиться в забвение, потому что он не пришел, когда его звали».

В Ерушалаиме араб взорвал себя на автобусной остановке, но не удачно, всего с десяток раненых.

Анита Шапира (опять читаю) цитирует Голумба: «Эти действия (атаки на арабские деревни под водительством Вингейта в 1938-м) нам не подходят, потому что мы таким образом испортим наши отношения с арабскими соседями». То, что они нас убивают — это не портит наших отношений. Ничего не изменилось. Не иначе как с Божьей помощью и ради какой-то Его коварной цели это государство возникло. Горький сетовал в «Несвоевременных мыслях» (или это от Чаадаева еще?), что Россия существует только для того, чтоб время от времени преподносить человечеству какой-нибудь жестокий урок. Кажись и мы для того же.

29.12. Ездили с А. к Дани-рыбаку. Камин горел. За верандой шумело море — погода портилась. Ели креветки. Жирные. Воодушевлена новой ролью. Делилась любовью к театру. А я поучал, что театр — искусство толпы. Потом гуляли вдоль мола, целовались. На сердце повеселело, будто ловко созорничал.

Гена, математик из Черновиц, сноб, читает на переменках Куприна, любит объяснять тайны мира женскими циклами и прочими половыми проблемами, при этом доверительно и чересчур приближаясь, так что котлетами домашними изо рта несет, кручу морду в сторону, криво улыбаясь, дыхание задерживаю, а он с другой стороны заходит, травит котлетной вонью, тошнит, бледнею, хочу удрать, а он — за пуговицу, ну точно, как Сова, и, изогнувшись, все в глаза, в глаза норовит заглянуть, которые у меня мечутся, как пьяная белка в клетке.

5.1.95. Звонил вчера Мише, поздравить с Новым годом, и вообще. Совсем плох. Голос ужаснейший. Почти умолял, чтобы я «звонил иногда». Не знаешь, что говорить, чем помочь.

На Новый год у нас собирались. Были Дольские. Лора мне всегда нравилась, добрая баба, податливая. Дольский, конечно, «гусь». Амбиций неугасимых. Когда-то был фактически резидентом Бюро в Москве, еще до того, как, по словам Андропова, «диссидентство стало высокооплачиваемой профессией». Все нити к нему сводились. Энергичный, властный. Рабин его по приезде принял, все шансы были взлететь, но капиталом, нажитым в Москве, распорядился неловко, промотал, пустился в авантюры с Флато-Шароном... А с другой стороны и к левым в очередь за похлебкой не встал. Последние годы работал в посольстве. Говорят, не сработался. Сейчас ждет-ищет нового назначения.

На «русской улице» вовсю шевеление, варганят партию.

Клячкин насмехался над самопожертвованием, мол, глупо, бесполезно, вот Барух Гольдштейн, всё его невероятное деяние — пузырь воздуха лопнувший, ни на что не повлияло, растворилось. Сам-то Клячкин с советской властью тягался довольно решительно, вообще, это интересно, как все, кто «там» были героями, превратились здесь в циничных обывателей, слишком много сил ушло на прорыв? Завел меня на любимые рассуждения: индивидуальные героические усилия влияют, когда в массе есть атмосфера сочувствия, восхищения и стремления к подражанию, когда между актером и зрительным залом напряжение сопереживания одной и той же трагедии. А когда зал полон равнодушных, скучающих снобов: тема, понимаете ли, не нова, интерпретация грубовата и т.д., то спектакль мертв, никакой актер не поможет. А я ему декламирую: «Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез!»

Кстати о птичках, вот Парамонов записывает Пастернака в «русские гении», цитируя самого Бориса Леонидовича, что в нем «кроме «крови» не было ничего еврейского».

А «жизнь»?! Сестра моя, жизнь! «Благоговейное отношение к жизни»! «Евреи суть зримое воплощение этого принципа». Вас цитирую, товарищ Парамонов! У русских, извиняюсь, нет такого благоговейного отношения к этому делу.

Аркадий однажды рассказывал о былых подвигах:

— В «Нью-Йорк Таймс» появилась статья их московского корреспондента, такой был пожилой жовиальный еврей, лет 20 уже сидел в Москве, «заплыл жиром» и мышей не ловил. Статья была об «активистах», с точным указанием, где они работают, из чего можно было сделать вывод, что они действительно владеют госсекретами и их нельзя выпускать. Мы вызвали его на ковер. К Хенкину. Хенкин ему говорит: «Вы от кого получили сведения о том, где мы работали или работаем? От КГБ? Так вот, если в три дня в «Нью-Йорк Таймс» не будет опровержения, мы сообщим в еврейские организации, что вы агент КГБ и ваша песня спета, вы поняли? Они вас сварят заживо!» Ты знаешь, он побледнел, вот как эта стена. Пришел такой веселый, самоуверенный. Вот как эта стена. В три дня было опровержение!

И он засмеялся.

Авода (партия Труда) в опросах резко падает. Пока. Через год начнут деньги раздавать во все стороны, займут у американцев, мир принесут на тарелочке, мнение и изменится. Они свой народ знают, не впервой хозяйничать.

В Грозном жестокие бои. Русских бьют. По своей инициативе влезли, а не подготовились, вот долбоебы.

С утра шумели о мемуарах одного араба, который разболтал про сговор между ООП и партией Авода перед выборами, о том, как свалить Ликуд. Обсуждали, можно ли доверять этому арабу или нельзя. Да ведь это ежу ясно, без всяких арабов с мемуарами. Они ж его сами партнером называют. Шутаф.

8.1. В 10 утра звонок. Л. звонит. «Так, голос послушать. Напиши поскорей. Прям сейчас иди и напиши. И дневник хочу. Ты мне еще за Москву должен». Вдруг залаяла Клёпа. «Клёпа что ль лает?» «Ага». «Мой Кинг тоже рядом (белый кокер), пригрелся... ушами повел. Косится. Ты знаешь, это он Клёпу услышал! Точно услышал! О, май гот!»

Ездили в лес. Погода сказочная: солнечно, градусов 18, ветра нет. Лес, ясно дело, битком набит, но к трем набежали тучи, закрапало. Народ смылся. Однако дождь так и не разразился, и опять распогодилось. Дамы пошли гулять, а мы с Мироном остались вдвоем, немного пьяненькие от вина, от озона, от грусти, делились своими разочарованиями...

М: «Дело даже не в том, что получается с женщиной или не получается, а просто их нет. Их нет вокруг, будто выход на них закрылся. То есть, нет выхода на новых женщин. А те, кто нас постоянно окружают, уже... почти не женщины…».

Я вдруг увидел, а уж сколько знакомы, что Мирон похож на Кафку. Тот же напряженный взгляд черных глаз, горький извив губ...

Чеченцы стоят насмерть. Достойно восхищения. Вот, наглядно — героизм целого народа. Их, как скот на бойню, не загонишь. Хочешь, чтоб евреи были, как чеченцы? Честно говоря, нет.

По ТВ дискуссия, удивляются-возмущаются, почему это «русские» не хотят «сливаться» с израильтянами? С какими? Что это такое, израильтяне? Нации-то нет. Салат общин, вывихнутые «коленки».

Восток нас слопает. Всосет, как Солярис. Топь Востока... Мерзость...

Крутили по телеку «Машеньку» Райзмана. Мамина молодость («второй курс…»). И чем-то трогательно...

22.1. Инспектор опять явился и опять выразил недовольство. Не доходчиво объясняю. Не пользуюсь современными средствами демонстрации. Еще раз придет. Заработает он у меня мел в жопу. Кто его, интересно, навел. Ученики пожаловались?

Сегодня взорвали тремпиаду[1] у перекрестка Лид. 20 солдат погибло. Показывали теперь осторожно, разбросанные куски тел в морду не тыкали: после взрыва автобуса на Дизенгоф власти критиковали телевидение за «жестокие кадры». Ну, как водится, объяснили нам, почему они это сделали. Чтобы помешать делу мира. Рабин на импровизированной пресс-конференции от легкого испуга (что народ возмутится) ляпнул, что погибло «мизерное количество» солдат (миспар заум), это был прямой эфир, потом этот отрывок из всех сводок новостей вырезали.

А испугался наш вождь зря. Народ смирный. Максимум — повизжат немного, как одна баба в телекамеру: «Ани истерит ми кета зе!» (Я от всего этого в истерике!). Остановиться, тем более повернуть назад, они не могут, это означает отказ от власти. В таком шатком положении задержаться, можно утерять контроль, один выход: еще быстрее вперёд, под откос, может, в конце взлетим.

Все эти хитрые еврейчики, которые в самолете на Вену уговаривали меня держаться от евреев подальше, лучше с гоями, оказались правы, они знали свой народ лучше меня. А я накололся. Маху дал. Сглупил. Романтизм-то до добра не доводит.

Недели за две до отъезда, когда пил горечь вечеров, ночей и людных сборищ, Миша повел меня на литературную вечеринку к Казарновскому, читали там всякое, один русский писатель с рыжей бородищей читал про прополку сорняков на приусадебном участке, Миша шепнул: он с тобой поговорить хочет, по еврейскому вопросу, ты не про-

[1] Перевалочный пункт для солдат.

тив? Отчего ж, говорю, вопрос важный. Мы удалились с писателем в отдельную комнату, где он, разгладив бороду, начал так: «Я вот тут роман пишу о русской жизни. Ну а какая может быть русская жизнь без евреев. Так у меня есть один важный персонаж, еврей, но мне не хватает натуры, я всегда эскизы с натуры готовлю к картине... вот, так нет ли у вас знакомого, такого настоящего еврея? Что значит «настоящего», говорю. Пиши хучь с меня! И подбоченился. Не, говорит, вы... не еврей. Мерси, говорю, за комплиман, однако... Да я знаю, вы уезжаете, и я это приветствую, но это только подтверждает... в общем, мне нужен совсем другой персонаж. Ну, любопытно все-таки, говорю, что такое «настоящий еврей»? Понимаете, говорит, это такой еврей, который весь день бегает за золотишком, а вечером в синагогу идет и усердно молится. Вот, думаю, антисемит, тудыть его растудыть. Аж озлился. Нет, говорю, я таких в своей жизни не видел. Ну, я и говорю, что вы не еврей, сказал он благодушно. Было уже семь утра, народ еще читал, курил, зубоскалил, вдруг завыли гудки, я подошел к окну, мороз схватил стекло по краям, на улице темно, фонари горят, застыли голые деревья, дым от заводских труб — аллея фаллосов, и под ними, бесконечными цепочками, угрюмо опустив голову, бредут по белому снегу черные тени.

Письмо от Саши Макарова. В Москве выглядел больным. Мы сидели в редакции, где его жена работала, гигантский дом, бесконечные коридоры, пугающая безлюдность, окна во всю стену, залиты дождем, внизу хитросплетения железнодорожного узла, высоко сидели, всю Москву видать, пили итальянское вино с конфетами (купил в ларьке по дороге), сынишка ее, лет шести, играл на компьютере, кабинет был огромный, советский, и было такое чувство, что мы пируем в брошеных дворцах.

24.1. Вчера был мой вечер в Иерусалиме, в библиотеке Форума. Вроде надо отметиться, все-таки книжка вышла...

Собралось человек 35, почти все знакомые, приглашенные. Многие не пришли: Зингеры, Малер, Вайскопф, Генделев, Тарасов, Гольдштейн. Принимали тепло, отчасти благодаря выставленному закусону с пивом и водочкой. Потом поехали к Вернику, с Барашем. Выпили, пели песни. О стихах не говорили. Слишком мы «чужие». По поэтике. Когда я на вечере, на вопрос о «любимых», помянул Баратынского, Тютчева, Фета, а на вопрос, кто из нынешних-тутошних повлиял, сказал: «Тарасов», Верник переглянулся с Барашем, а Камянов аж подпрыгнул и попросил повторить роковое имя. Я повторил.

— Ну, конечно! — взвился он еще выше. — Тютчев, Баратынский, Фет и Тарасов!

(А вообще, я должен был хоть поблагодарить приятелей, вечер-то с подачи Верника вышел.)

В «Пополитике» профессор — спец по террору (кажется, Шпринцак), заявил, что мы должны быть готовы к ежегодному закланию жертв на алтарь мира, он даже назвал цифру — 150 человек. Сказал, что это неприятно, но не смертельно для нации. А нынче, кстати, 50 лет освобождению Аушвица-Освенцима. Вот он, их хваленый «гуманизм», ценность человеческой жизни. Жизнь индивидуума для евреев ничто, только жизнь рода. Род должен выжить. Но если так, то почему не в бою?

А вот совсем свеженькая история про левака-профессора: милейший человек, застенчивая улыбка, сама толерантность, жена — художница, бездарная и беспутная, он все понимает, но толерантность не помогает, сбежала художница, встретил его на пятидесятилетии Гриши и случайно коснулся политики — тихий профессор впал в бешенство, неистовствовал в ненависти к пионерам-поселенцам, к «правым», к Биби. А уж религиозных — и не упомяни! И вот — оставил работу и уехал в Индию, к своему гуру,

оказывается, давно уже у него учился-приобщался. Индусы-то, сплавляющие в религиозном экстазе трупы по рекам, не чета нашим мракобесам.

26.1. По русскому ТВ крутили фильм о Якубовском. Эдакий «Еврей Зюс» при новых русских князьях. Нагл, быстр, энергичен, хваток, и все в превосходной степени, типичный израильтянин, только с русскими ужимками уголовными.

3.2. Карлейль пишет: «Я считаю эту книгу (книгу Иова) величайшим из произведений, когда-либо написанных. Читая ее, действительно чувствуешь, что эта книга не еврейская... Благородная книга, общечеловеческая книга!»

«Иов» — книга не о герое, а о еврейском мучительном уповании «поговорить, наконец, со своим Богом начистоту»! Иов — враг Иисуса. Взбунтовавшись, Иов к Богу вернулся, и в бунте никого за собой не повел, а Иисус за себя ратовал, пообещал разрушение Храма. И основал-таки новую веру имени себя.

Конечно, еврейство принципиально антигероично. И в этом смысле противоборство еврейского мира и арабского, преданного поэтике героического, является принципиальным, с глобальными последствиями.

В Каире собралась «четверка», «коалиция мира». Перес, как Сизиф, продолжает толкать вверх свой страшный камень. Камень мира. Будто надгробие мечтает возвести на вершине.

А все-таки, как он не пыжится, есть в нем что-то провинциальное... И Бегин о нем сказал точно: «не умен, а смышлен».

5.2. Прочитал в «Вестях» интервью Бараша и стихи из нового сборника, интервью Гольдштейн брал. Стихи по-

нравились. Решил порадовать, позвонил и сказал, что понравились. Лирическая тональность и апокалипсичность мироощущения, и про Флавия, что жуткая и личная книга. «А интервью? Идеи, которые я там развиваю?» Тут я сморозил, что никаких чой-то идей там не уловил, ну, в смысле чего-то нового, так-то оно все, конечно, путем... и зарапортовался. Он скуксился, так что радости большой не вышло. И еще я ему сказал, что по-моему Флавий — это античный Эренбург. Но он не врубился.

Почитываю Розанова. Еще в пору романтической молодости попалась «Кукха» Ремизова, потом уже «Опавшие листья», но сразу, с «Кукхи», увлекся, что-то свое учуял. Подражать пытался. Вот это отношение к себе, как к литгерою, почти объективное, порочно-любознательное. «Я — гнида».

Явился Зусик. Разыгрывает радость жизни: «Я — счастливейший человек!» Приехал добровольцем в израильской армии поработать, за паёк и ночлег, пока в Бостоне квартплата с жильцов идет. Божьего человека из себя строит, исповедуя йогу, иудаизм собственных компиляций и каких-то американских синкретических гуру. Любит гаденькое: «Толик мне говорит, ты, Зус, навозный жук, хихихи-с, а я говорю да, я навозный жук».

6.2. Вчера ночью прижалась ко мне сзади, мяла, лапала, хватала за цицки:

— Наум Исакыч Цыцкес!

Долго ржали, не могли успокоиться.

А иногда я обниму сзади, войду, и лежим, не шевелясь, долго-долго, даже вздремнул однажды. «Вот так я люблю, — говорит, — душа в душу».

8.2. Только что звонок. Через моря и океаны. «Скучаю». «Летом приеду». «Как прошел вечер?»

А вообще, все это — уже не то бесконечное письмо к тебе, которое я писал когда-то, письмо-дневник. Какой-то выходит судовой журнал. Судовой журнал ковчега на мели...

9.2. Вчера у продлавки сумасшедшего видел, подозреваю, что русский. Стоял, застывши, протянув руку в позе Ленина-Гагарина: «указывающий путь к звездам». Постоит, потом руку поменяет и вновь застынет. В каждом сидит актер.

«Идея богочеловека исламу принципиально чужда».

«Пространство сакральных зданий ислама покоится равновесно и благородно в неподвижности, отвечающей внутренней природе вещей... здесь нет устремленности к идеалу... Особое значение имеет пустота. Пустота даже самой богато орнаментированной мечети связана с концепцией факра — нищеты в духе».

«Для мусульманина Прометей — безумец, который, не ведая что творит, грубо вторгается в Божественные предначертания».

(Из книги «Исламское искусство и исламская духовность» Сайеда Насра)

12.2. В пятницу нам была оказана честь, мы были приглашены в кафе «Габима» на празднование 65-летия Дольского. На чествовании присутствовали великие отказники и борцы. (В соседнем крыле праздновал свое прибытие на Обетованную землю театр «Современник».) Моя в недоумении — за что такая честь? Может ему супруга наша приглянулась, и старый султан еще не забыл свои похвальные привычки?

В субботу утром Дольский позвонил, якобы поблагодарить меня за подарок (преподнес ему «Энциклопедию оккультизма», интересуется мистикой, печальный удел

стареющих рационалистов), беседовал с супругой, которая имела неосторожность (или еще чего имела) пригласить его в лес, на наш традиционный пикничок (зима нынче выдалась безоблачная, теплая.) Он, как старый подпольщик, четко и подробно выяснял маршрут, время и место встречи, все записал, даже марку, год выпуска и номер машины. По дороге супруга, чувствуя мое раздражение, оправдывалась тем, что хочет «завязать нужные связи», причем для моей же пользы. Довольно идиотское положение — наблюдать за тем, как охотятся за твоей собственной женой. Сразу вспоминаешь товарища Пушкина, который, глядючи на такое, потерял чувство юмора и наделал делов.

На юбилее великого борца разговорился с несколькими знакомыми. Все смотрят на ситуацию однозначно: государство обречено. Обидно, конечно, что я не оригинален. Обидно и страшновато. Можно сказать — уже расхожее мнение. Почти пошлость...

13.2. Я люблю стихи, похожие на барельефы, на монастыри в скалах, когда каждое слово врезано в строку непоколебимо.

Хотя иногда нравятся и изменчивые, похожие на игру бликов, в каждом вроде никакой важности, а вместе — сияющая рябь...

13.2. Может моя принципиальная ошибка в том, что я исхожу не из того, что есть, а из того, что должно быть (по моему, естественно, мнению)?

Лет 13 назад мы организовали в Азуре свою партию и победили на выборах, ну, что значит победили — получили одно место из тринадцати, но это была, конечно, победа, и немалая, со мной тут же связался Ильяшив, он тогда был мэром, и предложил встретиться, собственно, это я прошел на выборах, поскольку был на первом месте, он хотел личной, интимной встречи, но я не согласился. Встре-

тились с ним небольшой группой. Он с ходу предложил нам шесть мест в ЦК партии Труда, сказал, что он друг Переса, что пойдет на следующих выборах в Кнессет, и наверняка пройдет (ему не хватило 2–3 мандатов для партии, он шел, кажется, сразу за Фимой Файнблюмом), и что ему нужны образованные (сам он был футболистом, местным кумиром, видный такой мужчина, и не глуп), толковые и энергичные ребята, что мы себя доказали, и, конечно: кто к нему «пристегнется» — далеко пойдет. А я ему (прям краснею, вспомнив): «Все это хорошо, но надо бы сначала прояснить так сказать идейную платформу, сможем ли мы сотрудничать, если речь пойдет о судьбоносных для народа решениях?» Он брови свои центурионовские вскинул, но делать было нечего, пришлось выяснять идейную платформу, мы были все, как один, правые, за неделимость страны, а он — за партийную идеологию компромисса. И попытался нам объяснить, что вообще-то он, как и мы, за, и арабов бы сам, своими руками, но ребята, это же не реально, вы же умные люди, надо же исходить из реалий. А я ему: исходя из реалий и государства не построили бы, и что исходить надо не из реалий, а из целевых установок. Когда есть цель, вот тогда надо включать расчетный аппарат и исходить из реалий, чтобы ее достигнуть. Он буквально остолбенел, потом как-то внутренне опечалился и отчалил, промямлив, что мы еще встретимся и поговорим. А исходил бы я из реалий, был бы сейчас послом в Россию, ну, или захудалый удел какой, генеральное директорство вшивой госкомпании получил бы от бывшей пролетарской партии.

Ну вот, а целевая установка, особенно когда речь идет о великих целях (иначе и не интересно), приводит только к вечной неудовлетворенности и разлитию желчи.

А все это я к тому, что зачем требовать от евреев, чтобы они были викингами? Не лучше ли признать, что они другие, понять, в чем именно, и даже найти в этом «ином» свой шарм. Шарм ля жид.

17.2. Сегодня наблюдал душераздирающие сцены собачьей любви: у нашей Клеопатры течка, и ее с утра сторожит у подъезда пушистенький пуделек беспородный. Уж он ее и туда лижет, и сюда, и вся она к нему тянется, хвостом дрожит, а я, гад, шикаю на него, отгоняю, и других собак тоже, он боится, отскакивает. А она потянется к нему, потянется, но видит, что он все шарахается, и разочаровывается, отворачивается, потом и сама злобным лаем гонит. А мне всех жалко, но ответственность перед новой жизнью, как и Мише, брать неохота. Наблюдать, конечно, интересно, вот так и литература «наблюдателей жизни» — интересно, но интерес какой-то этнографический.

Мама нашла письмо, первое, которое мы написали из Вены после выезда. Ровно 17 лет назад. Жена читала с влажными глазами, а как дошла до приветов тем, кого уже нет, совсем расплакалась.

16.2.78 *Дорогие Мария Наумовна и Исаак Ефимович!*

Вот мы и в Вене. Просто не верится, что мы уже не в России. Не успели опомниться.

В самолете все было в лучшем виде. Нас потрясающе накормили, дали подносик каждому, там была курица, закуска, кофе, печенье. В общем, вдруг ощутили себя господами, а не товарищами. Нас обслуживали советские стюардессы. С нами вместе летели молодые 30-летние ребята, они почти все собирались в Америку. Когда мы прилетели, нас встречала девушка — представитель Израильск. организации Сохнут, группа наша сразу разделилась, процентов 70 летело в Америку и только 30 — в Израиль. Попросили отдать визы. Потом нас всех посадили в маленький автобус и, охраняя, повезли в гостиницу. В гостинице вся обслуга израильская, кормят тут потрясающе вкусно и сытно. Вчера, когда мы приехали, нас сразу же покормили обедом, потом в 18.30 был ужин. На ужин дали очень вкусный салат из помидор и болгарского перца. Поселили нас в одну комнату с одной женщиной и девочкой 13 лет. Жен-

щина очень приятная, она в Москве работала переводчицей англ. яз. Я только сейчас начинаю приходить в себя, нас может быть отправят в пятницу утром или в понедельник. Нам разрешили бесплатный разговор с Москвой и телеграмму в Израиль. К сожалению, погулять по Вене не удастся, как мы и предполагали. Гулять здесь тоже, в общем, негде, ходим по гостинице, она большая, напоминает большую больницу. Очень чисто. Погода в Вене получше чем в Москве, вчера, когда прилетели, был 0 градусов. Снег. Рыбу вы положили зря, она не кошерная и вносить в столовую ее нельзя. О, ля-ля!

Да, весь наш груз, который мы сдавали за сутки и то, что мы взяли в ручную кладь летит с нами в Израиль. С собой отдельно в сеточку надо взять полотенце, зуб. щетку, мыло, халат, тапки, это затем чтобы потом не рыться в вещах, не искать, еду никакую брать с собой не надо. Да, мы тут едим израильские апельсины. В общем, все ничего, скорее бы в Израиль. Здесь есть телевизор, спорт. комната с теннисным столом, комната для чтения, вся литература, отражающая жизнь Израиля. Здесь есть на этаже душ и умывальная комната.

Да, мы попробуем послать посылки — Вам и Зусу. Ну вот и все наши новости. Вчера мы ужасно нервничали, а сегодня уже вроде все успокоилось. В пятницу вечером будут зажигать свечи.

Дорогие свекры, я обязуюсь писать Вам каждую неделю, т.к. понимаю все Ваши переживания. Только теперь я начинаю понимать, насколько скудно мы были обо всем информированы, поэтому постараюсь, чтобы Вы обо всем имели верное представление. Илюша бегает по этажам, благо здесь длинные коридоры и много лестниц.

(Илюшиной рукой) Мы летели на самолете. Кагда мы летели на самолет. Нам дали поднос с закуску и кофе. С самолето был видно деревушку. Когда мы приедем в холон я буду писать. Илья

Вот такие дела. Пишите нам тоже почаще, задавайте вопросы. Не нервничайте; держались Вы молодцом. Я буду Вам подробно описывать нашу жизнь. Всем, кто будет звонить, большой привет. Оставляю место для Наума. Целую Вас крепко. Будте здоровы. Не забудте отправить нам лекарство в коробочке, самовар и мои лаки.

Дорогие мои! Это дело стоило затеять хотя бы ради опыта вкушения запретного плода. Когда я вышел из самолета, увидел немецкое небо, немецкие буквы и спокойно переговаривающихся австрийцев, окрыляющее чувство свершившегося чуда закружило голову.

В самолете подобралась приятная компания. Со многими познакомился и даже успел подружиться. Передай Игорьку, что Каток оказался малый весьма практичный и ловкий, Лёне до него далеко. Как-то осел Лёня, потерял энергию.

В аэропорту мы разделились: 30 проц. в Израиль, остальные — «прямо». «Прямиков» никто не встретил из Хаяса, всех встречал представитель Сохнута. «Прямики» испугались, что их «затащат» в Израиль, сбились в кучу и не хотели отдавать визы. Потом все-таки отдали. Сцена была противная. Затем нас посадили в автобус и повезли в замок. Дорога гладкая, как стекло, рыжие весенние перелески, талый снег, гнезда в голых ветвях. В Австрии наступает весна. От аэропорта до замка сопровождали австрийские полицейские с автоматами. Короткие стволы, немецкие лица. Начинаешь понимать, что израильтянин — это серьезно. В замке решетки, охрана, высокий забор. Обидно быть рядом с Великой Веной и не иметь возможности выйти погулять, тем более что «прямики» наслаждаются свободой: гуляют сейчас по площадям, ходят в кино, в музеи, в кафе, вообще, что хотят то и делают. Но что делать. Есть вещи и поважнее. Еще один недостаток: в одной комнате несколько семей.

Отдыхаем. В библиотеке все, что крупицами попадает в Москву — читай не хочу! Телевизор. Вчера был бой Мохаммеда Али со Спинксом, хорошие мультики. Показывали израильский фильм Калика. Смотрел с большим интересом. Неплохо. Борис Михайлович звонил вчера, ждут. Все просьбы я выполнил, всем большой привет.

Целую вас, тебя, мама, и тебя, папа.

Все будет хорошо.

Наум

Да, чуть не забыл! Что здесь совершенно сказочно, это жратуха. Я никогда (неразборчиво)..... такую вкуснятину. Свежие овощи, апельсины, грибы, очень вкусное мясо, картошка, твороги с чесноком и без, пирожные, и совершенно непонятные, но очень вкусные супы. Так вкусно, что все время жрать хочется.

17.2.78

19.2. Вчера в 12 примчался взмыленный Портос. Драил свою новую квартиру, случайно закрыл дверь — ключ внутри. Пришлось отвезти его к жене, за другими ключами. Все время истерически хохотал. Просто безостановочно. Я ему, в стиле Берчика:

— Эта квартира совсем тебя доконала.

И тут у нас начались просто судороги смеха. В этих судорогах мы выкатились на улицу, пугая тихих евреев, идущих в синагогу на дневную молитву.

Гольдштейн подметил в «Катилине» Блока элементы «постмодерна», оргию эклектики. Заинтересовавшись, прочитал. Нечто восторженно несуразное. Тут тебе и «социальные противоречия», и «ветер новой эпохи», то бишь христианства, хотя Иисус еще не родился. Ну какой он, Катилина, «большевик», или революционер, просто авантюрист из разорившихся аристократов, публика шебутная и колоритная. А на дворе 18-й год. Блок пытался вписаться в новый ландшафт. Малодушие под маской истомленности по священным безумиям...

Историософское мление, мифопоэтическую игривость и прочее культуроложество не люблю. Хоть и сам грешен. Легкий хлеб. И к постмодерну, извиняюсь, никакого отношения это не имеет. Старый, милый декаданс, с его тягой к легендарным мерзавцам. Арт нуво.

А постмодерн — это когда прикидывающийся идиотиком играет на свалке культур кубиками выброшенных поэтик, строя из них причудливо уродливые или потешные крепостцы.

Где ты, Шварцбард?! Где ты, Гриншпан?! Где ты, Кенегиссер?

25.2. Инспектор с меня слез. Случайно, на пятый раз, урок вышел удачно. Ну и слава Богу.

В учительской, на большой перемене, торопливо запихивая бутерброд и запивая чаем из термоса в цветочках, Гена липнет интимно к уху: «Посмотри, посмотри на этих цилечек! На этих трясогузок! Посмотри, как они жопами трясут! Послушай, как орут! Не доебали, ну не доебали же!»

Вечером у нас состоялась великая зустречь трех Александров (Бараш-Верник-Гольдштейн) и трех Ир (все жены — Иры). Опять мучался: везти — не везти Гольдштейна. Дать ему самому добираться — значит выставить его шекелей на 30 (субботний вечер) на такси, может он не так уж жаждет приехать, в то же время поехать за ним, а потом, соответственно, отвезти обратно — это оказывать царские почести, решит, что «подъезжаю». После воистину мучительных колебаний все же решил забрать его, ну и потом отвез. Вообще-то я очень хотел с ним подружиться, он умен и сведущ, с ним интересно было бы обсудить прочитанное, ума набраться. Кроме Тарасова и поговорить не с кем. Гольдштейн деликатен, что в нашем зоопарке совсем редкость. Я сам деликатен и легко раним. В общем, то ли эта наша деликатность была виною, но мы оказались лишены

непринужденности, даруемой независимостью: он все боялся, что мне что-то из-под него нужно, может приставать стану, чтоб он статью обо мне написал, а меня его настороженная застенчивость тоже несколько раздражала, и жену чего-то не показывает (и на этот раз не взял на сборище). В общем, обстановка была несколько скованной, только Верник «шумел» во главе стола. Мы с ним пили водку, супруга наша, «блондинка», как он ее величает, поддерживала, да еще Ира его пила бренди, Гольдштейн деликатно лакал винцо, Бараш было начал с водки, но быстро отстал, а его Ира, рыжая длинноволосая дива, только символически пригубила. Посреди пьянки позвонила супруга Гольдштейна (Верник поморщился: «Уже зовет!»), а моя — обратила внимание, что он все время смотрел на часы. Бараш (он сильно и как-то внезапно поседел, развод повлиял?) рыгал юмором: «из ворюг в греки», «небогатое наше Гило», «сказка о рыбаке и Ривке», миловался с подружкой: за ручку держал, гладил, волосы на палец накручивал. Верник настойчиво объяснял Гольдштейну, какой хороший поэт Чичибабин и как важно про него написать, а потом пошли пьяные излияния про «глыбищу Бродского», и даже «глыбищу Пушкина» (признак того, что говорить больше не о чем), и кто под кого «канает». Супруга попробовала завести светскую беседу:

— А вы пойдете на Биренбойма?

— 451 градус по Биренбойму, — тут же отрыгнул Бараш.

— Вот на Биренбойма, понимаш, у нас жабки не квакают, — сказал Верник. — А ты запаяйся! — ласково рявкнул он на залаявшую Клёпу.

Только Верник догадался фотоаппарат принести для увековечивания, но в аппарате том один кадр остался. Ко всему я еще запел. «Где-то на поляне конь танцует пьяный».

Бараш тут же:

— Конь ты мой опавший!

Особенно над этим, «конь ты мой опавший», мы жутко ржали.

5.3. Сегодня у меня день рождения. Сорок восемь. Чувствую себя неважно. Сердце. Вчера началось. И не пойму что. Какая-то огульная млявость. Жарко сегодня. Гулял утром по парку с собакой. Она болеет, воспаление после течки, льёт из нее неудержимо. А в парке никого. Безветренно. Картина покоя. Девочка с косичкой кружится на площадке для роликов. Вспомнил девицу, которая в августе 91-го перед баррикадами у Белого Дома кружилась заморской бабочкой... Надо бы ролики купить, кататься утром в парке. Сердце вот только... Жрать стал много, опять вес набрал. В Москве убили Листьева. Все в шоке. Телевидение прекратило передачи. Убитый высоко метил: хотел стать генеральным директором новой телекомпании. Такое место не может быть «не схваченным». Что-то не поделил, или пал жертвой разборки на высшем уровне. По нонешним временам вещь естественная, сами горы трупов по ТВ показывают. Но уж очень нагло, не таясь, замочили любимца публики. Народ обиделся — посадили на место. Кто-то сказал: в этой стране только убийства делаются профессионально (тоже преувеличение для красного словца), кто-то завизжал: нас опять хотят затащить в дерьмо, вновь прозвучало инфантильное «что делать». А наши придурки обсуждают, сколько беженцев Израиль готов вернуть на территории. Один генерал говорит: «Да сколько угодно, не в Тель-Авив же, а к ним, в автономию, пусть они и ломают головы». Умница. Сразу видно, что еврей. Один такой умник гордо сказал по поводу визита Бразаускаса, который тут прощения просил у еврейского народа: где теперь Литва и где Израиль! Да, но Литва, хоть и под русским сапогом, но осталась и останется, а Израиловка исчезнет, будто и не было.

Вчера ходил с женой утром в бассейн. Нежились в джакузи, парились в баньке.

Из газетных перлов Глории Мунди: «Бабеля всегда вдохновляла любовь над трупом».

Была передача о Фриде Кало, жене Диего Риверы. Баба яростная, вцепившаяся в жизнь. С изуродованным, урезанным телом, приговоренным к неподвижности и безнадежной борьбе с болезнью. Портреты коммунистических вождей. Вот за что влюблялись в коммунизм — пафос борьбы, вызов жизни. Коммунизм — это молодость мира. Кажется, была любовницей Троцкого. Когда ж это успела, когда Троцкий у Риверы гостил?

5.3. Брачные танцы птиц. Колгота их мятущихся скопищ. Забеги по воде парами. Почему мы зовем красотой жизнь этих толп? Что восхищает в ней? Разве есть в этих танцах «высшая цель»?

Руководители Рабочего движения, склонявшиеся с конца 30-х к силовому решению арабо-израильского конфликта, черпали свою решимость в русских и советских традициях, взять хотя бы Табенкина.

6.3. Выгуливал Клёпу и встретил знакомого, он профессор из Института геофизики, где я три года директорствовал, у него молодой фокстерьер Томми, огромный, добродушный симпатуля, прыжками носился вокруг, а Клёпа гнала его от себя грозным лаем старой девы. Профессор с левым уклоном. Ну что страшного, говорит, если мы вернемся к границам 67-го года? Рисую ему сценарий: во-первых, вернутся миллионы беженцев и потребуют возвращения в Яффу, Акко, Рамле и т.д., во-вторых, арабы Галилеи потребуют автономию и устроят нам в Галилее Боснию и Герцеговину... Ну, прервал он меня, в это я не верю, арабы Галилеи слишком хорошо живут. А беженцам мы скажем нет. Французы, говорю, в Квебеке живут не хуже, а требуют независимости. А что касается нашего «нет», то ответом на него будет террор и джихад. Вы забываете, сказал он, что у них уже будет собственное государство и им придется нести ответственность. Что, бомбить будем? Ну,

если придется, бомбим же в Ливане. И вы готовы, говорю, бомбить их дома, убивать женщин и детей?! Готовы?! Он пожал плечами. Ну вот, говорю, если готовы, то пора начинать, а если не готовы, то сами себе логично объясните, что ничего бомбежками не добьешься, и, вообще, силой ничего не добьешься, нужно искать политическое решение, то есть уступать, уступать, уступать! Логика капитуляции она самая понятная, естественная, так сказать естественнонаучная... Тут он спохватился, что на работу пора, и мы растащили собак.

А еще на встрече трех Александров всплыла интересная тема о праве художника считать себя «солью земли». Бараш припомнил воспоминание кого-то о Бродском в ссылке, как поэт, оберегая себя, не решился на какой-то поступок, и при этом сказал про другого, который решился, что тому, мол, рисковать легче, мол, человечество от его гибели не пострадает. Нет, началось с Пастернака, Гольдштейн сказал, что тот «хитрил» и «берег себя», разыгрывая наивняк, а Ира Верник сказала: «Вот я только что случайно взяла у вас, Наум, с полки книгу о китайских мудрецах и случайно раскрыла на притче о том, как мудрец и простолюдин шли долго и остался у них один кусок хлеба, кто съест, тот выживет, мудрец и говорит простолюдину, ну что́ твоя жизнь, она не важна государству, а моя важна, отдай мне хлеб. А тот говорит: а кто это может знать, чья жизнь важнее? И тогда мудрец отдал ему хлеб и умер с таким замечанием: при жизни мне удавалось быть более убедительным». А я сказал, что мне противно «освящение» собственной жизни на основе таланта. Талант это не привилегия, а крест. А Пастернака и Бродского вообще не люблю.

8.3. А может, мой поворот от героического сионизма к жалкому Галуту надо довести до конца, до любви к слабости? Есть ли в слабости красота? О, да, утончен-

нейшая. Так может не надо играть в конкистадоров, Бог с ней, с державностью, дали бы просто жить в тишине и печали?..

Да, хорошо быть слабым, пока очко цело.

Звонил Миша, завтра Вика прилетает на книжную ярмарку. Ладно, встретим.

В ящике сразу два письма, от тебя и Инны. И еще от Иосифа, позавчера только говорил с ним по телефону. Опять Москва нахлынула.

Вчера был вечер Глозмана. Жену делегировал. Купила книгу. Роскошно издана, что подозрительно. И точно, я-то думал, что его стихи никакие, а они дурные. Лига полулюбителей-полубездарей с культурным багажом.

«Когда задумчивый Гомер
Вдруг расстегнет
Свой интерьер».

Жена: а мне нравится. Вот... — долго ищет — вот:

«И крыльев нет, и на ногах, как гири, —
Дела, любовь и суета сует…»

Долго и добросовестно объяснял, какая это фигня. Слушала внимательно. В конце полусогласилась: «Да…». Но уцепилась за другое:

— А вот это: «рыбой пахнут мелкие монеты»? Я тоже всегда так думала.

— И у тебя, небось, предки рыбой торговали на Привозе.

Обиделась.

Наум, привет!

...Ввиду спешки (а также по другим, никак не связанным с тобой причинам) я настроен снова уклониться от «умных» разговоров, хотя твои рассуждения о героическом выглядят местами занятными и, во всяком случае, провоци-

рующими. Как-нибудь соберусь с мыслями и попробую порассуждать на эту тему по второму заходу. Особенно интересным показалось мне замечание о том, что при всей героичности воинов-чеченцев, мифы о них пишут русские. Так это или не так, но тут есть о чем подумать.

Спасибо за приглашение. Что славно погуляли бы — не сомневаюсь, и съездить, конечно, хочется, но пока ничего определенного сказать, к сожалению, не могу. И даже не в деньгах дело. Я в последнее время как-то безнадежно стал запаздывать с выполнением своих серьезных замыслов — все время что-то отвлекает, и самое неприятное, что я отвлекаюсь как-то слишком охотно. Какой-то психологический изъян обнаруживается. А может, не только психологический. Печально, что, судя по твоим письмам, у тебя тоже сплошные беспокойства. Может, перемелется? В любом случае, надеюсь, что ты-то к нам до конца года выберешься.

Книжка твоя в «Гилее» лежит (в других местах я ее не видел, но специально не разыскивал). Судя по тому, что продавщица не смогла назвать ее цену (она куда-то ходила, спрашивала, оказалось 1300), ажиотажного спроса не наблюдается. Но это общая картина практически для всех поэтических сборников. Пишу «почти» для перестраховки: на самом деле не знаю ни одного, чтобы так уж расхватывали. Разве что Тимура Кибирова, но я к подобного рода передразниванью совершенно равнодушен. На счет отзывов ничего сказать не могу, я практически нигде не бываю и литературных газет и журналов не читаю. Сам не знаю почему, просто не могу себя заставить. Что касается узкого круга, сейчас эти вопросы как-то не обсуждаются. Знаю только, что Ирине, жене Гены, сборник так понравился, что она хочет заставить Гену издать что-нибудь у Белашкина, и даже деньги дает, но у него какая-то апатия.

С эротическим романом ты меня удивил. Может, дашь почитать? Или это большой секрет? Мои романы (переводные) не столь эротические, сколько просто любовные, хотя и с откровенными местами. Меня самого

беспокоит то удовольствие, какое я получаю от этой «работы»: наверное, это графоманский зуд, которого я за собой раньше не знал.

Засим позволь откланяться. Привет жене и детям.

Иосиф

Посылки №№ 5–6 (посланы 22 февраля)

1 Митицуна. Дневник эфемерной жизни 13000

2 Пришвин. Дневник. Т. 2 6500

3 Аммиан Марцелин. Римская история 18000

4 Розанов. В темных религиозных лучах 5000

5 Леви-Стросс. Первобытное мышление 9500

6 Вяч. Иванов. Родное и вселенское 9500

7 Вельфлин. Основные понятия истории искусств 14000

8 Филон Александрийский. Иосиф Флавий 11000

9 Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобыт. 23000

10 Хомяков Т. 2 6500

11 Гиббон 15000

Итого 130000

Данные книги куплены на полученные дивиденды в январе 30 д. Курс доллара 21 января составлял ровно 4000, так что после этой покупки ты остался мне должен 2.5 долл.

Посланы книги через месяц на дивиденд полученный в феврале.

Стоимость пересылки не изменилась 25000 за трехкиллограмовую бандероль....

Далее все коммерческое, еще много расчетов.

10.3. Встретил в аэропорту Вику, да не одну, а с подружкой Светой. Никто из официальных лиц не явился. Я предложил свои услуги и отвез их в Иерусалим, в коммуналку ВИЦО, где паслись пенисионеры (во, описка-писписка!), к ее «другу» Леониду Яковлевичу, довольно шустрому старикану. Пока они ахали и тараторили, я прочитал рецензию, которую она написала на мою книжку. «Вся-

кий образ созданный пером Ваймана основан на некой меланхолической медитации, ощущении неудержимости бега времени, призрачности красоты и стоящей за всем этим всевключающей и всепоглощающей вечности!» Во, блин! «Но не надо думать, что поэт — отвлеченный метафизик».

Леонид Яковлевич уговаривал остаться, чайку попить, но девочки рвались погулять, видимо, рассчитывая на ресторан. Привез их в центр, погуляли по Бен-Егуде, кружились по боковым улицам, народу было мало, свет тусклый, я все не решался зайти в какое-либо кафе, инстинктивно, знаете ли, под предлогом, что нигде пицц не было, а вначале спросил, хотите пиццу? и они очень захотели.

— Может, сюда зайдем? Здесь не дорого? — деликатно спрашивала Вика возле каждой двери.

— Тут пицц нет, — отвергал я, прочитав меню.

Шатания наши приобрели маразматический характер, одурев от запахов и усталости, девочки нагуляли злобный аппетит, Света вспомнила, что в самом начале, на Бен-Егуда, видела пиццы в витрине, и мы пошли обратно, что всегда плохо. Разговора путного тоже не получалось: в предчувствии расплаты еврей был скучен.

— Ладно, не обязательно пиццу, — попыталась Вика уйти от своей голодной судьбы, — можно рыбу. Есть что-нибудь дешевое из рыбы?

— Дешевых рыб не бывает, — ответил я и испугался своей грубости.

Наконец Вика решительно указала пальцем на первую попавшуюся затрапезную забегаловку:

— А давайте сюда зайдем, здесь очень мило.

— Это диетическая, — говорю.

«Диетическая, говоришь?» — прочитал я в их глазах, — «Ну, хрен с ней, давай диетическую». Мы зашли, обслуживали пацаны в кипах[1] и девочки в длинных юбках, оказалось, что даже пиццы в наличие, полусъедобные, взяли по пицце,

[1] Кипа — ермолка (*ивр.*), форма покрытия головы национально-религиозного лагеря.

голод не тетка, салаты, Вика с восторгом откопала какую-то китайскую травку, «сегодня ж Пост», ну да, я и забыл, что она соблюдает, и пиво. Вика спросила, понравилась ли мне рецензия, я извивался, пытаясь не задеть, потом Света спросила меня про мою раздвоенность, ну в смысле между Россией и Израилем, уж очень им после еды захотелось видеть меня раздвоенным, а я что-то жалкое бормотал о любви к русской церковной архитектуре. Потом вернулись в коммуналку, уже к одиннадцати, и тут уж от чая с пирогом, Леонидом Яковлевичем приготовленным, не отвертелись, даже винцо красное бухнули, в армии его зовут «молоток», по субботам выдают, и пьют его, терпкое, сладкое, только русские. Леонид Яковлевич, фронтовик, рассказал о мечте поехать в мае в Россию, на пятидесятилетие Победы, достал гитару («молоток» бил безотказно) и запел о дождях, пожарищах, о друзьях-товарищах, пел задушевно, но безбожно драл струны, тут бы, по Сорокину, самое время перейти к оргии с непременным отрезанием голов комсомолкам, но вместо этого я отнял у старика гитару и спел «Как-то по прошпекту с Манькой-таки я гулял, фонарик на полсвета нам дорожку освещал...» — вызывающе сбацал. И ревнивый Владимир Яковлевич гитару у меня забрал: «Очень сильно вы по струнам бьете, где я потом новые достану?» Я-то думал, что как встречу ее, повезу в «Александр», по первому разряду закусим, а там, может, что и обломится, а вышло все... постно. Подружка эта, блин, все поломала.

Да, в понедельник пригласила меня на ярмарку, у ее стенда стихи почитать.

11.3. Сегодня 26 лет нашему т. ск. браку.

Утром, глядя на солнце (встали рано, собрались на Кармель, прогуляться):

— Когда я была совсем маленькая, мы жили в Вильнюсе в полуподвале, и у нас были ставни. И вот я утром просыпаюсь, а кровать стояла под окном, и сквозь щели ставен, ставни были старые, прорывался солнечный свет,

и казалось, что сумерки надо мной проколоты солнечными саблями, и в них кружилась пыль, я называла это «солнечный снег»...

Когда мы едем куда-нибудь долго, она задирает ноги к ветровому стеклу, и распахивает. Юбка, конечно, взлетает, из проезжающих машин заглядываются. Аварию сделаешь, злюсь. Разбитые ступни крестьянской девки, кривые пальцы. Ствол ноги сходит к щиколотке, почти не сужаясь. А я люблю ногу беговую, с точеной узкой лодыжкой...

Гуляли с Мироном и Настей по Кармелю, по долине Алона, умиротворяет. Настя курит сигарету за сигаретой, а Мирон алкоголь из фляжки потягивает, очень в последнее время язвителен, раздражителен, желчен.

14.3. Вчера читал стихи у стенда издательства «Согласие» на ярмарке. Было с дюжину дам, с соседних стендов подошли. Читал с огоньком. Жена ревниво глядела, как я принимал скромные дары женского одобрения. А жена Вознесенского ей и говорит сочувственно: «Трудно быть женой поэта?» «А ваш муж тоже поэт?» — влепила жена по наивности. То-то было радости среди посвященных. Вечером пришло письмо от Берчика, тоже о книге. Я начинаю думать, что может быть, она действительно удалась?

25.2. Дорогой Ноша!

Получил твою бандерильку. Еще подумалось: «Э-ге-ге, тяжеленькая штучка…». Спасибо за книжку. Первым делом, как водится, проверил обложку. Поцарапал ее ногтем. Оказалась очень даже неплохой! Плотной и немного скользкой. Хороши также обе твои фотографии. Пишу обо всем подробно, так как знаю, авторы любят, чтоб об их штукенциях во всех, можно сказать деталях. Каждый штришок важен, знаю, знаю... Потому и несколько задержался с ответом — изучал превнимательнейше!

Сначала, уж не обессудь, об отрицательных моментах. Есть стиши, посвященные Гандлевскому, Фридману, Файнерману, тому даже несколько! А мне, который тебя, без преувеличения, с пеленок воспитывал, ни од-но-го! Обидно, понимаешь! Значит, никакого влияния не оказал? Но постарался отбросить личное и быть беспристрастным. И вот что я тебе скажу — понравился сборничек, понравился! А «понравился» — это главное, т.к. «вкусовщина». История, любовные переживания, впечатления от посещаемых мест, личное время (а старость — не радость), пестрят картинки, рябит воздух, контрапункт всему голова. Перебив в конце многих, выведен в прием, чувствуется, что ты сам доволен. Кое-что по горячим следам, пока не забыл, а что-то не успело отстояться.

Сообщаю тебе о крупном событии местной литературной жизни. Опубликовался тут намедни мой рассказик в «Октябре» за №12. Москва, сам понимаешь, гудит. Получил даже гонорарчик в 50 ам. дол. При случае переправлю вам экземплярчик.

Озрик традиционно темнит, имею в виду его предполагаемый отъезд. Все зависит от мамы. Но думаю, что «процесс пошел». Так что в недалеком будущем в вашем полку прибудет, а в нашем взводе убудет.

Спасибо за приглашение. Конечно, хотелось бы подъехать, но неизвестно пока, как сложится, надеюсь на приличную литературную премию. Не думаешь ли ты снова в первопрестольную? Глядишь, и новая книженция образуется.

Давно не было известий от нашего друга Портоса. Пожури его при случае, как следует, пожури.

Привет всем домашним.

Пиши. Обнимаю. Дядюшка Бо

15.3. Старший нанялся переводчиком к группе русских телохранителей, проходящих здесь курс обучения у израильской военщины. Работают на крупную финансовую

структуру, хозяин — еврей. Подружился с ними, совершенствует русский: «Да я три года в зоне миской брился!» «Начальник у них, Федорыч, лет под пятьдесят, они все к нему уважительно: доброе утро Федорыч, такой шкаф с пробитой башкой, стриженный, я думал уголовник, а он полковник КГБ, бывший».

Да, теперь я понял: героизм — это театральное действо. Оно возникает в отчаянных ситуациях, когда конвенциональные средства жизни исчерпаны и выход только в средствах искусства. И тогда герой выходит на историческую сцену, как на театральную, и приносит себя в жертву для того, чтобы народ кончил от «катарсиса».

16.3. С ранья завелся: поехал в банк, снял деньги, потом к Сегалю-электрику, оставил ему машину, карбюратор почистить, от него — пешком до автобусной остановки, дождило, от Центральной автобусной станции двинул на Аленби, зашел в «Машбир», отоварить билетики на 100 шекелей, подаренные к Пасхе горсоветом, рубашку присмотрел симпатичную, брюки и спортивные штаны, а в кассе выяснилось, что билетики-то в «Шекем» (почему я решил, что в «Машбир»?[1]), можно было, конечно, бросить все, но рубашка приглянулась, да и штаны пора менять, поизносились, в общем, выложил кровные, пошел по Аленби дальше, заглянул в «Стемацкий», стал книги набирать, но опомнился, взял только «Дневники» Троцкого, записал названия остальных, для Иосифа, потом завернул в тупичок, где секс-шоп, мыслишка была накупить хуёчков и фильмец позабористей, для поднятия духа, но чой-то не решился зайти, потом позвонил Гольдштейну, стал в гости напрашиваться, на улице ветер свирепствовал с порывами дождя, к тому же он мне «Сентиментальное путешествие» должен был, но Гольдштейн идею визита отклонил, бере-

[1] «Шекем» и «Машбир» — израильские торговые сети.

жет логово, а погулять согласился, мы встретились у здания Эль-Аль, перед этим я зашел к Сове, он сидел в милицейской фуражке и лопал суп из армейской миски, как три дня не евший, брызгая на книги, седые редеющие космы были распатланы и падали в миску, борода в капусте, напомнил Зюса после пары недель правильного питания, тоже, зайдя в гости, в щи зарывается, зашли еще двое, рассказали анекдот (про Прокофьева?), как его алкаши пригласили на троих сообразить, и он согласился с горя, а потом, когда «а попиздеть», спросили, кем работает, он говорит: композитором, ну алкаш и говорит ему: не хочешь — не говори, посмеялись, а у меня похожая была история, я на бензоколонке черножопому одному врезал, ну не так уж прям врезал, но, в общем, стушевался черножопый, нехуй поперек дороги машины ставить, плечики у меня крутые, череп бритый, усы как у Стеньки Разина, так что вся бензоколонка, а там одни русские, зауважала меня, один из них, не в тот раз, а потом, немного заискивая: а ты чем, говорит, в жизни этой занимаешься?, я говорю: стихи пишу, ну, он и заржал, хорошая, говорит, шутка, ладно, не хочешь — не говори; так вот, зашли мы с Гольдштейном в тесную забегаловку, ветрище дул жуткий, взяли по кофе с круассаном, отдал он мне «Сентиментальное путешествие», я стал соблазнять его поставкой дешевых книг от Иосифа и список подсунул, он клюнул, Шелера отметил, Манхейма, Вебера, поговорили о книжной ярмарке, о Кибирове, который на поэтический фестиваль приезжает, о Кибирове было высказано нелестное предубеждение, также и о «Трепанации» Гандлевского (бросьте вы эту трепанацию!), я, соглашаясь с его оценкой, не преминул похвастаться старым знакомством и тем, что еще в рукописи имел честь, потом, по дороге в «Шекем» на Ибн-Габироль, мысль отоварить билетики не оставляла, увлеклись рассуждениями о дневниково-мемуарной прозе, как, быть может, единственно возможной сегодня, он признался, что сам пишет подобное, я признался, что тоже, и тут же возникла неизбежная насторо-

женность, не прочитаем ли мы друг о друге через некоторое время в прозе, причем нелестное, тем более, что говорилось о том, что проза такая обязана быть откровенной до беспощадности, умной, чего там еще? не помню, мелькали имена Розанова, Лимонова, Айгорна (а, вот, вспомнил: культурно оснащенной), тут я ему и про свою книжку ввернул, давно дожидался момента, но он отреагировал вяло, видать, она его не вдохновила, на Дизенгоф прошли сквозь поток людей — карнавал, Пурим у нас, распогодилось, карнавал вблизи выглядел жалко: тесно, замусорено, а главное, как-то озабоченно, не радостно, у «Шекема» расстались, и я пошел туфли поглядеть, но обувной отдел у них закрыли в связи с переучетом, двинул пёхом до улицы Шауля Царя, там уже отстроили торговый центр после пожара, но секс-шоп исчез, полчаса ждал автобуса, а в автобусе оказался рядом с боевым мужичком лет за 70, он все косился на портреты вождей в «Дневнике» Троцкого, «дай посмотреть», попросил, заговорили о Троцком, Сталине, о Великой Войне, даже по-русски он пару слов вспомнил, я спросил его, не из коммунистов ли, уж больно сведущ в политике, хас ве халила, говорит, мол, не дай Бог, я сионист, и понес про ячейки в Польше, как они с коммунистами воевали, а когда в СССР бежали и был приказ всем беженцам явиться для регистрации, коммунисты все явились и загремели в лагерь, а он с друзьями не пошел и этап миновал, знал он с кем дело имеет, ну и другие подвиги рассказал, потом Бегина дураком обозвал, с чем я охотно согласился, хотя и понял уже, откуда ветер дует: МАПАЙ аисто́ри, боевики рабоче-крестьянские, не преминул спросить, как он нынешнюю ситуацию оценивает, за это ли боролись, кандалами гремели, махали шашками? Нет, мужик железно верил в извилистый курс родной партии, разволновался, кричал, что правые народ запугивают, а мы сильны, как никогда, в конце пути злобно пожелал мне крепкого здоровья и долгих лет жизни, а я от конца ул. Соколова, через район коттеджей, дотопал до Сегаля-электрика, заплатил ему 165 сикелей за чистку

карбюратора и новую пластмассу на задний фонарь, уселся в свой верный «Форд» и — домой. Вечером супруга должна была из Иордании возвратиться.

18.3. Анита пишет о военно-патриотическом воспитании молодежи в начале сороковых годов на мифе о Масаде. Мол, когда в 42-м Роммель наступал в Ливийской пустыне, и евреи обсуждали что делать, если немцы ворвутся в Палестину: эвакуироваться с англичанами или, окопавшись на горе Кармель, дать гадам последний бой, тут они и вспомнили рассказ Флавия. Когда я в отрочестве собирал по крупицам историю евреев (Фейхтвангер, энциклопедии, разрозненные тома Ренана, Греца, Дубнова, добытые в причудливых приключениях), с замиранием духа, как историю тайного ордена, к которому принадлежу от рождения, миф о Масаде мне нравился меньше других, я сомневался в героичности массового самоубийства, недоумевал, почему мечи были направлены на себя, а не на врагов? В фильме Монти Пайтона «Житие Брайана» есть эпизод: группа еврейских «революционеров-комикадзе» (да-да, именно «к***о***микадзе»!) несется к месту казни соплеменников, римская охрана разбегается, распятые радостно ждут освобождения, но отряд, приблизившись к крестам, синхронно кончает жизнь самоубийством. Командир при этом объявляет, что они отряд самоубийц во имя освобождения от римского ига, вроде пародии на Масаду. На днях покончил с собой замминистра обороны и бывший начгенштаба, был болен раком, средства массовой информации изогнулись в благостной скорби, и ни одна сука не сказала, что генерал, покончивший с собой на посту (в разгар битвы за мир!), потому что он смертельно болен, просто засранец. Уходи в отставку, тогда и стреляйся сколько угодно.

Героизм — это жест, эстетский жест.

Вчера возил Вику и Свету в Тверию, по иисусовским местам.

20.3. На ярмарке познакомился с Таней, она редактор самого интересного в Москве журнала, и с Олей, вольной издательницей. Думал их тоже взять в Тверию, но наткнулся на дипломатические трудности и вовремя догадался, что лучше общаться с каждой в отдельности, если хочешь дружить со всеми. С Таней и Олей мы мило посидели в кафе Синематеки, девочки расслабились, Оля, крупная, деловитая, оказалась разговорчивой, рассказала, как ее дважды чуть не изнасиловали в подъезде, шубу порвали, я тут же вспомнил анекдот про знаменитую певицу, которая прибежала в театр растерзанная и рассказывает, что ее трое хулиганов поймали в подъезде, говорят, спой, а не то выебем, ну?! спросили хором в театре, а вот хрен я им спела!, но поостерегся рассказывать, Оля была натурально взволнована, продолжила про мамашу, как ее тоже чуть не изнасиловали, топором чуть не зарубили, случай спас, в общем, какая ужасная у них жизнь, и как она была в Германии и в Соединенных Штатах, и как там было чудесно. Пейзаж за окном, выходящим на Адскую Долину — над ущельем Геенны нависали стены Иерушалаима и окрестных монастырей — навел на легкий разговор о Булгакове, о русско-еврейских культурных узлах, Таня больше молчала, она мне нравилась, в ней не было наигранности, взвинченности и на все хватало ума. Погуляли по Старому городу, который мне порядком поднадоел в последнее время, фотографировались, потом я их развез по домам. А сегодня договорился встретиться с Таней на Алленби, перед этим у нее был с Гольдштейном аппойнтмент, он собирался передать ей какие-то материалы. Спросила, не возникнет ли неловкость, если разговор ее с Гольдштейном еще не закончится к моему приходу? Я уверил, что ни в коем случае, наоборот, я и Сашу рад повидать. А будет ли он рад, она из деликатности не спросила. Когда подошел к месту встречи, они еще беседовали. То есть Гольдштейн что-то взахлеб, с необычным для него возбуждением, говорил о литературе, а Таня смотрела по сторонам и кивала. Я по наивности

думал, что он теперь откланяется, но он думал иначе, и началась игра, в которую я больше всего играть не люблю: кто кого пересидит. Так четыре года назад, в Москве, настроившись трахнуть Милу, сразу приглянулась мне под дождем, в сверкающем черном плаще, стройная, пришел к ней с дефицитной закусью и обнаружил за столом на кухне «старого друга», крепкого парнишку лет тридцати, в кипе, «сейчас уйдет» шепнула мне Мила, ну, я ждал, ждал, всю мою закусь, гаденыш, слопал, и армянский коньяк выпил, и все вроде за сионистскими разговорами (Мила собиралась уезжать и занималась в моей группе ивритом, а «друг детства» тоже как бы интересовался), в результате я озлился и ушел, а в следующий раз, ну да, простил ее, нарушая все правила, уж очень хотелось, снова, значит, договорился, набрал закуси, поперся, только разложил все товары — друг детства звонит, да не по телефону, а в дверь, меня как однополчанина привечает, опять к закуси тянется, и опять мы сидим-сидим, а на дворе комендантский час, этого несчастного ГКЧП, она говорит: ну что ж, будем както устраиваться, тебе я тут постелю, тебе — тут. Ну уж нет, говорю, я пойду. И ушел. Бешеному коту и комендантский час не указ. До дому добрался кое-как, пронесло. Два собакевича подкинули, обсуждали по дороге, сколько стоят щенки бульдогов, доберманов и «афганов». Потом она мне звонила, объясняла, жаловалась, что он «всегда так», друг детства этот, следит за ней, а когда развелась, так чуть ли не каждый день приходит, но, как мудрый русский народ говорит: кого ебет чужое горе? И пошли мы все втроем, чуть ли не рука об руку[1], через старый Тель-Авив, а он по своему примечателен, есть всякие домики с завитушками, на что я и пытался обратить внимание высокой гостьи, но Саша все жужжал ей про какие-то рукописи, вот не взяла бы, вот не почитала бы, зашли в «Сюзан Делаль», сели кофе

[1] Перифраз стихов А. Галича: «И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, / И пришли мы с ней в “Пекин” рука об руку…».

попить. Тут мы с Сашей наперебой стали ей ученость свою показывать, я толдычу любимую концепцию обреченности еврейского государства в силу отсутствия института жертвенности в еврейской цивилизации, начиная с мифа об Аврааме, а значит она, цивилизация эта, антигероична, а значит антиэстетична, а значит и антигосударственна, государство — это форма, а не функция, а значит и обречена. Что жертвенность есть некая глубинная составляющая человеческой психики, и что Христос пытался вернуть евреев к жертвенности и что из этого евреям вышло, а Гольдштейн про большевиков толкал, об их пафосе преобразования мира и человека, о том, что их революция была ницшеанской, а не социалистической, что они великую цивилизацию создали и великое искусство, и что родись он тогда, конечно бы стал большевиком. Тане наши крайности не понравились, она сказала, что большевики — это ужасно, и углубилась в семейные исторические предания, а меня, когда особенно вдохновенно катил на евреев бочки, пристыдила: «Наум, не грешите», кругом была тишина, пустынное утро рабочего дня, уютное кафе, вдалеке море, и я подумал, уж не переборщил ли в самом деле? Потом мы пошли к морю, Гольдштейн все зудел, не закрывая рта: а вот почему про этого не напишут?, а вот есть ли об этих материалы?, а вот хорошо бы про тех вспомнить и сопоставить, Таня ему: ну вот и напишите, и сопоставьте, Гольдштейн все повторял рефреном, видимо, ужасаясь собственной смелости, что ему уже пора, что его ждут, но все не уходил, на рынке Кармель мы застряли, Таня искала себе дешевые туфли, купила, мы вышли на Аленби, и я завел их к Сове, там сидел в уголочке Илюша Бокштейн и читал, мы поздоровались, Илюша спросил, это твоя жена? я сказал: «нет еще», это был резкий выпад, пан или пропал, Таня поперхнулась, натужено пошутила, что, мол, вот улетать скоро, а то б непременно, ага, думаю, попал, инстинкт еще не отказывает, и уже вообразил себе как в Москву приеду и... Перезнакомились, Сова мне альбом Мессерера подсунул,

шикарный, Илюша показал Тане свои «Блики волны», она заинтересовалась, особенно его рисунками, почерком, сказала, что они готовят материал по визуальной поэзии, стала книжку выпрашивать, но Илюша не дал, последняя, взамен сел ей стихотворение сочинять, она листала книжку и отмечала понравившиеся страницы с рисунками, я писал номера страниц, обещая сфотографировать и послать, Гольдштейн поглядывал на часы, и вдруг, Илюше, эдак начальственно-раздраженно: «Ну, скоро там у вас?!» Я поразился:

— Саша, да вы что?! Какое грубое вмешательство в творческий процесс?!

Гольдштейн смутился и засмеялся:

— Да, действительно, самому смешно.

Тем временем и мне пришел срок откланяться. Таня возвращалась в Ерушалаим. Я сказал, что завтра, может, приеду, на Кибирова. Нет, сказала, Кибирова я, пожалуй, пропущу, а вот в четверг будет на Штраусс 17 семинар с русской кафедрой, приходите. Ладно, говорю.

Страшный сон приснился: дал я Володе почитать дневниковые эти разудалые стриптизы, а он вернул, рот кривя брезгливо, и слова-то не сказал, а ясно стало, что чушь, и так «плохо» стало, стыдно до тошноты, что я проснулся в ужасе, можно сказать в холодном поту. А на часах ровно три. Так и не заснул до утра.

Вчера под Хевроном обстреляли автобус: двоих убили, есть раненые. Ося Сарид говорит: это нас не остановит. Вас и не собираются останавливать, вас просят поторопиться.

Поселенцы к Рабину обращаются, как русские мужики к царю-батюшке. А он по собственному признанию готов пожертвовать меньшинством (тем более политическими противниками), ради большинства.

21.3. Роман-дневник должен быть романом созревающего для самопожертвования. Но мне ближе хроника. Хроника — дитя нашей робкой жизни, где, конечно же, нет и не может быть места подвигу. Подвиг — удел божественной нищеты духа. Блаженны нищие духом, ибо они войдут в царствие небесное, жертвуя собой.

Барух Гольдштейн, Барух Гольдштейн, ты совершил немыслимое! И не печалься, что будто кануло все и растаяло. Чтобы сдвинуть духовную массу нации, нужно отдалиться от явления на десятилетия, чтобы оно обрело мистический смысл. В твоем подвиге есть все компоненты такого смысла: место, время, способ и результат. Распятие Христа мало кто помнил, пока Павел не провел энергичный маркетинг и не превратил евангелия в бестселлер. Должно прийти Слово и дать явлению вечную жизнь.

Евангелие от Гольдштейна. Евангелие от мести. Опять через евреев дать новое, жестокое Благовещение миру. Вот бы Господь сподобил...

24.3. Стиральная машина стучит, как пулемет вдалеке. Мама смотрит «Санта Барбару», иногда переключает на Шумейко в Думе. Расстроилась, теща ее достала, выясняла, куда пошли, мол, мама не хочет ей говорить: да я не знаю, я никогда не спрашиваю, если им надо, они сами говорят, как это вы не спрашиваете, возмущалась теща. А мы ходили Клёпу выгуливать в наш Хулонский лес. Утро прохладное, облака скопились, обещают дождь. Народу никого, жена радуется на цветы, да, цветет все, шиповник распустился, белый, розовый, пурпурный, «смотри, «анютины глазки»!, я обожаю «анютины глазки»!, как бабочки наколотые, посмотри, такие бархатные, посмотри!, ну а-балдеть! деревья цветут! ну прям рай неземной! когда мы приехали, как раз весна была, я послала Асе, она тогда была беременна, эти цветы, написала ей: «Ася! Здесь деревья цветут!», а это, посмотри, какое чудо!»

— Это что, — спрашиваю, — ромашки такие огромные?

— Нет, это не ромашки, похоже на астры, и цвет мешагеа (умопомрачительный.)! Смотри, колокольчики! Целое поле! Как красиво! А посмотри, деревья какие, будто ракушками облеплены, я думала это грибок, а это кора такая, прям целые рога из коры, почки красные...

Потом мы побрызгали Клёпу от блох, и она каталась по траве, носилась, толстая, пышно-кудрявая, как медвежонок.

Перед выходом позвонил Тане, чтоб ниточка не прерывалась, вчера-то я не доехал, так может в воскресенье что-нибудь образуется (убрал звук в телевизоре, мама все равно на кухне), а у нее идея, еще смутная, сделать номер журнала посвященный 3000-летию Иерусалима, вроде «Иерусалим в русской литературе», я говорю, ну, может и нам, смертным, место найдется, может быть, говорит. А вечером я собрался поехать на этот семинар, совместный с «русской» кафедрой, но позвонила Вика и сказала, что она тоже там будет, и мне расхотелось ехать, опять нужно было раздваиваться, а я дико устал после работы и педсовета, сплю по-прежнему плохо, да и намотался в Ерушалаим в последние дни, в общем, расхотелось тащиться, позвонил Володе, он говорит, что собрался на фестиваль поэзии в театр Хан, там «все должны собраться», а потом планируется пьянка с Кибировым у Даны, ну, это я не мог пропустить, пустился в путь, торчал по дороге в пробках, на семинар так и так опоздал, поехал к Володе, он открыл не сразу, в салоне сидела длинная девица беспризорного вида, лет двадцати, впрочем, я в таком возрасте уже путаюсь, как в молодости не чувствовал возраста «стариков», они «подкуривали», из динамиков плыл балдежный писк и птичьи крики, «хочешь курнуть?» спросил Володя, не, говорю, я уж так как-нибудь, помру, не отведав, уж извините, ежели смущаю своей девственностью, нет, говорит Володя, все в порядке, они передавали друг другу самокрутку, Володя

качал головой, балдежная музыка скреблась-цокала, обмыли кости Кибирову, который Володе резко не нравится, слишком просто, говорит, я так нахожу его весьма изобретательным, какая нахуй изобретательность! возмутился Володя, Волохонский — изобретателен!, ну, не скажи, человек километрами гонит и все преловко, только сплошная ирония угнетает, девица, заскучав, свалила, а мы поехали в Хан, по дороге досталось «скользкому» Гольдштейну, «невыносимому мудозвону» Генделеву, только о Дане он отзывался тепло, оставили машину на стоянке у Синематеки, в театре собрался уездный бомонд: известные поэты, красивые женщины, пресса, Дана была в бархатном черном, с декольте театральным, хоть слюну глотай, вела беседу с нежной красоткой славянского типа, оказалась польской поэтессой, Дана представила Некода: «Мой муж, художник», «А мой муж тоже художник», — нежно прожурчала по-русски полька, а тут и сам «тоже» подплыл, молоденький, востроносенький, а поэтесса-то, полечка — пепел и алмаз, век свободы не видать, но никто мне на шею не бросился, и мы вышли с Володей в фойе, он приладился к наушникам послушать запись Лескли, который в прошлом году умер от спида, великого санитара джунглей, и вдруг налетел кто-то, чуть с ног не сбил: «Нёма?!!», и на шее повис — Зуся! —, обслюнявил всего, еле осадил его, пытаясь унять восторги. «Вот здорово! Вот это встреча! Вот неожиданность! Давай потом встретимся!». Я пробубнил что-то невнятное, а его уж и след простыл, ускакал, растворился. Зашли в зал, народу битком, с полтыщи, первым читал Арон, показалось, что он перегибает со всеми этими «хуями» и «жопами», да еще фекальные элементы добавил, завоняло жалкими потугами на эпатаж, впрочем, некоторых девиц еще задевало (одна, сморщившись, шепнула соседке: «йихса, магъиль!»(фу, противно), не, все-таки жопа — это узкий жанр, впрочем, как и ирония. Потом выступил араб, такой лондонский араб, английский почти без акцента, из Йемена, весь был закутан в белейший саван, читал по-

английски и по-арабски. Артист. Напомнил Бокштейна. Кружил по сцене на манер дервиша, махал белыми рукавами, маленький, а голос зычный, он его искусно модулировал, изображая то шепот пустыни, то базарный крик, то материнскую колыбельную, «война, как невеста, что ждет тебя, рыцарь…», о Мекке выл и Дамаске, и вдруг стены пали, и я увидел, как корабли плывут в Константинополь, а поезда уходят на Москву, и мы не в осажденной крепости, а на странном перекрестке, где ветра мира встречаются и спорят друг с другом, и пусть страшно тут, ненадежно, пусть и обречено все, а что и где вечно? — гуляйте, войте ветра, пойте свои песни... Араб этот оглушил, увлек, и все остальное можно было уже не слушать, но мы еще по инерции посидели, еще сексапильная израильтянка читала, хорват из Сараево, чех Голуб, израильтянин из Англии вещал смешное, народ смеялся, потом еще одного арабуша объявили, местного, тут мы с Володей отчалили: пьянка с Кибировым отменялась: его опекал Генделев и они не пришли. Володя захотел, чтобы я заехал к нему и почитал последние стихи, я был уж почти в отключке, но поехал, по дороге он сокрушался, что Дана действительно важничает, что года через полтора и руки ему не подаст, раньше, подлил я масло в огонь, нет, возразил он, она меня очень ценит, очень ценит мои тексты, много говорил о ней, уж не влюблен ли, такие павы важностью да недоступностью вожделение дразнят, как-то, давно уже, он удивил меня интересным предложением, мы сидели в кафе, и я жаловался ему на угнетающее мещанство жены, а он вдруг: одолжи мне ее на некоторое время, я ее перевоспитаю, я даже испугался, представив себе это перевоспитание, болт у него, доложу я вам, дай Боже, рекомендую. Генделев тоже подъезжал, слюни пускал — глаз не сводил, в наглую, я говорю: ты что, с супругой нашей познакомиться хочешь? он губки трубочкой сложил и сладенько так: «Хочу-у». Ну, познакомил я их, и почувствовал, что взволновалась супруга, ох, взволновалась. Тянет ее на темпераментных, как меня на

хромоножек. В общем, с этими поэтами только зазевайся. Стихи были в новой для него манере: короткие, в одну, две, три строки, стихи-касания, это был недурной ход, мне понравилось, не скрыл одобрения, его раздуло от гордости, но я и «прошерстил», не отказал себе в удовольствии, на удивление он мирно воспринял, даже кое-что согласился исправить — небывалая уступчивость. Потом мы чайку попили с финиками, тут вдруг Дана позвонила: почему он ушел, даже привет мне передала, а может у них роман? К часу я вернулся домой и долго не мог заснуть, к тому ж живот воротило, не с фиников ли?

А во вторник я поехал с супругой на Кибирова. В библиотеку Форума. Я-то думал в воскресенье поехать, послушать его на фестивале, позвонил Вернику, может вместе, но у него занято было, позвонил Барашу, Бараш сказал, что не пойдет, 50 шекелей платить? Чтоб послушать коллегу? Безобразие. В эСПэ всегда пропуски давали, тут Генделев обещал чего-то, или скидку... Верник? А ты что, не знаешь? Ира очень тяжело больна, в больнице, какие-то энцефалитные осложнения, вообще боялись за нее, но сейчас вроде лучше. Я стал звонить Вернику. Дозвонился. Да, Ире немного лучше, но он сам приболел, температура 38, и дочка еще заболела. В общем, обвал. Ну и сказал про вечер в библиотеке. Маленький зальчик был набит битком, человек 80 втиснулось. Увидел Бараша, Игнатову, Беззубова, Добровича, посол Бовин примостился в углу, согбенный, с палочкой между колен, старый, больной и печальный человек, Вайскопф взял на себя вступительное слово, Каганская в первом ряду, Вайс кивнул мне, Даны и Малера не было, Тарасов не собирался, много молодежи, атмосфера праздничного ожидания, явился Генделев, он теперь всегда появляется, как главное лицо, когда все уже собрались, Вайскопф тут же ретировался из президиума, уступив ему место, Генделев уверенно мямлил, мол, ну что ж, надо что-то вам сказать, вот я вам и скажу, что у нас замечательное событие,

приехал живой поэт, обычно к нам являлись посмертно, говорил долго, народ стал переглядываться, наконец Генделев речь свернул и отдал микрофон гостю. Кибиров, он похудел, держался уверенно и непринужденно, уже в ореоле славы, читал длинные иронические поэмы, эпический соцарт, юмор изобретательный, каскадами, слушается весело, публика «понимающе» смеялась, но слишком много цитат, слишком много иронии, и опять, как у Гандлевского, благожелательные упоминания своих, прежде всего Гандлевского, пинки Евтушенко, он у них вроде пажа для порки, Рождественскому, тут перегнул, обсмеял физический недостаток, заикание, потом пошел лягать во все стороны, досталось аж Кугультинову, Черненко, все это было уже неинтересно, прочитал одну попытку «серьезного»: лирическое стихотворение, даже любовное, описание акта, метафорически-импрессионистическое, но не выдержал «высокой» ноты, сорвался в «клубничку», и тут же, будто почуяв промах, вернулся на вираже к привычной иронии. А вообще, по легкости-ловкости, даже виртуозности, по количеству, чувствовалось явление, настоящий гений версификации... В перерыве протиснулся к нему, он беседовал с Каганской, курил, еще какие-то бабы при барыне толкались, напомнил ему о себе, да-да, конечно, помню, к вам еще собака моя все приставала, да, Сережа просил передать вам его заметку о вас для «Ариона», где-то она у меня была.., наверное, в номере оставил, но мы с вами еще встретимся? Сережа? ничего, денег нет, вот проблема, крутимся… У духовной матери русской общины сделалась недовольная физия, мол, путаются тут разные, бабенки поднажали, и я не стал с ними толкаться у тела, а Кир Бюратор, как его на той пьянке Рубинштейн обозвал, крикнул, что позвонит, Сережа ему дал телефон. На ступеньках у выхода толпились, курили, обсуждали, поздоровался с Гольдштейном, Вайскопф извинился, «я не смог тогда прийти на ваш вечер», «ну ничего-ничего», говорю, Генделев тоже извинился, чего это они, пришлось и его утешить. Кибиров второе

отделение не затянул, в «самозабвение» не впал, Гольдштейн остался брать у него интервью, перед этим Каганская провела с ним «летучку», давала наказ: замечательно, давно такого чудесного вечера не было, Гольдштейн неопределенно покачивал головой, народ еще толпился, обсуждая, уходить действительно не хотелось, но обсудить оказалось не с кем, пришлось с женой, на обратном пути.

А в среду мы с Левиками и Маликами (Мирон носил царскую фамилию Малик) пошли на последний фильм Альтмана «Одеть что-нибудь», вообще-то я суетливость и гротеск не люблю, но тут возникло ощущение яркокрасочной, бессмысленной феерии жизни, жизни — как фестиваля мод, когда каждый выходит на ее сцену чтобы себя продемонстрировать и на других посмотреть. Потом зашли в «Александр», сожрали по салату и винца выпили, а на обратном пути прогулялись до галереи Амалии Арбель, там должна была быть выставка китайских художников, современных, но никаких объявлений не было, улица была пустынна, жене улочка понравилась: «Прям Барселона!»

25.3. Ночью шел сильный дождь, налетал порывами, даже с градом, резко похолодало. И утром (где-то с пяти я уже не спал) холодный ветер бил в щели штор и белая сетчатая занавес с нехитрым узором стояла под углом к окну, как парус, и трепетала. Я залюбовался ее лицом в сумраке утра, она потянулась, не удержался и обнял ее, поцеловал, «опять…», закапризничала игриво, «прям какой-то замкнутый круг…». А потом, мечтательно глядя на плывущую в воздухе занавесь: «Когда утром за окном дождь... — это и есть счастье».

Вчера было интервью Рабина по ТВ. В отрепетированный момент у него затряслись в злобе губы: «Ликуд в союзе с Хамасом и исламским Джихадом пытается свалить правительство. Он действует с ними заодно». Телеведущий

Сегаль аж завернулся винтом и, наклонившись к Рабину вплотную, почти шопотом, испуганно заворковал: «Зе хамур меод ма ше ата омер!» («Ты ужасные вещи говоришь!») Но Рабин закусил удила: «Да, они заодно, Хамас убивает евреев, чтобы Ликуд поднял бучу и свалил правительство». Сегаль стал оглядываться.

В главе «Масада[1] — миф героизма» Анита Шапиро явно злится на героизм и выносит ему приговор: «Масада и Тель-Хай[2] закончились поражением. «Ничтожества, хотят напугать народ героизмом, мол, он ведет к поражению, будто не понимают, что суть героизма не в победе, а в жертве. Победа — жалкая радость смертного. Героизм трагичен, а посему бессмертен. Иди, объясни это благовоспитанным кретинам с мозгами засранными слюнявым гуманизмом.

«Когда немцы наступали в Египте и англичане готовили планы эвакуации Палестины (им-то было куда — в Ирак), перед Ишувом (поселенцами) встал вопрос: эвакуироваться? сражаться? остаться и покориться? Были в Ишуве такие (кто же интересно, что за обобщения для историка?), что считали, как и лидеры еврейства в Европе, что немцы захотят воспользоваться производительной силой Ишува, и, если только евреи будут прилично себя вести и не станут устраивать провокаций, они переживут и немецкую оккупацию».

Но у «активного» течения в социалистическом движении, как она пишет, не было иллюзий на счет немцев (а вот на счет арабов — сколько угодно!), и стали появляться «идеи последнего боя». 5-го июля 42-го года на Совете кол-

[1] Масада — крепость на крутой скале над Мертвым морем, героическую оборону которой от римлян описал Иосиф Флавий, с тех пор символ героической стойкости.

[2] Поселение в Верхней Галилее, где в 1920-ом погиб Иосиф Трумпельдор, символ героической стойкости первых поселенцев.

хозного объединения в Эйн-Хород Галили потребовал «проявить еврейское национальное достоинство и не погибнуть с позором», Берл[1] сетовал в своей книге, что «еврейский героизм не существовал в течение поколений». Анюта, конечно, замечает, что это была «не лучшая книга Берла», и что «обычно он отличался более тонким вкусом», что он пытался провести водораздел между «трагическим героизмом евреев Галута» и «победным героизмом на родине, образца Тель-Хай». Что ж, он был пропагандистом, а не философом, пусть себе проводит водорозделы, но героизм всегда трагичен в личном плане и всегда победоносен, то есть вечен, в родовом.

«Перед лицом возможной немецкой оккупации побледнели все рациональные соображения, настал час истины, когда Ишув был призван оставить расчеты и соображения стоит — не стоит, а встать лицом к лицу с еврейской судьбой». Это должно быть крайне неприятно стоять лицом к лицу со своей беспощадной судьбой. Евреи таких противостояний не любят. А в теплой печурке виться[2]?

В героизме есть восторг прорыва в трансцендентное, восторг, должно быть, испытываемый актером перед выходом на сцену, если это смелый актер. Но евреям этот восторг чужд. А русским не чужд. И арабам, видно, не чужд.

Саша Гольдштейн возражал, когда мы спорили, что арабы-«герои» массами сдавались американцам во время битвы в Заливе, но дело же не в том, что арабы, или русские — герои, а в том, что они героизм любят. А евреи не любят. Анита так очень не любит, считает, что от него все беды, от его нерациональности. Это военно-патриотическое воспитание на примере Масады в конце концов выводит Аниту из себя: «В 1945-м комсомольские вожди перегнули по части про-

[1] Исраэль Галили и Берл Каценельсон — видные деятели социалистического сионизма.

[2] Перифраз песни времен Великой Отечественной войны «Вьется в тесной печурке огонь…»

славления Масады... Ведь они знали, что на самом деле народ давно забыл Масаду и в памяти о ней не нуждался в течение поколений». Вот, блин, знаток народа.

Солженицын вещает по ТВ, пугает Россию гибелью, и физической, и духовной. Может и по делу пугает, а уж страсти не занимать, но звучит нелепо. Вот была, говорит, великая русская литература, ну, если отбросить там революционных демократов, всяких вырожденцев и т.д., а сейчас — нет, вся вышла, и не удивительно, время такое, во время революции тоже ничего не писали (?!), Бунин только дневники писал, и все. И вроде смешон своими гневными проповедями, но есть в этом отчаянии что-то пугающе понятное, близкое... Болит, болит, я знаю... Наш брат, правый. Кто-то его русским Хумейни назвал.

23.3. Позвонил утром Тане, попрощаться. Обрадовала, сказала, что книжка ей понравилась, что скачок по сравнению с предыдущей. Так что, говорю, может, и на рецензию могу рассчитывать? Можете.

Вот это было бы славно, это был бы прорыв.

Вчера были у Марика, думали — так пригласил, а оказывается — тезоименитство. Были однокашники, и по школе и по консерватории, сослуживцы из оркестра, много хорошей выпивки и музыкальных историй: «…отдал я ему халтуру в Бейт Лесине, играли они Баха, и где-то с середины скрипач на два такта вылез, так они и доиграли, а В., ну ты знаешь В., так он сидит и с каждым сбоем тихо и в такт: «еп-твою-мать... еп-твою-мать», «…а в Баку тогда Хейфец приезжал, Пятигорский, и у них тоже, ну Хейфец уже старик…», «…а мы тогда играли квинтет, а певица была из Армении, а ударник вылез и всю первую половину обосрал, а Ж. все ждал, так нервничал, что во второй половине не выдержал и тоже вылез, уж я не знаю, как мы доиграли, а певица, когда кончили, публике поклонилась, и нам — сволочи! — смачно так, с армянским акцентом», все с хохо-

том. Потом про вина пошел разговор: «...мы как-то во Фрейбурге давали концерт, и нас повели в местную знаменитую винодельню, один такой маленький аккуратненький немец водил нас по подвалам, давильни показывал, бочки, потом привели в дегустационный зал и стали в стаканчики с такой красной полоской наливать всякие их разные «букеты», полагалось глоток-другой сделать, а остальное в такой большой кувшин посредине стола вылить, ну, к концу кувшин уж был полон, а мужичек этот все спрашивал, ну, как этот букет, а как этот, а у нас было в оркестре несколько, которые не любили, когда им полный стакан не наливают, да еще допить не дают, так они в конце этот кувшин с опивками взяли, взболтали, и на троих разлили, старичек посинел, удрал, даже слова не сказав» (хохот); а от вина перешли к ностальгическим воспоминаниям: «а вообще, в России, конечно, другая совсем публика, вот мы поехали как-то в Петропавловск-на-Камчатке, а оттуда нас еще повезли на автобусе, где-то сто километров, в деревню Елино, ну думаем, ё-ка-ле-ме-не, только б не убили, так ты не поверишь, в ихнем клубе битком было набито, человек 300 собралось, и как слушали! какое-то ё-ка-ле-мене Елино..»., « а раз мы в Якутске играли, за окном минус 50 градусов, форточки открыты, и такой, как клок ваты здоровенный у каждой фортки торчит и не двигается, и полный зал, а главное ведь понимающий народ, откуда?.., «а раз в Магадане звонят: на корабле вы не могли бы концерт дать? а где корабль-то? да тут рядом, километров 500 от берега, ну говорю, вот как причалит, тогда — звоните…», в конце о торте кто-то сострил: «торт «Отелло», ты к нему вечерком с любовью, а он тебя ночью душит».

27.3. А может удрать в Америку? И стать, наконец, настоящим евреем, скитальцем. И член на старость лет обрезал, чтоб стать евреем до конца. А то и в Россию вернуться. Хотя это пугающий вариант. Ведь, в сущности, я не из сионизма уехал, а от страха.

Опять Солж вещал о гибели русского народа, графики приводил, растет, мол, кривая смертности и падает — рождаемости, что в роддомах половина детей появляются с ущербом, физическим, психологическим или духовным. Так и сказал, духовным.

30.3. Жду не дождусь каникул. От недосыпа, или еще от чего, не выдерживаю этих безмозглых кретинов, придурков, которых я должен обучать электронике. О, как я угнетен их искрящимся скудоумием, отважным невежеством, девственной наглостью! Омерзительнейший народишко. Вчера сорвали урок, распустив слух, что был теракт в Холоне (пигуа). Разбежались с криками «смерть арабам!» На второй урок пришла треть, опоздав на четверть часа, валяла дурака; отчаявшись их унять, стал проверять контрольные, мол, положил я на вас с прибором, делайте что хотите, когда уровень безобразия дошел до красной отметки, грозя залить соседние классы, а сор из избы выносить нельзя, пришлось встать, слегка гаркнуть, поставить двум недоноскам по нулю, такой хипеж подняли! за что по нулю, да мы ничего не делали, а ты плохой учитель, ты вообще нас учить не хочешь, мы к директору пойдем жаловаться, ну, в данном случае не страшно — класс патентованных придурков. Пока шумели и урок кончился. Вот и славно. А то еще в последнее время полюбили выводить меня из себя свистом: только к доске отвернусь, кто-то свистнет, если обернешься, то так и будешь крутиться, как дурак, ничего на доске не напишешь, а если не обращать внимания, то такой разбойный свист организуют — держись, а если и на это не среагируешь, могут и мелом запустить, ну, не в тебя, а рядом. В конце концов сорвешься, никуда не денешься, начнешь орать благим матом, последними словами ругаться, и тут же тишина, блаженные улыбочки — мапсутим, довольны, довели мудака.

«Перестав говорить от лица мировых стихий, зримым совокупным иероглифом коих торчали оплаканные... изваяния, слово поэзии замкнулось в комфортабельных пределах подчеркнуто частной речи и сугубо персональных переживаний... Оно уподобилось одинокому рыцарю, у которого волею безжалостных обстоятельств отняты и сюзерен и прекрасная дама, и подвиги разом утратили смысл, потому что подвиг не персональная акция, но звено в системе структурных зависимостей... застыв на далекой обочине цивилизации, оно перестало быть силой и функцией…».

Извини, Саш, может культуре и конец, что звучит у тебя во всех статьях как Carthago est delenda, но ты ей каждый раз устраиваешь «такой пишный похорон», что складывается впечатление, что тебе нравится сама церемония.

И по существу я не согласен: и в подчеркнуто частной речи можно говорить «от лица мировых стихий», да так оно всегда и было, и подвиг никакое не звено в системе структурных зависимостей, а самая что ни на есть персональная акция.

2.4. В пятницу хизбалдуи обстреляли Север из катюш, убили пацана, который бегал по берегу с утречка. Радио наше поведало, что это в ответ на ликвидацию ихнего командира. Жиды подняли гвалт: мол, нарушены какие-то тайные неписаные договоренности, взаимопонимания, одни кричат — сирийцы виноваты, надо американцам пожаловаться, те должны им поставить на вид, другие говорят — что вы хотите от Сирии, она не виновата, это Иран виноват, он им оружие поставляет, третьи говорят — а надо ли было вообще этого командира ихнего трогать, стоило ли? Вечером собрались у Гены с Аней, вся азурская компания, одного возраста, одного соцположения, одного призыва, ну кто на год раньше, кто на год позже приехал, вместе шли по дорогам житейским, абсорбировались, рожали сабрят, отдавали старших в армию, теперь женим их, хоро-

ним родителей... И тут «левые» и «правые» — пополам, и опять гневные споры, вначале вроде со смешком, а потом уж кто-то непременно «заденет», скажет, допустим, что жертвы неизбежны, террор всегда был и будет, и не только у нас, но и в относительно мирных странах, ну и тут начинаешь орать: зачем же тогда без боя сдаваться, зачем уступать «ради мира», если сами же говорите, что мира не будет? Да и как это можно выражать согласие с тем, чтобы нас убивали?! А что, говорят, можно сделать? Деревни сжигать? Это же невозможно! Наконец, жены, чувствуя, что атмосфера накалилась, вмешиваются с целью успокоения страстей. Тогда мы, старой тройкой, сели пулю писать, жены примирились — чем бы мужики ни тешились, лишь бы не ссорились — пошли мирные разговоры под чаёк кто куда ездил в последний раз, кто в Гренобль на лыжах кататься, кто по Восточной Европе, кто в Скандинавию, кто в Таиланд.

А вчера Портос привез к нам Голина с семьей, они турне по Израилю совершают, 20 лет не виделись. Он пристроился в какую-то частную фирму по продаже электротоваров, живет — не жалуется, только, говорит, хозяин в карты с ним играть заставляет, выигрывать у него опасно, а проигрывать обидно, да и ставки приличные, зарплату продуть можно. Рассказывает: «Ездил в Питер отделение открывать, хотел на место распорядителя взять дальнего родственника, профессора, он кораблестроитель, спец по крейсерам, уже год зарплаты не получает, так профессор все мучался: вы поймите, ведь если я лавочником стану, и другие, то у России через 10 лет флота не будет! Я ему говорю: Юрий Моисеевич, ну и что? И смотрю на него, как на идиота, а он на меня».

5.4. Начались пасхальные каникулы. Младший огорчает: не умеет учиться, окончил среднюю школу (8-й класс) плохо, на скрипке играть не хочет, целый день у телевизора...

Директор одной иерусалимской школы отменил в своем учебном заведении преподавание тех частей Библии, где говорится о завоевании Иисусом Навином Обетованной земли, мол, он был жестоким захватчиком и нечего преподавать детям такие антигуманные главы. Ах ты, думаю, сука, на священные тексты купюры клеить?!

А еще такой был случай со «священными текстами»: сыну Насти справляли бар-мицву, в реформистской синагоге, там служит знаменитый рав Авигдор Акоэн, он по телеку перед каждой субботой недельную главу комментирует, симпатичный такой «пелемень губастый», блаженная улыбочка с лица не слезает, я и не знал, что он реформист, ну вот, роздали нам молитвенники, и в одной молитве цитата из Танаха, а в ней куска не хватает: «спасибо тебе Господь, что ты не сотворил меня женщиной», мы с Мироном после службы, по наивности поинтересовались у рава Акоэна в чем тут дело? Да, говорит, мы этот кусок из молитвы убрали, он звучит несовременно. Я обалдел. «Ну как же, — говорю робко, ведь это Писание, оно же Священное…». «У нас так принято», — оборвал рав возражения с неожиданной резкостью. Так во что же вы, суки, верите, в «священное», а значит вечное, или «современное»? Али «современность» для вас священна?

Вчера было последнее занятие курса по усовершенствованию учителей, «дифференциальное обучение» называется. Учителей — дюжина, занятия ведет Боаз, лет 45, полный, излучающий терпимость и доброжелательство. У меня с ним «химия». Вчера я спросил его: «Эта твоя манера говорить, такая мягкая, как бы парализующая агрессивность, это профессиональное, или от природы?

— Наверное, во мне есть что-то женское.

А потом, когда все с ним прощались, и я подошел пожать ему руку, он накрыл наше рукопожатие другой рукой и ласково погладил мою руку: «Спасибо. Я был очень-очень рад. Ты замечательный. Оставайся всегда таким, какой ты есть. Надеюсь, что мы еще увидимся». В этот момент я

вдруг понял привлекательность мужчин в сексуальном контакте: они куда ласковей, куда непосредственней в знаках внимания, бескорыстней, если угодно. С женщинами всегда игра, всегда поединок. Впрочем, может, мне просто не довелось узнать безоглядной женской любви? Да и в сексуальных контактах с мужчинами Господь набраться опыту не сподобил.

6.4. Я, сколько помню себя, любил песни Средиземноморья: итальянские, испанские, а теперь даже греческие и всякие левантийские, полуарабские. По ТВ есть программа «Таверна», ведущий, рыжий такой, курчавый, неплохие номера подбирает. Вчера один «Зингареллу» пел, хрипловатым, царапающим душу голосом, крупный, царственный мужик в седеющих кудрях, куражистый, пел с двумя блядями и негром посредине, одна блядь маленькая, стройная, занозистая, другая — огромная лошадь, крашеная блондинка с марокканским мужеподобным лицом, пела не улыбаясь, ритмично покачивая могучими бедрами (юбчонки у обеих коротенькие), и это равнодушно-властное ритмичное покачивание-подразнивание вдруг повлекло-потянуло в тайны недр, подняло волну юношеской отваги, страсти овладеть, покорить, страсти злобной, почти мстительной, и страх, страх смертный, до самых пят, страх того, что ты обречен в этой схватке, что тайна эта — топь, смерть... И тут я вспомнил Боаза, который гладил мне руку, и подумал, что вот этот «страх перед бабой», страх «не удовлетворить», страх перед предписанной легендами необходимостью «произвести глубокое впечатление», «напугать» ее, как Юпитер, быком явившийся, может и заставляет мужчин искать утешения своего бессилия в странных и противоестественых дружбах.

Когда мы варганили «Нес» (Чудо), Эдик[1] жил у Сильвы на антресолях, и мы там собрались на важное совещание,

[1] Эдуард Кузнецов, один из заводил «самолетного дела», общественный деятель, писатель.

решающее. Дело в том, что денег не было, совсем, а своими силами мы начать кампанию не могли. И тут вдруг всплыл Фима[1], предложив объединение с его группой, мол, деньги есть, второе место при этом ему, с ротацией, ну и остальным: Дани, Софочке — места через одного. Деньги обещал Текоа. А Текоа — это Перес. Видимо, была у «неутомимого крота» (так его Рабин назвал, хатран билти нилъэ) задумка толкнуть «правый» список русских, опутав его своими людьми, с тем чтобы оттянуть несколько тысяч голосов от Ликуда. Нам, «азурской мафии», оголтелым правым, эта задумка не нравилась, но мы были уже слишком глубоко в деле, «вождь» был за... Однако я собрался не о политике поведать, а вспомнил эпизодик. Приехал я на ту встречу раньше всех, и Эдик стал хвастаться всякими упоминаниями о нем, особенно был счастлив большой статьей о его запутанной семейной жизни в «Ляиша», женском журнале, затем Фима приканал с Софой[2], красивой солидной дамой, обладавшей выдающимися женскими достоинствами, подъехали «азурцы», за легкой светской беседой ждали Текоа. Софа оказалась совсем новой репатрианткой, года два в стране, впрочем, и мы — не на много «старше». Явился Текоа, малосимпатичный, разбухший от жира. До его появления мне было непонятно: ну что за дело видному израильскому дипломату, бывшему представителю государства в ООН, до такой шантрапы как мы? А познакомившись, понял. Шестерка, выполняет задание. Стали подниматься на антресоли. Хрупкая лестница закачалась под Софочкой и она кокетливо взвизгнула: «Ой, я боюсь!» Эдик, поднимавшийся за ней, поднял голову и, оглядев нависшую над ним грандиозность, мрачно буркнул: «Да уж, тебя напугаешь…».

Стал вспоминать и что-то не припомню у женщин открытой глубокой нежности. Для них «любовь» с мужиком — тоже схватка.

---

[1] Фима Файнблюм, активист партии Авода.

[2] Софа Ландвер, израильский политик.

7.4. Остопиздело собственное нытье о гибели государства. Народ ему, вишь, не нравится. Да не такой уж он нюня, ну надули его леваки, прельстили счастливой жизнью без врагов, ничего, очухается. Опять же спутник запустили, и довольно хитрый.

Каникулы. Вчера младшего записывал в школу, не хотели брать, табель ужасный. И оценки по поведению — ни в какие ворота. Не ужился ни с училками-истеричками, ни с братией распиздяев. Мне ль его осуждать? Но скрипка выручила: нужен был скрипач для школьного оркестра.

8.4. В последнем номере «Окон» кавалерийская статья Генделева по поводу поэтического фестиваля: о смерти поэзии вообще и израильской в частности. На вечере Кибирова шепнул в узком кругу: «Я им сейчас интервью дал по телевидению и статью написал, врезал им, мудакам, эта, из телевидения, аж поперхнулась». Хочется, ох, как хочется врезать «им» по первое число за невнимание, шрапнелью по поэтическим задницам. Глядишь и возмутятся, может и скандальчик какой захудалый выйдет.

«Поэзия утратила свою позу... Всё, добегались». («Добегались» — это славно, это по-гусарски, хоть и в унисон с плачем Гольдштейна, они о конце поэзии и Культуры ноют, как я — о конце Израиля, кстати, Генделев конец Израиля тоже «прозревает» мимоходом.) «Из поэзии ушел пафос». И верно, что «...хозяином ирония не работала никогда, рылом не вышла». «Итак, по моему разумению, поэзия 20 века утратила ею самой себе выданное право на позу... — позу на котурнах... Пафос вообще смешон. Но тем более пафос невостребованный. Например, отсутствие спроса на пафос у цивилизации…». Да кто она такая, эта «цивилизация»?! Да в рот она ебись! Хочешь собственное бессилие объяснить смертью культуры?!

«Израильтяне гнали на фестивале второсортное анемичное барахло». Так их. «Наших было много и «наши» бы-

ли хуже всех... Величавый Амихай, договорившийся до божественной простоты учителя словесности в ФЗУ и томный свежий лауреат премии Бялика Визельтир со стихами из-под кашне…». (Стиль он себе накатал ничего себе, довольно лихой.) «Израильская поэзия монструально, почти гиньольно провинциальна, в самом худшем смысле. Вся эта поэтическая жизнь — Большой Театр Крыжополя». Ах, задира! Ну, в визг облаял! «Депатетизация — тепловая смерть стиха». Вроде и так. Но вот опять на ум приходит дальневосточное:

Сверчок притаился
В изгороди живой.
Так жалобно поет,
С осенними днями
Обреченно прощаясь.

Вот тебе «дневниковая», «подчеркнуто частная речь», но холодной ее не назовешь никак, и вырождения никакого я лично не ощущаю. А поплакать о конце, почувствовать себя последними, все любили. Басё вон тоже:

Далекий зов кукушки
Напрасно прозвучал.
Ведь в наши дни
Перевелись поэты.

Отлягав местных мастодонтов хилой ножкой, пошел «метить» своих, как пёс — свою территорию, навязывая себя в свояки Кибирову, Волохонскому. Кибирова произвел в эпики. А ведь по поэтике они ему совершенно чуждые. Он лирик, с детской надменностью последнего петербуржца, местами даже трогательной. Волохонский — скорее аналитик, царство Аполлона, прохлада и свет. Кстати, явно недооцененный. Какой-нибудь Кублановский многотомными собраниями выходит, а книжки Волохонского в России изданной я что-то не видел. Что ему, по большому-то счету в плюс, в славу зачтется.

Оська Сарид утром потребовал эвакуировать Ницаним, и Перес — тоже, невозможно, говорят, безопасность поселению обеспечить. Так вы же мир подписали! Головы бы им поотрывать.

9.4. Спорил в лесу с Роненом, сыном Гоши. Гоша хвастал, что у Рабина был на совещании, А Ронен твердил заученное: «Америка лишит нас помощи, мы без Америки пропадем» (студент 1-го курса, 19 лет, крупный, красивый, способный, злости — ни капли). Я говорю: вот Анита Шапира пишет, что молодежь 40-х годов была проникнута такой уверенностью в себе, так ее воспитали, что считала, что и англичан сможет выгнать, и арабов разбить, и государство построить, а сегодняшнюю молодежь воспитывают так, что без Америки — никуда. А где ж сила воли, ярость стремлений, свойственные юности? Ронен пожал плечами. Гоша миролюбиво подтвердил, что с теперешними настроениями, да еще с принципами экономической выгоды и личной безопасности государство не создали бы. Я говорю: зря ты так мирно с этим соглашаешься, думаешь, раз уже государство создано, так навечно? Гоша тоже пожал плечами. Он из тех, кто живет, как выгодно. Как выгодно сегодня. Потому что то, что выгодно сегодня, может быть уже невыгодным завтра. Еврейская диалектика. И с самим собой честен: как думает, так и живет. А я вот думаю, как русский, а поступаю, как еврей.

Паша рассказывал о своих маневрах в Цомете. Приглашал поиграть в эти игры. Я вывернулся. И вообще неохота, да и Цомет — дохлый номер.

Неожиданно позвонила А. Совсем неожиданно, я уж думал, что все.

Двойной теракт в Газе, две адские машины, десятки убитых и раненых.

Уф, домучил, наконец, «Меч голубя». И чего жевал это постную агитку школьной отличницы?

11.4. Утром играл с младшим в теннис, потом поплавал, потом поклацал с часок на компутере, потом позвонил Володя, сказал, что у него хреновое настроение, хочет встретиться. Встретились у «Стемацкого», покопались в книжках, кое-что отловили, я купил номер «Стрельца» с Mea culpa Селина, по горячей рекомендации Володи, Тимура Зульфикарова и «Случай Зощенко» Сарнова, опять же Володя уговорил. Потом пошли к Дизенгоф-центр, Володя хотел «Личное дело» купить у Шемы. День был солнечным, Тель-Авив — нарядным, мы шли по Ахад Гаам, реставрированные дома сияли, словно новые игрушки, Володя рассказывал о Зданевиче, я — о Розанове, свернули на Шенкин, я люблю эту улицу, есть в ней что-то послевоенное, нэпмановское, у сквера встретили Рут с импозантным уличным пушером, или дилером, как их там называют, шоколадный, с седым бобриком, Володе тоже сигаретка досталась, он тут же судорожно затянулся, и пустился в гневливый монолог о том, что окончательно поссорился с Генделевым, высказал ему все он думает, о его, Генделева, маниакальной газетной писанине, потом перешел на новую свою задумку, работу о «конце левантийской школы», посетовал, что это мешает написать по просьбе Даны о выходящем журнале, дошли до «Книжной лавки», и он послал меня на разведку, я выяснил, что Шемы нет, тогда он вошел, покопался, помял в руках книжку Пригова, но не купил, дорого, «здорово издано, и экземпляры номерные, цена подскочит», но все равно дорого, потом сели на Дизенгоф, на углу одного из переулков, спрятавшись от солнца за куст, заказали кофе. Полетели разговоры о «культурной ситуации», что иссыхает, потом на политику сбились — Володя всеми конечностями за мир и не видит в нашей уступчивости признака

морального разложения и умственной слабости, я рассказал ему о французском документальном фильме, который видел на днях, о негритянских бардах Луизианы, затрапезных, гениальных, напевающих под гитару в заплеванных тавернах свои странные, прозрачные блюзы, сказал, что по-моему поэзия сегодня тянется к стыку жанров, с музыкой, с театром, что надо работать над новым синтезом, стихов, музыки и актерского действа. Потом мы прошлись до «Синематеки». Фильм, на который меня приглашал Гордин, был в семь, Володю краткая аннотация к фильму не заинтересовала, некто Александр Роднянский, документальные фильмы о конце империи. Я позвонил жене, она обрадовалась, я проводил Володю, по дороге мы немного поспорили о Лианозовской школе, о влиянии Сатуновского, который мне нравился, о Пригове, которым Володя восхищался, а я не очень, о Сапгире, в которого я вообще «не врубался», какие-то колченогие скрипучие механизмы, стихи его, а Володя утверждал, но не очень настойчиво, что «Сонеты на рубашках» — это хорошо, потом я вернулся к «Синематеке», перекусил в кафе, читая «Mea culpa», круто да мутно, за 10 минут до начала явилась сияющая супруга («Боже мой, сколько лет мы в кино не были!»), и мы пошли в кино. Народу было человек 20, режиссер, импозантный молодой еврей, живущий ныне в Германии, крупный такой, напомнил мне Волгина по холености, почти изнеженности, в его мягких чертах витала легкая брезгливость, снобизм советского аристократа, еще не до конца выветрившийся за несколько лет работы в Германии. Фильмы, как он поведал, уже демонстрировавшиеся по всей Европе, а в России и на Украине даже знаменитые, были сделаны по заказу немецкой телевизионной корпорации. Первый фильм «Прощай СССР» (дилеммы отъезда евреев) — о тех, кто уезжать не хотел (политический деятель, депутат госдумы, рассудительный Илья Заславский, театральный художник Краснов, пьяный работой, еврейский общинный деятель Спектор, собирающий экспонаты

для еврейского музея, воспитательница Юля, ставящая спектакли с участием дефективных инвалидов в подвале на Остроженке, добровольно, «ну, как же я их брошу?», певица на идиш, прям Эдит Пиаф, и все это вперемешку с историей Бабьего Яра, памятника в Бабьем Яру, с долгим позированием стариков и старух на фоне живописно развалившихся местечковых изб, обзором заброшенных, разрушенных, поросших бурьяном еврейских кладбищ, опоэтизированных свидетельств конца эпохи, конца украинского еврейства). Старики были точны и ужасны своими слепыми взглядами в объектив, как в бездну времен, взглядами людей, умерших задолго до смерти, с лицами, похожими на разбитые, треснувшие надгробные камни. Он показывал много лиц, молодых, старых, средних лет, совсем юных, много-много еврейских лиц, и я вдруг осознал, что слишком лихо и беззаботно швырял в них камни в бессильной своей ярости, и устыдился, ведь я же плоть от их плоти, это моя кровь, моя судьба, и... я даже люблю их, они беспомощны и затеряны, так чего уж тут камешками-то швыряться в детской резвости, ну, обидно, ну больно, ну стыдно за них, так что, лечить свою обиду, боль и стыд жестокостью? Побойся Бога...

Второй фильм был не так интересен (чувствовался немецкий заказ), о войнах века, о выводе советских войск из Германии, о «конфликте» между единственной выжившей еврейкой-свидетельницей и бывшим полицаем, которого через 45 лет откопали и приговорили к смерти, и тоже много лиц, колонны русских солдат, поющих в строю походные-прощальные, о, совсем другие лица, и опять мысль мелькнула, на животном уровне: а эта вот не моя кровь, не моя любовь, не моя судьба, слава тебе Господи...

После фильма еще долго и возбужденно говорили, задел за живое, я даже поспорил с автором, не лучше ли было вместо долгих, искусственно неподвижных поз дать стопкадр, он резче, ударней, как пощечина, и в нем нет этого бесстыдства наблюдения за агонией. Ну и к другим момен-

там пристал, он меня выслушал смиренно, оценил разве что темперамент. Потом мы поехали к Гордину выпить и доспорить.

Встретился с А. Подались в Тель-Авив, в Дизенгоф-центр, в кино. Давно хотел посмотреть «Утомленные солнцем», я Михалкова люблю за «Обломова» и за «Механическое пианино», я смотрел его с Мишей накануне отъезда, Миша вышел подавленный, а я сказал: «Какой тупик! Счастье, что я уезжаю». А впервые я открыл для себя Чехова в Пицунде, в конце мая блаженного 1972 года, когда лежал с температурой, голодный, в комнате полной теней акаций, и читал единственную книгу, найденную у хозяйки: «Учитель словестности»... А «Утомленные солнцем», судя по рекламному ролику, многого не обещал, и поскольку я ничего не ждал, то смотрел с интересом, Котов правда раздражал, ну никак в Чапаевы не годился, зря взялся его играть, актер он неважный, всегда сам себя играет, эдакого советского ёрника из недобитых русских голубокровных, Нарцисс, да, нравится себе, или сценарий надо было чуть изменить, дать образ начдива от интеллигенции, и конфликт с гепеушником, бывшим аристократом, вышел бы покаверзней, эдаким междусобойчиком русских застенчивых пауков-интеллигентов в сталинской банке, а то какие-то нелепые убийства праздношатающихся метафор России, потерявшей свой путь, малооправданное самоубийство героя, превращающее русскую похоть террора в пошлую мелодраму греха и раскаяния. Есть в фильме яркие сцены, но эта претензия на палимпсест, мол, не лаптем щи хлебаем, с экивоками на инцест и профинвест... В сущности, лживо. Потом посидели в «Кто есть кто», поболтали чуток о фильме, понравился ей, прошли мимо столика двое мужчин и остановились, один был лет сорока, высокий, элегантный, с исключительно благообразным, можно сказать благородным лицом, я невольно залюбовался, а он вдруг посмотрел на меня в упор и в мягком взгляде больших карих глаз было столько доброже-

лательного удивления и почти женской заинтересованности, столько совершенно неожиданного для меня «движения навстречу», что я испугался и отвел взгляд. Они еще потоптались у тротуара (мужчина бросил в мою сторону последний, почти грустный взгляд) и ушли. Я был взволнован, сопоставил это с неожиданной лаской Боаза, а также недавний случай, когда я на улице случайно посмотрел на женщину, она шла чуть впереди, фигура была очень привлекательна, независимая походка, и, посмотрев на нее, вдруг почувствовал, буквально почувствовал, что мы — провода под током, что она моя, если только захочу, и она обернулась, остановилась и посмотрела, как этот мужчина, но я, конечно, прошел мимо.

И я стал рассказывать что в последнее время чувствую странную «заряженность», простой обмен взглядов с людьми становится опасным, я чувствую во взгляде своем странную силу, глядя на женщину, просто ей вслед, я будто охватываю ее всю, ощущаю, люблю, у меня никогда такого не было, и женщина это чувствует, я как бы натыкаюсь на братьев-инопланетян, спали шоры, я стал видеть вглубь, в страшную бездну чужого естества, которое волнуется мне навстречу, и мне страшно, будто все стены «безопасности», которые всю жизнь строил, чтоб других не задеть и самому не исцарапаться, пали, исчезли, естество людей обнажилось во всей своей беззащитности и пугающей заразительности. И ужасно весело от такой безграничной силы!

Она посмотрела на меня и сказала: «Ага, есть в тебе это..». А вообще грустит. Понятно, иначе б и не позвонила. И мне хочется ее обнять, но она баррикад своих не разбирает, боится.

Потом отвезла. На прощанье поцеловал. А теперь и сам грущу.

А еще Разгон по русскому ТВ поделился мыслью, что лагеря Гулага были своего рода раем, таким раскрепощенным миром, когда все худшее уже произошло, можно сво-

бодно общаться, как Карсавин с Ванеевым (“Два года в Абези”, сага Гулага). Как же самое худшее произошло, если из 500 человек их этапа через год осталось 50?

Вернувшись, нашел супружницу в спальне, снял с нее малиновые ажурные трусики, поставил на колени, как класс, и надругался. Очки раздутой кобры, кожа в синих прожилках... Я смотрел на них с любопытством и ужасом зоолога, неожиданно поймавшего редкого гада...

ЧЕТВЕРТАЯ ТЕТРАДЬ

12.4.

Ну что ж.
Восславим слабость.
Поклонимся низко Рассеянию.
Подготовимся к умной смерти.

Тесть: Когда-то давным-давно наш народ шел через пустыни и реки...

Теща: Какая река? Где река?

Тесть: Река Прат, когда-то наш народ жил на территории Ирака, мы пришли с другой стороны реки, и поэтому нас назвали иврим (перешедшие), евреи, а потом в нашей стране случился голод, и народ ушел в Египет, там нас тяжело угнетали, а в это время племя, которое пришло из Индии...

Теща: Из какой Индии?!

Тесть: Да, из Индии, их звали элены, они вторглись в Грецию, и сказали, чтоб те, кто там жил, убирались, и они убрались двумя путями, одним путем в Египет, а другим — в нашу землю...

Теща: Это те, которые пошли другим путем?

Тесть: Да, это те, которые пошли другим путем, они вторглись на нашу землю, а мы тогда были в Египте, и их назвали плиштим (вторгшиеся), а тех, кто пошел в Египет, назвали иксосы, египтяне были уверены в победе, они даже взяли в повозки свои семьи, но они потерпели поражение, и иксосы захватили страну, а то, что целый народ ушел из Египта — это чудо, и так мы всегда выходили, оставляли все, воспоминания, культуру, чтобы стать свободными, из России, из Украины, на Украине Хмельницкий убил всех евреев, он убивал даже грудных детей, вот говорят — немцы...

Теща: Хмельницкий больше немцев убивал...

Тесть: Да, нас убивали все, когда кончилась война, я лежал в госпитале, и я помчался домой, нас было в семье 70 человек, у дяди было семь детей, отец, маленькая сестренка, братик, мачеха, когда я приехал, на месте дома была баскетбольная площадка...

Жена: А помнишь, па, мы были на том месте, где был твой дом, там осталось крыльцо, помнишь?

Тесть: Да, их убили литовцы, закопали живыми, и вот мы собрались тут, народ рабов, чтобы нас не убивали больше, чтобы мы не боялись, если идет толпа, и кто-то может ее натравить, на это собрание, чтобы мы стали...

Шурин: Собрались на земле палестинцев.

Тесть: Неправда! Все эти палестинцы приехали сюда, тут не было работы, тут была пустыня и болота, в этом они преуспели...

Шурин: Ладно, папуля, мы все поняли, поднимем граммулю...

Тесть: ... иудаизм — это наш народ, наша земля, наша религия...

Шурин: Давайте уже выпьем. Чтоб было этой религии поменьше.

Тесть: ...нет...

Все выпивают.

Теща увлекается рассказом о том, как она своих клиенток-антисемиток гоняет и учит вежливому обращению. И вдруг, крича и тыкая пальцем в телевизор: «Рязанов, Рязанов, сделайте погромче, Рязанов сейчас будет рассказывать! Очень интересно. И про Ленина правдивые передачи показывают».

Мама, после официальной части прятавшаяся в своей комнате, выскакивает, как ошпаренная:

— Быстро переключите, там Листа, Листа Горовиц играет!

Теща: «Что? Про Ленина?»

Заммонстр просвещения, преданно виляя хвостом перед арабами в Назарете (начал предвыборную кампанию), предложил изменить государственный гимн так, чтобы и арабы могли чувствовать солидарность с его текстом, разве они не полноправные граждане? Ну и на закуску предложил ввести в школьную программу по литературе великую поэзию Тусика Заяна, коммуниста-интернационалиста, попавшего давеча под авто, его песни освобождения от еврейского ига, а это, наверное, для того, чтобы и у еврейских граждан воспитать чувство солидарности с арабскими революционными текстами.

Слишком много русских. Бесцветные, безликие, птичьи глаза, затаенная хищность, обманчивое добродушие. Хотел удрать от России, от её угрюмого рыла, и на тебе. Жиды в корыто насыпали — только хвостики завитые торчат.

Как ни крути — душа прилипла
К прибрежной этой полосе,
К осенним птичьим кликам сиплым,
К непритязательной красе
Забытых богом поселений
И ветхих гнезд-монастырей,
К сбегающим на зов морей
Щербатым мраморным ступеням
Дворца Наместника...
...
Траву ласкает ветра слабый вздох.
Торчат кустов поломанные копья.
Прогнивший ствол с ретивостью холопьей
Творит намаз, упав в чертополох (свалившись в прах эпох?)...

Дрожит фиалок робкая река
В саду камней весенней Палестины,
Как пух младенческий на скулах старика
Среди обугленных корней его щетины.

Кипит миндаль. Благою вестью даль
Холмов пастушеских плывет в летейской лени.
Слепой надеждою над ветошью селений
Восходит солнца стертая скрижаль.

13.4. Мне нужна другая женщина. Не взамен (ох, трудно отказаться от всего этого хлюпанья), а в дополнение, для контрапункта, как Борик пишет. Несмотря на затянувшийся медовый месяц после серебряной свадьбы (или благодаря?) я стал это недавно «слышать», как приказ свыше, и это вместе с чувством магической, гипнотической силы, которое вдруг у меня возникло. А после свидания с А., когда я признался ей в этом странном ощущении чуть ли не всесилия (таким странным для меня, потому что я всегда чувствовал себя наоборот — слабым, лишенным полноты жизненных сил), и после этой изнурительной борьбы с плотоядными водопадами женского мяса, я вдруг почувствовал отвращение к женщинам, как чувствуют отвращение к копьеголовым колумбийским гадюкам. Уж не повело ли потянуло меня в «другую сторону»? К «людям лунного света»? Я стал вдруг радостно, освобождающе отчужден. А сегодня, когда предложил отдать маме наш телефонный аппарат, временно, проверить, почему у нее не слышно гудка, она отвергла это с такой злобой, что сам тон ее голоса вызвал у меня помутнение в голове. А ведь я почти перестал замечать его перманентную лживость. Удобней было не замечать. Я всегда, всегда продавался за удобства, и это привычная продажность меня сгноила.

Нет покоя
от геморроя?!
КЛИНИКА САН
Быстрое излечение.
Первый прием со скидкой 50%!
—
Обрезаем с гарантией!
—
СЕГОДНЯ ИНСТИТУТ
КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ДАРИТ ВАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬ СВОИ ВОЛОСЫ!

—

ВОТ НАСКОЛЬКО МОЖНО ПОДРАСТИ!
при помощи компьютерного вытяжения
Сегодня это реально!
В любом возрасте благодаря
компьютерному вытяжению тела
на специальном аппарате роста!

—

Восстановление потенции по всей стране!

—

Впервые в Израиле!
Доктор тибетской медицины, член ассоциации ЮНЕСКО
лечит все заболевания, устраняет сглаз, порчу,
убирает наследственность.

—

Тибетская медицина.
Впервые фотография посвященного
тибетского ламы Рустема лечит болезни.
Цена фотографии 300 шекелей.

16.4. У красотки Жени день рождения. 48. Могучий стол, за которым среднепреуспевшие в жизни гости, благополучные взрослые дети и довольные родители собрались отметить еще один этап увядания. (Картинка в памяти: мы стоим на Арбате, у «Праги», три млеющих мудилы и она, кокетливый ангел себе на уме...) Все эти собрания довольно печальны и скучны. Обожравшись, схватился за политику с одним лысоватым маленьким крепышом, который утверждал, что надо эвакуировать поселения, и прежде всего Хеврон, схватились по-русски, но с повышением тона перешли на иврит, на нем как-то удобней лаяться. Мужичку лет за пятьдесят, бизнес с Россией крутит, я говорю: с терроризмом, значит, будем бороться с помощью эвакуации, где террор, оттуда будем эвакуироваться?

— А что ты предлагаешь, — говорит, — вернуться в Газу?

— Ну, а когда шарахнут из Газы катюшами по Ашкелону?

— Такого никогда не будет.

— Почему ж это? По Нагарии можно шарахнуть, а по Ашкелону нельзя?

— Это совершенно разные вещи!

— Ну, хорошо, теоретически предположим, что тогда?

— Тогда посмотрим.

— Так уже все видно, — говорю, — Север забросали катюшами, а нам объясняют, кто и зачем это сделал.

— Ну, войну на Севере мы уже проходили, и что она дала?

— Ну, конечно лучше сидеть сложа руки с умным видом.., ладно, без катюш, просто будут автобусы взрывать, это тоже не слабо, да, и не скажешь, что вопрос гипотетический, так доколе терпеть будем? Сколько жертв в год вы готовы допустить, сотню убитых, тысячу?

— Ни одного.

— Ну как же, я извиняюсь, уже больше сотни убили за месяц, а вам хоть бы хны, только требуете поселения эвакуировать.

— Террор был всегда.

— Ну так что ж, пусть и будет?

— Ну а что ты предлагаешь, вернуться в Газу?

Потом он вдруг для усиления аргументации открыл, что 25 лет отслужил в органах, что там, слава богу, одни прагматики, там нет идеологии, и что «там» считают, что другого пути нет. Упоминание органов немного отрезвило меня, и я решил не признаваться, что предлагаю не вернуться в Газу, а посыпать ее чем-нибудь эффективным, чтоб ни одна крыса не уползла, а правительство предлагаю поставить к стенке и лично берусь исполнить народный суд, вместо этого я перевел спор с конкретно-оперативных шагов на общеморальные последствия, и тут он неожиданно и устало признался, что евреи («когда у тебя три телевизора в доме») ничем жертвовать не хотят, за Газу воевать не будут, и за Восточный Иерусалим тоже, он лично не собирается, а в конце, когда я пристал, чтоб он начертил

мне за какую часть Иерусалима готов воевать, этак обыденно констатировал, что, конечно, государство обречено, да, именно так и сказал, герой из органов, сказал, что отцы-основатели неудобное место выбрали, ситуация тут неразрешимая, и в перспективе конец неизбежен. Мы, говорит, только пытаемся его оттянуть. На этот счет, оттянуть они пытаются или ускорить, можно было начинать спор сначала, но поскольку мы сошлись в главном: конец неизбежен (в глубине души, конечно, в это не веря, надеясь на чудо?), да и подустали, то... «расстались друзьями». А ночью, мучаясь бессонницей от обжорства, я подумал, почему же они так мира хотят, без врагов хотят прожить, без ненависти? Ведь вражда — это главная формирующая сила, без вражды мы распоясаемся, захлебнемся наглым самодовольством, превратимся вновь в расхлябанную, бесформенную, трусливую массу без веры и отечества, смердящую бесцельным стяжательством, которую вновь отвезут на свалку и сожгут, как ненужный мусор.

17.4. Вчера смотрел польскую серию «Мастер и Маргарита». Воланд чуток хиловат, и кот детсадовский, но, в общем и целом, — добросовестно зробилы, строго по тексту. Напомнили, что трусость — главный порок. Впрочем, я теперь в этом не уверен. Как-то снисходительней стал к этому относиться... Всегда был глуп и горяч, а спасала — трусость. Конечно, хотелось, чтобы все вокруг были храбрецами, как отец, тогда было бы не так страшно...

Что ж получается: чтобы себя спасти, надо быть трусом, чтобы спасти другого — храбрецом. То есть героем, готовым пожертвовать собой...

Мне было лет шесть, мы шли с отцом зимой, низкое солнце било прямой наводкой вдоль домов, по некрутому спуску Трубниковского переулка, и вдруг сзади раздался веселый охотничий крик: «Беги!» Мы с отцом обернулись и увидели чуть выше, посреди пустой улицы несколько молодых мужиков, раскрасневшихся, в рас-

пахнутых лихих полушубках, на одном, в центре, была длинная черная доха, подбитая белой шерстью, он еще раз крикнул: «Беги!», а к нам спешил, пьяной неверной иноходью, отделившийся от этой группы, краснолицый от мороза и водки парень, полушубок его валялся в снегу, он был в протертом свитере, мокрый, от него валил пар, да, я все это помню очень ярко, потому, наверное, что впервые и навечно почувствовал страх и тоску обреченного на жертву, еще до того, как увидел в его руке нож. Отец прижал меня к стене и загородил своим телом. Я только слышал приближающееся разгоряченное дыхание, почти храп и видел ноги в валенках, они поскользнулись, на стену легла тень, настала тишина, и мужик, все так же спотыкаясь, побежал дальше. Потом прошла мимо веселая компания, и тот, в дохе, с пшеничным чубом, красивый, задорно смеясь, крикнул, то ли отцу, то ли своей кодле: «Смотри, Ваську напугал!»

Много лет спустя я прочитал, что в то время в Москве было много убийств на почве проигрыша в карты: проигравший должен был убить первого попавшегося, и решил, что, возможно, это был тот самый случай…

Я всегда мечтал быть «своим», оттого и сюда приехал. А тут обнаружил, что мне хочется остаться «чужим», инкогнито, и не в маргинальности дело, и не в «комплексе отщепенства», а в том, что «чужим» быть психологически удобней, легче быть одиноким (тем более в обществах толерантных, к чужим терпимых), эдаким «наблюдателем жизни», от одинокого не требуется отваги, не требуется героизма, ему надо только себя «спасать», а для этого достаточно и «разумного эгоизма», так что пекись себе о терпимости, а в случае чего можно и стрекоча задать, сердце-то от любви свободно... Да-да, вот именно, одиночество, как свобода от любви. А любовь беременна жертвой.

Снобизм, высокомерие, особенно у людей талантливых — признак творческой импотенции. Я никогда не любил людей, но и не презирал их.

Жить «по принципам» — все равно что бегать с препятствиями вместо нормальной ходьбы, рано или поздно грохнешься.

Розанов: «Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью. Чтобы я ни делал, кого бы ни видел, — я не могу ни с чем слиться. Не совокупляющийся человек, духовно. Человек — solo».

Не совсем мои ощущения, но очень близко.

Вот и у Леши — «Сборник пьес для жизни соло», первая книжка после эмиграции. Вообще, это его тема, и роман называется: «Просто голос». Один. Всегда один. В сущности, он стоик, хотя и называет себя христианином.

Розанов: «Если, тем не менее, я в большинстве — даже всегда, мне кажется, писал искренне, то это не по любви к правде, а по небрежности. Солгать — для чего надо еще «выдумывать», или «сводить концы с концами», «строить» труднее, чем сказать то что есть. А я просто клал на бумагу что есть: что и образует всю мою правдивость».

И это похоже, но не совсем. А вообще-то, совсем — нет. Во мне всегда сидел «историк», летописец-фотограф, я люблю «понять», разобраться «как оно на самом деле было», а выдумку, «игру ради игры», считаю пустой тратой времени, она мне неинтересна, а интересно вот покопаться... А кроме как в себе и копаться негде. Ну да, и в книгах еще, конечно, которые такими же кротами написаны. А вообще человек сам для себя и материал для исследований и испытательный полигон.

Стремление к «идеалу» — вид стремления к смерти. Идеал — это конечная остановка.

В христианстве, в идее свершившегося Пришествия, есть смертельное чувство конца, упоение наставшей гибелью, сладострастное вкушение Апокалипсиса.

Бессмертие — дурная бесконечность, вечное издевательство, садизм без сладострастия, кошмар беспросветной жестокости.

По ТВ «историческая» дискуссия: вышли мы все из Египта, или все это «сказки»? Левая профессорша утверждала, что — «сказки», и завоевание страны Навином — «сказка». На робкий вопрос телеведущего: если не найдено доказательств написанного, то вроде и не найдено опровержений, она сказала, что с такой наивностью сталкивается в первый раз, что наука не суд, тут презумпция не действует, никто не требует опровержения литературных фактов.

Импозантный старичок по фамилии Гарин (гаръин — ядро) подытожил наш национальный миф таким образом: в стране, в которой мы живем, мы не родились, мы в нее пришли, по приказу свыше, и уходим из неё в рабство, и возвращаемся в нее из рабства, наш миф связан с рабством и освобождением с Божьей помощью, а значит он не героичен, он так и сказал, «не героичен», герой нашего мифа — Бог.

У викингов были другие саги. Саги о геройской смерти в бою. Война была их свободой, а мирный быт — рабством, они рвались во все концы земли, в Америку, в Средиземноморье, в Гиперборею, всех покоряли огнем и мечом, покуда не выдохлись, так узники бегут на свободу, пока силы есть. В бой шли молча, как на священнодействие... (За этот пафос бегства люблю фильм Андрона «Поезд свободы».)

Еще один «фантастический сюжет» из серии «трагедии последних»: создана математически точная космогоническая модель, то есть ясно, как и когда мир умрет (скажем теория «сжатия» Вселенной), и наступает время окончательного знания и отчаянной скуки...

18.4. Ночью подумал (снова стал просыпаться по ночам, в четыре, раньше в три просыпался, но ведь часы передвинули! да и сволочь какая-то орет-лает на улице, голова болит и нет мне покою...), что главный выбор человека, это выбор мифа. Я приехал сюда, выбрав миф Возрождения. А местные вожди все еще мыслят в категориях убежища для гонимого народа, ну чуть больше убежище, чуть меньше, в тесноте да не в обиде, лишь бы было где схорониться (в буквальном смысле слова).

Столкнулись две реконкисты. А наши «миролюбы» хотят залить этот аннигиляционный взрыв холодной водой «территориального компромисса», жалкие ничтожные люди. Все равно что дуть на вулкан.

Личность либо героична, либо ее нет. Выбор индивидуалиста: стать героем, то есть личностью (личность — это миф, по Лосеву), либо впасть в отчаянный эгоизм, тем самым потеряв всякое значение собственного бытия.

Миф о Христе купил греко-римский мир идеей личного героизма, личной жертвы. Он вошел в Европу через героику. Евангелия писались по сюжету трагедии, испытания судьбой, и греки толпами побежали креститься.

Чем-то их эллинизм допёк...

Вчера была последняя серия «Мастера». Сейчас модно относиться к роману снисходительно. Даже записали Булгакова в антисемиты, а роман, мол, — путеводитель по антисемитской мистике. Не знаю, меня по-прежнему увлекает. Особенно сцена допроса, и вообще образ Пилата. Роман-то должен был быть о Пилате. А ведь всё — сила мифа, мифа о Ешу, о Пути человека. Удивительно живой миф, стоит только коснуться, и оживает. Это так чудесно, что исключает возможность «сочинительства». Мифы не сочиняют, а творят.

Да, так насчет трусости, что, мол, самый страшный порок. Свойство, конечно, мало симпатичное, но чтоб — «самый страшный»? Здесь много личного, жил в атмосфере тотальной запуганности, поруганности, все были сломлены страхом, от страха теряли облик человеческий, и последним бастионом против этой машины террора было бесстрашие жертвенности, когда не жизнь важна, а ее смысл. Поэтому в центре романа — Пилат и Ешу. Всесильный смертный и бесслильный (в этой жизни) бессмертный. Другими словами — герой. Смертию смерть поправ. Христос. А Пилат — приспособленец, трус, предавший самого себя. А ведь он еще и гордецом был, Михаил Александрович (гордий, говорил Иосиф Виссарионович про какого-то родственника, не пожелавшего прощения попросить во спасение), «шпоры ему лизал!» в отчаянии восклицает он устами Мольера, лизал, стало быть, шпоры, и этот привкус металла на языке, привкус унижения, не давал покоя.

Но бесстрашие верующего в свое бессмертие похоже на храбрость пьяницы, в нем нет муки выбора. Да и трезвые храбрецы есть от глупости, или от отчаяния. Такая храбрость скучна, примитивна, не интересна, сродни зверству. А вот когда трусливый свой великий выбор вершит между геройством и предательством, когда трусость обретает масштабы пилатовские, то есть измены самому себе, а геройство — масштабы спасении души, вот тогда рождается история, мифология, искусство, и дышит, как говорится, почва и судьба.

Израильтяне любят себя утешать тем, что миролюбие, есть функция сытости. Верят, что если врагов «подкормить», то они подобреют.

Навестили Портоса, ему гнойный аппендикс вырезали. Лежит, огромный, с кроличьей невинной улыбкой под усами. Ржать нельзя — швы разойдутся. Жена рассказала ему о Ксанкином муже (ну, этот, боксер тупой с перебитым но-

сом, поясняю), и как у них абсорбция в Америке шла трудно, пока он экзамен не сдал, «на что?» спросил Портос, а я и говорю: «на врача», так у него чуть швы не поехали.

Мама ночью плохо себя чувствовала, аритмия. И все молчком, не жалуется. А я от страха и не суюсь, не спрашиваю... И вообще сдала. Высохла.

Давным-давно нет от тебя писем. Клацаю только железной дверцей, а там пусто.

Мужику 30-ти лет еврейские врачи хрен удлинили на 4 см. и утолщили в два раза (заголовок в газете на первой полосе, Василь Василич порадовался бы). Во, блин, до чего наука дошла.

19.4. Вчера ездили в Бейт-Джубрин, слушали ораторию «Илья — пророк» Мендельсона в пещере «северный колокол». Впечатляет до содрогания. Особенно когда хер взрывается всей мощью своей. (Вот напечатал «хер» вместо «хор», описочка фрейдистская. Музыка навеяла. Рождение трагедии из духа музыки.) А ведь я когда-то хоры терпеть не мог, немецкие эти игрища.

Холмы Бейт Джубрина успокаивают: неподвижные облака над зелеными весенними холмами, бурёнки...

Утром — передача о Ленине, Волкогонов, придворный историограф, гулял за казенный счет по парижским переулкам и женевским кафе, по следам вождя, и удивлялся, глядя на мирных обывателей, на сколько все-таки покойный был жесток, вот, изволите ли видеть (цитатка следует), проповедовал беспощадность к врагам. Кто ж, интересно, по мнению генерала, образец политического деятеля? Уж не Шимон ли Перес? Давеча, например, предложил всенародно все Голаны «отдать», до мандатной границы. А Асад не берет, он хочет, что б до границ 67-го года ушли, то есть выход к Тивериадскому «морю» получить хочет, ну, а

Яэль Даян, дочурка генеральская, хрипатая ведьма, тут же заявляет, что подумаешь, разница-то в несколько сот метров, вот Табу правые отдали, так и мы можем иметь свою «Табу». Вот так, и никаких табу.

А с Асадом они ошибаются, ох, ошибаются. Он вовсе не прагматик. И «джихад» за какие-то Голаны не продаст. Будет дуть на затухающие угли войны, хранить золотой огонек в холодной землянке. Арабы вообще не прагматики, и жизнь им не дорога. Ну, не так дорога, как евреям. Получается, что евреи трусы (то есть боятся смерти) потому, что ничего вне жизни для них не существует. Даже если верят в Бога. Бог у них не “над жизнью”. Не идеал. Он — сама Жизнь.

Поезд идет в Освенцим.

И даже трагедии здесь нет, потому что нет героизма, нет вызова судьбе. Только покорность, одетая в лохмотья лавочного расчета с шутовскими перьями святости.

Святость нам чужда еще более, чем геройство.

Мы мечтаем о высоких заборах и об охране с пулеметами.

Народ мифа, стал народом расчета. Но история не просчитывается (вариантов поболе, чем в шахматах). Да и все их расчеты кончаются верой в дело мира. Уж лучше в Бога верить, чем в дело мира.

А Он не зря загнал нас в этот тупик. Чтоб мы поняли, наконец, что обречены сражаться.

Удивило меня непонимание Носовым розановского увлечения «мелким», «низменным», «незначительным», «никому не интересным», «эстетическим мещанством», как он все это определяет. А мне вот именно это и интересно. Не «свержения Бога» жаждет Розанов, а свободы «воровства у Бога». «Воровство у Бога « — это замечательно! (Читаю Сергея Носова «В.В. Розанов. Эстетика свободы».)

20.4. В Оклахоме однако жахнули! Вот тебе и права человека. Повторная газовая атака в токийском метро. Террор разгулялся. До атомного — рукой подать.

Длинные стихи уже просто невозможно читать. Они должны быть коротки, как эпитафии. Наверное, поэтому мне так нравятся Сева Некрасов и Сатуновский.

Перес предложил Асаду выход к Кинерету, а Бейлин вчера — контроль над Ливаном. Это он в разговоре с австрийским канцлером рассщедрился, канцлер ему пожаловался, что Сирия не чувствует, что она что-то выигрывает от мира с Израилем, ну и наш пудель, прекраснодушный Артемон, завилял хвостом (очко заиграло).

—

С нами позволено все. Звоните. тел...

—

Мы горячие и влажные, позвони. тел...

—

Сосём вдвоем! тел...

—

MAGAZIN! 2.8 шекеля! Увлекательное чтение!!
* Оле-хадаш разоривший Промстройбанк
* Русская Мата-Хари и Гитлер-мазохист
* Поленька. Роман с Достоевским.
* Жванецкий в кругу «торгующих малышей»
* Астрологический календарь на весь месяц

—

Раздаем талантливых котят от «говорящей кошки»,
котята также приучены к присутствию в доме большого пса.

—

Залман Пукин разыскивает выпускников
Одесского мукомольного ин-та.

ПОЭЗИЯ!
Елена Вайсман
«МОЙ ГРУСТНЫЙ АНГЕЛ»
20 шек.

Книга стихов — итог интенсивной жизни,
наполненной душевной и физической болью

21.4. Ездили в лес. Нашим узким мелкобуржуазным кружком. Привычно поругали правительство. Феликс рассказал о Колмановиче, с которым в школе учился, что тот был лидером молодежной организации в Аводе, потом пошел к Флато-Шарону, потом продал квартиру и уехал в Южную Африку, в Бабутосвану, лечить зубы черным князькам, втерся в доверие и вместе с немцем-компаньоном, немец дал деньги, строил чернявым дороги, стадионы и жилые комплексы, потом рассорился с немцем, впутался в сомнительные алмазные дела в Сьера-Леоне и разорился, потом опять поднялся, катал израильскую армейскую верхушку в Южную Африку, в 88-м что-то с Горбачевым варил и прочие басни. Остальное известно из газет: обвинение в шпионаже, семь лет отсидки, таинственное освобождение и новый коммерческий взлет в Москве, говорят, американцам где-то по дороге на мозоль наступил, говорят, сам Руцкой за него просил, когда вице-президентом здесь ошивался и ему гражданство предлагали за его еврейскую маму... День был хорош, не жарко, вроде русского лета. Открытка пришла от Вики из Неаполя, с конгресса по женским делам.

Вот и Василь Васильич считал, что индивидуальность рождается из непослушания природе (то бишь героизма!), что где есть мораль, там нет лица.

Для Розанова (Носов интерпретирует): «Русская история — история душевной болезни, она — летопись отчаянного самоумервщления». И что для русских «умереть — святее чем жить».

Главное в Розанове — незавербованность. И будто отравлен какой-то обидой на жизнь. Потому что жизнь — завербованность. А завербовался — в капкан попал. И вот он мечется, таится, «крадет у Бога». Да, аморален. Мораль — тоже завербованность, причем глупейшая, от катехизиса до кодекса строителей коммунизма. Аморализм зачастую — признак чистосердечия.

Коржавин, обжегшийся на молоке теургических оргий и посему дующий в паруса банальности («А.Ахматова и серебряный век»), подальше от «культа творчества», малюсенький, кругленький, в толстенных очках, как-то приходил к нам на студию, читал, благосклонно слушал, потом, возбужденные поэзией, пили у кого-то в котельной. Лет десять спустя, у Аллы (она держала тогда что-то вроде салона, плавно перешедшего в небезызвестный реховотский «русский клуб»), я было заговорил с ним об одном общем знакомом дабы продемонстрировать реховотским провинциалам из Молдавии и прибалтийских республик свои столичные литературные связи, но Алик Гольдман (кишиневская звезда КВН, полный, жизнерадостный, остроумный, не без литературных претензий, всегдашний тамада, конферансье и любимец публики, ныне покойный) отнял его у меня, усадил рядом с собой на диван и охватил безраздельным вниманием. Коржавин близоруко оглядывался, но, хлопнув пару рюмок и осознав себя гвоздем программы, стал вещать о том, что американцы идиоты, что нет у них ни культуры, ни интеллигенции, что большевики скоро их слопают (была середина 80-х) и т.д. Публика удовлетворенно кивала, она любила, когда шпыняют Америку.

Вспомнил, как Д. бормотала, свернувшись рядом:

— Я голубей в детстве гоняла с мальчишками.., вот, когда голубя за шейку держишь рукой... голубок мой...

Лет в 13–14, после мучительных поисков и почти молитвенных вопрошаний, я удостоился озарения-откровения: элексир бессмертия — творчество. Это было величайшее, радостнейшее событие в моей жизни. С этого момента творчество стало смыслом существования. Девизом стало — самосовершенствование. Тогда же решил стать писателем. Потом находил близкие жизненные мотивы у Толстого в «Исповеди», у Бердяева в «Самопознании». Но насчет художественного отношения к жизни, к своей, к практической — тут я застрял в неясных, но грозных частоколах врожденных и благоприобретенных запретов. Жил робко, неуверенно, осторожно, да что там — трусливо. И тем беспощаднее предъявлял к жизни внешней, чужой, исторической, «художественные» требования героизма.

Сегал, адвокатишка, вернулся из отпуска, первая встреча на корте после перерыва.

— Ну, эйх билита? — спрашиваю. (Как время провел?)

— Беседер. Ло испакти леагиа, одиу ли ше бен дод нифтар. Аса тиюль бе Эйн Геди, итъябеш... рак бен хамишим ве штаим, гевер хазак, гадол, ашир меод, эйзе хаим мешугаим у аса! Мехониёт, батим, рак ахшав бана баит хадаш, нашим, тиюлим лехуль. Аваль ло оса спорт. Аколь ая ло, аколь. Ве ине[1].

23.4. Сюжетом может быть только становление. Если жизнь — становление. А другой она просто не должна быть. И точка. Иначе, если жизнь — суетня, беготня по кругу, то все бесполезно, все бессмысленно, всё — насмешка, издевательство, обида. Нет ни истории, ни искусства, ни

[1] Нормально. Не успел вернуться, сообщили, что кузен умер. Был в турпоходе в Эйн Геди, обезвоживание... только пятьдесят два ему было, здоровый мужик, огромный, очень богатый, умел пожить: машины, дома, только что новый дом построил, женщины, поездки за границу. Но не занимался спортом. Все у него было, все. И вот на тебе. (*ивр*.)

Бога. Хотел по инерции дописать «ни любви», однако ж любовь-то как раз и остается. А если что и остается… то вечности жерлом пожрется... В самом этом яростном скрежете зубовном, предсмертном — вызов: нет, не пожрется, уйдет общей судьбы, да и что это за «судьба» такая, кто ее выдумал, кто определил, кто на нее обрек? Не согласные мы...

От Ницше дух захватывает. Дерзило. Человек — призыв. Хочешь выжить — стань богом. Как это ни страшно. (В романе Амоса Оза «Мой Микаэль» герой говорит: «Отец умер. Теперь я — отец».) Только вот навязчиво пророческий тон мешает. Розанов «ближе», домашнее. Словно кот с хвостом, со своей тенью играет, с отсветами, отголосками, эхом собственных мыслей. Лиричнее, поэтичнее, человечнее, да-да, человечнее.

Вот о самом интересном, о том, как Розанов с Ницше чай на террасе пили, Носов и ни гу-гу.

Если цель не задана, то жизнь бессмысленна и истории нет. Принять это невозможно, нестерпимо. Значит, мы должны сами стать творцами истории, стать богами.

Но с другой стороны, цель тяготит. Без нее беззаботно и радостно, будто удрал с уроков.

Сады наркоманов. Название для авангардного сборника. Надо Володе продать.

Тель-Авивский университет пригласил кардинала Люстижье, мать которого погибла в Освенциме, на семинар: «Катастрофа и «молчание» Бога». Раввинат встал на дыбы. В «Эрев хадаш»[1] выступил рав Лау, Главный раввин Израиля, казавшийся мне относительно либеральным, сказал, что ассимиляция столь же убийственна, как и ге-

[1] «Новый вечер» (*ивр.*), телевизионный выпуск новостей в 17.00.

ноцид, и что не этому выкресту давать нам уроки Катастрофы. Хоть глупость — дар божий, не следует им злоупотреблять. Впрочем, оппонент, представитель университета, ответил ему толково, и выразил свое (и мое) «потрясение» такой дикой позицией (сколько в ней беззастенчивого хамства по отношению к Люстижье лично!). Даже если согласиться, что «крещение» еврея — тяжелый грех, измена, то, в конце концов — это личный акт, и сам по себе не имеет отношения к Катастрофе или к случаям насильственного крещения, имевшим место в христианской истории. А мнение католического теолога о «молчании» Бога очень интересно, тут бы, батенька, и поспорить. А то, что католик — еврей, не забывший своих корней, придает этой дискуссии определенную пикантность, и славно! Да они просто струсили, раввины-то. Куда ни поверни, Катастрофа гвоздит их, и нет ей «объяснения», кроме нелепости и хаоса мира. Что значит Бог «закрыл глаза»? Или это, самое популярное поповское объяснение всем несчастьям — наказание? (Как тут Фрейда не вспомнить: «Все это настолько инфантильно, так далеко от действительности, что... больно даже подумать о том, что огромное большинство смертных никогда не будет способно подняться над таким пониманием жизни».) Вот Милосердный смахнул потопом с планеты все человечество за нечестивость, одного праведника Ноя (сам выбирал) на разживу оставил. Но мы, дети Ноя, лучше не стали. Да уже дети Адама на глазах Самого до смерти передрались, любимца Божьего, Авеля, Каин финкой пырнул, да еще Господу огрызнулся на робкий упрек: «Где брат твой Авель?» «Я, — говорит, — сторожить его не подписывался». Во. Дак чо ты гневаешься, дуродел великий? Себя и наказывай, а мы такие, какими Ты нас создал.

Наказание... Это больше похоже на истерику бессильного гнева. Ну, давай, весь людской род на доработку пошли.

Вот, скажут, Он и признал свою вину, и Сына своего в жертву людям принес, в знак Нового Завета. И что вышло? Реки крови и слез по-прежнему текут полноводно.

В «новостях» Лау опять нападал на Люстижье, напирая на дурной педагогический пример вероотступничества: «если евреи последуют его примеру, скоро некому будет сказать «кадиш» (заупокойная молитва)». Чистая паранойя. Чтобы еврей в своем государстве боялся примера крещения сироты 14 лет, спасенного от нацистов в монастыре?! Это говорит о том, что иудаизм не возродился в национальном государстве, в нем не прибавилось дерзости, уверенности в себе, жизненной силы.

24.4. Сегодня уже на работу. Дочитал Носова. Конечно он Розанова не «догоняет». Но кое-какие толковые мыслишки попадаются. Насчет Фрейда любопытно, пишет о его еврейской (?!) «враждебности художественному мышлению». Иудаизму, конечно, эстетика чужда, но поколение эмансипированных весьма быстро и энергично вошло в круг эстетических идей, подарив Европе величайшие эстетические образцы. И Фрейд, как яркий представитель этого поколения, проявил, на мой вкус, немалую искусность и убедительность как писатель. Что стоит, например, его сравнение Вечного города, где культурные слои лежат один на другом, с впечатлениями бессознательного, которые не могут исчезнуть. И в подвалах бессознательного он усматривал энергетический источник художественного творчества. Как немецкий воспитанник Фрейд вообще был адептом Культуры. Считал, что «осознав», человек сможет владеть собой и ситуацией. Веру хотел подменить психоанализом. Круто.

Посмотрел еще раз «Рим» Феллини, давно у меня записан, а потом взял у Гордина «Амаркорд». Мы снова начали с ним играть в теннис, ему врачи даже рекомендова-

ли после инфаркта. Говорит про игру свою: дразнить медведя. Я это живо представил, смерть в виде медведя... Да, так Феллини. Род людской у него незатейлив и даже жутковат в неизбывной своей простоте. И никакой сублимации. «Хочу бабу!» — орет дядя-дебил, взобравшись на дерево. Да там все у него дебилы. Только в «Риме» он к ним со злостью и презрением, как к быдлу, а в «Амаркорде» — немного с грустью. Какой там психоанализ, один развеселый пердёж стоит.

25.4. Надоело переживать за евреев. Такое же говно, как и все другие.

Помню в институте заглянул Марку в тетрадь по «приемникам», а там на последней странице написано: «Экзистенциализм. Узнать что такое». Мы сидели за одной партой. Он был такой раздражающе беззлобный, с большими голубыми глазами и длинными девичьими ресницами.

Тесть зашел. В маечке и трусиках, жарко сегодня. Еврейская тоска в глазах. Тоже тип совершенно беззлобный. И этим довел свою жену до жестокой истерики, до истерики жестокости.

— Ты читал вчерашний «Маарив»? Ты знаешь, там есть интересные статьи, я тебе принесу. Сядь, сядь, поговорим. Ты устал? Ты знаешь, там есть статья о Хацоре в Галилее. После войны за Независимость там осталось 400 семей арабов, остальные бежали, дома их взорвали и так дальше, а теперь они требуют возвращения. Там еще статья араба, сына муфтия (старосты) этой деревни, там теперь мошав[1]. А я вот боюсь возвращаться в те места, мог бы но... Не знаю... В нашей деревне жило несколько десятков семей русских, поляков, татар, несколько сот литов-

[1] Сельхозкооператив.

цев и три тысячи евреев. Все остались, а евреев больше нет, всех уничтожили. Я вот прочитал статью секретаря правительства, как они недавно на Украине были, он поехал в Станислав, там поле, и братские могилы, в одной десять тысяч евреев, в другой.., туда и венгерских евреев потом привозили и на месте расстреливали, так он пишет, что вдруг вспомнил своего деда и заплакал. Я тоже помню своего деда. Нет, не хочу я туда возвращаться. Ну что, другая жизнь, все другое, ничего не осталось. Сейчас новое поколение историков выросло в Израиле, они все отыскивают, где были арабы и откуда мы их выгнали, они тем самым оправдывают то, что мы тут чужие, и ненависть к нам. Когда я преподавал в Микве Исраэль, там была группа землемеров, арабы, бедуины, друзы, даже эти, с Кавказа, как их... да-да, черкесы, ну, я им рассказывал историю от 1840 года, примерно, и до наших дней, так когда я рассказывал им о погромах в России после убийства Александра Второго в восьмидесятых, один араб встал и говорит: ты врешь. Я говорю ему: вот программа, написано, не хочешь — не учи, я тебе не поставлю отметку, я им рассказывал, что детская смертность у них была тогда огромной, что умирало 8 детей из десяти, и матери часто гибли при родах, а теперь у них современной медицинской обслуживание, я говорю: ты знаешь что такое, когда у матери умирают дети, один за другим, а он говорит: пусть умирают, пусть все сдохнут, лишь бы вас тут не было, я не могу его забыть... А эти, генерал Даян, племянник того, он не включил в карту места, высоты, рядом с Кфар-Сабой, и так дальше, которые держат дороги и вокруг, почему? а, не важно, Перес говорит, главное — соглашение, а почему для арабов важно? Да... Там еще интересная статья про новые дома, их теперь сразу подключают к этому... да, компьютеру, интересно, а в Америке уже автоматы с утра все готовят, кофе и так дальше, интересно, после нас будут жить лучше, да? если будет где...

Посмотрел «Зов луны», последний фильм Феллини. И вдруг дошло: мир — карнавал дебилов. И он принимает его таким. Бесцельность и безумное веселье мира не гложет его, поэтому он и удерживается на грани злости, люди у него — уроды и идиоты, но за это он их только слегка жалеет, потому что ничего другого нет. Они — жизнь. Только в «Восемь с половиной» у него изображены «интеллектуалы», которые с жиру бесятся, да стреляются. Фройд-батюшка поучает в том же духе: «Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное множество раз; на этот вопрос никогда не было дано удовлетворительного ответа, возможно, что таковой вообще заповедан. Некоторые из вопрошавших добавляли: если бы оказалось, что жизнь не имеет никакого смысла, то она потеряла бы для них и всякую ценность. Но эти угрозы ничего не меняют».

Дура-баба, как эта «шведит» из «Сладкой жизни», которая только скачет и смеется, принадлежит всем и никому, она и есть — сладкая жизнь, глупая, влекущая, неподвластная. И «поражает» такая самым мучительным образом, безнадежно. Своей невинной греховностью, своей абсолютной невозможностью принадлежать только тебе. Женщина у Феллини — метафора жизни.

Самое отвратительное из завоеваний свободы — это право черни на наглость.

27.4. Скверик. Закатное солнце. Деревья в цвету. Тепло. Малышня мельтешит: брызгается водой из фонтанчика, бегает за мячами, катается по дорожкам на роликах, на велосипедах, девчонки в цветных платьицах, майках, коротких юбчонках, обтягивающих «тайчиках», шортиках, собаки с веселым лаем носятся по зеленой траве, рыжая кошка осторожно пробирается краем. Хорошо, мирно. Сегодня день Катастрофы. Йом Ашоа ве Агвура. Катастрофы и Героизма. Желание добавить «героизм» понятно, но… Были, конечно, отдельные герои, опять же либо сионисты,

либо коммунисты, то есть «преобразователи». Но народ был от героических деяний, увы, далек. Утром в школе сбор на плацу, после траурной сирены — чтение «Изкор» («Помни»), стихов, литературных отрывков, каждый год все тех же, или в том же похоронном духе: отрывки из писем детей перед смертью, из воспоминаний чудом выживших жертв, кое-кто из девочек плачет. Потом час для классного руководителя, для углубленной проработки темы, а тема-то — как плохо умирать; о героике, о красоте и величии жертвы — ни-ни, в школе «Дания» в Ерушалаиме педсовет решил отменить экскурсии на Масаду, мол нечего детям мозги дурить героизмом. Потом — обычный учебный день, чтоб не превращать День Памяти в праздник, но занятия все равно по плану не получаются, ученики разболтаны, наседают (каждый год одно и тоже): а не будет ли короткий день, в конце концов последние уроки все ж отменяют и стихия необузданной и беспечной юности вырывается за ворота. В переменку, в учительской, сорвался все-таки, стал спорить с румынами, что не человечество в Катастрофе виновато, и даже не немцы, а мы сами — нельзя быть слабым и рассчитывать на жалость. Румыны всполошились, стали мне доказывать, что ничего нельзя было сделать, приводили в пример разные истории, что да, били на улицах, но никто не мог подумать, что такое сделают со всеми... Они по-прежнему не видят ничего страшного в том, что сородичей бьют на улицах, ну и, конечно, «не думают», что и с ними «такое» сделают.

А почему я так боюсь быть слабым? Вот мудрые китайцы считают, что «гибкое и мягкое» сильнее «твердого и несгибаемого». Что значит сильнее? Выживает успешнее? Плевать на выживание, если «гибкость» означает готовность к унижениям. Не люблю надругательств.

В том числе и над врагом.

В повестях и мифах о Катастрофе, совсем нет жеста презрения к смерти и жеста гордости, жеста подвига, а есть

только заклятия немецким жестокостям. Но безграничное непротивление провоцирует жестокость, провоцирует желание «проверить», до каких бездн низости простирается стремление в выживанию. Выяснилось, что низость бездонна. Вот говорят: а что можно было сделать (какова альтернатива?). Согласен, жизнь нельзя было спасти актом сопротивления, но честь — можно было. Если чувствовать, что жизнь без нее ничего не стоит. Невообразимыми унижениями покупали еще день, еще неделю, быть может, месяц. Люди загружали в печи крематориев тела своих родичей, своих близких, зная, что через неделю-другую их ждет та же участь. Живой пес лучше мертвого льва. И нет ничего, что оправдывало бы самопожертвование. «И умирать не стоит ни за что на свете», как поет местный бард. А сами любят прятаться за героические спины Анилевича и горстки «экстремистов», восставших в Вашавском, в Минском гетто, в Треблинке, бежавших из 9-го форта в Ковно, и размахивать из-за их спин флажками национальных прав.

«Ты неисправимый романтик, — сказал мне на все это Мирон. И добавил с усмешкой: — Ты бы, конечно, совершил какой-нибудь подвиг». — «Да я не о себе говорю! — взвился я, как ужаленный. — Я говорю о воспитании! Людей надо воспитывать иначе! Хотя б не оправдывать шкурничество!» — «Воспитывали уже иначе. Готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов, забыл, что из этого вышло?» И мы опять на круги своя возвернулись.

Может быть, женщина еще не до конца изъедена индивидуализмом и поэтому способна на героизм, на самопожертвование, хотя бы во имя рода?

Но лезет в голову страшный выбор Цветаевой. Пострашней, чем «выбор Софи», потому что почти добровольный. Страшно, когда даже личная жертва никого не спасает. Или, скажем, свою честь спасешь, а жизнь близкого погубишь. И приходится жертвовать одним ребенком, чтобы спасти другого...

28.4. Утреннее солнце. Тени от занавески. Будто солнечные кружевные чулки у нее на ногах.

Русский генерал, в Думе, о нападках журналистов на Грачёва:

— Он же в должности! Вы что, не понимаете? В должности! Вот увольте сначала, тогда — пожалуйста. Но ведь он же в должности! У него же ядерные кнопки! Вы что, хотите чтоб он долбанул кого-нибудь?! (пауза) Долбанет!

29.4. Комполка, резервист, рассказывает по ТВ про службу в Газе:

— На летучке командующий сказал мне: «Если палестинский полицейский тебе дуло в лицо наведет и даже затвором щелкнет, ты учти, что они иногда просто нервничают».

Показывали документальный фильм о мужике, прошедшем немецкие концлагеря, под восемьдесят, но еще крепок, в маечке, байки на идиш рассказывал, как они трупы из газовых камер в крематорий перетаскивали, а в свободное от работы время торговали за хлеб махорку у русских капо, из столовой наперегонки в туалет бежали, там был «черный рынок», а почему наперегонки?, а потому что русский человек запускал руку в карман, сколько набирал в горсть махры, столько и давал за кусок хлеба, а с каждым разом махорки в кармане становилось все меньше, а соответственно и порция, а он первым успевал, получал полную пригоршню, делил ее на три части, и своим же, менее шустрым, обратно на хлеб выменивал, и хлеб был и еще махра. А когда их из Освенцима в Маутхаузен перегоняли в закрытых вагонах, и пить не давали, так они между собой мочой торговали. Иногда с мертвых удавалось снять что-нибудь, кольцо, или клипсы, тогда могли даже кофе разжиться. А русские, которые работали в газовых камерах, филейные части вырезали у детей и молодых баб, готови-

ли из них мясо, и продавали, как конину. Рассказывал, что если дым из крематория шел темный, то значит мужиков жгли, а если посветлей — баб. Уж не знаю почему, говорит, но бабы лучше горят. Все это он рассказывал очень спокойно, обстоятельно, а жена, злобная старуха, пока рыбу готовила, оттяпала ей тесаком голову, и голова шевелила плавниками и открывала рот. По ходу рассказа он еще философствовал, мол, таковы люди, такова природа человека и т.д. А я все искал в своей душе возмущение, отвращение, и не находил...

1.5. 95. Вчера был со школьниками в Акко, в Музее Героизма, в этой знаменитой тюрьме в крепости, из которой героически бежали и т.д. Там была на стене одна фотография: заключенные из Лехи и Эцеля, поразили их веселые, решительные, смелые лица, будто фотография с пикничка после победы, а не из тюрьмы. Одержимость верой. Просветленность. Завидно. Идеи выдохлись, державы рухнули, сгнили общественные устройства, а они — живут на этих фото, сияя верой. Идеи — ерунда, а вот пламень веры... Он странен и прекрасен. Конечно, ни во что не верить умнее (вон и революционный классик учил: подвергай все сомнению), но, боже мой, какая скука! какая тоска берет...

Самый ужасный мой милуим был в Кциот. Огромный лагерь заключенных. Разбит на квадраты, обнесенные проволочной стеной, в каждом квадрате три большие армейские палатки, человек на двадцать. Мы их охраняли. То на вышке, то в патруле между квадратами, то поверки, утренние и вечерние. Три часа дежурство — три часа отдых. Жили в таких же палатках, развлекались тем же, пинг-понгом, только меньше, потому что спать хочется. Да еще по ночам порнофильмы крутили солдатики. Ни почитать, ни пописать, разве что на вышке украдкой. Мы их боялись больше, чем они нас. Точно, как в школе с учениками. У нас — балаган, у них — строгая организация: беспрекословное подчинение старостам из опытных, заслуженных

революционеров, часы для занятий, для пропаганды, для спорта, для отдыха с книжкой. И не покидает чувство, что наше дело обречено, а их — восторжествует.

Булат Шалвович, старая пифия, вещал ненавязчиво, в качестве духовного авторитета, ставил печать моральной кошерности: вот Горбачеву, говорит, не подам руки, а Ельцину — подам. У Евтушенко и Вознесенского признал «большие заслуги». «Вот, видели (на красный толстенный том указал), Евтушенко в Америке «Антологию» выпустил, совершил вот..».

В субботу, в лесу, я пожаловался на рава Лау, а Дольские, к моему удивлению, его поддержали. «Когда нас сжигали, мы не предавали нашу религию». Да ты что, Лора, говорю, ты ж не верующая, нет, говорит, я верю, да, я верю. Как?! Ты ж не соблюдаешь, вот на машине в субботу приехала, жрешь черт знает что, а она: ортодоксы — это секта, я просто верю в Бога. Я пристал, попросил разъяснить разницу между отдельными предателями-выкрестами и половиной Израиля, которая ни в Бога ни в черта не верует. Ну как же, говорит, не веришь вообще — это ладно, главное в другого Бога не верить, в чужого. Да Бог-то, говорю, тот же, один на всех, ну да ладно, не об том речь, а в том, что не верить — тоже вера, да еще какая. Я в принципе не верю, не признаю никакую религию, в принципе, понимаешь? — раскочегарился. — Для меня верующий это... Тут меня урезонили. Нехорошо получилось. И Мирон еще на нее накинулся, мракобесие, мол, и т.д. А мне потом: «Вот до чего правые взгляды доводят», и мы рассмеялись. Лора еще много за патриотизм выступала, а Р. потом: «Патриотка! Дочка в Англии, сын в Америке, а сама в России сионизм разводит».

Гулял с Володей. Вчера был вечер «Двоеточия», но я на него не успел. Тарасов был разговорчив:

— Что меня удручает, что придумываешь себе разное, чтоб за стол не садиться, вот позавчера сидела одна, часов пять, она уже несколько раз приходила, и все высиживала, даже травку принесла, пришлось выебать, так она думала, что может опять так сложится, я говорю: все, мне надо статью писать, вот где статья пригодилась, ну, она отвалила, а я еще до ночи гулял, а в час сел за статью и написал. Хуевая статья, но написал.

А я ему про свое плакался. Что жизнь иссякла, что кроме книг и нет ничего, и писать не о чем, не интересно, живешь больше из принципа. Читаю всякое философское. Если перефразировать Ортегу, живешь, чтобы думать…

Попеняли на слабости наши, что он все травку курит, а я — никак похудеть не могу, рассказал ему про героя Яши Шабтая из «Эпилога», который не мог от сладкого отказаться, все объедался «в последний раз», пока дуба не дал...

2.5. Читаю биографию Гитлера Иоахима Феста. Прочитал главу о «Майн кампф» и ужаснулся. Чересчур похоже... Все эти мыслята о слабости, героизме, презрении к гуманизму... И тоже «спасатель» был, самоубийственные порывы спасения... Братец Гитлер...[1]

4.5. До утра не спал, гремели феерверки, орала музыка. Евреи разгулялись, независимость праздновали.

Утром, на церемонии «Дня памяти погибшим в войнах Израиля» была семья Регева, он кончал нашу школу пару лет назад, я его плохо помню, не в моем классе учился, однокашники его пришли в форме, один, в берете десантников, рыдал навзрыд, повиснув на плечах девицы, я его узнал, хоть и бороду отрастил, девки все плакали, обнимались, директорша, уж на что стерва, а так и не смогла сказать ничего вразумительного, голос срывался, все смахивали слезы, отец сидел с каменным лицом, небритый. Парень с месяц назад в Ливане погиб.

[1] «Братец Гитлер» — глава из книги Томаса Манна «О немцах и евреях».

По дороге домой, в машине, затянул в спор двух училок, одна по истории, другая — по литературе, по поводу того, что в одном стихотворении, которое читали на митинге «дня памяти», услышал примерно такое: «Надоело мне слышать о Трумпельдоре, не хочу быть брошюрой памяти с воспоминаниями однополчан» и т.д. Спрашиваю:

— Я что-то не понял суть воспитательного значения этих стихов, что надоело слушать про Трумпельдора.

Училка по литературе с легким-легким-легким раздражением отвечает:

— Раньше было принято говорить «хорошо умереть за Родину», это были знаменитые слова Трумпельдора перед смертью, может быть, ты слышал об этом, историки теперь считают это легендой, говорят, что он перед смертью просто выругался по-русски, и вообще погиб по недоразумению, вот, так мы теперь считаем, что хорошо жить за Родину.

Сомнение в том, слышал ли я о Трумпельдоре, меня разозлило.

— Жить это конечно хорошо, это я понимаю, но меня беспокоит другое, что сверху донизу, от вождей до классных руководителей, внушается, что жить всегда и при всех обстоятельствах лучше чем умереть, то есть жертвовать собой не стоит ни за что.

Историчка, уже с явным раздражением:

— Процент добровольцев в десантные части у нас высок.

— Вот как раз, — говорю, — на днях был в газетах отчет Управления по кадрам, где сказано, что в последние годы процент добровольцев в эти части резко упал, и вообще, почти двадцать процентов, не считая религиозных, уклоняются от службы. Но не в этом дело, я пытаюсь понять в принципе: вот этот подход, что ни за что умирать не стоит, в том числе и за Родину, он по-вашему правильный?

Не стали мне отвечать, якобы отвлеклись на дорожные проишествия, потом заговорили о покупках к празднику,

училка по литературе остановила машину у магазина и вышла что-то купить. Но я мужик нудный, въедливый, давлю дальше на историчку:

— У меня возникло впечатление, что мои вопросы неприятны, я извиняюсь.

— Бо ани асбир леха (я тебе сейчас объясню), — решительно начала историчка, — раньше все говорили о героизме и боялись признаться в своих страхах, сомнениях, даже плакать боялись. Сегодня можно говорить о том, что ты боишься, что ты переживаешь и т.д.

— Что ж, я не против, — говорю, — кодекс храбрости говорит, что храбр не тот, кто не боится, а кто страх свой преодолевает. Можно и нужно говорить о страхах, но для того, чтобы преодолеть их, а не для того, чтобы узаконить трусость.

Тут вернулась вторая, и они опять защебетали о своем.

— Меня (поп свое, а черт свое) просто беспокоит, что в конце концов никто не захочет воевать за родину, потому что на войне могут убить. Вот, например, последняя операция на Севере — только бомбили и обстреливали, а ввести в дело войска побоялись...

Но они уже откровенно меня игнорировали, громко рассказывая об ученице, которая безобразно вела себя на церемонии, потом об ученике, который спросил на классном часе у «англичанки»: а кто здесь раньше был, евреи или арабы, и эта училка по английскому не смогла ему объяснить, и они рассмеялись.

«Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы затемнить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины. Велика хитрость!» (У Монтеня нашел, в главе о Катоне.) И еще: «Век, в котором мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая..».

Позвонил Лене, поздравил ее с Независимостью, была старая задумка — трахнуть. А она: «Я думала вы меня хотите с праздником Победы поздравить. А эта их независимость мне как-то..». Разозлился, даже трахать раздумал.

Саша привез книги от Иосифа и письмо. Книги чудесные, одно четырехтомное «Путешествие на Запад» что стоит.

Страх перед будущим — естественное ощущение человека, ведь в будущем его ждет смерть. Соответственно прошлое, воспоминания — идиллия, рай, место, где ты вечно жив и ничто тебе уже не угрожает. В воспоминаниях есть покой... (Фест считает страх перед будущим предпосылкой фашизма.)

Что-то случилось с моим почерком, он становится все более и более неразборчивым...

5.5. Все мои мечты о грандиозных терактах воплощают шахиды...

«Ну все, слезай уже. Приехали в Израиль». (Из перлов супруги)

9.5. «Заболели» и поехали днем в Музей. С утра я писал письма в Москву, литдевицам, послал фотографии. В Музее «неизвестный Модильяни» и «Мадонна с младенцем» Боттичелли. Жидок один купил подешевке, думал копия, а оказалась подлинником. Чудеса!

«Модильяни чудный, — щебетала жена, — чудный! Смотри, какая прелесть (на «Даму с мушкой»)!» Еще там была ретроспектива Леи Никель, на этот раз она мне вдруг понравилась: по-детски жизнерадостно, жизнелюбиво, весело, и даже непритязательно, хоть и абстракционизьм. В магазине музейном долго листал альбом экспрессионистов с ранним Кандинским, там и Габриэла была, сто тридцать

шекелей альбом. И опять не взял, пожалел таньгу... В Мюнхене, гуляя, оказались возле виллы Ленбаха, смотрю: красивое здание, и народ толпится, тоже красивый, открытие выставки, некая Габриэла Мюнтер, зашел (жена осталась во дворике, кофе пить), ничего так, пейзажи в Мурнау-шмурнау, но особенно одна картина меня заинтриговала: она гребет в лодке посреди озера, на зрителя, спиной к нему, в лодке еще женщина в большой красной шляпе, чем-то встревоженная, и в синей куртке некто с бородой, я сразу подумал, что наверняка любовник. Оказался Кандинским. Синие Альпы вдалеке, синяя куртка Кандинского и ее синяя шляпа, и столько было ревности в красной шляпе подруги, столько бабьей отвергнутой любви в равнодушном полуобороте Кандинского, что я влюбился и в Габриэлу, и в Кандинского, а заодно полюбил и весь их «Синий всадник», о котором я только потом прочитал, отрабатывая след этого увлечения (до сих пор простить себе не могу, что не купил постер с выставки, жены убоялся, скажет: забито уже все рулонами этих постеров). Тогда в Мюнхене оказалась еще ретроспективная выставка экспрессионистов: акварели, пастели, рисунки, нечто нервозное, порывистое, изломанное, я и их заодно полюбил, если уж сердце на любовь настроится.., всех этих киршнеров, хекелей, пехштейнов, гуляла там по залу одна худенькая, в сарафанчике с бретельками крест-накрест, будто сошедшая с акварели, и вообще в Мюнхене мне очень понравилось, показался уютным, еще и благодаря гостеприимству Лёши, домашним с ним посиделкам с водочкой и хмельными пересудами о Филоне Александрийском. Леша писал роман об отставном офицере римской армии и панически боялся немцев (не шуми в коридоре, душ после одиннадцати — да ты что!, окно не открывай — кошка к соседям забежит!). Потом мы поехали в Зальцбург, к Андрею, отвели душу: напились и песни горланили… Но я все отвлекаюсь. Кстати, в Вене, я один раз столкнулся у ларька с пивом, захотелось пива, с краснорожими немецкими бугаями, оглядевшими меня с

таким хмурым подозрением, что я сразу живо представил себе это рьяное народное воинство в экстазе соборности, «фелькише», готовое к спасению Германии...

А на улицу вышли — такие краски радостные, веселые, летние, и подумал почему-то про «шалом» ихний, когда бояться не надо, живи себе спокойно, солнышку радуйся...

Когда шли в Музей, жена, глядя на сияющий мир, сказала: «Какое счастье, что мы приехали в Израиль». А потом, смеясь необычному слову: «Я к тебе прикипела. А ты ко мне?» Ну да, я перед этим что-то про кипень весенний говорил, деревья-то в цвету...

История для греков — история войн и полководцев, походов и завоеваний. История героев, пример для подражания. Но романтиками греков не назовешь. Не было в них этой инфантильной немецкой восторженности. Вот «Анабасис» Ксенофонта («алия» по-нашему), захватывающий военный роман.

«Уже наступил полдень, а неприятеля еще не было видно. После полудня появился столб пыли, похожий на светлое облако, а некоторое время спустя на равнине, на далеком расстоянии, будто выросла черная туча. Когда враг приблизился, как роса сквозь рассеивающийся туман, засверкали наконечники копий и можно было разглядеть отдельные части. На левом фланге находились всадники Тиссаферна в белых панцирях. Рядом шли отряды вооруженные легкими плетеными щитами, поодаль — гоплиты с большими деревянными щитами, доходившими до ступни, похоже, что из Египта. Кир гарцевал без шлема впереди своей конницы, сияющей медными панцирями. К нему подъехал Ксенофонт-афинянин и спросил, не пора ли атаковать. Кир кивнул и приказал оповестить всех о том, что жертвы и знамения благоприятны. Расстояния между массами войск было уже меньше трех стадий, когда эллины запели пэан и пошли на неприятеля. Когда фаланга перешла на бег, варвары дрогнули..».

Вчера звонила. «Может, приедешь?» «Не знаю, — говорю. — Вряд ли».

В Москве юбилейный парад Победы. Ветераны, бряцая медалями и взявшись за руки, дружно и гордо вышагивали по Красной площади, новое, «демократическое» начальство, воспользовавшись поводом, опять на Мавзолей взобралось и ладошками помахивало. Опять театр, пьеса для механического пианино. Ельцин ряху отъел, совсем боров. И внизу, в общем-то, все кагебыло[1]...

10.5. Юные Гитлер и Кубичек на горе Фрейбург над ночным Линцем после оперы Вагнера «Риенци», охваченные экстазом мечтательности, дают друг другу юношеские клятвы. Ну чем ни Герцен с Огаревым. Да сколько их было на земле, романтических юношей, дававших себе и друзьям «поспешные обеты»! И для скольких из них клятвы оказались «выше сил», а обеты — смешными всевидящей судьбе[2], скольких после романтического дурмана юности ждало горькое похмелье будней, сколько нектара мечтаний отстоялось в ядовитый осадок цинизма, мизантропии и отчаяния. И как легко призвать эти сонмы разочарованных под знамена безумий, заставить их поверить, что их «разочарование» — только слабость воли, какую сокрушительную мстящую силу можно пробудить к жизни! Катаклизмы столетия — бунт состарившихся, но не повзрослевших юношей. Так что, романтизм — корень зла? Да, в нем изначально лелеялось демоническое, и он имел германские корни...

В пору моего отрочества над романтиками смеялись, «романтик» был все равно что восторженный дурак. Эпоха революций и религиозных войн прошла, наступали време-

[1] Парафраз от КаГеБе.

[2] Скрытые цитаты из «Признания» Е. Баратынского.

на расчетливости, а я, выходит, был последним из могикан, все еще мечтавшим проложить новые пути заблудшим народам? (Такие “последние” и в Израиловку подались новое русло судьбы вырыть евреям, а выроют все тоже — братские могилы.)

На самом деле и в рационализме, короне Разума, и в вере в Бога — человек исчезает, становится объектом. Только романтизм ставит его в центр мироздания. Обожествляет. Религия романтизма — культ человека. Его творчества, созидания, воления. И конечно, тут что ни шаг — роковые соблазны. А экзистенциализм, с его «вниманием к человеку», это такой грустный интеллигентный романтизм, без магизма, импотентный такой романтизм.

Почитал Паскаля. С трагическим противоречием между ничтожеством и величием человека я и сам в отрочестве онанировал. «Причина наших несчастий... в естественном злополучии нашей слабой и смертной природы. Это состояние настолько жалкое, что решительно нет средств утешить себя, коль скоро о том подумаешь». Эхма, что верно, то верно. «Все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем мы должны возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем хорошо мыслить: вот начало нравственности». А что это значит: хорошо мыслить? Логично что ли? Тогда Бога не докажешь. А я тебе скажу, что значит хорошо мыслить: это значит мыслить смело, как Ницше, как Маккиавелли. (Да разве не заглатываем мы мыслью своей пространство и время?)

Это стремление «доказать» существование Бога выдает душу воистину безутешную. «Безутешные» доказывают Бога однообразно: мол, верить абсурдно, но делать нечего. (Какова альтернатива?) И все прячутся за тайны, да сокровенности. Вот пишет: «...нет в мире ничего такого, что воочию свидетельствовало бы о присутствии Божьем». Или: «Если Бог есть, то он окончательно непостижим, ибо, не

имея ни частей ни пределов, Он не имеет никакого соотношения с нами. Поэтому мы неспособны познать ни что Он, ни есть ли Он». А этот пассаж с игрой в веришь — не веришь? Целую теорию игр развел вокруг этого. Мужик явно сам себя уговаривал («Уверенность. Уверенность».). Но если непостижим, так и спору нет. Верь — не верь, все одно. Споры начинаются, когда его конкретизировать начинают, свойства ему приписывают, заповеди его требуют соблюдать. (Как же это непостижим, если он лично беседовал и с Абрашей, и с Мойше, которых подробно проинструктировал? А в другой своей ипостаси землю Израиля исходил, поучая?)

Израильский анекдот: Моисей спускается с горы Синай к народу и говорит: так, евреи, у меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая: число заповедей удалось сократить до десяти, но прелюбодеяние — придется соблюдать (аваль ниуф бефним).

Нет, мне Декарт милее. «Как только я вижу слово «тайна» в каком-нибудь предложении, у меня начинает портиться настроение».

Знаменитая эстрадная певица Б. по русскому ТВ выступала, по «Часу пик». Эдакая смиренница, все про то как ей батюшка на служение указал, пением то бишь. И про Боженьку, мол, все что не происходит, все ему угодно. Ведущий и говорит: «И жертвы в Чечне ему угодны?» Пораскинула старая Б. мозгами (Мишка у нее два года на гитаре клацал, рассказывал, когда из Америки приезжал, что ансамбль себе как гарем подбирала) и говорит, очи долу потупив: «Ну мы со своим умишкой (так и сказала — «умишкой», может Мишку вспомнила?) Промысел его знать не можем».

13.5. Возили учеников на экскурсию, на электростанцию. Шофер — русский. Рассказывал по дороге что был прошлым летом в Гомеле, на родине, там ужасно, он вытащил 100 долларов и шурин глаза выкатил, шурин-то всего

50 д. в месяц получает, да и то уже 3 месяца им зарплату не платят, но пыжится, гордится, «у нас теперь все есть», «что у вас есть, говорю, колу на углу продают?» «Ну, к бабке на могилку сходил, она перед отъездом умерла, поставил ей памятник, конечно, приятно друзей повидать, водил их в ресторан, хороший коньяк пили, «у них Брестская фабрика хороший коньяк делает, мне понравился»; что в Америку съездил к родне, «ты был в Америке, а, не был еще, а ты сколько в стране? ого, и не разу в Америке не был?! ничего там они нормально устроились, вот и я сейчас новую квартиру покупаю, четырехкомнатную, в Лоде…».

Пытаюсь читать, но не могу сосредоточиться из-за его трескотни.

— Чего читаешь-то?

Показал ему книгу.

— «Священная загадка»… Это про что?

— Вот, — говорю, — утверждают, что Иисус жив остался, что семья его оказалась в Провансе и от нее пошли Меровинги, которые потом пошли в крестоносцы и стали королями Иерусалимскими, что на этой почве тайные ордена и общества образовались, в общем, любопытная история...

Чувствую — сразу и начисто отключился, будто я на птичьем языке заговорил. И вдруг ясно стало, что книгочеи — каста, орден, франкмасоны...

Пять лет назад, во время той заброски на ответственное задание, я зашел в музей Пушкина в Ленинграде, раньше не доводилось. Этот кабинет, уставленный книгами, часто видел на фотографиях, но когда вошел, один — никого не было — в это царство книг, вдруг почувствовал себя уютно, как у собрата по тайному обществу. Книжник. «Прощайте, друзья». Нет друзей ближе книг, интимнее, интереснее, бескорыстнее, а значит и вернее. Да зачастую они — единственные собеседники. И страсть к собиранию книг — это не вид коллекционирования, это желание собрать всех друзей вместе, у себя. И подумал про Пушкина: а ведь он был человеком глубоко одиноким. Кто любит книги, тот не любит людей.

В системе мышления Гитлера царила монументальная пошлость, и это в сочетание с практической изворотливостью и полной атрофией сострадания и юмора. Не таковы ли немцы вообще? Пошлость, практическая сметка, отсутствие юмора и не отягощенность сочувствием — можно сказать, национальный портрет. Так что Гитлер неплохо «вписался». Да он и не смог бы так овладеть массами, если бы они не чувствовали в нем «своего». Не зря русские, народ с едким юмором, мечтательный, непрактичный, подверженный припадкам сочувствия, всегда не любили немцев.

Единственное, что могло утихомирить мою ненависть к немцам, убийцам беззащитных сородичей, это то, что беззащитность сородичей я ненавидел еще сильнее.

14.5. Рабин — еврейский контрреволюционер. Оппортунист, термидорианец и перерожденец.

Гитлер до 1-й мировой: бегство из захолустья в Вену, жизнь юного одинокого мечтателя — класссический сюжет для какого-нибудь Стефана Цвейга... Томас Манн: «Каким-то постыдным образом тут есть все... Достаточно неприятное родство. Ну да, «братец Гитлер».

Рафа[1] в «Вестях» пишет о иерусалимской конференции по проблемам фашизма. Возрождается, мол, повсюду. Рафа все-таки ушел от этих мухоморов из «22». Когда я приехал, они как раз из «Сиона» вылупились, свободы творчества захотелось (Бауха к ним комиссаром назначили), а я возьми и напиши Воронелю письмо залихвацкое, так они с Ниной и с Рафой к нам в ульпан приехали, но меня не застали. Потом все-таки состыковались. Наташа Рубинштейн меня опекала, учила литературному уму-разуму, иногда нос-

[1] Рафаил Нудельман, журналист, редактор.

тальгировала, славное былое вспоминала. Как-то в машине, по дороге на заседание редколлегии, с горечью сказала: «Небось, в Союзе вокруг такого журнала толпы прихлебал увивались бы, а тут...» На редколлегии у них жены сидели, вязали, и время от времени что-то веское вякали: «Вообще-то он противный, и стихи у него... я конечно не вмешиваюсь..». Они тогда ухаживали за мной, к себе приглашали, на заседания редакции, на разные вечеринки, и все так, чтоб кого-нибудь подвести. Я очень хотел, чтоб меня держали за «своего», то есть за поэта в законе, а не за фраера какого, и в качестве «своего» готов был возить кого угодно хоть на край света, но стало возникать подозрение, что они меня за извозчика держат, народ-то был по-советски спесивый, намекали, какую честь оказывают, приближая. Однажды, когда у Рубиной сын родился, на брит-мила, жена Рафы, похожая на селедку, брезгующую газеткой, на которую ее положили, попросила меня какого-то старичка отвезти, а я вдруг уперся (до сих пор старичка жалко), так и лопнул мой роман с «22». Забрал свой рассказик, уже набранный, Рафа на меня с недоумением посмотрел... А у Наташи, этажом выше, жила скульпторша молодая, зады лепила, и у самой был такой скульптурный...

По русскому ТВ показывали «Список Шиндлера». У нас всю школу недавно водили, воспитательное мероприятие. Сентиментальная голивудская поебень на историческую тему, но все равно зло берет, невольно, глядя на эту омерзительную беспомощность, ни искры бунта в покорно гибнущих толпах, но главное — кого они героем считают, на каком славном примере юность воспитывают?! Человек, который не просто сотрудничал с режимом, прекрасно зная о его чудовищных преступлениях, но и наживался на этих преступлениях, «спасая» обреченных на смерть для того, чтобы они работали на него изо всех сил, в награду за жизнь, воистину «работа освобождает». Ох, евреи, евреи. Воспитывали вас немцы, воспитывали, учили, что низость

не впрок... (Сценка: молодая красивая женщина, архитектор из Милана, из заключенных, бросается к начальнику лагеря, садисту, чтобы объяснить ему, что бараки так не ставят, они упадут, что-то с фундаментом не так рассчитано. Немец приказывает сделать так, как она сказала, а «умницу» расстрелять.)

А русские спецы, интеллигенты в лагерных шарагах на своего крутого Хозяина с энтузиазмом не вкалывали? Человек — раб, что эллин, что иудей.

Хотя эллины тут может и не причем...

Теща, сыну по телефону: «...сейчас меняется погода, вы брали Мусика к морю? а холодно не было ему? дай мне с ним поговорить, Мусик! лю-лю! это баба Ляля! ай, ой, Муська, ты меня лю? ты любишь бабу? ха-ха! да? аа... Что? Да. Смотрела телевизор. Да, этот Шиндлер портит настроение...».

16.5. Фест о генезисе фашизма:

«Пессимизм... стал главным настроением всего времени».

«Иррациональные ожидания бродили повсюду, как бешеные собаки».

«Страх обращался в агрессию, а отчаяние искало утешение в величии». (Вернее в тщеславии.)

Вчера по русскому ТВ был «Момент истины» с тремя русскими «фашистами», добровольно воевавшими на стороне сербов, а потом еще была передача Щекочихина о фашистских организациях, а до этого еще Познер пытал Бутруса Гали об экстремизме ислама, фашизме и т.д. Прям наступление широким фронтом. Так у Щекочихина одна профессиональная антифашистка пугала, что если фашисты прийдут к власти, исчезнет колбаса в магазинах и всех погонят в строй. Ну, насчет колбасы — это спорно, да и не важно (при Гитлере, и даже при Сталине, колбаса води-

лась), а вот в строй, конечно, погонят, но может люди именно этого и хотят? Шагать стройными рядами. Да и физлишениями душевнобольного не запугаешь, вот Гитлер был по-своему счастлив на войне (4 года на фронте отбухал!), а Достоевский на каторге, вот и эти трое добровольцев, что в Сербии воевали, симпатичные ребята, ей Богу, один даже еврей, с московского университету, ведущий ему: Миш, но ведь ты же Московский Университет кончал!», чуть не сказал «Миш, но ведь ты же еврей!». Конечно, ребята чуток психоватые, ацудрейтер[1], но ведь душа ж болит за державу! И вообще! Один говорит: «Так что ж, говорят — мир, так любой ценой значит? Да? Значит лапки кверху? Нет, мы не согласны!»

17.5. Не исключено, что капитуляция левых в Осло и намечающаяся унизительнейшая капитуляция перед Сирией, которая кажется необъяснимой, никакой силой не продиктованной, вызовет в Израиле (по аналогии с капитуляцией Германии в 18-м и России в 89-м) яростную «фашистскую» реакцию, реакцию людей, которые ощутили себя обманутыми, преданными, поруганными.

Но пока наблюдаем лишь истеричные вопли, да крокодиловы слезы.

Левый, который боится войны с арабами, должен получить гражданскую войну с евреями. Впрочем, коммунистов этих недобитых (одна училка недавно призналась, что марксистка, «только настоящая, не такая, как у вас в России») гражданской войной не напугаешь, они в сущности уже ведут ее на стороне арабов и мирового прогресса.

Эпикур: «Обладая лишь смертной природой, нельзя установить ничего достоверного о природе бессмертной». Плутарх: «Когда те, кто всего-навсего люди, берутся рассуждать о богах, это большая самонадеянность». Так что Пас-

[1] Нервные (*идиш*).

каль ничего нового в этом деле не открыл. И опять же: «понятию Бога неадекватен никакой опыт и никакая интуиция» (Кант). Так что ж вы о Христе толкуете, как о Боге?! Он же был человеком, жил, был достоверен, видим, слышан и смертен, и даже если и послан Богом, если сын Его, то вторичен, производная Бога, эманация! И как они умудряются строить на такой «вере» философию?! Воистину: «всякий, кто хочет быть христианином, да вырвет глаза у разума своего». (Лютер).

Конечно, Арий был прав. Чем меньше в Христе божественного, тем больше героического. Но они его раздавили, Ария. Баламутил империю.

На первый взгляд противоречие получается: с одной стороны нет для меня ничего более омерзительного, чем религиозность, ну настоящий, блин, опиум для народа, наркомания, а наркоманы омерзительны именно безволием своим, «слабостью», капитуляцией перед жизнью, а с другой стороны — я готов смыкаться, идти на союз с нашими религиозными «почвенниками» против леваков-атеистов.

А противоречия-то, ежели разобраться, нет. Я еще сильней презираю и ненавижу левые сказочки о братстве народов, о мире и прогрессе и светлом будущем — та же вера, тот же наркотик, причем смертельно опасный, расслабляющий, разоружающий (кстати, есть теоретики от наркомании, которые говорят, что если все будут наркоту брать, то тут и мир на земле наступит и любовь). Так что лучше уж вера конвенциональная, нашинская, как Лора говорит, за ней хоть традиция, родовое начало, к черту этот прекраснодушный, всепонимающий и всепрощающий либеральный универсализм сытых, к черту, не верю! Да, не верю, да, пусть я сам — жертва другого наркотика, другой веры, веры в то, что не звери люди, а трава, и каждый умирает в одиночку... Или это не вера, а страх, урок, усвоенный намертво...

«Религия — дело черни». Святые слова, Учитель.

На Востоке говорят: сначала отдай долг мести, а потом — благодарности.

Прочитал «Двоеточие», первый номер. Показался не очень интересным, просто бледным. Речь Кундеры — общепит, без изюминки. «Огнестишия» Савелия Гринберга чересчур отдают пастернаковщиной, стилизация что ль, и все реминисценции, реминисценции... «кто знал, кто ведал — что нагрянет — распад…», «во имя всех чертей», «загадка жизни», «нераспечатанный секрет»... Что-то прелое... «Русский роман» Шалева — сюсюканье про дедушку и сиротку. Шломо Замир — о чем это? Лень думать. Елена Толстая: «Западно-восточный диван-кровать (подражание поэту Ге)» — сколько реверансов только в одном названии. Что-то очень бурное про Израиль. «Путешествие по Святой Земле» Норова, снимок страниц дореволюционного журнала, любопытно, но очень шрифт мелкий вышел, да и тот неразборчив, для декорации вставили? Потом сама Дана — «AT THE DACHA». Куски я уже слышал на вечерах. Нет, неплохо, изобретательно, но... Что но? Придираюсь? Сухо, искусственные цветы... Или я не врубился?

> «Сиречь, ножки у них появляются, лапки,
> отлетают хвосты, и они умирают,
> то бишь смежают вежды и в рассоле плавают с краю».

Тональность почти элегическая... У Вайскопфа неплохая идея о святости пустыни, о сакрализации пустыни в русских текстах. Хорошая мысль. И убедительно излагает, чувствуется выучка. И над Русью подхихикивает по делу. Мне еще Вика говорила, что «Миша в Москве многих оттолкнул и разозлил». Если этим, то пусть гордится.

Ну, а Малер («Жизнь и творчество») что, идея может и не дурна, но стара, была уже, слава Богу, и «Защита Травникова», да и сам Владимир Владимирович[1] лично балова-

[1] В.В. Набоков.

лись. Оно, конечно, достойным подражать не зазорно, но читать всю эту с понтом графомань забубенную... Пьесу Щербы не осилил. А вот «Конец света» Бар-Малая оживил: «Доставай, Родя, горн... Проперди им, гадам, напоследок что-нибудь пионерское». И еще презабавна статья «На лоне мачехи-земли» с гениальной графоманью Цетлина: «Он был бездомен, гол и зол, // и в джунглях буйно он царил,// внедряя страха произвол //среди мартышек и горилл». «Хоть он старик (не карапуз), //любил покушать он арбуз». Да все стихи там — убойной силы. Только подозрение у меня, что это опять чья-то мистификация. В общем и целом — мелковато. Ни одного «открытия», кроме разве что Цетлина. Нет, кроме шуток, такая искренняя, не отягощенная рефлексией графомания конгениальна. И чувствуешь тайное родство...

Сегодня в «Маариве» текст песни Авива Гефена, которую чуть ли не запретить хотят (старорежимные ухватки). Звучит примерно так:

Куда приканали?
В тупик, в Никуда.
Как в бункерах жить нам в своих городах.
В бетонные лунки мы ляжем всем клином.
Голубка подавится костью маслины.
Так в чем здесь задумка? И чья тут вина?
И как называется эта война?
А кто там под мухой бредет за оградой?
Да это ж премьер наш! Он парень что надо.
…
Детишки кота подожгли, духарясь.
Папаша дочурку ебёт втихаря.
Она подвывает, когда он кончает.
Господь ни гу-гу. Вроде не замечает.
Зато наши дети одеты-обуты.
А то не беда, что слегка ебануты.

Ну и т.д. Так сказать, в вольном переводе.

Понравилась мне песенка. Такая сионистская. Понятно теперь, чего Лея Рабин озлилась.

18.5. Лаг баомер. Всю ночь ребятня костры жгла. Юваль пришел в шесть утра.

«Моя скорбь — мой рыцарский замок». Кьеркегор. Подошло бы эпиграфом к моей «Романтической балладе». Как по заказу.

Жена: «Иди скорей, Пугачева с Киркегоровым выступают!»

Решил перечитать статью Каганской об отщепенстве в «Страницах». По дороге наткнулся на статью Функенштейна «Пассивность евреев диаспоры» со своими старыми пометками. Есть там правильная мысль о том, что пассивность в период Катастрофы объясняется ассимиляцией (то есть самоотказом, самороспуском), разорвавшей эмоциональные связи национальной солидарности и заставившей евреев солидаризоваться с чужим государством, что сделало их безоружными перед этим государством в час испытаний. И еще он утверждает, что «тотальная пассивность евреев» диаспоры — это миф. Стал я искать в статье опровержение этого мифа, но не нашел, увы.

Да, так насчет отщепенства. Кроет его лихо. Мол — «русская болезнь» («русский культурный шовинизм, заношенное до дыр русское культурное мессианство» — раздражает, согласен). «Давно не одевается по романтической моде героев Байрона... не живет на чердаках и мансардах жизнью одиноких героев…», короче: «потеряло жанровые признаки» (как вторичные половые), мол, для евреев — это опыт устаревший. И в конце концов пригвоздила к кресту: «Быть отщепенцем в Израиле — это не несчастье, не стыд и не преступление — это бездарность». Так что, прикажете становиться в строй? А кто и куда поведет? Или это типичные вопросики отщепенцев? В тюрьму за них, как в доброе старое время, уже не содють, но бездарностью, не ровен час, заклеймят.

Однако, поскольку я ощущаю себя и отщепенцем и бездарем, то остается только, расслабившись на этом кресте, хоть позагорать напоследок. Да, отщепенство, да, романтический герой-одиночка, к черту толпы, в том числе и еврейские, воодушевление единством. Не надо мне вашего рая причастности к долбоебам. И не в русских комплексах дело, а скорее в еврейских, да, еврейское галутное отщепенство, пара ушастиков в классе, незримо и намертво связанные всеобщей неприязнью и своими тайными увлечениями историей погибших народов, удалыми песнями одиночеством изнуренных...

В июне 67-го я места себе не находил от радости, и на семинаре по радиоприемникам, совсем от нее обалдев, пишу впереди сидящему Гольдбергу записку: «Наши в Иерусалиме!» Гольдберг втягивает голову в плечи, как черепаха под панцирь, рвет записку на мелкие-мелкие кусочки и, подняв руку, просит у преподавателя позволения пересесть.

21.5. Боря напомнил, как он пришел ко мне после выборов поплакаться, что Тхия провалилась, и сказал: «Ну что, не на ту партию мы поставили?!», а я ему, якобы, в ответ: «Да что — партию! Я боюсь, что мы не на тот народец поставили!»

22.5. Сегодня Рабин, перед голосованием в Кнессете, под диктовку коммунистов и арабов отменил решение правительства, свое же решение, о передаче 500 га под Иерусалимом на нужды строительства. Полная и тотальная капитуляция. Даже американцев не постеснялись выставить идиотами, те уже наложили, извиняюсь за выражение, вето на резолюцию ООН, осуждающую передачу, и полмира на них за это обиделось.

25.5. Интересно, многие мужчины «играют» во время акта? Ну, все эти охи-ахи, когда страсть изображают? Я так лично «играю». И не вижу ничего плохого, если партнерша «играет». А то скучно.

Виктор пригласил на собрание в Цомет. Я колебнулся было, но не пошел. Глупство это все. Партийной болтовни и мелочных партийных интриг с меня хватит. Вот если б кто пострелять пригласил... Дважды меня пытались в дело втянуть, но я струсил. Во второй раз совсем уже безумьем попахивало. Алик был у нас когда-то давно в Тхие, но ушел, оказались для него недостаточно радикальны. Я его изредка встречал в театре, в филармонии, он был из старой плеяды московских отказников, на пять лет раньше наш институт кончил, кандидатскую защитил, приехал тоже раньше меня. Один раз я у него в гостях был: жена симпатичная, трое детей. Свою фирму открыл, какие-то приборчики делал, но дело не пошло, и преподавать пытался, а потом попал в автокатастрофу, и после этого ушел от жены, я его встречал на тех же культурных мероприятиях с разными другими женщинами, вокруг одной, новоприбывшей одинокой поэтессы с ребенком у нас даже чуть соперничества не вышло, нет, во всем он был вроде нормален, но... какой-то бешеный блеск в глазах, особенно когда про политику разговор, а после аварии блеск стал еще страшней, и глаза таращились. В общем, однажды он позвонил и предложил встретиться. Сказал, что есть у него знакомый, который может взрывчатку достать, а дистанционный взрыватель он берется сделать, так что дело за мной. А кого взрываем, братва, весело улыбнулся я, еще слабо надеясь, что он шутит. Мечети, сказал он. Или ихние школы. Я не на шутку струхнул, и посоветовал лучше взять посла ебипетского заложником, чтоб Синай освободить. Он грустно посмотрел на меня, сказал: ну, ты подумай, на этом мы и расстались. Через год он умер от рака, быстро сгорел, лежал у Мирона в больнице, жена его навещала, в Москве он за ней ухаживал, женщины такое не забывают, а я не пошел. И на похороны не пошел.

А гражданская война у евреев лихо пойдет. Бли кунцим (без булды).

26.5. Маринетти хорош! «...пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей... пусть мосты гимнастическим броском перекинутся через гладь рек. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы..». Фромм находит в этих текстах характерные черты некрофилии. Мол, каждый, кто техникой интересуется и не любит смеяться — некрофил. Ну и — ? Один — некрофил, другой — шизонарцисс, и все тайны истории разгаданы?

Можно вообще про немцев сказать, что они некрофилы: с юмором туговато, технику любят и порядок. Клинический случай.

27.5. Если раньше я считал, что лучше читать оригинал, чем цитаты из него, то теперь мне больше нравится догадываться об оригинале по цитатам, если, конечно, они стоят в интересном контексте, тогда они как изюминки в только что выпеченных ватрушках: и съедобно и вкусно. Сам-то оригинал зачерствел со временем, не разгрызешь, да и пахнет плесенью.

Читая нудельмановские пассажи о «черных дырах» и «белых карликах», вспомнил, что в отрочестве увлекался не только историей, но и астрономией как историей Вселенной. То есть уже тогда собственная жизнь меня не так привлекала. Кто ищет вечности, тот не любит жизни.

А любовь к астрономии, к чудным звездным цветам грибовидных туманностей и спиральных галактик — страсть садовника к мифическому Райскому саду. Сады звезд.

29.5. Конечно, в механизированном разрушении отчуждается смерть, отодвигается ее зловонная пасть, можно даже наслаждаться танцами прекрасных машин...

Уже много лет я перед сном представляю себе (ох, не зря Алик мне гнусные предложения делал) всевозможные

разрушительные и смертоносные теракты против арабов, как «мы», взрываем их мечети, собрания, университеты, больницы, школы, со всем их вонючим отродьем, базары, митинги, похоронные процессии... Иногда просто не могу заснуть без этих мечтаний. Постоянный «фильм» перед сном, только он меня успокаивает-усыпляет. А еще, после долгого жаркого дня, сбросив дома потные трусы, люблю их обнюхать, особенно ту, смрадную, полустертую полоску, этот обморочно сладенький запашек. Похоже пахли трупы расстрелянных христиан в брошенной деревеньке под Бахамдуном. (Труп посадишь в садах Аллаха и к утру зацветает труп... Да, это у вас про ливанскую славно получилось, Михаил Самуэльевич[1].) Я делаю это уже автоматически, жена возмущалась, а теперь посмеивается: «Что, хорошо пахнет?» Так что, товарищ Фромм, в некрофилы меня запишете? Валяйте. Фашист и некрофил. Не могу, правда, сказать, что люблю покойников. Но вот зачистку тотальную от человеко-крыс организовать — о, это тайная мечта! Чем-нибудь химическим, или нейтронным, лучами какими, тепловыми волнами, всё это их мерзкое копошение... Ну, а кое-кого можно и пулюшкой угостить-попотчивать, в головенку, чтоб пораскинул мозгами. По отношению к некоторым готов лично-с, да с превеликим удовольствием, ежели, конечно, гарантируют безопасность. (Я несколько раз смотрел «Подранки», фильм-то не Бог весть, но ради сцены гибели мальчика, еврея Вали, так мечтавшего о мести и подорвавшегося на собственной взрывчатке, как он вдруг потерял волю и заплакал в ожидании взрыва, когда динамитные палочки, неумело связанные веревкой, вдруг рассыпались, уже подожженные, заплакал от обиды на несбывшиеся мечтанья, и я каждый раз плакал вместе с ним, и над ним, над тем, что месть — не возмездие, а обиды неутолимы...)

---

[1] Цикл «Война в саду» в книге «Стихотворения Михаила Генделева».

Лимонова показывали по ТВ, постарел, высох. Тоже трусы нюхал, только ее. Скитается теперь по Расее, живое кровавое дело ищет. Не, я не такой смелый.

Вчера по ТВ, в «Таверне», импозантный мужик с седой бородой и в шляпе с бляхами пел старую испанскую песню о Иерусалиме. Эх, хороша песня! Крик-вой под гитарные переливы... С отрочества, едва страстишки вылупились, млею по Испании. Кровь предков? Мама говорит, что отец ее, дед мой Наум, перед смертью от голода в зимнем Ленинграде 42-го поведал, что мы из рода Абарбанелей, может, бредил? Хорошо пел, голос сильный, вой тоскующий, бесшабашный. И я подумал (редкие минуты любви к евреям), что вот ведь какая наша нация, ведь какие песни поем! хучь — испанские, хучь — русские, хучь — какие. Будто душа наша отражениями всех душ мировых переливается, и нонешних, и давно сгибших. Такая вот, мировая, можно сказать, душа.

Ну да, Разум чист. Есть в нем геометрическая такая честность. Не купишь, не запугаешь...

30.5. У евреев отсутствует одно важное качество, без которого мудрость истинная невозможна. Нет в них цинизма. Все есть: наглость, изворотливость, истеричность, надломленность, тоска, ну, и всякое такое. А вот цинизма — нет.

А когда смотришь на эти толпы, несущиеся в бешеном коловращении, то остается только одна надежда — на энтелехию. Да (и Гитлер с прискорбием подмечал), есть в них эта биологическая сила («биологически активная нация», зовут их русские фашисты), этот энергетический напор, эта сексуальная жадность, так и бьет через край. Будто непонятная «биологическая правда», воистину божественная, являет в нас свою неудержимость...

Генерал Лебедь, эдакий удав Каа с мертвым лицом, давал в Москве интервью молоденькой шустрой корреспондентке. Чувствовал себя еще неуверенно после отставки, пускаясь в новое для него политическое плавание, цедил слова, едва опуская нижнюю челюсть. Корреспондентка: «А вы вообще когда-нибудь улыбаетесь?» Лебедь: «Чо? Да я вообще человек веселый, да». Корр.: «Что-то я этого не заметила в нашем интервью». Лебедь: «А ты чо, хочешь шоб я тебе козу заделал?» Корреспондентка поперхнулась и неловко захихикала: «Да нет уж, козу не надо». Лебедь: «Вот и я говорю. Неправильно нас поймут».

Розанов считал Толстого гениальным, но неумным. Толстой просто не был циничен. Гениальность наивна. Она раздражает своей целеустремленностью и нежеланием считать цинизм признаком мудрости. Толстой до последних дней своих остался живой ракетой, порывом к спасению. Остался дураком. У него был иммунитет против цинизма. Все та же гениальность? Мудрость цинизма бесплодна, это мудрость бессилия. А иногда и лени.

По русскому ТВ (во дают!) показывали передачу о Хаиме Герцоге, как он Германию брал вместе с английскими войсками. Показывали кадры лагерей с горками трупов. И я подумал, что это садизм — требовать от них сопротивления, подлость и садизм. Конечно, это все от бессилия, свое бессилие переносишь на них, требуешь от них то, на что сам не способен, подвига, подлец, требуешь. Ты-то гуляешь себе, бумагу мараешь, а над ними уже надругались, до предела насытились надругательством. А разве такие же горы трупов не громоздились в России, не сидели там в лагерях миллионы и безропотно умирали? И ни какие-нибудь там трусливые еврейчики (вроде Мандельштама!), а честн*о*е русское воинство, герои и витязи.

А сейчас, тут, не идет ли свободный народ сам в пропасть? (Барнеа вчера в «Маариве» остроумно высказался,

что, мол, конечно, правильной дорогой ведут народ нынешние вожди, только почему они ведут его за нос?) Скажут — нет, есть сопротивление, оппозиция, демонстрации. Да не смешите меня. Настоящее сопротивление, а не игра в него, это насилие, это жертвы и самопожертвования. А ты сам-то, щелкопёр, взял бы револьвер? Слабо?

В последнее время от этой либиды — одна тошнота. Вчера днем, когда жена с Асей разговаривала, мы это в последнее время частенько практикуем, когда она по телефону разговаривает, с мамой, или с Асей, или с другой подругой, у меня уже рефлекс выработался, как у собаки Павлова: чуть звонок и воркование в трубку, Благонамеренный — что твой суворовец — по стойке смирно (когда с мужиками говорит, я не решаюсь, боюсь вызвать ненужные рефлексы и ассоциации), вот и вчера, трубку-то она потом положила, побоялась себя выдать голосом, положила и прям измучила меня всего. Устал. Как-то вот морально устал. И опять бессонница одолевает.

Да, так с Аликом это был второй случай, а в первый раз меня втягивали в разные безобразия люди посерьезней. Городишко, где мы поначалу жили, состоял из старых неприглядных кварталов «иракцев», нового квартала для «русских», поаккуратней, и нескольких вилл работников местной администрации из старожилов (городок был под контролем Мапам, Революционной Рабочей Партии), у «Банка рабочих» красовались заросшие руины крепости крестоносцев, рядом музей, краеведческий. Директором музея и его единственным работником был бодрый старикан Шапиро. Кроме редких визитов школьников в музее никогда никого не было, так что он был рад моей заинтересованности, еще больше его утешали мои политические взгляды, он любил говорить о том, что вся надежда на русскую алию. По вечерам он прогуливался со старой чешской винтовкой времен Войны за Независимость и повязкой «гражданская

оборона», во что и меня втянул, уж больно я любил его байки. Старик был что надо. Кремень. Из бейтаровцев, вечный диссидент, ничего не нажил, ни добра, ни славы, но попрежнему горел революционным огнем. Жизнь неизбежно сводила его со многими теперь уже «историческими» фигурами, а в ту пору все были партизанской рванью. Я взял у него интервью и напечатал в «Круге», я тогда активно печатался, отчаянно пытаясь оповестить сограждан о том, что сионизм в кризисе. Он свел меня с некоторыми любопытными личностями, из той же плеяды заядлых диссидентов, которые умудрились и к Бегину войти в оппозицию и остаться на обочине, хотя сотрудничали с ним еще со времен войны с англичанами, а кое-кто — с Польши. Один из них-Шломо Лев-Ами был из старших офицеров Эцеля и утверждал, что в короткий период после смерти Разиэля он возглавлял организацию, хотя был тогда моложе 25-ти лет, и что лично передал бразды правления Меридору. Утверждал он также, что после отставки Меридора организация высказалась за избрание его командиром, но он уступил Бегину, за что Бегин отплатил ему черной неблагодарностью. Все его товарищи стали министрами (тот же Меридор) и послами, а он оказался выброшенным центробежными силами на обочину. Он свел меня с остатками старой гвардии, а однажды на вечеринке, которую давал для соратников Эли Ланкин[1], новоназначенный посол в Южную Африку, я познакомился с вдовой моего кумира Авраама Штерна, красивой, даже величественной, седовласой женщиной, прекрасно говорившей по-русски, я взял у нее телефон, сказал, что хочу написать о Штерне, а заодно и у неё взять интервью, но закрутился, и дело заглохло, а, да, меня в армию взяли. Еще я познакомился тогда с сыном Ахимеира, он теперь член Кнессета, жена у него русская, как-то даже пыталась мне помочь с поездкой в Россию через Сохнут. Так что получается, что если б я был порасторопнее, то можно было

[1] Командир «Альталены», один из старших офицеров Эцель.

бы и в Ликуде пробиться. Только толкотню не люблю, кишения пресмыкающихся... Ну вот, так у этого бывшего командира Эцеля был дома такой политический семинар, собиралось каждый раз человек десять, в основном «отщепенцы», но и кое-кто из старых боевых товарищей занимавших государственные посты среднего звена, и обсуждали «текущий момент». Командир этот подарил мне несколько своих книг о том, как нам обустроить Израиль, разваливающийся на глазах, и вообще относился ко мне с подчеркнутой внимательностью, надеялся, что стану проводником к русской алие. Я действительно приводил на семинар единомышленников (тогда всех объединяло неприятие соглашений в Кемп-Девиде), даже Кузнецова привел, Командир тогда всерьез рассматривал идею «идти в Кнессет» и варганил всякие политические комбинации. Готов был поставить Эдика на второе место в свой список, но Эдика это не воодушевило. Потом многих участников семинара я встречал в Тхие, у Рафуля, у Ганди. Он мне нравился, Командир. Лет ему было за шестьдесят, а выглядел сорокалетним: боевой такой темный бобрик на черепе благородных форм (ни одного седого волоса!), спортивная выправка, лицо решительное, настоящий боевик, основательный такой, рассудительный. Однажды он попросил меня остаться после семинара, в Иудее и Самарии прошла серия терактов, настроение было взвинченное, «территории» волновались. Сначала он прощупал меня на предмет моей оценки ситуации. Я выразил тревогу. Тогда он сказал, что надо что-то делать. Я сказал, что конечно, надо что-то делать. И тут он неожиданно пустился в откровения, сказал, что «семинар» — это некий предбанничек, «фильтр», за ним стоит более серьезная организация, и он предлагает мне перейти в следующий класс. Первой моей мыслью было: «органы» меня проверяют, это провокация. Нужно было быстро и элегантно «делать ноги». На любые «органы» у меня идиосинкразия. Чувство лабиринта, ночные кошмары Кафки. Оттого я и тайны всякие не люблю, как у Декарта, у меня от них портится настроение, — где

тайны, там и органы. Я не собирался жить двойной общественной жизнью (половой — еще туда-сюда), хватило русского опыта. Я избрал линию «дяденька, я еще маленький», сказал, что не совсем понял, о чем он говорил, но в любом случае у меня нет сейчас возможности расширять свою общественную деятельность, да я и не вполне считаю себя вправе, я меньше двух лет в стране (тут же нарвался на сомнительный комплимент, что говорю лучше многих аборигенов), у меня семья, я должен заниматься абсорбцией, во-вторых, недостаточно хорошо знаю страну и ситуацию в ней, поэтому предпочитаю остаться в младшем классе и потихоньку набираться ума. Он сказал, что разочарован. Но понимает меня. Да, понимает. Но разочарован. С тех пор я еще зашел к ним пару раз, чтоб не создать впечатления, что удираю, и — лег на дно. А когда в газетах напечатали портреты членов «еврейского подполья», которое ноги поотрывало у строптивых арабских градоначальников, одного из них я узнал, видел на семинаре. Командир в этом «деле» не фигурировал, возможно, что и не имел к бузе отношения.

Да, я люблю террор. Меня тянет к террору. Есть в этой отчаянной игре сладость тайной власти. Когда нет шансов добиться явной власти, остается жаждать тайной. (Литература тоже может быть террористической.)

Еще в школе я мечтательно обдумывал покушение на Меира Вильнера, сильно взъелся на его рожу изжеванную, на голос вкрадчивый, которым неустанно поливал сионистских захватчиков и угнетателей, пресмыкаясь перед советским начальством. Израиль был тогда для меня воплощением священной мстительности, Тилем Уленшпигелем, Робин Гудом. Лава мстительности кипела в моей душе. То было время не любви, а жажды славы, жажды странствий, переплавления обид в проклятый комплекс мессианства. Когда мне душу жег огонь пророчеств древних и проклятий, и я мечтал вложить в ладонь святую тяжесть рукояти...

Вряд ли я верил в осуществимость своих планов. Но сама мысль об этом предприятии, процесс его обдумывания и подготовки к нему доставляли мне утешение незаменимое. Жизнь, впрочем, шла своим чередом: влюбленности, курсы по физике и математике для поступающих в вузы при Московском Университете, всякие олимпиады, два раза в неделю волейбол в школе по вечерам... Сбор данных привел к следующему плану. Во время демонстрации на Красной площади в честь очередной годовщины Великого Октября Вильнер должен был стоять на трибуне для почетных гостей довольно близко от крайне правых рядов демонстрантов, это я усмотрел во время последней трансляции. Нужно было затесаться в эти ряды, и, проходя мимо (да-да, вот именно, — проходите мимо), выскочить и наброситься на предателя. Единственный человек, которого меня подмывало посвятить в эти планы (вообще-то меня частенько тянуло поделиться своим героизмом с кем-нибудь, хорошо бы с красивой девушкой, опять же, глядишь, и отговорят, и не прийдется признаваться себе самому в трусости), был Зюсик. Он тоже был отчаянный сионист (рисовал зимой на заиндевевших окнах троллейбусов щиты Давида, за что однажды был чуть не побит разъяренным подвыпившим инвалидом, очевидно разгадавшим глубину нашего заговора), ненавидел Вильнера и мечтал удрать в Израиль. Но я ему не сказал. Между нами была атмосфера недоверия, я во всяком случае ее чувствовал. Когда нам было по тринадцати, я тогда дружил с двумя ребятами с нашей улицы Вовкой Кудликом, отец которого был полковником КГБ, и Мишкой Вядро (Вовка был Портосом, я — д'Артаньяном, а Мишка — Атосом, не забуду и общепризнанную в нашем кругу госпожой Бонасье Таню Брындину, миловидную, томную девочку с большой русой косой, она жила на втором этаже деревянного дома на Тихвинской, окна во двор, и глядела из-за занавески, как мы внизу сражались на палках, иногда нешуточно отбивая пальцы), а Зусика мы подключили к нашей компании в качестве

Арамиса, через него мы и пристрастились с Вовкой к мелкому магазинному воровству. Эта эпопея началась с кражи конфет с витрин. Витрины были полуоткрыты, и мы уже могли, особенно здоровенный, румяный хохол Вовка, дотянуться до стеклянных вазочек с длинными ножками, наполненных карамельками, а то иногда и «Мишками в лесу», ну а там, пользуясь суетой у прилавка... Конфеты д'Артаньян еще таскал, хотя и не так активно, но, когда перешли на более серьезные вещи: фарфоровых слоников, карандаши, авторучки, книжки — больше стоял на атасе. Зияющей вершиной нашей воровской карьеры была шкатулка Палеха мелких размеров с Жар-Птицей на крышке, которую Зюс утянул в ГУМе. Складывали сокровища в старую, перекрытую давно водосточную трубу в подъезде деревянной халупы посреди тихвинского двора за банями, где Зюсик жил с отцом, отставным майором по строительной части, матерью и голубоглазой сестренкой Людкой, лет на пять младшей, которую мы за интеллектуальную недоразвитость обзывали «колхозницей». У Людки была интересная привычка садиться на край стула и сосредоточенно качать ногой, она при этом краснела, как рак, и впадала в сомнамбулическое состояние, так что можно было незаметно-невзначай потрогать ее под трусиками. Когда собирались гости, мы всегда садились рядом с Людкой и ждали этого волнующего момента. Экстаз прерывала мать, кричавшая: «Людка, перестань качаться!». Квартира эта: три маленькие комнатушки, гостиная с печкой, радиоточка с пыльным дырявым громкоговорителем, душная кухня, заваленная старыми кастрюлями и дровами, диван, неестественно вздутый, мутный аквариум на подоконнике (снится иногда, огромная, без стен и потолка...), принадлежала семье нашего с Зюсом деда Хаима-Залмана, кузнеца, с седой профессорской бородкой (звал меня «коткой»), у него болели ноги и он почти не выходил из дома, часто лежал, или сидел на кровати с книгой, запахнувшись в белый атласный плат с полосками по краям и повязав голову черной кожаной

лентой с черным кирпичиком на лбу, при этом раскачиваясь и бубня что-то в полголоса. Если я подходил, он, легко подхватив меня за подмышки, усаживал рядом, обнимал свободной от книги рукой и раскачивался уже вместе со мной. Бабку Хасю помню сгорбленной, остроглазой и сварливой, вечно что-то злобно ворчащей. Дед орал с постели: «Хаськэ! Гип а бис!» (дай пожрать!), а она, сгорбленной ведьмой кружилась по кухне и что-то ворчала, ворчала, мстительно сверкая глазами. Иногда, когда дед чувствовал себя сносно, он клал на колени наковальню, и что-то на ней охаживал молотом с короткой ручкой, или чинил швейную машину. Умер он от гангрены на ноге. Мама говорит, что человек был незлобный, но вспыльчивый. И мой отец был вспыльчив. Всю жизнь слесарил. В Финскую служил авиационным механиком, а в Великую Отечественную работал на авиационном заводе в Куйбышеве, где дружил с дядей Яшей, маминым братом, дядя Яша был физиком, по сопромату, а мама — студенткой медицинского, они поженились после войны, в сорок шестом, и уехали в Москву, к деду Хаиму на Тихвинскую, где я и родился. Дед мой по материнской линии был из солидного польского торгового люда, но женился против воли родителей, на «бедной», за что был предан анафеме и лишен наследства, и они с бабушкой решили уехать искать счастья, выбор стоял между Америкой и Россией, бабушка уговорила ехать в Россию, там было легче торговать и разбогатеть. Вот и приехали в Самару летом 17-го... В НЭП они поднялись, торговали тканями, дед был оптовиком (мама говорит, что он и пописывал что-то), а бабушка — за прилавком. Потом их дважды ограбили конфискациями, оказались в «лишенцах», пришлось развестись, и бабушка уехала с мамой и дядей Яшей в Ленинград, дед же остался на Волге работать на заводе, зарабатывать пролетарский стаж, а дядя Самуил (уже давно в Нью-Йорке), пятнадцатилетний, ушел из дома вообще, отказался от родителей и воспитывался советской стихией. Занимался спортом, прыжками в воду, причем успешно,

потом увлекся альпинизмом. К концу тридцатых все объединились в Ленинграде, дядя Яша учился в Университете, на философском, потом факультет разгромили и он перешел на физику, Самуил работал на Кировском, а летом пропадал на Кавказе, в сорок первом ушел на фронт добровольцем и только в 44-м, после тяжелого ранения, демобилизовался. Помню его, так восхищавшие меня, желваки мышц, располосованную ногу и легкую хромоту — осколок так и остался в колене. Однако вернемся в детство: Арамиса заложил я. Исповедался маме. Та — папе. Тот — дяде Лейбу, в обиходе — Лёне, а тот «дал реакцию». Мама честно призналась мне, что такую тайну не могла держать при себе, и для пользы Зюсика должна была рассказать дяде Лене. Я помчался к Зюсу. Тут летописца вновь тянет в мутный уже омут семейных историй: когда папа с мамой приехали на Тихвинскую из Куйбышева, то там еще жили папины сестры, тетя Соня, боевая блондинка (в семье отца все голубоглазые), помню ее фотографию в гимнастерке и в орденах, с носом картошкой, она на всех покрикивала, и тетя Лиза, тихая, полуживая мышь, нигде не работала, всегда болела, всегда где-то пряталась и кашляла по углам. Уплотнение не способствовало оздоровлению семейных отношений, и моей ленинградской бабушке (дед умер в блокаду, сыновья женились и вылетели из гнезда) пришлось ради дочери поменять свою большую комнату на Васильевском на маленькую, девятиметровую на Арбате, естественно в коммуналке. Вот туда, на Трубниковский, мы и переехали вчетвером. Полжизни отец убил на обмены. В конце концов, мы оказались на той же Тихвинской, по соседству с фамильным гнездом (дед умер), но уже в шестнадцатиметровой комнате. Здесь я мужал: тискал в темном коридоре соседку Таньку, худосочную бледную девочку, мать ее была уборщицей в гостинице «Останкино», подкладывал пистоны под дверь Сухотиной, одинокой стервозной пенсионерке, которая все время доводила на кухне бабушку на счет еврейского запаха. Сухотина передвига-

лась, стуча палкой с железным набалдашником, и когда такой набалдашник попадал на пистон, раздавался взрыв, ну и шли крики: «Евреи убивают», даже милиционер один раз приходил, со мной побеседовать, а я получил от отца любовную взбучку. Напротив Сухотиной жила Соломониха, муж ее работал на рыбном заводе, а она ходила в шелковых халатах и курила длинные сигареты в мундштуках. У них у первых появился телевизор, КВН с линзой, и однажды вся квартира, даже меня не выгнали, смотрела «Утраченные грезы» с Массимо Джиротти и Сильваной Пампанини, когда Сильвана Пампанини застенчиво задрала юбку перед грубым импресарио, Соломониха, вытащив мундштук изо рта, обронила: «Вот это ножки!», а мама испуганно на меня посмотрела, так что я запомнил и эти ножки, и этот фильм, и всех нас, как фотопластинка при вспышке... Еще одна одинокая старуха жила в малюсенькой комнате у входной двери, у нее были удивительные коллекции: бабочки в ящиках со стеклянной крышкой, старые бумажные деньги с Петром Первым и Екатериной, книги с желтыми страницами и прокладками из пепельной бумаги, где картинки. Над нами, этажом выше, жила огромная семья караимов, папа дружил с главой клана, старым вором и пьяницей дядей Мишей, играл с ним в шашки, мама всегда беспокоилась, когда отец уходил наверх («К Мише пойду, поиграю в шашки»), и через некоторое время посылала меня за ним под каким-нибудь предлогом. У дяди Мишы всегда была сетка на редких прилизанных волосах и аккуратно подстриженные усы, они с силой били шашками по доске, и от обоих несло водкой. Выпив, отец проявлял ко мне раздражавшую меня непривычную нежность. «Сейчас, сейчас, — говорил он, — сейчас мы доиграем, пойди пока, поиграй с Мариночкой». Чернобровая Маринка (моя первая «страсть», ровесница, нам даже дни рождения часто справляли одновременно), уже «в томлении», целовалась со взрослыми мальчишками из нашего двора, но со мной все как-то выходило нелепо... А еще там жила длинная, худая, ярко на-

крашенная, с хриплым голосом женщина, которую я почему-то боялся и называл про себя «гречанкой», иногда она заходила посмотреть, как папа играл с Мишей в шашки и, встав за спиной отца, облокачивалась на его плечи. Заметив мой осуждающий взгляд, она поворачивала ко мне свое страшное, нарисованое лицо и говорила: «А Нюмка-то, красавчик будет».

Я подбираю все эти наплывающие «картинки», разглядывая их, как в перевернутый бинокль, боюсь приблизиться, боюсь услышать вдруг оклик отца, уткнуться губами в его небритую щеку, ощутить пальцами маленькую, жесткую от мозолей ладонь, слабо пахнущую машинным маслом, упасть в свою память, и пойти, задрав слепую голову, по ее блаженным полянам, изнемогая от любви, которой нет утоления. Вот, едва написал несколько слов, и уже затрясло вразнос, как старый, разболтанный драндулет...

Короче, помчался я к Зюсу. Когда дядя Леня демобилизовался, они тоже приехали в Москву, в тот самый деревянный дом на Тихвинской, тетя Соня вышла замуж второй раз и переехала, и в квартире оставалась только бабка Хася с Лизой, в общем, прибегаю я и вижу обычно тихого и ленивого дядю Леню в состоянии характерного для отца, безудержного «ваймановского» гнева: он, держа одной рукой извивающегося Зюса, другой доставал из тайника наши сокровища, топтал ногами недоеденные, припасенные для девчонок, конфеты, фарфоровых слоников, даже, о, ужас! — палехскую коробку, и с каждым хрустом отчаянно колотил Зюса, который орал благим матом и извивался у ног своего отца. Небольшая толпа соседей с удовлетворенными ухмылочками взирала на экзекуцию: «Еврей-то своего как, а?!» Тогда я в первый и единственный раз в жизни испытал удовлетворение от собственной праведности...

А столкнуться с Вильнером пришлось в лифте, в Кнессете, когда нас пригласили на заседание фракции, честь оказали (как же-с, бывали-с, и не раз, в буфете с Рафулем

выпивали, то есть он предложил, считая, что так завоюет расположение «русских», но мы отказались). «Смотри», — толкнул я Ури. «Ага», сказал он, и мы, нагло улыбаясь, поглядывали на Вильнера. «Может, замочим?» — говорю, вспомнив о юных порывах. Ури не отреагировал, а когда из лифта вышли, зашипел: «Ты что?! Он же по-русски понимает!» «Ну и что, — говорю, — пусть побздит немного». «Побздит! — передразнил Ури, — вот он охрану бы вызвал, потом доказывай, что ты не верблюд!»

1.6. Вчера был выпускной вечер, и молодежь вдруг показалась мне красивой, умной, раскованной, сердце мое смягчилось, даже раздумал их на войну гнать. Пусть себе молодняк порезвится, поебется вволю. И почему-то подумал про Озрика, что, глядя на этот цветник, порадовалось бы его нежное еврейское сердце. Вот, например, выпускница в короткой маечке и брюках в обтяжку, о-то-то на заднице лопнут, жирок волнами студенистого крема бежит из-под майки и ложится на брюки, а из лощины, где хребет начинается, торчат волосяные кусты.

3.6. Отвез Володю с его полками и книжками в Ерушалаим, а потом пошел на вечер Чичибабина, Верник пригласил, я еще подумал, что народу небось немного соберется, надо поддержать, да и повидаться заодно, выпить-поболтать. Володя отказался. Я, однако, сильно ошибся насчет народа. В «Пристанище репатрианта» набилось до сотни в маленьком зальчике. Саша вел. Знакомых почти не было, потом пришел Бараш и сел сзади меня с незнакомой язвительной девушкой. Для начала Лариса спела пару песен на слова и заспешила: «...я только что вернулась из Средней Азии, но и тут меня бухара достала — какой-то сабантуй у них, типа мимуны, не придешь — обидятся». Потом Верник стал читать воспоминания, по всем законам этого казенного жанра, впрочем, он старался быть «современным», бойко «вспоминал» с кем и сколько было выпи-

то, потом вышел на сцену «журналист Рахлин» и тут пошел крутой харьковский междусобойчик: рассказчик с непосредственностью (все свои!) поведал о том, как «наш Борис Алексеевич», «великий русский поэт», которого он, Рахлин, знает уже 50 лет, ходил еще на заре туманной юности к ним в дом и ухаживал за сестрой Рахлина Марлен (Маркс-Ленин?), как этот светлый юношеский роман был прерван жестокими репрессиями и поэт невинно загремел по этапу, но и по возвращению продолжал ходить к ним в дом, как хранил всю жизнь дружбу с Марлен, как среди Рахлиных креп его талант, как они всей семьей принимали его здесь, в Израиле, и уже полились взахлеб воспоминания о тамошних знаменитостях, блиставших на литературных вечерах, тех, кого дружно любили, или дружно ненавидели, затянувшееся выступление явочным порядком прервал другой «журналист», с седой бородкой, пришлось Вернику объявить о смене докладчиков, новый журналист для начала попенял давно ушедшую Ларису, что «вот она нам тут пела про Чичибабина, к чужой славе примазываясь, а когда я обивал ее высокие пороги в горсовете чтоб выбить гостиницу для Бориса Алексеевича, то шиш получил», потом он посоветовал Рахлину не преувеличивать роль его сестры в творческом становлении великого русского поэта, и тут заинтересованные кланы подняли шум и стащили журналиста за «понос на отсутствующих», Саша сидел красный, чувствуя, что теряет контроль, к его авторитету ведущего непрерывно взывали, он дал слово постаревшей, но неувядающей харьковской поэтессе в платье индианки, которая — шах для начала разговора — заявила, что «знала Чичибабина еще за 50 лет до того, как он стал ходить к Рахлиным», на что я, раздухарившись, крикнул: «Так долго не живут!» и весь зал грозно на меня оглянулся, я обернулся за поддержкой к Барашу, но он скрыл улыбку и шепнул мне, низко согнувшись: «Старик, расслабься и получай удовольствие», и только язвительная девица рядом с ним, должно быть не из Харькова, улыбалась открыто, затем по-

этесса, кокетливо убирая седые пряди со лба и ломая руки, вдохновенно читала стихи самого, после каждой строки делая паузы, будто ожидая землетрясения, затем тоже предалась воспоминаниям о том что и когда ляпнул «наш великий» по тем или иным обстоятельствам: «Вдруг шум, грохот, бросились туда, что такое? а Борис Алексеевич говорит, так спокойно: «Да Сережка башкой навернулся», представляете? как это замечательно?! вот это — «навернулся»! как по-русски! я уже несколько лет в Израиле такого слова не слышала, в этот момент я поняла, что передо мной великий поэт!» — заметавшись по сцене, она опрокинула стакан кофе на свою юбку, отчего энтузиазма у нее только прибавилось, а юбке явно пошло на пользу. Потом Саша вышел на сцену, на руках у него висели требующие слова, и сказал торжественно, что к нам приехала знаменитая в Харькове певица и поэтесса Шмеркина, хорошо знавшая Бориса Алексеевича, и она нам споет. Иронии в его словах я не почувствовал. Раздался свист, гул, вой, и на сцену вышла роковая дама под шестьдесят с ахматовской челкой на пастернаковском лице, стала гнусно намекать на роковой роман между Борисом Алексеевичем и Марлен Рахлин, чьей ближайшей подругой она имела честь, что Марлен «и сама была замечательным поэтом», что даже Чичибабин об одном из ее стихотворений сказал, что он сам лучше бы не написал, и она споет нам сейчас именно это стихотворение. И она запела. О, эти важные манеры тайных сборищ, где гордо и смело поют и читают запретное, это мерзкое дребезжание фанерной гитары и могучее, переходящее в визг богатое грудное контральто! «Любить, любить!» — завывала Шмеркина так, что даже видавшие виды харьковчане запереглядывались, а я рявкнул «Браво!» голосом завзятого меломана. Шмеркина вскинула бровь и поискала мутным близоруким взглядом кричавшего. После этого она объявила, что споет еще две песни на стихи Марлен, тут Саша панически вскочил и объявил перерыв. «У меня еще одна песня!» — грозно сказала Шмер-

кина, мучительно пойдя на сокращение программы и пронзая Сашу взглядом Медузы Горгонер, Саша было смутился, но народ уже задвигал стульями и потек в коридор.

— Однако — успех! — сказал я Барашу, обводя рукой шумящий зал.

— Ну, это такое харьковское в какой-то мере мероприятие, — объяснил Бараш. — Ты не волнуйся, на твой, и на мой, — добавил он из вежливости, — вечер они не придут.

— Ты уже? — удивился Верник.

— Да, — промямлил я, — обещал рано вернуться...

— Ну, смотри, — и он несколько обиженно меня отпустил.

Теперь я понимаю, почему Генделев назвал его «чичибабинцем», что мне показалось тогда оскорбительным, а было только хлестко. Оно, конечно, неплохо — найти себе старика Державина, который заметил. Вот и Бродский все к Ахматовой прислоняется.

А я, в гроб сходя, всех нахуй пошлю...

Братик Зюсик совсем американским бродягой заделался, эдаким битником, бородищу отрастил, одел шляпу соломенную, то живет на постоялом дворе в армянском квартале, то по родственникам кочует, ночь тут, ночь там, у какого-то раввина-еретика учится, в субботу — только пешком, к жене вернуться не может (если бы мог!), потому что она уже «неприкасаемая», все пытается мать сманить в Израиловку (приют и постой, опять же наследство), стишки пишет, танки, или хайки, по-английски, даже печатает в журнальчике ассоциации любителей танков, меня предлагал переводить. Стихи он и в юности писал, но относился к этому, как к еще одному плану своей многогранной натуры, с тех пор врезались в память строчки: «Вечер. Веранда с цветными стеклами. Милым людям разливают чай…». Скулы, как от оскомины, сводило от этих «милых людей».

Володя жаловался, что задыхается, 20 лет не выезжал никуда, что надо встряхнуться, ну и, конечно, на баб сошел разговор, мы шли по Ефиопской, собор был закрыт, молодой кофеокий эфиоп прошел мимо, оглядев нас, свернули в садик, где музей Тихо, там на веранде милым людям разливали, а мы сели на камень, то есть я сел, а он стоял рядом, нервно переминаясь, кружась вокруг меня, рассказывал про З., роковую деву, как она мужиков «забирает», что Р., бывшая жена С., неизвестно от кого родила, еще одна девушка непутевая, она мне нравилась, и пела хорошо, «Над небом голубым»..., о том что денег у него нихуя, стали даже планировать осенью податься в Синай, мне все этот монастырь св. Екатерины грезится... Потом помог ему оттащить книги в лавку Пини, бороденка у Пини жиденькая, как у вечного студента эпохи черного передела, сам худ и раздражителен, по стенам плакаты о приходе Мессии. Пока Володя ему свой хлам торговал, зачитался листовкой, напечатанной по-русски, о том, почему на этот раз Он не обманет и правда придет, совершенно гениальный текст, Пиня небось сам сочинил, хотел я на память взять, но Пиня не дал, сказал, что это не окончательный вариант, купил я у него всего за 10 сикелей факсимильные литографии Лисицкого, на выходе встретили Камянова, у них там, видать, сходки каббалистические, пошли к Малеру, там сидели все те же, слегка под мухой, и Малер им что-то вещал о своей жизни, покопались в книжках, ничего не нашли и удалились.

— Блядь! Малер вечно свою жизнь кому-то рассказывает, мудило!

А до этого, разочарованный «Двоеточием» и особенно Малеровской в ней «Биографией», по его мнению неуместной, маэстро разразился филиппикой:

— Малер, блядь-мудило, всегда в самый ответственный момент соплю пустит, слезу, вздох задумчивый!

4.6. Истерия озлобленности — характерный признак «современного стиля». Психует мыслящий тростник. Сверхчеловека из него не вышло.

Позвонил Верник, спросил, как мне вечер. Не хватило ума ни отшутиться, ни увернуться. В пылу «разборки» еще и Чичибабина походя пизданул. Он замкнулся. И про мемуары его ляпнул, что «чересчур традиционно».

— А как это — нетрадиционно? — спросил он.

Я, конечно, сказал: «Если б я только знал», а сам подумал: что мне собственно мешает в его воспоминаниях, чего не хватает? Злости, скабрезности, закулисных гадостей? Короче — чтоб непременно с разоблачениями? Или лица интересного нет у тех, кто там мелькает? Или хотя бы какой-то истории? А тогда уж лучше гадость, чем благочинность. А еще он мне Чичибабина обещал дать почитать, заполнить пробел в образовании. Нет, мне Чичибабин почеловечески симпатичен, и то что «служил» всю жизнь, бухгалтером в трамвайном депо. А что? Ей-богу мне это нравится. Есть что-то блядское в тех, кто поэзией деньги зарабатывают и социальный статус. Не, понятно, что и поэту кушать надо, но ведь так и блядь рассуждает.

Тихонов (по русскому ТВ) вспоминал «Доживем до понедельника» и иронизировал насчет того, что на тему «Ваше представление о счастье» все писали, что счастье в труде. А чо ты, блин, иронизируешь, следуя поворотам генеральной линии общественного сознания? Довольно гибкого, как оказалось. Счастье действительно в труде. Если, конечно, ты не на каторге. И в Писании сказано: «Человек рожден для труда» (в книге Иова). И Карлейль вот подтверждает: «Труд есть лучшее лекарство от всех болезней и страданий... Честный труд для достижения поставленной цели».

Паша посреди ночи пробрался на работу, взял табельное оружие и в живот себе запердолил. В последний мо-

мент, видно, дрогнул. А Тоську я недавно в бассейне встретил, налилась вся, так телесами и брызжет. (Из серии: мужчины без женщин.)

Я вот раньше злился на Гамлета, что все тянет и тянет с местью, все не решается. Но ведь нелегко убить короля. Да еще так, чтобы его свергнуть (как говорил Фридрих Великий, русского солдата мало убить, его надо еще и повалить). Нелегко совершить геройство. Чтоб действовать — надо верить. Или извериться...

8.6. «Войны необходимы, иначе мы погрузимся в ничтожность, изнеженность и лень». Кто сказал? Владимир Соловьев![1]

Прочитал «Смиренное кладбище» Сергея Каледина. Совершенно неинтересно. Вся эта марсианская бытовуха давно перестала волновать, как передача «Жизнь животных». Может и интересно каким-то ученым. А ведь из известной еврейской семьи, учился, кстати, в нашем институте.

На днях в мерказе (центр нашего квартала с магазинчиками, парикмахерскими, забегаловками, где в закутках грузины в домино играют, в карты, нарды) наблюдал: стоят рядышком два борова в костюмах и при галстуках, с радиотелефонами и, поклонившись друг другу, как японцы, разговаривают со всем миром по-русски. Каторжники наживы...

«Человек, который желает, но не действует, является очагом заразы» (Ницше). Это, про меня. Но что делать, если нет веры...

---

[1] Русский религиозный философ и поэт, духовный лидер русской интеллигенции конца 19 века.

Игорь Гарин в своем «Воскрешении духа» называет Ницше «инструктором героизма», а его мировоззрение — «оптимизмом отчаяния».

9.6. Герой «Улисса» — антигерой, «слишком человек», поэтому — еврей.

В еврее нет тяги к сверхчеловеку, и нет комплекса неполноценности (как у русских), в сущности, он здоров и глуп.

11.6. Гениальный фильм «Easy rider». О жизни, которая и не знает, что она — Путь. Путь бабочки-однодневки...

12.6. Случайно нарвался по русскому ТВ на «Звезду пленительного счастья». Был грех, увлекался в юности декабристами. «Бедная империя, и повесить-то как следует не умеют!» Поза? Да! Жизнь коротка — жест бессмертен.

Конечно, сосредоточенность на героизме — это «перенос» жажды бессмертия. Потому что человек не может умереть, не должен, не имеет права (я не должен, не могу, не имею права, а значит, ждет своего часа и мой «поступок»...). Бессмертие дается деянием. Можно, конечно, и стишки пописывать, но... Нетушки, стихи бессмертные не напишешь без «позы», а «поза» — это деяние. Ставшее изваянием. Изваянием духа.

Герой имеет возвышенную натуру и человеконенавистнические взгляды.

Встретил К., когда-то работали вместе. Разговорились. Каждый год в Ригу ездит. Я удивился. «Чего ты там делаешь?» — «Гуляю. Просто гуляю. В волейбол играю на взморье. Отдыхаю от всего этого..». — «Подожди, ты с какого года тут?» «С семидесятого. Да-да, ветеран, ветеран…» — «И все еще ностальгируешь? Что ж тебя так травмирова-

ло?» — усмехнулся я. Он вдруг задумался. «Ты знаешь... я даже помню, как это случилось: нас запихнули в ульпан[1] в Димону, но я в начале еще был полон энтузиазма, и вот через полгода, я тогда работал по ночам в Беер-Шеве, еду однажды вечером в Беер-Шеву, темно, старый автобус набит солдатами, курят, семечки лузгают, валяются в проходе, душно, фары сверлят пыль — и тут меня ударило: господи, что я здесь делаю?»

Китайские пагоды и дворцы похожи на перевернутые ладьи, будто их кто-то положил на берегу одну на другую.

Вообще-то китайское миропонимание самое естественное и здравомыслящее. В этом и недостаток его. Оно не «зовёт».

Вчера было грандиозное представление мод «Примериваем мир», покупают остолопов зрелищами. Одна была в плавках в виде голубя мира (наша сила в наших плавках), другая в платье из кусков американского, израильского и палестинского флага.

14.6. Из области психофизиологических эффектов: только ты сообщила мне, что приезжаешь, резко упала активность с супругой. И она теперь на «либеду» жалуется. А до этого прям медовый месяц был нескончаемый.

«Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни (не могу сказать, что для меня это так). Вот отчего религия всегда будет одолевать философию». Из «Уединенного».

Розанов — замечательный русский ум. Все эти «случайные» высказывания, «за нумизматикой», и через сто

[1] Центр абсорбции и изучения языка для новоприбывших (*ивр.*).

лет сохраняют свою живость, точность, глубину, иногда пророческую, хранят аромат времени. Интересно, насколько он продумывал композицию этих «листьев», не случайно же шел-подбирал по листику.

Впрочем, ал-Масуди (10 век) сравнивает хорошего писателя с тем, кто ночью собирает хворост, и, не видя в темноте, подбирает все, что попадется под руку...

15.6. Русский любит Россию, а еврей — Тору.

Был такой анекдот: если у англичанина есть жена и любовница, англичанин любит жену, если у француза есть жена и любовница, француз любит любовницу, если у русского есть жена и любовница, русский любит выпить, а если у еврея есть жена и любовница, еврей любит маму.

Впрочем, насчет русских, когда сегодня им разрешили любить деньги, поглядим, какие у них будут через поколенье сексуальные предпочтения.

16.6. Читаю «Мировозрение талмудистов».

«Каждый обязан думать: ради меня сотворен мир» (Сингедрин).

«Избери жизнь». (Вот оно — главное! Не цель и подвиг, а жизнь!)

А вот о мести: «Лучшей местью твоему врагу будет — вернуть его, если можешь, к твоей дружбе». («Орхот цадиким», что значит «Пути святых».) Месть конечно изощренная, ничего не скажешь.

Хорошо, мстить глупо, а наказывать? По части наказаний ведь Закон строг, да и Господь сам наказывал людей так, что ужас берет: массовые казни, начиная с Потопа. И если наказание не призвано исправить согрешившего («беззаконные истреблены будут, а вероломные искоренены», сказано в притчах Соломоновых), а преподать жестокий урок, то это и есть месть. Эль накман. Бог Мстящий.

Из уроков отца помню: «Бей первый!». И его часто повторяемый для назидания рассказ об убийстве Петлюры, о мести Петлюре.

Опус Шульгина «Что нам в них не нравится» оказался, к сожалению, мало интересным: злобная агитка антисемитская. Всё та же болезненная бредятина «родового» инфантила «о силе крови», выдаваемая за «аргументы» тоном просветительской лекции (словечки типа «следует полагать», «можно с несомненностью утверждать»): «Еврейская кровь, по-видимому, гораздо сильнее. Можно с несомненностью утверждать, что из десяти русско-еврейских детей девять унаследуют черты родителя еврея. При таких условиях представим себе на минуту, что все русские, сколько их только есть, поженились бы на еврейках, а все евреи женились бы на русских... Это означало бы, что русская раса по существу исчезла бы с лица земли». Параноидальный страх перед евреями...

«Мозг нации оказался в еврейских руках» (о революции).

Замечательно о погромах в Киеве: «...вооруженные люди входили в еврейские квартиры и грабили. Не убивали, но грабили; вероятно, издевались. Евреи очень быстро придумали способ бороться с этими нападениями. Они поднимали оглушительный вопль…».

На этом месте я стал дико ржать, даже старший спросил, чего это я. Я прочитал ему о быстро придуманном способе бороться с погромами, но он ничего смешного в этом не нашел. Не знаю, говорит, видно, у меня слабо с юмором. Ничего-ничего, утешаю, у тебя еще все впереди, остроумие — признак упадка.

Вот еще любопытный пассажик: «Будущие судьбы, впрочем, неисповедимы; может быть, мы тоже будем когда-нибудь приходить в ярость от слов “Русь”, как иудей приходит в бешенство от слова “жид”». Дай-то вам Бог.

17.6. Обсуждали с Гординым «Летят журавли» (он жаловался, что студенты не воспринимают «романтику»). А я ему про то, что дело не в романтике, а жертвенность им чужда, непонятна, а это фильм о жертвенности, ждать — жертва женщины, гибель в бою — жертва мужчины, жертвенностью жила вся страна, во имя будущего, во имя преобразований, во имя открытий и достижений, вся эпоха была оргазмом жертвенности! Гитлер проиграл войну только потому, что нарвался на народ, готовый умереть, готовый к самопожертвованию, даже приученный к самопожертвованию, никто не жалел ни своей ни чужой жизни, люди шли на войну чтобы умереть, даже не воевать, а умереть. Он с Европой-то все правильно рассчитал, жертвенность в Европе умерла давно, поэтому и захватил ее с такой легкостью, и правил бы миром, если бы не русская жертвенность и английская твердость.

Русские в Буденновске совершили все мыслимые и немыслимые ошибки, на всех уровнях, от КПП до президента. Штурм больницы с сотней защитников и тысячью заложников — фантастическая тупость, страна в ужасе, ТВ прекратило развлекательные программы, никто не знает (и не узнает!) сколько людей уже погибло. Премьер трусливо отсиживается в Сочи, на курорте, а президент удрал в Галифакс, мол, есть дела поважнее, ну да, восьмым колесом в телеге «большой семерки». Только что показали Черномырдина, заявление сделал, безграмотное, хмурое, заплетающимся языком, мол, приняты и будут приниматься все меры, да еще с жалкой просьбой к Шамилю Басаеву освободить заложников.

Если б наши бусурмане воевали как чеченцы — ой-вавой! Счастье, что арабы — другая раса, семиты, двоюродные братья, распиздяи вроде нас, даже еще безалаберней. Больше по части поторговать воодушевляются. Впрочем, все учатся, даже лентяи, и терроризм уже стал нашествием:

Аргентина, Япония, Оклахома, автобусы в Тель-Авиве, Буденновск, метро в Париже, счет пошел на десятки, а то и сотни убитых при каждом «акте»...

18.6. Вчера вечером Х. признался-похвастался-поделился, что трахнул недавно одну и месяц был после этого в шоке, в депрессии, так испугался: «Ну зачем, зачем я это сделал?! Ведь она может теперь меня шантажировать! Подвергать всё опасности, и зачем?! Всё, я понял, что уже нет на это душевных сил. Всё, думаю, завязал!» Ужасно смешно было слышать это признание, этот чистосердечный ужас из уст человека некогда славного своими победами. Да, смешно и грустно. Аналогичный случай был у нас в Кисриловке...

Чудесный фильм Вернера Герцога о России, о граде Китеже («Незримые колокола»). Деревни и церкви на крутых берегах озерных, в снегу все, кто-то ползет по молодому прозрачному льду град Китеж увидать в глубине, сквозь прозрачную толщу льда, помолиться на затонувшие святыни, вот еще один ползет, за ними — еще: муравьиная дорожка, а где лед покрепче, рыболовы сидят у проруби, кто-то на коньках по кругу носится, озеро огромное, и русская литургия звучит, я люблю ее, хор женский и дьяконский бас скороговоркой молящийся... Эх, до чего любить-жалеть ее хочется, страну эту, и народ ее непутевый, юродивый, по-детски жестокий, по-детски отзывчивый...

Из бесед с Адвокатом, в перерывах между геймами:

Адвокат: Завтра тут (в спортклубе) будет вечеринка «для мужчин»: девочки, стриптиз, пиво, хочешь пойти? Всего двадцать шекелей.

Я: Да нет, я не любитель таких мероприятий.

Адвокат: Да? А как ты любишь проводить время?

Я: Я люблю с книжечкой поваляться, почитать что-нибудь.

Адвокат: Аа... Ну зря. Посидеть, выпить пиво, поболтать, посмотреть на девочек...

Я: Да чего на них смотреть. Глупости.

Адвокат: Да, глупости, конечно. Так жизнь вообще — глупость.

Я: Ты, кстати, не знаешь ли какой-нибудь приличный бордель? На уровне.

Адвокат: Нет, я вообще с публичными женщинами никогда не... Не знаю... А ты?

Утешил его тем, что я и сам застенчив.

Адвокат: Я был однажды на такой вечеринке для мужиков, весело было, что ты, там можно было, заплатив 10 шекелей, полапать любую. Они между столиков ходили, я-то их не трогал, но можно было. Один ей прям между ног руку всунул, она как завизжит!

И он рассмеялся.

— М-да, весело, — говорю, и он отметил в моем тоне высокомерие.

Адвокат: Не знаю, только сидеть дома, и читать Толстого, считая всех дураками, в этом тоже... радости мало.

Через пару дней:

— Зря ты не пошел. Такие девочки были! Класс!

— Да?

— Ну, что ты, нечто. Девочки — нечто.

В субботу он играет с маленьким румыном, похожим на кабана, и всегда с ним ссорится. В последний раз, когда румын, что-то обиженно бурча, собрал манатки и ушел, огрызнувшись, он стал мне жаловаться:

— У ло нормали а бен адам азе! Ата ёдеа ма кара? Ани бати бабокер, ве амарти ло, ше ани ло маргиш тов, беэмет ло иргашти тов, ло яшанти ба лайла, ло ёдеа. Аваль ницахти ото 6:0 ве 6:1. Аз у амар, ше бекавана амарти ло, ше ани ло маргиш тов, кдей ше у ло йисахек бе мло акоах! (Он ненормальный, этот человек. Знаешь, что случилось? Я пришел утром и говорю ему, что чувствую себя неважно, не

спал ночь, не знаю. Но обыграл его 6:0 и 6:1. Так он говорит, что я нарочно сказал ему, что плохо себя чувствую, чтобы он не играл в полную силу!)

Как Вермееру удается придать обыденности такое мучительное напряжение и такую загадочность? И эффект тайного, но ощутимого присутствия грустного Наблюдателя... Удаление камеры? В фильме Ангелопулоса «Древо жизни» такой средний план, даже дальний, создает некую поэтическую отстраненность. Или обратная перспектива рождает такой эффект? Если параллельные линии сходятся где-то вне картины, то можно поверить в то, что есть в этом мире еще что-то, кроме этого мира...

В его женских образах что-то японское. Утонченность непритязательных сцен: женщина читает письмо у окна, играет на лютне, и в грустный сон душа ее младая Бог знает чем... А почему полы шахматные? Может быть это о расчете, оружии мастера? Вот это был Мастер! Почему-то именно на него хочется быть похожим.

Кстати, неплохой был фильм «Все Вермееры Нью-Йорка».

Да, и что еще важно: и у Вермеера, и у Рембрандта точность расчета, любовь к расчету, к науке не противоречила человечности, любви-жалости, наоборот, удивительная гармония! Разум у них не высушивал бытие. Жизнь была любима. В этом может и суть Возрождения — равновесие между любовью к жизни и героическим энтузиазмом. Неповторимое равновесие. Потом оно ушло. Когда, почему? Сегодня жизнь пугает бессмысленностью, а рвение к смыслу страшит безжизненностью... Да, было удивление, радостное удивление перед человеком и жадное любопытство. Настроение «Ночного дозора», этого чувства солидарности и независимости, сегодня невозможно себе представить.

20.6. Приболел. Жена все равно по утрам мучает. Пытался отбрыкаться. А она: «А как же “пру у рву”» (плодитесь, размножайтесь)? Я ей: «Все уже, не пру, не рву».

Ай-да Басаев, ай-да чеченцы! Россию раком поставили! Похоже, что ее уж и нет, державы-то, одно название осталось...

23.6. Из Маринетти:

«Мы презираем — как гигиена и система боя! — все формы повиновения, послушания, подражания, застарелые вкусы и всякую благоразумную медлительность. Мы ратуем против большинства, развращенного властью и плюем на ходячие истины и традиционные мнения. Наша поэзия абсолютно свободна, вне всяких пут и самопроизвольна, как извержение вулкана. Нужно, нужно, поймите, разобрать рельсы стихов, взорвать мосты «уже сказанного» и пустить локомотивы вдохновения по неизведанным путям «нового»! Лучше великолепное крушение, чем монотонное и предусмотренное заранее путешествие! Слишком долго терпели мы начальников станций в поэзии и глупую пунктуальность просодических расписаний.

В политике? Знайте, что мы ненавидим с одной стороны консервативный, трусливый и клерикальный дух, а с другой — интернационалистский и пацифистский социализм. Мы славословим патриотизм, мы воспеваем войну, колоссальное воспламенение энтузиазма и великодушия, без которого раса цепенеет в сонном эгоизме и низкой ростовщической скаредности».

Амен.

Дума проголосовала недоверие правительству. Грачева, видимо, уберут. А еще говорят: «террор — не политическое оружие». Да одно из самых эффективных!

Корреспондент ТВ у жителей Буденовска: «Что народ у вас думает о последних событиях?» «А ничего, — мужик на улице говорит. — Они так быстро думать не умеют».

24.6. Я и сам, глядя на Шамиля Басаева, проникся уважением и симпатией, именно симпатией! к этому головорезу, и вообще к чеченцам (вчера по ТВ один из заложников: «Я ненавидел чеченцев, а теперь я их понимаю..».). Сила и решительность так восхищают, что даже жертвы начинают «понимать» своих мучителей.

Поэтому наши считают, что очень хитро сыграли, превратив арабских революционеров в чиновников, играющих в «свое государство». А хитрость тут почитают за мудрость.

Откуда пошло это страшное молоканство, этот панический пацифизм в воюющей, окруженной врагами стране? Левые виноваты со своей пропагандой? Немножко и они, конечно, подгадили. Но главное — народ. Страх смерти. Я прям чувствую его на каждом шагу. Молодежь боится идти в армию. И не только потому, что слишком хорошо стали жить. Они слишком любят жизнь. Евреи любят жизнь и ненавидят смерть. А смерть надо любить. Кто любит смерть, тому и жизнь не страшна.

Оглушительная арабская музыка на весь квартал, и это в субботу?! Еп вашу мать!

Союз арабов и черножопых — вот кошмар ашкеназов!

Христианство было античным фашизмом, восстанием масс против культуры.

В кафе, в Газе, спорят о политике, о «мире». Один араб, «противник мира», говорит: «Евреи не народ, как съехались, так и разъедутся». Не совсем так, господин араб. Это — народ. Вот такой народ, что как съехались, так и разъедутся.

25.6. Вчера по ТВ документальный фильм «Нина» о девочке из мошава, попавшей в мировую элиту манекенщиц. Похожа на А.. 19 лет. В 14 сбежала из дому, бродяжничество, наркотики, проституция. Стервозно-развратная куколка с фарфоровым лицом, почти анемичным, дикий взгляд кошки, само своеволие, пленительная естественность бесстыдности, абсолютная пустота, загадочная, загадочная сила, красота и пустота жизни. (Беда мне с такими бабами — млею и не знаю как подступиться.) Ейный хахаль, Шульц, тоже яркий тип, еврейский наглый удалец за сорок: хваткая сила, острый практический ум, красота и младенчески счастливое отсутствие всякой «задумчивости». Цивилизацией даже не пахнет, только пьяная, дикая сила жизни...

«Призывать мир между народами не значит создавать будущность. Это значит попросту выхолащивать расы и осуществлять интенсивную культуру трусости».

Амен, Маринетти!

«История народов движется наудачу, туда-сюда, как легкомысленная молодая девица, которая вспоминает об отеческих наставлениях... когда ее бросит любовник».

Амен, голуба!

26.6. Акации чудно цветут, золотыми подсвечниками...

30.6. Вечер «Двоеточия» в Ерушалаиме. Набралось человек 40, но вечер прошел скучно, невыразительно. Все читающие застенчиво паясничали, даже Володя был не в ударе. Публика встречает его усмешками — уж очень темпераментно излагает. Потом пошли к нему, по дороге разговорился с Сашей Ротенбергом, о книжках, обещал ему Деррида и Барта. Савелий Гринберг, «видевший Маяковского», оказался с нами, сабантуйчик прошел скромно, почти чинно, Дана была весела. Ротенберг нападал на Булгакова, на

эту «надоевшую русскую литературу», поспорили немного о Блоке, Савелий его защищал, несколько беспомощно, а добивать старика не хотели, так что Блок на этот раз ушел от расправы.

Взялся вновь за «Кузари». На днях по ТВ один раввин рассказывал истории из «Устной Торы», и так это было все душевно, близко, эта любовь к остроумному высказыванию, книжные споры... А потом еще рав Карлибах задушевно спел, и отпустило чуток хроническое уже раздражение на евреев.

Интереснейшее явление — еврейская мистическая литература, в которой произвол творчества протаскивается через щели откровений. Во всем этом была какая-то головокружительная по дерзости мистификация...

Прелестную заметку нашел в «Вестях», «Учитель каббалы» называется:

«Каждые три дня Мирьям Блих настигает депрессия. Как считал ее муж, интеллигентный человек всегда должен быть грустным. И при этом задумываться над вопросами бытия. Но Мирьям по натуре — оптимистка, да такая, что в 22 года взялась и написала философскую работу о релятивистской теории Альберта Эйнштейна. Тему выбрала такую: «Пространство и время в теории относительности». Но, скорее всего, она искала ответы на свои вопросы: «Что есть человек? Куда в один момент деваются его мысли, чувства, опыт?» Мирьям надеялась, что найдет ответы в квантовой физике, но зашла по ее мнению, в еще больший тупик. Однажды, зайдя за чем-то к своей соседке, встретилась с ее подругой. Та посоветовала: «С такими вопросами тебе бы пойти в наш Центр каббалы!» Что такое каббала, Мирьям тогда не знала. И что такое иудаизм, не знала тоже. О Торе одним ухом слышала. Но в Центр все-таки пошла. Первым делом ей там вручили маленькие

листки-рекламки. На них были отпечатаны вопросы: «Откуда мы явились сюда? Куда мы движемся?» Мирьям воскликнула: «Слава Б-гу — я нашла то место, которое искала!»

— С этого момента, — призналась мне Мирьям, — я и моя жизнь изменились.

— А какой вы были?

— У меня было очень большое эго. Даже не знаю, как оно во мне умещалось. Я считала, что 90% людей — дураки. А нас, умных, очень мало. Вот почему мир так плохо устроен.

— Каковы были первые впечатления от занятия каббалой?

— На каждом уроке, получая новые знания, я разогревалась. Температура тела поднималась до 40 градусов. Я не хочу сравнивать себя с великими каббалистами, но мудрец Гирш, получая информацию, буквально «горел». Сейчас я уже привыкла и не обращаю внимания на жар».

И т.д.

Чич (отставной генерал, бывший мер Тель-Авива) совсем охренел от любви к Рабину, верней от безделия, хочется, видно, к живому делу пристроиться, сказал: «Любой ценой мир, любой ценой!». «Шалом ахшав» — да и только. И у большевиков «мир народам» был главным лозунгом. «Штык в землю, жид, с врагом дружи!» А поди объясни запуганным толпам, которым покой обещают, что их обманывают? Их надо просто по-другому обмануть. А зачем? Ради них самих? Но и те их обманывают ради того же. Ведь и детям правду не говорят никогда, потому что они ее не поймут, вот каждый и обманывает народ (а он — что дитя) на свой манер.

И государство это создали не герои, а ловкие обманщики и восторженные дети. Обманщики обещали социалистический рай на родине предков, а «фраера», ну ладно, «дети» — ради этих сказочек работали, как каторжные, и воевали, как смертники.

Герой, он и есть «фраер».

Кстати о птичках, однажды был у меня такой эпизод в классе: один наглый черножопый, у которого папа торговал где-то чем-то, и который на науки всякие, конечно, плевал, приезжал в школу на «BMW» и заходил ко мне на урок, как в зоопарк, посмотреть на редкое животное, учителя из России, так вот, сидит он однажды, смотрит на меня, с друзьями уже наболтался, делать нечего, а я что-то про логические схемы бубню, и спрашивает: «Морэ, кама ата марвиах?» Честно говорю: «Элеф доллар». — «Бе ходеш?!» — «Бе ходеш». — «Аз ата фраер», — он мне говорит. И ведь задел. «Тов, — говорю, — аз ани лефахот ло бен зона». Он вскочил, весь красный:» Ма?! Ани — бен зона?!» А я ему тут ласково: «Лама ата хошев, ше ани миткавен элеха?»

(По-русски звучит примерно так:

— Учитель, сколько ты зарабатываешь?

— Тысячу долларов.

— В месяц?!

— В месяц.

— Ну, так ты — фраер.

— Ладно, но я хоть не сукин сын.

— Что?! Я — сукин сын?!

— Почему ты решил, что я имею в виду тебя?)

1.7. Гуляли по Храмовой горе. Жарко. Сердце пошаливает. Экскурсию вел старый корешок иудейский, теперь таких не делают. Рассказывал репатриантам, что там, где Авраам Исаака в жертву хотел принести, арабы мечеть зробылы, «Кипат Асела» (Купол над Скалой). «Во гады, — бросил репатриант супруге, — зачем же мы им дали?»

3.7. Я еврея не понял, а понял антисемита (некое отражение в кривом зеркале), что, конечно, легче.

Депутат Макарычев женские груди нацепил и вещал (еще один вагнерианец), что государство артистам надо дать в управление, таким как Риган, Клинтон, или Макарычев.

Убили в Ливане бедуина-следопыта, они всегда — первые жертвы нападения на дозоры, 43 мужику, отец 10 детей. И таких шлют под пули?!

6.7. 4-го поехал послушать Гачева в Иерусалим. Мужик в модном жанре работает: несет чушь несусветную. Гольдштейн должен был его представлять, но сказался больным, так его заменил Губерман, овеянный славой профессиональный юморист. Назвал «умнейшим человеком нашего времени». Глазки у Губермана узенькие, расстрельные, нос — как у Бабы Яги, а ручища, как у Попая, славного моряка. Посреди представления вошла странная девица в черном кепи набекрень и коротких шортиках, подсела к Барашу. Потом появился Верник и поманил всех в коридор. Предложил пойти выпить, я сказал, что хочу дослушать одного из умнейших людей нашего времени, он обещал на десерт о евреях все выложить. Но они решили уйти, Верник объяснил мне в какое кафе на Бен Иуда они пойдут. Но когда я вышел, не дождавшись десерта, сыт уже был по горло, они еще стояли у дверей и болтали. Решили пойти к «Тихо». Девица в черном кепи и вызывающих шортиках оказалась Катей Капович. У «Тихо» было интеллигентно. Гачев меня взбудоражил, и я был настроен на откровения, но разговора не выходило. Бараш все острил по своему обыкновению, увы, повторяясь («сказка о рыбаке и Ривке»). «Сказка о Рибаке и Ривке», — эхом подхватила Катя. Она материлась, как грузчик, не снимала кепи аля Гаврош и была в возбуждении. С Верником наперебой цитировала, задыхаясь от восхищения, Гандлевского с Хадасевичем, а я все норовил про Гачева вставить, про его «тора и территора», про его образ России — большой белой бабы с двумя ебарями, один — царь-батюшка, государство, а другой — народ, юноша инфантильный и мечтательный, и что «самая сладкая вещь для российского еврея — это жениться на русской, присосаться к белой субстанции»...

— Да ну его нахуй, — обрезала Катя мои излияния, — он мудак. Про него неинтересно.

Резко поглупев от неожиданного втыка, я нелепо окрысился, внезапно догадавшись, что с этими короткими шортиками у меня ничего не выйдет.

— Не ссорьтесь, — благодушно, как сытый кот, промяукал Бараш.

8.7. Все, что создано в культуре великого — плод одинокого созревания и героического поступка. Этот путь большинству не под силу. Их удел — род. Род должен жить, иначе исчезнет жизнь, разбившись на одиноких героев. Масса-лава должна кипеть, выбрасывая в небо раскаленные брызги героев, и стынуть черной корой по склонам, дымясь воскурениями легенд.

Жена рассказывает: «Еду как-то в автобусе, и на светофоре машина рядом остановилась, я сверху смотрю и вижу только руки, его правая и ее левая, они... ты себе не представляешь, я глаз не могла оторвать, это был такой танец любви, танец пальцев, такой страстный, такой... нежный, и я никак не могла их увидеть, только руки, так мне хотелось увидать их лица, и вот автобус тронулся, а они задержались, и я увидела. Это были старик со старушкой, совсем древние, знаешь, как жуткий сон…».

«И приблизится Авраам и скажет: погибнет ли праведник с нечестивым? А вдруг 50 праведников в городе наберется, не пощадишь ли места сего за 50 праведников?» Вопрос не риторический, и пьяный дерзостью праотец продолжает: «Не вздумай на такое тяжкое дело пойти: праведника и нечестивого — в одну кучу, одно — праведнику и нечестивому. Не вздумай. Судия земли всей — без суда порешит?» И не разгневался Господь, мол, тебе ли, козявка, меня учить, сгною! Уж на что крутенок был, а уступил. «И скажет Он: если найду 50 праведников в Содоме — по-

щажу за них. А Авраам в ответ: вот сподобился я говорить с Господом моим, я, прах и пепел. А вдруг не хватит пятерых из 50 праведников, из-за пятерых на весь город — карачун?»

А дальше — прям местечковый базар: «И Скажет: не разрушу, если 45 найду там. Но и дальше продолжит говорить с Ним и скажет: а если только сорок найдешь? И скажет: и за сорок не свершу. И скажет: да не прогневайся, Господь мой, если продолжу. А если только 30 найдутся? И Скажет: и за 30 не свершу. И скажет: вот, надо же, сподобился говорить я с Господом моим: а если 20 найдется? И Скажет: и за 20 не уничтожу. И скажет: да не прогневается на меня Господин мой, если я скажу только в последний раз: а если 10 найдутся? И Скажет: и за 10 не уничтожу».

«Принцип Авраама»: не может быть равного воздаяния праведнику и нечестивцу, почти навязывается Господу в качестве параграфа «договора». Почему Авраам не продолжил «торг», не дошел до одного праведника? Потому что одного праведника мало, чтобы спасти «город». Нужно несколько, нужна критическая масса праведников. И не хитрость Авраама восхитила Хозяина, а твердость. Авраам — странный раб. Мол, раз Союз, Брит, сделка — поторгуемся. Торговался насмерть. И жертвоприношение Исаака — схватка с Богом. Господь решил испытать верность Авраама Завету. И Авраам принял вызов. Он, посмевший защитить перед Богом праведников Содома и слова не сказал в защиту своего сына? Знал, что это испытание и бросил ответный вызов: ты испытываешь меня, я — Тебя. Потому что смерть сына — смерть Завета. Смерть смысла. Пучина бессмысленной жестокости. А ее и без Завета хватает. Безропотная решимость мрачна, непоколебима, рука занесена. И Бог опять отступает, изумленный силою духа избранника своего, спешит остановить руку: «Авраам, Авраам. И скажет: вот он я. И Скажет: не пошли руки своей на отрока, не причини ему зла, ибо знаю я теперь, что богобоязненен ты и не пожалел сына твоего, твоего единственного».

Мера твердости духа человека — мера его приближения к Богу.

Есть героизм ради рода, а есть — из принципа, когда это вопрос стиля, а не веры или внушения. В «целевом» героизме — счастье слияния с родом. А в героизме из принципа — упоение гордыней. Что-то дьявольское, пугает. Страшная красота.

Статья Каганской «Набег» («Окна» 5.7.95) неприятно задела узнаванием собственных доморощенных пророчеств, давно ставших общими местами: о Черном Исламе, наступающем на Светлый Запад. Надоела уже эта романтика Апокалипсиса. (Приехав в Израиловку, я, как юродивый у ворот, пугал всех «советской опасностью», помню, встречался у Люды с группой американских сионистов из Бостона, один был чуть ли не глава общины, так я его прям извел нападками на Картера, на мягкотелость Запада, что если так дело дальше пойдет, скоро они увидят советские танки на своих улицах, кушать ему не давал, так он жене моей говорит: «Чего это ваш муж такой нервный? Передайте ему, что мы Картера уберем, пусть спит спокойно».)

Дойчи серебряную свадьбу справляли. Зал в ресторане, гости, речи, конферансье с косичкой: «Дружные аплодисменты!», делегат от министерства с цветами. «Дойче вита!» — кричу пьяный и хохочу. Никто не повел ни ухом ни рылом.

Преодолевая брезгливое отвращение, читал в юности «Люди, годы, жизнь», уж очень интересной была информация, будто ценную картину выгребал из мерзкой слизи. Что-то в нем, в Эренбурге, склизкое, от пресмыкающегося. Да, змеи мудры, но противны.

По ТВ дискуссия о современном искусстве между профессором философии Иосифом Бен Шломо, у него теперь

своя передача, единственный из правых, кто удостоился такой привилегии (еще они терпят Иосифа Ольмерта, востоковеда), с художественным критиком Гидеоном Эфратом. Эфрат вполне постмодернистски утверждал, что акт искусства — это вопрос намерения и признания, удачно сравнивал это с браком, что, мол, женат тот, кто считается женатым, признавая в сущности внеэстетические критерии единственно объективными. Бен-Шломо, человек старой школы, отчаянно сопротивлялся, про красоту говорил, спрашивал, что если, мол, толчок в музее выставить, он же от этого не станет произведением искусства? Тут-то профессор и попался. Блеснул невежеством.

10.7. Суд у бедуинов. Судья ищет убийцу среди десятка подозреваемых, но утверждающих свою невиновность. Раскаляется огромная металлическая ложка (до 900 градусов!) и каждый должен лизнуть ее в «жопу», в круглую, выпуклую часть, лизнуть всем языком и два-три раза. Называется «вылизать правде жопу». Судья следит, чтобы лизали как надо, чтоб вылизывали. А потом осматривает языки, те, что треснули и открылись язвами, где кожа, оторвавшись, повисла, те и виновны.

Язык лжеца сохнет от страха, и от прикосновения к горячему сходит кожа.

12.7. Сербы взяли Сребреницу. Израиль осудил. Народ, свою родину предающий, осуждает народ, за нее воюющий. Подонки. Американские прихвостни.

14.7. Опять читаю «Апокалипсис» Розанова. Книга горькая, смятенная, держаться больше не за что («Русь слиняла в два дня... Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко».). Готов за еврея от отчаяния ухватиться. «Евреи — самый утонченный народ в Европе». Здрасте. «Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому европей-

скому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: «На, болван, помолись». Дали псалмы. И Чудная Дева — из евреек. Чтобы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи… И будь, жид, горяч. О, как Розанов, — и не засыпай, и не холодей вечно. Если ты задремлешь — мир умрет». «...среди «свинства» русских, есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — тоже. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».

17.7 «Новый русский», еврей аж из Барнаула. Под сорок, брюшко, поредевшие кудри, короткая шея, смышленые глазки. Жена, лет двадцати пяти, длинноногая, вольяжная русская баба, красоты почти величественной, если б не, увы, нестираемые следы простоты происхождения. Шульгин бы порадовался. Биологически активная раса за работой по порче арийских женщин и всего арийского рода.

Читаю рассказы Сорокина. Ловок. Но «метод» слишком прост, слишком очевиден и однообразен. Сборка готовых конструкций. И в конечном итоге оставляет ощущение промаха. Через пару рассказов уже знаешь точно, что и когда произойдет. Впрочем, он и не метит никуда, разве что на постмодернистский Олимп. Не знаю, но мне в этом русском постмодернизме чудится спесь, тот самый «культурный шовинизм».

Высокомерен русский стёб,
Его хуйня велеречива...

22.7. Тёща: «Этот паразит (о муже 80-ти лет) съел все яблоки! Я специально купила себе яблоки, так этот мерзавец съел все яблоки!

— Ну мама, ну что ты, ну я тебе дам, у меня есть яблоки...

— Мне не нужно твоих подачек! Я гордая! Не нужны мне твои яблоки!

С каким счастьем, и с какими приключениями!, я дорвался в юности до «Так говорил Заратустра», и — не смог одолеть и десятка страниц, подавился пафосом. «Грозно будет тогда вздыматься моя грудь; грозно по горам возбуждает буря ее…». «Не бросайте пляски, вы, милые девушки! К вам подошел не зануда со злым взглядом (?!!), не враг девушек...». «Правда я — лес полный мрака от темных деревьев, — но кто не испугается моего мрака, найдет и кущи роз под сенью моих кипарисов». Я и сегодня не могу читать эту бредятину. Перевод виноват?

Уважаю строгость в мышлении. Современная философия грешит поэтизацией. Ницше — сладострастие мысли, переходящее в словоблудие. С одной стороны: Бог — это «преступление перед жизнью». Жизнь, стало быть, превыше всего. А с другой стороны: человека, то есть жизнь, надо преодолеть. Потому что «бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии, — это презрение к человеку... С мрачной осмотрительностью я прохожу через мир, в течение тысячелетий представляющий собой сумасшедший дом».

24.7. Взорвали еще один автобус. В Рамат Гане. Средствами массовой информации отмечено, что на этот раз все убрали очень быстро. Еще было отмечено, что взрыв был послабже чем в Тель-Авиве. Да и убитых всего шесть, один из них, наверное, камикадзе. Правда, есть трое безнадежно раненых. Одна из раненых уже была ранена при взрыве в Тель-Авиве, дважды трахнутая. Сказала: «Надо жить каждую минуту. Радоваться жизни». Это в ответ на вопрос, как жить дальше. Мет Ипат — леми ихпат (умер Максим — ну и хуй с ним).

25.7. «Где недостает воли к власти — там упадок». Амен (из «Антихриста»).

«...мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом... Эта терпимость сердца, которая всё извиняет, потому что всё понимает, действует на нас, как сирокко». («Антихрист»)

Я подключаюсь к Ницше, как к искусственной почке. Он очищает мне кровь.

26.7. Получил письма от Оли и Тани. Был очень этим доволен, особенно письмом от Тани.

Позвонил вчера Гольдштейну. К моей прозе он проявляет весьма лестное для меня опасливое любопытство. Чувствует, что ожидается здесь какое-то приключение, хотя бы литературное. Когда сказал ему, что от Тани письмо пришло, поймал себя на том, что в моем тоне появились неприличные элементы злорадства, вот, мол, нам пишут, а вам, небось, нет. Хотя кто знает на самом деле? Может он просто не такой болтливый, или не такой мстительный. Как в том анекдоте: приходит женщина к мужчине и говорит: ваша жена вам изменяет. Причем с моим мужем. Давайте им отомстим. Ну, мужик согласился. Она, ему: давайте им еще раз отомстим. Ну, давайте, говорит. Она ему снова: давайте им еще раз отомстим. Он говорит: извините меня, но я не такой мстительный.

Потом о книжках поговорили. Два книжных червя. (Два червя вылезают из жопы, один другому говорит: посмотри, сынок, как красив мир! солнце! небо! Мама, говорит второй, а почему же мы должны сидеть в жопе? Потому что это наша родина, сынок.)

Опротивели бабы. Как пол. (Жена: ты мой половой...)

Эх, гостиница моя, ты гостиница... Во-первых, цены бешеные. А во-вторых, похоже на любовь в тюрьме, в отведенное время, в отведенном месте, под надзором и очередь ждет... Короче, мне пришла в голову мысль эксплуат-

нуть Володю. В конце концов, ему вся эта история известна, не в первый раз мы обживаем его хоромы, и я ему немало оказал мелких услуг, в том числе и в денежном выражении, а квартира у него пустует дня три в неделю, и если ему в принципе не... Изложив просьбу, присовокупил сто шекелей, которые ему помешать никак не могли, и он к моему удивлению легко согласился, сказал только, что какой-то приятель на таких же правах там обитает, но на пару недель может и перерыв сделать, значит, он у него ключ возьмет и мне передаст. Ну и, конечно, вовремя все это не получилось, и в первый раз мы поехали в «Империал» (да-да, гроссмейстер не баловал). А через день я заехал к нему, заодно взял «Эллинистическую цивилизацию» Вильяма Тарна и ключ, вручив сотнягу. Тут он мне и говорит: «Скажи мне, Наум, а сколько ты экономишь на этом деле?» Я улыбнулся и сказал: «Знаешь что, если бы это можно было хотя бы приблизительно оценить, то мы могли бы с тобой сделать так, что половину, допустим, моей «экономии» пойдет тебе. Но я не знаю сколько раз я твоей квартирой воспользуюсь, да и гостиницы ведь разные бывают, можно и на них сэкономить». Он согласился с моими доводами, но все еще колебался. Знаешь, говорю, давай сделаем так, в конце будет яснее, и если я увижу, что магиа леха ётер (тебе полагается еще), так... за мной не заржавеет. После этого я взял Тарна, ключи и отчалил. Договорились, что посмотрю на той его квартире книжки, которые он для меня отложил, прежде всего «Поэтику ранневизантийской литературы» Аверинцева за 50 сикелей. По дороге я рассказал тебе притчу о меркантильности поэтов.

Отдав тебе дневник, вдруг испугался. Мое собственное бесстыдство меня смутило на этот раз. Я почувствовал кожей, что этого нельзя было делать. Нельзя открываться. Надо всегда оставаться тайной. Кто открылся, тот уж не интересен.

Сегодня утром, когда ты села в машину, я сказал: «Поедем в Кейсарию?» Шевельнула бровью в знак недоумения, но согласилась.

Да, я не хотел в койку. Не хотел и точка. Музей Рали был закрыт. Поехали к акведуку Ирода. Я купался, а ты сидела на берегу и читала продолжение дневника, который я накануне отпечатал. На берегу — никого. Сильный ветер. Акведук тонет в дюнах. Спрятались под его арку. Камни акведука, как пемза. Мимо поземка песок гонит, будто кто-то колышет покрывало шелковое, серо-желтое. Небо над морем молочное, и солнце — янтарем в молоке.

Увы, Земля Обетованная не «отчий наш дом», а проходной двор. (Читая Безродного в 12-м номере НЛО.)

27.6. Это было так долго, что надоело. Мне показалось, что и ей надоело. Уж я и «бил ее бивнем», и «взбалтывал сметану», и «тер воловьи бока», не знаю, что она чувствовала, наверное, ничего, раз никак не показывала, а уж я так точно ничего не чувствовал. Откуда-то всплыло из мутных глубин шершавое слово тщета и расцарапало отяжелевший мозг. Этот путь не вел никуда. Я встал и подошел к зашторенному окну. За ним орала раблезианская улица Стана Иуды. Она осталась лежать. А я думал у окна о том, что зря, зря отдал ей дневник. Этого нельзя было делать. Конец игре. Посмотрел на нее. Она смотрела на Вздыбленного мертвым взглядом. Белеет фаллос одинокий... Потом встала, подошла, опустилась на колени и отсосала.

Исполнителя взрыва в Рамат Гане до сих пор якобы не опознали. Что-то тут не то. Уж не из Фатха ли он и правительство боится это открыть?

29.7. Литературоведение стало интересней литературы.

1.8. Прочитал «Конец цитаты» Безродного. Очень понравился. Жизнь на фоне филологии. «Так же бывало и прежде: по случайно уловленному на ленинградской улице обрывку разговора удавалось без труда восстановить и портреты невидимых собеседников и даже рисунок их жизни. Но там и тогда это скользило мимо сознания, а здесь и теперь всякий раз удивляло: у тебя нет ничего, кроме способности с полуслова понимать родную речь. Здесь и теперь ненужную».

У Вячеслава Иванова похоже:

Густой, пахучий вешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умерших окрест слов,
Старинный звон колоколов...

Эти умершие окрест слова — из самых острых ощущений эмиграции...

В Израиле, впрочем, это ощущение в последнее время ослабло, такая получилась эмиграция в Жмеринку...

2.8. «Великими торговыми народами, кроме греков, были южные арабы и набатеи, а также финикийцы... Нет никаких указаний на то, что евреи играли особую роль в торговле. Иосиф Флавий верно говорил: «Мы не торговый народ». (Из книги Вильяма Тарна «Эллинистическая цивилизация».)

Мы — народ лавочников. Не торговать любим, а торговаться.

«Зерно шло из Египта и Крыма. Вино вырабатывалось повсюду, но лучшие вина были из Северной Сирии, из Лаодикеи Приморской, и из Ионии с прибрежными островами Лесбос, Хиос, Кос, Смирна. Афины вывозили лучшее масло, Афины и Киклады — мёд, Византий — соленую рыбу, Вифиния — сыр, Понт — плоды и орехи, Вавилония и Иери-

хон — финики, славились сушеные фиги Антиохии на Меандре, изюм Берита и сливы Дамаска. Милетская шерсть была лучшей в мире. Благодаря вину, шелку и религиозному врачеванию Кос добился исключительного процветания. Александрия снабжала мир бумагой, она же и Тир — стеклом, Тир и Арад были столицами красильного промысла. Геммы поступали из Индии и Аравии, Египет поставлял аметисты и добывал топазы из Красного моря, Индия и Персидский залив поставляли жемчуг, неизвестный до Александра, янтарь был диковинкой, а черепашьи щитки шли из Индии и Трогодитского побережья, но основным предметом роскоши были пряности. Индия присылала корицу и кассию, гималайский нард, бделлий; Аравия, кроме ладана, главным образом вывозила мирру, Генисаретское озеро снабжало пахучими тростниками, а у Иерихона была монополия бальзама, так как бальзамовое дерево было повсюду истреблено, кроме его знаменитых садов, подаренных Антонием Клеопатре. Ладан занимал особое место. Высоко ценилась корица. Делос был центром работорговли. В Александрии пряности перерабатывались в мази и духи, и это была мощная отрасль. Остается неизвестным, что получали Индия и Аравия в обмен на свой экспорт, и отсюда пошла легенда, будто Южная Аравия задыхается от денег, эта легенда сыграла роковую роль в экспедиции Галла при Августе».

5.9 Вчера пошли с ней на «Бульварную литературу» Торентино. Фильм блестящий. Напоминает рассказы Сорокина. И все же — «тоска от этих игр».

По возвращению домой получил скандальёзо. Где был, где был, да в кино ходил. Да, один. Шарит в брюках и находит билет в кино. Естественно, в единственном экземпляре. Ты, говорит, второй билет выбросил. Конечно, выбросил.

Какой-то Лёня Бер захватил в Германии автобус с туристами, убил кого-то и был застрелен. Жил в Израиле, потом в США. Странный случай.

Ездили в Ципори. Одинокий холм в развалинах, описанный еще Флавием. Зашли в музей, Венерой Галилейской полюбовались. Со дна огороженной ямы с фрагментами мозаики смотрело живое, странно безмятежное лицо. По музею кружили еще трое: громкоговорящий мужчина средних лет и с ним две женщины. Их присутствие грубо вторгалось в наш с Венерой обмен взглядами, оскверняло его. Обойдя перекопанный холм, сели у вагончика-буфета перекусить. Подскочил бодрячок в шапочке «тембель» («придурок»), поболтал с молоденькой буфетчицей. День был жаркий, однако, спасал ветерок. Вдруг он обратился к нам. «Ну, интересно здесь?» «Интересно», — говорю. «А водохранилище эпохи Ирода видели?» — «Нет». — «Ну, обязательно сходите, тут рядом. Его недавно открыли. Потрясающе интересно!» — «Да? Что ж, может, сходим», — сказал я неуверенно. Бодрячок попрощался, но, сделав несколько шагов, неожиданно вернулся и протянул мне цветной постер: «Вот, полюбуйтесь! Три года над этим работали! Обязательно сходите, не пожалеете!» На постере была фотография системы пещер-водосборников, издалека смахивало на... «А? — улыбнулась ты. — Она?! Впечатляет!» «М-да, — говорю, — похоже. Ну что ж, надо погулять по пещерке». В глубину водосборника (метров семь) вела лестница. На дне обласкала прохлада, солнце освещало края и зеленые кусты наверху. Сооружение было внушительным, ярый Ирод любил строить (ну а что впадал в бешенство, так народ этот упрямством и своеволием своим кого хошь доведет), со шлюзами, узкими переходами из одного гигантского бассейна в другой, иногда приходилось почти переползать, согнувшись. Навстречу нам попался тот громкоговорящий мужик с двумя бабами, он был возбужден и восхищенно повторял: «Ло мохрим лану локшим!» («Халтуру нам не подсовывают!»). Чтобы пробраться в последнее в цепочке водохранилище пришлось

проползти на четвереньках через круглое каменное окно. Сверху огромная каменная ванна обросла кустарником и желтые солнечные пятна веселыми табунами носились по серым стенам при каждом дуновении ветра. Стали целоваться. Ты почему-то очень боялась и необычно громко дышала, будто задыхалась. А потом, когда уже были у лестницы, засмеялась: «Ло, ло мохрим лану локшим».

ПЯТАЯ ТЕТРАДЬ

9.8.95. Вечер Кати Капович. Человек 25. Верник, Гольдштейн, Игнатова, Толика жена-толстушка чой-то приперлась. Меня никто не узнает. Потому что подстригся наголо?

«...спит Бродский черте где…».

Слева от меня стенд «Пауль Целан и Иосиф Мандельштам». Читаю статью об их «близости». За моей спиной Витя Панэ трясет коляску с младенцем и возмущается моим поведением. Подчеркнуто громко и с энтузиазмом хлопает.

«Я красок не сгущу (прорывается Катин голос), я буду суггестивна…».

Я-то пришел так, пообщаться, в расчете на попойку.

Рано утром вылезешь из «будкэ» в заснеженный Хеврон, закинешь автомат за спину и запустишь снежком в пастушонка, перегоняющего по косой улице коз. Осклабится в ответ черными корнями зубов.

Это было давно, когда нас еще боялись, а стало быть, уважали.

В свободное время я ходил к Додику в Кирьят Арба, иногда мы с ним гуляли по окрестным холмам и он читал воркующим голосом арабские стихи, что-нибудь вроде: редкие сугробы по склону, будто жемчуг, покатившийся с разорванной нити, пойдем, порадуем себя юной дочерью лозы. И мы шли и радовали себя. Красное молодое вино он покупал у горбатого седобородого крепыша из Сусии, раз в неделю привозившего большие бурдюки из старой кожи и, с прибаутками из Талмуда, наливавшего повеселевшим прохожим на пробу в почерневший серебряный кубок. Додик являл собой безобидность, которая меня не раздражала. Может я просто был моложе и добрее? Но в Городе на

него смотрели косо, хотя он служил переводчиком в военной администрации и каждое утро топал молиться в Маарат Амахпела[1], мимо нашего поста. Смотрели косо, наверное, оттого, что якшался с арабами (арабский учил еще в Москве), говорил, что для языка, те ему носили обрывки каких-то манускриптов, за которые он готов был выложить последнее, залезть в любые долги. Переводил, а может и сам писал стихи по-арабски.

Когда утром играл в теннис, вдруг — оглушительная тишь, и слышу, как сухой лист асфальт площадки царапает...

10.8. Служение Богу. С упором на «служение». Нет, не сладострастие рабства, а романтика рыцарства. Готовность к служению — это признак любви. Как в фильме Куросавы «Таинственная крепость». Великая фреска о рыцарстве и плебействе. И «Семь самураев» на ту же тему.

Преданность рыцаря княжескому дому безоглядна,
восторженнна в своей жертвенности.
Сие есть преданность образу начала возвышенного.
Снисходительность рыцаря к бедам сирых,
его безрассудная приверженность
обязательствам покровительства,
данным в минуту душевной слабости,
безотрадна и отдает горечью.
В жалости — безысходность.

Какие чудные у него смерды! Они и лукавы, и трусливы, и наивно плутоваты, и простодушно лживы, готовы обобрать и предать при первом удобном случае — букет низости! Полевые ароматы обыденности, человечности, если угодно! Чернозем жизни. И не в происхождении суть. Служанка, выкупленная в харчевне, рыцарски предана.

[1] Могучая усыпальница праотцев, Авраама, Исаака и Иакова, выстроенная Иродом. Место, священное и для мусульман.

И удостаивается не снисхождения, а дружбы. Суть низости в неспособности подняться над собственным существованием, увидеть и оценить его извне, с вершины идеи, идеала, веры, другой жизни, наконец. Плебеи всегда исполняют роль слуг, но никогда не посвящают свою жизнь служению. Неизбежный героизм преданности им просто смешон.

В последней сцене в «Семи самураях» оставшиеся в живых вместе с гордостью за исполненное дело ощущают горечь, беспокойную тоску: а стоило ли дело жертвы? Одно — служить «образу начала возвышенного», а другое — трусливым и жалким смердам. Что ж, если нет «образа», остается служить «служению», принципу...

В отрочестве я мечтал стать странствующим рыцарем, защитником униженных и оскорбленных, а поскольку самыми униженными и оскорбленными были, как мне казалось, евреи, то эта кривая дорожка привела меня в Израиловку. В тиронуте (курс молодого бойца), а ведь мне было уже тридцать с хвостиком, собрались олимчики, из России, Аргентины, США, один бельгиец, парочка из Южной Африки, самые безумные служаки были американцы, радостно надрывали пупик, аргентинцы тянули лямку с ленцой-хитрецой, русские — со злобой. Как-то в перекур один русский, худой и сутулый, решил народу пожаловаться: «Во влипли, бля, в суходрочку с ихней ебаной армией, в Италии сука эта уговорила, сидел бы сейчас в Нью-Йорке, как пан...». Народ сочувственно кивал. «Это не ихняя армия, — говорю, — а твоя, чтоб ты детей своих и стариков защитить мог». Ну все, больше рядом со мной наши перекуров не делали. Пришлось подружиться с Дэвидом из Алабамы, Ричардом из Кейптауна, Моше из Буэнос-Айреса. Жилистый Дэвид, единственный из выпуска, получил нашивки сержанта, толстый Ричард стер ногу и сошел с круга, Моше забрали от нас до срока, он математику преподавал в Тель-Авивском университете и к нему вечно подполковники приезжали зачеты сдавать. На коротком привале возле Себастьи, после марш-броска на 15 километров с «ранеными»

на носилках, когда бегом, гремя амуницией, в черной от пота гимнастерке, подменяешь каждые две-три минуты тех, кто несет носилки, и через минуту уже чувствуешь, что сил нет и хочется бросить эти носилки, и клянешь на чем свет стоит «раненых», самых толстых и ленивых, кричишь: «Меняй, меняй!» а рядом бегущий не торопится, экономит последние силы.., на коротком привале, пройдя аллею черных базальтовых колонн Ирода, за виноградником, у раскопок дворца царя Ахаза, правившего лет шестьсот до этих колонн, падаешь на мягкую от пыли землю и жадно высасываешь из фляги влагу, но не все, не все!, ведь надо пройти-пробежать еще столько же, а тебе кажется, что ты и встать не в силах, но рота проходит и второй отрезок пути, вот и холм с родным лагерем, и вдруг, откуда крылья?, заплетающийся шаг переходит на легкий бег, обессилевших толкают сзади, несут их рюкзаки, фляжки, тяжелые автоматные магазины, кто-то хриплым криком начинает песню о том, что в третей роте нет блядей, в третей роте нет блядей, и на лужайке лагеря никто не падает в траву, все стоят по стойке смирно и слушают рапорт комроты командиру полка, грязные, до ушей улыбаясь. И в этот миг, и долго еще потом, пока связанные в марш-бросках верви братства не перетрутся в буднях, нет тебе ближе людей на свете, чем эта злая, изможденная, гордая собой солдатня. А на личной беседе с командиром, на последней разборке, важный лейтенантик, полистав для порядка папочку с «личным делом», сказал: «Ты плохой солдат». Я удивленно поднял брови. «Да. Сильный, выносливый, но... Только о себе думаешь…» — «Что, — я слегка обиделся, — так заметно?» — «В армии все заметно».

11.8. На фото в газете упавший истребитель. Песня искореженного железа.

Катя на заднем сидении прильнула к Гольдштейну и шептала обессиленным голосом: «Правда, ничего было? Но я стала лучше писать, правда? А ты меня ругай, ругай, мне

это поможет». Я поглядывал в зеркало: нет, вроде без нежностей. (Так расскажите суду, Аграфена Поликарповна, что вы увидели в кустах? Ну, известно чо, заглянула я за куст, так и есть, ебутся. Не ебутся, Аграфена Дмитриевна, а вступают в половые сношения. Так я вот и думала-то поначалу, что вступают, а ближе-то подошла, смотрю — нет, ебутся!»)

На обратном пути я осторожненько Гольдштейна спрашиваю:

— Вы давно с Катей знакомы?

— Да нет совсем, — открестился он. — Раза два виделись, включая сегодняшний вечер.

После вечера все повалили к Кате, народу было, кажись, больше чем на вечере. Скучились вкруг стола, долго ждали бутербродов, пришлось водочку без закуски тянуть. Потом бутербродики мама, заботливая и гордая торжеством, принесла, Кати все не было, она, как прима после спектакля, отходила «от нервов». Потом явилась в домашних шароварах, «жрете, бляди», ласково послала кого-то в пизду и улеглась на диван за спины подружек. Подали огурчики. Народ постепенно раскочегарился. Я сидел между Гольдштейном и Верником. Незнакомая рыжая борода напротив втолковывала нам, что Пуанкаре — голова, что он его больше всего ценит, что Гаусс тоже был голова, а Эйнштейн, мол, — темная история. Верник прорезался: «Хочу говорить о Сухово-Кобылине! Не, старик, это ж первый русский модернист! А какая судьба!

— Так убил он или не убил? — подкинул Гольдштейн вопросик.

— Да конечно убил! Но это и не важно, согласись, ведь не важно!

Надо готовить умный, бодрый наш народ[1] к беспощадности. После «мирных забав» придет время бойни...

[1] Перефраз из «Горя от ума» Грибоедова: «Чтоб умный, бодрый наш народ хотя по языку нас не считал за немцев».

14.8. Вышли утром на Кватре Фонтана, дождик накрапывал. Вздохнул всей грудью. Дома цвета сангины, и ни одной бетонной стены, ни одной стеклянной. Улица убегала вниз ровным коридором, и вдали виднелась колонна Марка Аврелия.

В соборах толпы туристов и никакого благоговения. Красота величественная, благоговения — ёк. А без него красоту не почувствуешь. В Санта Мария Маджоре архиепископ службу творил, тесная кучка вокруг молилась, шатались праздные толпы, сигали охранники с рациями, «перехожу на прием», какая-то красотка в коротенькой юбчонке преклонила колено, обнажив трусики, и закрестилась. Народ закосил взглядами, тут, матушка Мария Маджоре, магнит попритягательней. Особенно отличалась отсутствием благоговения израильская шантрапа, в соборе Петра служитель предупреждает: фотографировать можно, но нельзя позировать, ну, это для нашего брата чересчур тонкая диалектика. Бравый Офир обнял девку и встал под гробницу папы Александра (шестого, кажется), с черной в золотых ребрах Смертью, укрывшейся под красным мраморным покрывалом: «Ёське, ред лемата! Ну ред, аль тефахед! Ахерет ло ниръэ эт амавет!» (Опустись ниже! Ну, опустись, не бойся! А то Смерть не увидишь!). Был профессиональный порыв объяснить ему, что не на базаре, но удержал себя. И правильно сделал. Не мне этому народу мозги вправлять, уж коль сам Господь оплошал.

Недалеко от площади Испании заглянули в BIBLIOTECA VALLICELLIANA, соблазнился портретом белобородого остроглазого старца в берете, оказалось: выставка средневековых фолиантов из библиотеки мессера Филиппо Нери, кто такой, почему не знаю? Желтые страницы, яркие миниатюры, оклады из красного дерева с серебряными замочками, евангелия, жития...

Когда на Капитолий поднялись, зашли в Санта Мария Деракуэли. И там, сразу справа, в углу, из сумрака собора — голубое воздушное окно в даль холмов, а за окном деловито распинают. Оказалось — фреска. Пентуриккио.

Марка Аврелия с коня сняли. Под стеклом держат позеленевшего. Рядом агромадный жутковатый Тритон, а на вершине лестницы на Капиталийский — два беломраморных истукана, первая встреча с Римом цезарей, и он показался уродливым в своей мощи, пошлым в своем гигантизме.

Грандиозность соборов (мраморные ангелочки в соборе Петра размерами с добрую свинью), посвященных нищенскому подвижничеству галилейского странника, отталкивает. Все в них от тщеславия, от варварского тщеславия сильных мира сего.

Святость только в бедности обитает. И социальной и умственной. Отсюда и «блаженны нищие духом». Богатство духа ведет к его изощренности. А изощренность — к разврату.

За Капиталийским холмом — раскопанный скелет могучей цивилизации.

Первой моей книжкой о Риме была детская хрестоматия «Древний Рим», где пересказывались, в доступной среднему школьному возрасту форме, рассказы и легенды из недоступных источников. Эту книгу мне подарил папа. Мне было лет семь. Я читал ее все время, заканчивал, и начинал сначала. И никогда он Рима не любил. Было что-то тупое, бесцельное в их славной доблести. Да, моими любимыми героями, и навсегда, стали заклятые враги Рима: Пирр, Ганнибал, Спартак. Особенно Ганнибал. Я сидел над картами альпийских перевалов, пытаясь представить себе его маршрут. Изучал планы битв и передвижений войск, музыкой звучали слова Сагунт, Канны, Тарент, Капуя. Со

слезами читал о его бегстве, о преследованиях мстительного Рима, предательстве царя Вифинии и самоубийстве перед угрозой плена и унижения. О, это была совершенная, прекрасная, совершенно прекрасная судьба. Рим я полюбил уже имперским, усталым, обреченным. И всегда ненавидел плебейских лидеров, всяких там гракхов и мариев, болтуну Цицерону, предпочитал хулигана Катилину, лицемеру Бруту — честолюбца Гая Юлия. В Великой Гражданской войне не сочувствовал никому, ни Октавиану, ни Антонию, все они были для меня псами, передравшимися из-за костей зарезанного любовника славы.

На площади перед собором Св. Петра в Ассизи четыре подростка лет 14–15 играли в футбол, колотили что есть силы по святым стенам. А ведь он старенький, 14-го века.

По дороге к базилике св. Франциска шел народ. Народ, как народ, беременные, хромые, убогие, и ничто народное не было ему чуждо: громко кричали, махали руками, толкали коляски, жужжали дешевыми мотоциклами, воняло выхлопными... На углу был «Бар Святого Франциска», за стеклом сидел японец с японкой. Жена с Никой взахлеб щебетали. Верхняя Базилика была вся в Джотто. Строгая, зоркая простота. А в изощренности — суета. Росписи едва проступали в полусумраке, время от времени зажигали свет, и тогда они вспыхивали гневными красками. Народ устало бродил вдоль стен. Жена и Ника стояли посреди собора и изливались: кто развелся, кто как с мужем живет, кто бросил полюбовника, кто нашел, что с детьми. Я подошел, и они отступили к алтарю, продолжая клекот. Потом вошли в общий ритм кружения, как школьницы на перемене, и, глядя под ноги, а не вокруг, все рассказывали, рассказывали что-то друг другу. Я тем временем спустился к могиле. На широкой площадке внутреннего дворика носились дети между колонн. По дороге остановился у источника, водицы испить, и тут мне вдруг на щеку упал

ароматный цветок, вроде желтой акации, так неожиданно коснулся щеки, что я вздрогнул, цветок соскользнул в чашу источника, и подумалось: а вот и цветочки[1]... На выходе из верхней базилики молодежь у паперти играла на гитаре и пела, приплясывая, однако несмело, во всяком случае, не развязно.

Итальянки красивы, но без загадки. И крови моей не волнуя, как детский рисунок просты, здесь жены проходят, даруя от львиной своей красоты...

В Нижней Базилике царили сиенцы. Я долго стоял у фрески с изображением св. Франциска (они его зовут Поверелло, «беднячок»), в темном углу, в темной робе, обняв Писание (рядом золотой трон Богоматери с Младенцем и девушки ангельские, золотоволосые за троном). Непостижимая, детская безобидность и удивление, глаза будто слезятся, уши торчат. Седобородый мужчина рядом со мной что-то спросил меня по-итальянски, показывая на фреску. Я догадался, о чем он меня спрашивает: в этой фреске было нечто странное: Поверелло обнимал Библию тремя руками! Я сказал ему, по-аглицки, что, инфочунатли поитальянски не петрю. Он перешел на ломаный английский. Я сказал, что, конечно, заметил. Нет, что это означает, не знаю. А обратил ли он внимание вон на того ангела златые власы, не правда ли странное лицо, двоящееся? Да-да. Чимабуэ вообще странный художник. А, это Чимабуэ, я не знал. Да, Чимабуэ. А вон там, на «Снятии с креста» Лоренцетти, вы обратили внимание, как лестница накладывается на крест? Нет. Ну, это вещь совершенно чудесная. Вообще Лоренцетти... А вы были в Сиене? Нет еще. Я вам завидую. Мы ласково улыбнулись друг другу.

[1] Имеется в виду «Цветочки Франциска Ассизского», классическая антология легенд о жизни святого, составленная где-то в 14 веке.

Садится солнце против Сакро Конвенто. Мы в ресторанчике, расположенном на уступе над пропастью, над гигантской равниной, справа каменные водопады высоких и узких арок. Эти циклопические памятники блаженной бедности вызывают подозрение в желании откупиться от невыносимой святости... Заволновались, засуетились птахи. Бутылка красного «Бордо» уже пуста, за столом американцы с психологической конференции, друзья Ники, это она нас пригласила, половина — евреи и еврейки в критическом возрасте, ищут себя, изучают Каббалу, Юнга и чего только не. Я их трескотню, к сожалению, не улавливаю, слаб мой английский, а заговорить так вообще стыдно, молчу, смотрю вниз, одурманенный простором, стаями змей скользят вечерние тени, «в хрустальном омуте какая крутизна...», всё, зашло солнце за дальний гребень, малиновая заря пролилась в долину, как вино на полотно, будто кто-то опрокинул там на горе бутылку. Я уже пьяненький. Английская болтовня стареющих милашек, поглядывающих на меня с любопытством, жена бодро с ними чирикает, о криэйтиг оф зе уолд, о лесбийской любви, ох, как я замечательно пьян и одинок... замечательно... После третьей бутылки полез в четвертую, стал объяснять соседу ситуацию в России. Сосед, умник такой еврейский с толстенными окулярами, вообще они все — персонажи Вуди Аллена, спросил, как я оцениваю. Я стал ему рассказывать о Бялике, вы знаете Бялика? Нет, он не знал Бялика, ну так я ему для начала долго рассказывал кто такой Бялик, потом все-таки добрался до знаменитой его фразы о России в 17-м году: «Свинья перевернулась на другой бок». Понимаешь, говорю? Дую андестенд? Пиг торн фром сайд ту сайд, андестуд? «Йа, йа, — закивал, ухмыляясь. — Свинья осталась свиньей, я понял, понял. А вы недолюбливаете Россию?» И тут я вспомнил, как приударял в первом своем милуиме за одной молоденькой немочкой, наблюдательный пункт был на крыше небольшой гостиницы под Нагарией, мы наблюдали за морем, а гостиницу

немцы держали, там у них жертвы Катастрофы бесплатно отдыхали, но не о том речь, а об этой немочке, которая к подружке в гости приехала, лежим мы на бережку, болтаем, а она в больнице медсестрой работала, в Нагарии, и так грустно говорит мне: скоро в Германию возвращаться. И я ее спросил: а ты что, не любишь Германию? Она говорит: я люблю Германию, но не люблю немцев. Впрочем, это я так вспомнил. Подплыла распрекрасная пава за сорок в экстравагантном платье. Заговорили о платье. Еще две стареющие девицы слетелись на разговор — наш столик был популярен, за ним особенно громко смеялись и больше всего пили. Одна блёнда (блондинка значит) знала пару слов на иврите, когда-то в юности училась год в Хайфе. Ника успевала давать нам краткие комментарии по-русски: «Вот эта блондинка, шикарная, да? У нее муж мультимиллионер, а она книги пишет. У нее в отрочестве была жуткая травма, она вошла в спальню отца, а тот ебал курицу, представляешь, курица уже вся была полумертвая и окровавленная. С тех пор ей все время снится эта курица. Это её поинта. А эта, в странном платье, да? Очень симпатичная…».

Поле подсолнухов. Мелкие черные, как у негритят, кудри в желтых жабо склонились в церемониальном поклоне. Тоскана встретила последождевой свежестью и покоем. Под Сиеной пошли бурые вспаханные поля, сжатый урожай, собранный в золотые кольца (а у нас — кубики). И земля голых холмов стала буро-рыжей, местами красной, и это сливалось и переходило в жухлый цвет бурых стен и черепиц окрестных домов, деревенек, замков. Почти на каждом холме стоял замок, или городок с башнями, и дома бежали вниз каскадами, будто в центре, на вершине, бил источник энергии созидания, на каждый такой холм хотелось взлететь, в каждом городке погулять, в каждом замке испить простодушного мужества, такая в них была уверенность, несуетность, непоколебимость.

В поэтической позе Мандельштама совсем не было еврейской суетливости. К концу жизни появилась загнанность. А в позе Пастернака — была. Вечная готовность извиниться, почти угодливость.

Лоренцетти и Симоне похожи на японцев. Вызывающее изящество.

19.8. Ночь в Торро дель Читта. Деревенский дом. Кошка на кухне шурует. «Дворянское гнездо», как сказала Ника. А с Никой тут было бы интересно...

Петух разорался. Быстро светает. Встал. Холодом из окна пахнуло. Хорошо! Петух орет требовательно. Мы только с голоса поймем, что там царапалось, боролось... Почему-то все время Мандельштам в голове, хотя я уже давно в него не заглядываю. Лет в тринадцать я пытался изучать латынь по старому, без обложки, порванному учебнику, виво, викси, виктум, амо, амави, аматум, винко, вици, виктум, ноли орнаре... Много времени убил и без всякого толку. Впрочем, я любил книги. Даже учебники. Нудная, сухая «История древнего Рима» Н. А. Машкина («допущено МВО СССР в качестве учебника для исторических факультетов университетов и педагогических институтов, 1956-й год»), была зачитана до дыр. Не сохранился, увы, лист с дарственной: «Нёмочке в день десятилетия. Вдохновляйся величием. Дядя Валя», пришлось выдрать, таможня не пропускала книги с надписями. В десять лет мне купили еще одну книгу, которую я «пронес через всю жизнь»: «Древняя Греция», огромная, с лодкой под парусом на красной обложке (Машкин, кстати, тоже был красным), издательства Академии Наук, 1956 год, папа купил мне ее у Казанского собора в Ленинграде, мы гостили у маминых братьев, 34 рубля 15 копеек, мама сказала: «Ого!», и радость от этого подарка до сих пор так сильна, что я иногда достаю ее и глажу атласные страницы и плачу, что пришлось выдрать лист с папиной дарственной. (Я знаю, по-

чему Бродский «не возвращается», потому что он их ненавидит. Когда умирали его родители, ему не дали приехать даже на похороны, отец у него умер, кажется, в конце восьмидесятых, чуть ли не в перестройку...) Потом пошли и вовсе чудеса: появились Плутарх, три толстенных тома, Светоний, Тацит, начались книжные дела, черный рынок, жадная толкотня у несметных сокровищ...

Одел теплую длинную рубаху и вышел. Лампа в виде свечи, вроде маяка для заблудившихся путников, еще горит в нише башни. Сумрачный рассвет. Узкие, синие ладьи облаков. Внизу поля подсолнухов, виноградники, иглы кипарисов и колоколен. Где больше неба мне, там я бродить готов... На столе на веранде чашка чая, почти полная, с вечера, жена не допила. Жадно допиваю холодный чай. Курочки недовольно заквохтали, петух, видать, перешел от слов к делу.

Царапалось, боролось. Его отскребали от ихней новой жизни кровавым поскребком, как огромный зародыш со стенок матки. Не могли ж они признать, что нет никакой новой жизни, как нет и старой, и нет никакого «прогресса», а весь он, «прогресс» — чванство недоумков, самодовольство живых перед мертвыми. «Ты подумай, 14-й век, а как здорово сделано, ну просто не верится!» (Ника) А в Риме жена: «Ведь это чуть ли не две тысячи лет назад!»

Сиена была запружена карнавалом. Одетые в форму враждующих средневековых партий, рослые, ширококостные, бесхитростные парни с флагами текли встречными потоками. В «Пинокотеке» никого не было, только бородатый американ записывал что-то в книжечку, переходя от картины к картине, еврей. В семь вечера у спуска к Пьяццо дель Кампо мы расстались с Никой. Это было трудно, но девочки справились.

— Я так рада, что повидалась с Никой! Так хорошо, что я с ней повидалась...

Они всю дорогу говорили о том, какое это чудо их встреча, через 10 лет в Ассизи...

Ника после развода уехала из Австралии с каким-то мужиком, но быстро разошлась с ним, «оказался полным ничтожеством, ну полным, понимаешь?», весь этот период был мучительным, с тяжелыми депрессиями, с серией космических катастроф: в Мельбурне их с сыном залило водой, «представляешь себе?! просыпаюсь — в воде!», а в Лос-Анжелесе случилось землетрясение («я жила на втором этаже, а очнулась на первом, все летело в тар-тарары, а длилось всего несколько секунд»), в Лос-Анжелесе она пошла учить психологию (кончала Институт Стали и в последние годы работала учителем физики), защитила первую степень, написала книжку о символике, картах Таро и прочее, зарабатывает гаданием, живет у мамы (вернулась в Нью-Йорк). «Венька — бешеный, бросил бабу, с которой жил, очень симпатичная женщина, все продал и уехал в Японию, подписал контракт, у Бори была травма, а что ты думаешь, чего я торчала полгода в Австралии? (тогда и был первый за семь лет звонок, а то ведь каждую неделю звонила, про любовников своих докладывала, ну а потом письмо было из Нью-Йорка, что едет в Ассизи на конференцию, а мы как раз в Италию собирались), он уже кольца купил, собирался жениться, чудная девочка, и все расстроилось, Боря мне говорит: я не хочу жениться, чтоб потом разводиться, представляешь? и ни копейки им не оставил, а он только в Москве, когда эту академию организовывал, сотни полторы гребанул, так ничего и не осталось, еще должен 11 тысяч адвокатам, компаньонам, не знаю кому, Боря молодец, он на литературном учится, пьесы пишет, критические статьи, его печатают... у мамы я задыхаюсь, это ужас, она потрясающе выглядит, потрясающе! фигура, как у девочки, золотые волосы, всё подтянула, живет, как на курорте, одевает утром шорты и идет к морю, вечером с кем-то в карты режется, ты знаешь, у неё был роман с Рафиком? ты не знала?! ну ты что, он её возил на

Багамы, во Флориду, потом она захотела в Испанию, а он предложил пополам, так она его нахуй послала, нет, это после, хотя он и при Лиле выступал направо и налево, она не попала под автобус, а бросилась, а ты не знала?! ну, она была в ужасном состоянии, постоянные сцены... да? это на него похоже (жена рассказывает: когда мама у них в гостях была, Рафа ее в кино повел, а после сеанса говорит: Любочка, ты нам деньги за билет верни), он и за мной даже пытался, дела у него ничего, они бензоколонку продали, поделили с Витькой, деньги частично вложили в Неткину газету, да, газета идет, рекламно-финансовая, Нетка-зверь, изучила рынок, все сама фактически делает, а Витя открыл контору консультаций по капиталовложениям для русских, у него там чечня крутится, бешеные бабки делает... Андрюша — сибарит, лентяй, он в 92–93 хорошие бабки в Москве сорвал, держит их в банке, жена, Люську-то помнишь? недотёпа эта косоглазая? большой молодец, записалась еврейкой, пошла в контору социальной помощи эмигрантам, потом пару книг прочла, очки черные нацепила лихие, стала модная штучка, сдала экзамены на социального работника и стала капусту стричь, знаешь, с русскими стариками, им положена социальная помощь, а они экономят, договариваются с соцработником и делят деньги, те к ним не ходят, и платят им деньгами, у каждого с дюжину таких старичков, а то и больше, вот и стригут, потом она еще курсы кончила, и теперь недвижимостью торгует, с Андрюшкой разошлась, но дружит, приходит к нему, все шпыняет его за лень, а ему что, стимулов нет, деньги есть, у какого-то грузина на подхвате работает, у того крупная фирма, лимузин бронированный, вот, не реализовал себя, такой тонкий, интеллигентный, ты же знаешь, он так любил театр... папа у меня на руках умер, он к концу, когда понял, что не так, не с тем человеком прожил, что надо уходить, а сил уже нет уйти, я папу очень любила, и жалела, его рядом с тётей Лилей похоронили, я как-то Нетке говорю: поедем, посетим наших, а она: я на кладбища не люблю ез-

дить, и вообще такая стала — не подступись, с этой газетой, я ей не звоню больше... человек должен себя реализовать, для этого нужно уметь уйти, вот я счастлива теперь, что ушла от Веньки, он меня подавлял, хоть это было ужасно тяжело, разрушительно, но теперь я сама по себе, изучаю Каббалу, Юнга, чудесные люди, этот Майкл, ему уже под семьдесят, его старший, у него четверо сыновей, старше этой бабы его, ой, Майкл чудесный, он психолог, миллионер, нет, ему эти конференции не нужны, он сам кучу книг написал, он просто ее сопровождает, везде, она — ангел, она лет в 15–16 застала своего папу с её бой-френдом в постели, и с тех пор жутко травмирована, детей нет... а эта, у которой папа курицу ебал («а может петуха?» — ввернул я тут словцо, но меня не заметили), она в Хайфе год училась и родила там девочку... «Слушай, — опять настоял я на своем существовании, — откуда ты всё про всех знаешь?» — «Так мы ж на семинарах только этим и занимаемся, рассказываем друг другу свою жизнь, а потом обмениваемся впечатлениями, это потрясающая терапия…».

— То-то мне показалось, что они все про нас знают...

— Ну, кое-что знают...

В Ассизи, после третьей бутылки «Бордо» и полупьяной болтовни с американскими психами-миллионерами, мы пошли к центральной площади, где храм Минервы, девочки сели кофе откушать с пирожным, а я, чувствуя потребность устроить дебош, бродил вдоль витрин («бросьте, господин полковник, все равно не поймут!»), мыча «стонет волна штормова-я, в дальние дали маня»... Витрину книжного, которую я издали облюбовал, спас альбом африканской скульптуры. Потрясающая выразительность. По сравнению с ней все эти музейные Венеры да Аполлоны — манекены, что я итальянскому народу и кодлам туристов публично высказал. Жена тут же купила мне этот альбом и от себя больше не отпускала. А утром, по дороге в Сиену, когда они тараторили на заднем сидении о жалости к от-

цам и ненависти к матерям, о добрых и злых аурах, о свете в конце туннеля, который «уходящие» видят перед концом, о подругах и мужьях, вдруг всплыло (вообще память моя на стихи неожиданно оживилась): «Воздух свеж и волен после // разморительных простынь// довезет веселый ослик// до высоких до святынь», и я затвердил, затвердил, «довезет веселый ослик, до высоких до святынь»... Из-за «разморительных простынь» вспомнил? Ночь не спал совершенно, валялся с женой валетом на узкой кровати, поначалу еще были шаловливые мысли, присутствие Ники возбуждало, однажды, когда я был в милуиме, жена сказала, что поедет на пару дней на Мертвое море, льготная путевка с работы, поедет вместе с Эллой (такая Софи Лорен под сорок, незамужняя, ужасно застенчивая), я взревновал, а вдруг — не с Эллой, или даже с Эллой, в качестве прикрытия? В общем, сбежал я из армии и явился к ним в гостиницу, нашел их в бассейне, фигуристая Элла ныряла, жена сделала вид, что радостно удивлена, смеялась, называла меня бешеным, приехал я к вечеру и пришлось заночевать у них в номере, там были две сдвоенные кровати, разделить их не удалось, я спал, к сожалению, не в середине, а с краю, со стороны жены, разумеется, ну и обстановочка меня не оставила равнодушным, жена пыталась сопротивляться, стараясь, впрочем, не шуметь, все-таки невольные глухие стоны я у нее вырвал, думая при этом об Элле, которая делала вид, что спит, а когда мы были в Ялте втроем, я, Портос и Озрик, лет 25 нам было, привел я двух подружек из Кременчуга, выпили винца, стал их уговаривать остаться, у нас было две комнаты, я спал в отдельной, но у двери, на тахте раздвижной, долго с ними возился, только одну подразденешь, другая опять уже наполовину оделась, ты за неё, другая одевается нерешительно, ребята пришли, я им не открыл, и они влезли в окно с шумом и улюлюканьем, окончательно помешав моей кропотливой работе. Одна сказала, что не согласна делить мужика, и перешла в соседнюю комнату, но и с Портосом не поладила, Озрик вообще

не претендовал, вся эта возня сопровождалась комментариями и диким нервным хохотом, и она стала «мою» теребить, мол, пора, и они ушли, трахнуть-то я успел ее, но не запомнилось. И ты тоже мне рассказывала, как муж тебя к В. в постель направил, когда сам с его женой лежал по-соседству, признаюсь это меня тогда поразило, я проникся к нему уважением, хотя, может он знал, что ты его любовница уже много лет, и это было с его стороны не столько жертвой, сколько вычурной местью, по этому поводу есть израильский анекдот: муж застал жену со своим лучшим другом и говорит: Хаим, я-то ладно, я обязан, но ты?! Я и сам иногда задумываюсь о таких вариантах, щекочет нервы. Однажды Мирон витиеватым, но понятным намеком предложил, и я спросил жену, как она смотрит на такие варианты? Всерьез задумалась, что меня разозлило крайне, и сказала: «Это слишком сложно». Вот и все мои оргии. А к чему я это всё?.. Отвлекся малость. Да, так когда мы приехали в Ассизи и нашли ее, Ника повела нас в свою гостиницу, мы планировали к вечеру уехать, но она и слышать об этом не хотела: переночуете у меня, у меня отдельный номер, а потом так вышло, что на следующий день вся их конференция собралась на экскурсию в Сиену, так что она могла поехать с нами, а потом вернуться со своими, ну вот, так мы, когда в номер зашли, а гостиница шикарная, все из дерева, в деревенском стиле, занавесочки на окне, а за окном — Умбрия, матерь задумчивых далей, я сказал ей (жена как раз в таулет вышла): «Здорово! Здесь медовый месяц проводить хорошо!» «Да? — усмехнулась Ника и посмотрела на меня. Ты еще не забыл такие понятия? А я уже всё. Завязала». «Ну?» — не поверил я, и улыбнулся ей в ответ. Отвела глаза. Она мне всегда нравилась. Из породы непотопляемых... Ну вот, так мы с женой проворочались всю ночь на этой ужасной кровати с нехорошими мыслями, жене приснилось землетрясение, то ли от моего беспокойства, то ли от Никиных рассказов.

Однако ж у Михайло Алексеича в простынях другую канитель заводили, мне, честно говоря, неинтересную. Хотя знать «из какого сора» — всегда любопытно.

Вот вроде чужд Кузмин, а ужасно нравится. Поэт «арт нуво», с финтифлюшками, разноцветный, насмехающийся, позволяющий себе театральный пафос, и вдруг — откровенно несчастный, дерзко похотливый, болезненный, ядовитый...

Вчера после двух бессонных ночей потащился во Флоренцию. Стояли два часа в очереди, а потом таскались с толпами по Уфицци. Вернулся полумертвый. Жена — в радостном возбуждении: «Как врут репродукции! Боттичелли — совсем не такой! А какая красивая площадь! Дух захватывает! Просто сказочно... Что с тобой?» «От Учелло — говорю, — пучит». «Да ну тебя».

Вернувшись из Сан Джиминьяно, поели на славу и выпили «кьянти». Потом лежали рядом и я читал ей Муратова (прихватил с собой): «Глубокой осенью — был уже конец ноября — мы быстро катили в мягкой двуколке по дороге, соединяющей Сан-Джиминьяно с маленькой станцией Поджибонси... В тот ноябрьский день нежность и суровая простота тосканских пейзажей выступали с особой силой».

Утром — солнце. Наконец-то выспался.

Хозяйка с мужем и сыном лет 13 живет в высокой башне, говорит 12-го века. Тут на каждом холме укрепленный пункт и подворье, а иногда и несколько дворов с церквушкой и колокольней. Все это серо-красное, из битого камня сложено, думаю, хорошо смотрится осенью, с краснеющими лесами и виноградниками, с жирной, бурой, вспаханной

землей, и «нет ничего благороднее серебристой зелени оливок и бронзовых оттенков увядания на узорчатых виноградных листьях».[1]

Вчера, когда спускались к Поджибонси, две лошади у дороги ласково терлись друг о друга, переплетая шеи.

— Еврейскую кровь пить? — сказала жена и убила комара.

Хочется создать что-то вроде настенной фрески, вроде «Триумфа смерти» в Кампосанто. А когда видишь поля подсолнухов, их чёрные, опущенные головы в ядовито-желтом нимбе, то понимаешь, что это можно только написать красками, но не словами.

И только музыка циклопических кладок расскажет о душе, изнывающей по метаморфозам, только каменные песни споют о несбывающейся свободе...

Из русских, пожалуй, лишь Пушкин, да еще Кузмин не страдали проповедническими страстями и пафосом преобразования мира.

У «падающей башни» толпились израильтяне. «Ну, цалем, цалем квар, ма́ньяк[2], итъябашти ба шемеш!» (Ну, фотографируй уже, сука, я ошалела на солнце!) Отпустил жену на часок, по базарчику погулять, у Башни, а сам пошел в город. Лишь изредка попадался кто-то навстречу. Прелесть городок. Посидел на «Площади рыцарей», почти один. Потом вышел к Арно и, как на свет, потянулся к белой готической церквушке, игрушечной, в мраморных кружевах башенок, колоколенок, арок, скульптур — чудо над застывшей мутной рекой.

---

[1] П.П. Муратов, «Образы Италии».

[2] «Маньяк» — крыса, сука (израильский уголовный сленг), как и «сука», может звучать ласково.

Поутру наблюдал половую жизнь козлов. Козёл в загоне один, однако ж и ему нелегко. Две черные козы сразу его нахуй послали, а розовый тоненький длиннющий, аж до середины живота, уже покачивался на ветру. Козёл пригорюнился, извернулся и полизал себе сам, потом третью, белую с бурыми пятнами стал обхаживать, та игриво бегала от него, не очень решительно, позволила загнать себя в угол, а тут козленок маленький между ног стал путаться, розовую длинную титьку увидел и потянулся к ней сдуру, козёл от неожиданности на дыбы встал, потом раздраженно лягнул сосунка, бедняга отлетел, перевернувшись, а цветная раскокетничалась, стала по земле валяться, и между ног у бороды путаться, а борода-то заискивающе блеет, языком высунутым похабно болтает, и все ножку, ножку на нее поднимает, норовит запрыгнуть, а та то отскочит, то ляжет, ну никак, надоело мне ждать, явно коза динамит. Вернулся в спальню, жена мух ловит. Ловко. Ну, спрашивает, что в мире?

— Наблюдал половую жизнь козлов.

— Аа, ну и как?

— Тоже всё не однозначно.

— Ах ты мой юный натуралист! — и на себя потянула.

Солнечное утро. Тишь, только пение птиц, курицы кудахчут. Сегодня мы уезжаем. Путь на северо-восток, в Венецию. Заночуем в Падуе.

Приснился сон по сценарию классического ужастика. Какая-то старая жизнь, общие квартиры, кто-то умирает, кто-то женится, кто-то купил машину (долго стоял в очереди и получил драндулетину), все происходит, кажется, в России, пришла пора и герою сна влюбиться, (нет, это был не я), очаровательная девушка, но с какой-то странностью, герой пытается понять, наконец, однажды, во время объятий, она грациозно изгибает шею, в которую он хочет ее поцеловать, и вдруг обнаруживает непонятную при-

пухлость, которая становится опухолью между её плечом и шеей (там где я натер ремнем от сумки), и у него появляется непреодолимое желание вонзиться зубами в этот бугор, выгрызть его, уничтожить, и тут, при вспышке молнии он вдруг зеленеет и лицо становится сатанинским, вылезают клыки, и он вонзает их в шею несчастной девушки! Потом герой убегает и долго ужасно мучается, не столько совершенным преступлением, сколько страхом превращения своего, страхом открытия в себе беса, вампира, он хочет быть как все... и вот он скитается, прячась, по заброшенным переулкам, боясь показаться кому-нибудь на глаза, хотя уже давно, сразу же после «приступа» принял обычный облик, он долго скрывается, ведя жизнь бездомного бродяги, и вдруг, в один страшный миг, он просыпается утром и чувствует, что Тот, зверь в нём, сбросил кожу и стал им самим, и он стал зверем, бесом, с правом убивать не стыдясь, жуткая бабочка вылупилась из кокона, и он закричал, о, это был жуткий, леденящий душу крик: «Свободен! Наконец-то свободен!» И пошел искать жертву, как голодный и выздоровевший ищет поутру что позавтракать. Ему попался, на берегу реки, у огромной стены, под мостом, клошар, пожилой, сморщенный, с хитрым лицом, он свертывал удочки и собирался уходить, а герой уже знал, что это его жертва, и шел к ней... Тут и сон кончился.

И жене сон приснился. «Представляешь, я вдруг прихожу на нашу квартиру на Преображенке, а там какая-то женщина с мамой живет, я говорю, откуда вы взялись, а она говорит: я жена Игоря (шурина), и ребенок у нее, годика три, но выше меня, и лицо ну точно как у Игоря, носик такой тоненький, и я не знаю что делать, и не пойму откуда еще жена, опять женился?, а тут мама вбегает и хватает этого ребенка и начинает его обнимать и тискать, и ты тут являешься, а мама на колени перед ребенком свалилась и

голая попа наружу, я говорю, мама! ну оставь ты ребенка, замучаешь его, и эта голая попа ее перед глазами, и ты где-то за спиной..».

В темной церкви св. Франциска в Ареццо я вдруг ясно почувствовал, что христианство — культ смерти. В центре собора было жуткое, огромное распятие, кровь стекала из ран на пробитых гвоздями руках и ногах, из-под тернового венца, весь крест был в крови, ангелы слизывали ее, умывались ею, упивались ею, а Спаситель, еще живой, извивался на кресте в истинных муках, а на фресках за Распятием шла страшная битва, мечи вонзались в горла, кровь била фонтаном, по стенам собора висели циклопические ниши с гробами, на крышах гробов — в натуральную величину скульптуры усопших прелатов и полководцев, эти каменные мертвецы висели во всех церквях, украшая их, как новогодние игрушки елку, у некоторых были даже зеленые лица, а эти белые, мертвенно белые лица фарфоровых мадонн...

В Уфицци врезалась в память картина, кажется Артемисии Джантилески, «Юдифь убивает Олоферна», тоже кровь фонтаном, и такое сладострастие в отрезании головы, что сразу видно — мужиков недолюбливала. Нонешний телевизионный «разгул насилия» — детские игры по сравнению с этими наслаждениями от усекновений.

В Ареццо застал дождь. Старый город был пуст, на всех туристских перекрестках попадались все те же две пары туристов. Вообще-то, мы поехали в Ареццо из-за Пьеро делла Франческа: по уши влюбился в его статных мадонн с припухлыми, горько-надменными губами и китайскими веками, в его диптих в Уфицци с портретами Урбинского герцога и герцогини, и не столько герцог хорош, промышлявший наемничеством и в свободное от ратных дел время

забавлявшийся, как водится, меценатством, герцог просто душка, сколько хорош на обратной стороне пейзаж, совершенный сюр с латинскими стихами, что-то вроде:

В ясном сияньи триумфа грядущий
Доблестью равный бессмертным героям
Удачи избранник овеянный славой
Жезл предержащий.
Клярус инсигни венитур триумфо...
Скептра тенентем...

Но самое главное — глухие, жемчужные краски, свет умиротворяющей тайны...

Собор св. Франциска, который он расписывал, был закрыт, «в три откроют!», на английском для туристов крикнула тетка из окна над площадью. Поднимаясь по ползущим вверх улочкам, оказались неожиданно у дома Петрарки, потом вышли к парку, за парком обрыв в голубые долины. Посидели на лавочке. Худой облезлый пес подошел, обнюхал и прилег рядом. Стало накрапывать. Побежали к могучему собору из красного кирпича — закрыт. Рядом был антикварный магазинчик, торговала матрона, похожая на женщин дела Франческа. Жена закопалась в фарфоре, а я стоял в дверях и любовался ливнем. Оставив ее в магазине, сделал пробежку по омытому дождем Ареццо, наткнулся еще в одной пустой церкви на фрагменты его фресок. Когда вернулся, застал супругу испуганной: «Ты меня пожалуйста никогда не оставляй, а то еще похитят: всё кружили тут двое и бибикали мне, я сначала не поняла, а они круг сделали и опять бибикают..».

Вообще-то я планировал еще добраться до Монтерчи, по следам героя «Ностальгии», взглянуть на «Мадонну дель Парто», беременную мадонну (знаменитая сцена из фильма — птички из живота вылетают), но по времени не выходило, слишком долго мотались по горам, я неправильную дорогу выбрал.

Женщины у Тарковского неживые. Манекены, функции. И герой от них убегает. Боялся женщин. Отвлекают от спасения человечества.

Последние кадры фильма: деревенский дом, лужа и собака у дома, клочок родины в раме руин, руин Храма. Тоска по «духовному дому». А может просто по дому? По овечьему теплу? По отцу? В «Зеркале» можно кое-что понять о семейной драме: отец бросил мать. Любовь к матери и восхищение отцом... А тот был волчара по женской части, говорят даже Цветаеву трахнул. Поэт — скромный. Но не без достоинства...

Хозяйка пригласила на ужин, вроде отвальной. Хозяин с сыном разожгли камин, гигантские куски мяса жарили, за салатами и вином пытались разговориться. После болтовни с американцами в Ассизи (так напрягся тогда, что потом еще несколько ночей по-английски бредил) я стал посмелее, хотя, конечно, настоящего разговора не могло получиться, а жаль, мужик интересный, астрофизик, красивый, статный, ехидный, работает во Флоренции, и в Швейцарию часто «Вольво» свое гоняет, в тамошнюю высокогорную обсерваторию. Выпив водки, я захотел дознаться, сожмется ли опять Вселенная, или разбежится вся нахуй, но его больше интересовала жизнь в Израиле, с ученым любопытством заглядывая в глаза, поведал, что утром сообщили о теракте в Иерусалиме, автобус взорвали, предложил позвонить от них, но я отказался, сказал: завтра позвоним в Падуе. Он даже телевизор включил, как раз показывали весь этот балаган у «Здания Нации», и все поглядывал на меня изучающе. Мне это не понравилось. Я сказал, что это не помогает пищеварению. Он выключил. Хотел отомстить за астрономическую болтливость? Тогда я решил его уесть по римской истории: они все домогались, как меня зовут, «Наум» никак не ухватывалось, тогда я говорю: «Нума, Нума Помпилий, знаете?» Ну, конечно, конечно, они заулыба-

лись, Нума — это замечательно, вот теперь понятно. «А кто это, Нума Помпилий?» — тихо спрашивает по-русски жена, наклонившись ко мне. «Царь римский» — говорю. «Император?» — «Не император, а царь». — «А что у них, цари были?» — «Были». Жена недоверчиво пожала плечами. При этом мы улыбались соседям за столом, и жена принялась переводить наш диалог. «Да, да», закачал головой астрофизик, «кажется, он был этруском?» спросил он, обращаясь к жене. «Нет, — говорю, — он был сабинянином». «Аа», — протянул он, и тут же предложил выпить. Жена его тоже когда-то астрономией занималась, и с первым своим мужем, тоже астрономом, жила некоторое время в Израиле, где первый муж работал (любовница этого первого мужа и дала нам их адрес), и, кажется, больше русский освоила, чем иврит. На следующее утро, когда я пришел расплачиваться, хозяйка завела неожиданно разговор о теракте, «как же все-таки решить эту проблему»? «Убивать надо», — говорю в сердцах. «Да, но ведь их трудно поймать». Я не стал ей объяснять, что убивать надо всех, не поймет ведь.

В соборе Павла и Иоанна в Венеции, меж конных статуй в натуральную величину, развешанных по стенам, совершенно чудесный св. Доминик с белой лилией и красной книгой, чуть лысоватый, на Мишу похож. Вспомнилось «И тогда» Мориты, как его герой приходит на свидание с огромным букетом белых лилий. Символ непорочности. Вроде и не христианский фильм, но та же приподнятость над землей...

Венецианских церквей, как сервизов чайных, // слышен звон в коробке из-под случайных // жизней... Вот именно, сервизов. Вообще его поэзия какая-то сервизная...

В этой церкви Павла и Иоанна, в правом приделе, жуткая скульптура распятия с подсветкой снизу, аж ребра на-

ружу, и свет землистый, серый. Темно, с трудом пробивается свет из узких окон-бойниц, еще поглощаясь и рассеиваясь витражами, и собор вдруг кажется прообразом преисподней... (Мы в детстве шалаши летом делали, ветками засыпали, внутри темно, только сквозь щели свет едва пробивается, сидишь внутри с девчонками, прижимаешься, будто страшно...) А снаружи всё празднично, ярко, Венеция светом залита, искрится вода, веселые толпы, тщеславная роскошь дворцов, видно, что торговые были люди, и христианство было для них детской игрой в страшное, игрой в смерть, в темных соборах-усыпальницах они хоронили своих предводителей и Смерть замаливали, ничуть не веря ни в социальную справедливость, ни в отрешенное всепрощение, а веря только в ловкость и мужество, боясь только забвения...

Новые русские кутят в Венеции по первому разряду, нанимают гидов, гондолу, аккордеониста, и вот летит над каналами «Из-за острова на стрежень».

Молодое чувство влюбленности во всех девушек и женщин, жадное их разглядывание, когда воскресший инстинкт охоты обостряет приправа благоговения ценителя и коллекционера.

Внутренние стены дворца Дожей исписаны плебейскими мемуарами, в том числе и по-русски: «Были здесь 12.6.94. Петя и Лиза». На пути из Пятигорска в Домбай, весной 72-го, куда мы с Вадимом добирались на попутках, рассчитывая перейти через Клухорский, на холме у дороги стояла белокаменная церквушка-простушка, совсем маленькая, однокупольная, похожая на здешние мавзолеи шейхов, разбросанные по холмам. Как мы не устали, а все ж поднялись, в церкви был овечий отхожий двор, но на высоте чуть выше человеческого роста сохранились затуманенные временем фрески: очертания фигур, взмахи

рук. Ниже — краски были содраны и очищенные места пестрели клинописью: «здесь были…», неровная граница между туманом исчезающих фресок и этими птичьими следами проходила на уровне нашего роста, и будто невидимая война шла между ними: то ли туман наступал на царапины, то ли царапины драли туман в клочья. Что в этом царапанье, в этих росписях на святынях: наивное стремление приобщиться к вечности, вонзить в нее свои когти, или испохабить мертвую, бессильную красоту, то бишь некрофилия?

На иврите я, слава Богу, настенных дневников не обнаружил.

Во дворце Дожей толпился народ, жарко и душно, воняло потом, как в конюшне после скачек. В книжном киоске, у выхода, странный постер: будто заглядываешь в нарезной ствол, он же туннель от мрака к свету, и черные ласточки, не то души, не то ангелы, нежно подталкивают оробевшие тела вверх по стволу, к зиянью освобождения. Жена так и прилипла к нему, они ведь только что говорили с Никой про это, и она в газетах читала, что люди перед смертью вот такой туннель видят. Постер оказался с картины Босха. Ну, конечно, мы его купили, а потом спросили, может, есть Босх во дворце Дожей, а мы его не заметили? Девушка за прилавком говорит: есть. Где же?! Туда не пускают, только по особым приглашениям, но если нам важно, то через полтора часа будет экскурсия, и она может нас записать. Ну конечно важно! Болтаться еще полтора часа по дворцу было скучно, посидели в большом зале, расписанном Тинторетто, присмотрелся к нему: глаз к небу никто у него не закатывает, трудолюбив, мужиковат, уверен в себе. Подробней рассмотрел коллекцию оружия, в конце концов, вернулись к книжной лавке и стали ждать. На экскурсию собралось человек пять-шесть, французы. Служитель в очках, по виду не меньше чем профессор искусствоведения, отпер огромным старинным ключом боковую дверь, и мы

двинулись по мрачному коридору, который скоро кончился, попали в небольшую полутемную комнату, похожую на приемную серьезного должностного лица. Освещены были только картины. Французы глухо заворковали, «профессор» стоял в стороне и помалкивал, языка не знал? Босх был не только малоизвестный, но и довольно странный, например, загадочное «Распятие», где распятой была женщина, одетая, а у ног толпились плачущие мужчины, поддерживая вместо Марии упавшего в обморок отрока, и эта картина с туннелем-стволом, и большой красный Ад с кипящими котлами и порхающими черными ласточками. Несколько ступенек поднимали посетителя из этой темной приемной в кабинет с огромным окном, занавешенным красной портьерой, у окна стоял внушительный черный стол, и за ним три высоких кресла, довольно скромных, все убранство комнаты было аскетичным, только напротив «тройки» (невольная ассоциация) висела на стене византийская мозаичная икона мадонны с таким удивительным выражением утешения, что я вдруг почувствовал сосущую, тошнотворную тоску, будто мне здесь только что вынесли приговор... Не дано, не дано тебе ни силы утешить, ни благости быть утешенным. Любви тебе не дано. Ни к кому... Обратился к ключнику, он затараторил по-английски, я уловил только, что это кабинет трибунала инквизиции (я поразился своим предчувствиям), и что Босх оказался тут по завещанию венецианского аристократа, предок которого купил эти картины у Босха. Потом рассказал подробно про «женское» распятие, возбудился, и оттого заговорил еще быстрее, так что я перестал улавливать, а переспросить неудобно.

Потом мы поехали на катере в Мурано, полюбоваться на стеклодувов и их стеклянные изыски, при нас один выдул маленькую прозрачно-зеленую лошадку, и мы взяли ее Ювалю в подарок. А к вечеру еще успели в Академию, где я открыл для себя Карпаччо, лукавого трудягу (10 на 5 картины!), любителя головоломок.

Жутковатая «Пиета» Козимы Тура, чистый сюр: снятый с креста Спаситель смахивает на марсианина.

Я вдруг понял (проснувшись в четыре утра и вспомнив Карпаччо), что значит «ирония» в постмодерне. Все дело в издевке над прежними культурными канонами, иногда злой, иногда эдак запанибрата. И если авангард еще прямодушно буен, норовит эти каноны сбросить с парохода современности, новые формы ищет, то постмодерн изощренно лжив, беспринципен, ни во что не верит, со всеми в дружбе и всех презирает.

Художник Джованни (Ваня) Непомученко (собор св. Стефана).

Красивая задумчивая японка на мосту через узкий канал. Рядом сад.

«Гуляющие женщины» Джакометти в музее Пегги Гугенхейм, черная и белая, плоские и длинные, без рук и головы, как крест, изящный крестик... Умер 65-ти лет. Измученное, изжеванное лицо старого еврея и гомика. Его «метод», манера, если угодно, напоминает детские замки на песке, когда выдавливаешь мокрый песок из кулачка, и он ложится на башни таким узором нашлепок, тут же застывающих и осыпающихся...

— Слушай, вот так посмотришь ахора (назад): сколько красот мы повидали — страшный сон.

Кончила под звон колоколов св. Марка.

— Ну всё, апофеоз!

Пегги Гугенхейм — из старинной еврейской банкирской семьи. Те самые Гугенхеймы, которые знаменитый нью-йоркский музей организовали. Фото конца прошлого века: у длинного стола дед и семеро козлят, козлик Беня —

ее папа. Видать богемная была баба, из тех, что болтались в Европе перед второй мировой, так и осела в Венеции. Уютный музейчик. Дочь, художница-примитивистка, умерла в сорок лет, у нее отдельный, с любовью оформленный, зал. В книжном киоске вертел-крутил альбом раннего Кокошки, тоже примитивизм, но не решился... Чем старше, тем становлюсь прижимистей...

Хочу Карпаччо.

Небо вдруг потемнело, захулиганил ветер, гоняя по каменным узким улицам пустые жестяные банки, народ засуетился, заспешил, свертывались лотошники и уличные художники, резче и чище обозначились в последних тревожных лучах солнца купола и колокольни. Едва мы успели добежать до Башни Часов — застучали по крышам редкие крупные капли, площадь быстро опустела, народ набился в пролете под башней и в галереях Прокураций, тут же выросли, как из-под земли, продавцы зонтов и полиэтиленовых накидок, сверкнула молния, Святого Егория накрыло тучей и хлынул ливень. Все улыбались, ежились от внезапного холода, парочка осталась под дождем посреди площади, целоваться, стайка тинейджеров, пританцовывая и смеясь, не спеша продефилировала под пролет галереи, молодая женщина бежала с коляской под навес, ребенок в испуге молчал, кто-то запоздалый еще несся в укрытие, защищаясь курткой от могучего ливня. Опять грохонуло, дождь наподдал, полились потоки со всех желобов св. Марка. Собор, заморская затейливая игрушка, засверкал золотом, капризной роскошью, так, наверное, изумлял Константинополь простодушных варваров Гипербореи...

Картина морской битвы. Красные раки триер наползают друг на друга.

Когда мы в первый раз, разинув рты (я не верю, я не верю, что это со мной, причитала жена), плыли в солнечный день на катере битком набитом людьми по Большому Каналу, я увидел на крыше дворца ажурный забор из белых мраморных алебард, на наконечнике каждой неподвижно сидела белая чайка, и непонятно было мраморные они, или живые...

У Джамбеллино Спаситель распят на фоне сельского пейзажа, Мария и Матфей, переживая, смотрят на муки, а чуть отойти — жизнь идет своим чередом: кто-то мирно беседует, облокотясь на косу, кто-то везет сено в телеге, кто-то плюет с моста в реку, и дела никому нет, что где-то рядом, да пусть сам Бог, корчится от страданий, только синие ангелы над крестом встревоженными птицами кружат.

Пьета: крупным планом снятый с креста, один, никого рядом, только два ангела суетятся и вдали дивный город. И даже «Мадонна с младенцем» одна-одинешенька, только синее небо вокруг. Но сиротливость эта отрешенная, не пеняющая. Но и не «созерцательная», как Муратов заливает. Муратов пошловат в своей восторженности, видно, что из ИТеЭРов.

Жена: «Почему младенцы — все такие уроды? Не могли красивого младенца нарисовать?»

Еще в музее Корер «Две куртизанки» Карпаччо. Выходной у них, отдыхают, взгляд отсутствующий, заебанный.

— Отодвинься, я от тебя мокрая. (Я вспотел от перетаскивания чемоданов),

— Служба наша такая.

— Должна тебе сказать, Нёмочка, что ты службу свою несешь исправно.

— Рад стараться, ваше сковородие! (По дороге в Миланский аэропорт.)

Под крылом восточный берег Италии, море сливается с небом, редкие облака вдали — льдины в тихой воде.

Опять тоска возвращения...

Грустно было тянуть свои пожитки сквозь карнавальную толпу на площади св. Марка, к набережной, будто покидая праздник жизни...

30.8. Перечитал «Как закалялась сталь». Боевая книга. Было в них это бешенство воли. Монахи-рыцари коммунизма. Книжка 1953 года. Государственное издательство Карело-Финской ССР, Петрозаводск. В марте 53-го мне исполнилось шесть. Помню накрытый стол посреди девятиметровой комнатухи на Трубниковском (а ведь в комнате еще шкаф большой, родительская кровать и диван бабушкин), я хожу вокруг него, запуская палец в салаты. И вдруг по радио: Сталин умер. За дверью крики, мама в слезы, у бабушки испуганный вид, отец деловито сгребает со стола снедь, бутылки, вместе со скатертью, скатерть узлом, все это в угол. Но я не плачу, что день рожденья пропал, я знаю, что произошло что-то необычайно важное. «Что же теперь будет, Исак?!» — восклицает мама испуганно. «Тихо, тихо. Хуже не будет».

4.9. Я это знаю. С отрочества. Это знание и есть я. Что жизнь — это не дар, а долг. Не подарок, а задание. Долг выполнить задание. Вот только не разберусь всё — что и кем мне поручено.

6.9. Фильм Гринвея «ZOO». Фильм о разложении. О зоологии разложения. Омерзительно изыскан, изыскано омер-

зителен. А потом еще «Набережная туманов» в то же утро. Если б не туман, вроде бы простая история... Жан Габен на отца похож. Старый фильм еще о живых людях, а новый — уже о мертвых.

Прочитал садистскую вещицу Брюсова «Добрый Альд». Эдакий Александр Грин навыворот. Алые потроха.

Верник приглашал заехать проститься, уезжает на год во Львов, засланцем. Оставляет жену с тремя детьми. Последний совсем маленький. Творческий кризис. Понимаю. Сколько раз самому хотелось удрать, но срывалось, государство не доверяло. И слава богу, а то пришлось бы с женой решать (грозилась отдаться всему симфоническому), а я уже все эти «решения» проходил, кончалось одним и тем же: с позором, поджав хвост, лез к ней под одеяло.

Не охота ехать прощаться. Вообще никому еще не звонил, даже Володе.

10.9. Жена сделала важное наблюдение, когда я перед ней раздевался. По обыкновению хихикая, вдруг сказала:

— Что-то ты перестал меня стесняться.

— В каком смысле? — пожелал уточнить я.

— Ну, раньше все отворачивался, прикрывался, прятал свои сокровища, а в последнее время перестал.

Книга Карлейля о героях ужасно глупа. Особенно глава о Магомете, как герое-пророке. Во-первых, эта романтическая слабость к дикости: «Этот дикий сын пустыни с глубоким сердцем, со сверкающими черными глазами…», «этот дикий человек», «мрак души этого дикого араба», «дикий сын природы», «дикое сердце», «дикая душа». В результате: «Я люблю Магомета». За что же? «За то, что в нем не было ни малейшего ханжества…», «человека искреннего, нашего общего брата, истинного сына нашей общей матери», это природы что ль? «В Магомете нет и следа дилетан-

тизма». Профессиональный пророк. Что за бред?! И при этом пишет о Коране: «...никогда мне не приходилось читать такой утомительной книги... невыносимая бестолковщина одним словом!» «Невозможно скверно, так скверно едва ли была написана какая-либо другая книга!»

— Милочка моя, вы же у нас прям живая красавица! Скажите, а что, подружка ваша, она в зеркало смотрит иногда? Ну у нее же такая короткая юбка на такие ноги, что извините, она же смотрится как ваша мама, нет, я не хочу, упаси Боже, сказать, что у вашей мамы толстые ноги...».

16.9. Младший мой совсем «обрусел», водит компанию с русскими, они в парке по вечерам собираются, гитара, песни, пивко-винцо, карты, курит. Сегодня просил, чтобы я показал ему аккомпанемент к «Арбату» и другим песням Окуджавы, потом Цоя попросил изобразить, про «звезду по имени Солнце», но Цоя мне слабо, я больше по романсам, откопал ему кассету, он опупел, даже пожертвовал своей любимой кассетой с «Нирваной»: «Перепиши мне», теперь все время Цоя слушает.

22.9. Гуляли с Портосом, и он вдруг вспомнил ту историю в Ялте, это, говорю, когда я двух девок из Кременчуга склеил и пытался обеих трахнуть? Не ты, а я склеил, возмутился Портос, а которую ты трахнул, я ее до этого уже пару раз трахал, мы тогда с Озриком пришли, а ты дверь закрыл, мудило, и не хотел открывать, так мы через окно влезли, а та вторая лежала голая у меня на кровати, надо было вдуть ей, а я чего-то стал дурака валять, а Озрик в это время презерватив натягивал с ужасным скрипом, в общем, баба расстроилась, стали даже в шахматы с ней играть, можно было, конечно, ей вдуть, в две дуды, но Озрик долго возился, да и я чего-то забздел, не подхватить бы чего, ты вроде тогда подхватил свои мондавошки? Нет, это в Москве, с подружкой Вадикиной подружки? Ну, в общем, был у тебя такой мандавошечный период...

25.9. 6 утра. Вдруг понял, читая «Эрос невозможного», что влечет к постмодерну, да, его разрушительность. Того, кто боится разрушений, пугает и отталкивает постмодерн, как Лёшу. Он нашел опору в религиозности. А у меня нет «опор» (для меня все они — костыли), я «релятивист», и отчаянная свобода, люциферова, дразнит... И все сходится, все одно к одному: он — за мир, я — за войну. Вчера подписали «Осло-бет»[1], Сарид сказал, что «правые заботятся об отцах, а мы, левые, — о детях. И верно. Мне детей не жалко, мне жалко отцов, воскрешение отцов — вот подвиг, а дети пусть сами разбираются в этом мире, пусть пережевывают свои гнилые надежды, только тот из «детей» мне брат, в ком есть жалость-любовь к отцам, только благодаря таким, может, и не погибнет жизнь, жизнь, как культура, пусть к спасению, преемственность душ... А для чего вообще мир-то? Что б все жили-поживали да добра наживали? Да какое мне дело до их добра и покоя? Что в нем, кроме забытых и вскопанных полей благополучно усопших? А война — для победы. В войне жизнь цветет, как весенний луг. Война освобождает. Посему и Танатос для меня куда слаще Эроса. Сладострастие смерти. Сестра моя, смерть...

Стая ангелов в золотом углу «Благовещения» Симоне Мартини, будто стая сбившихся в кучу летучих мышей...

Новый год. Пять тысяч семьсот пятьдесят какой там?

И крылатый, спеленатый тысячами крыл Господь, как смерч, на колонне под куполом в мавританской арке Святого Марка.

Живу по утрам. Ночью цепенею, пережидаю...

---

[1] Второе соглашение в Осло между Израилем и организацией Арафата.

Ездили с Лешей в Негев, ему захотелось вкусить пустыни. Добрались до Авдата, погуляли по залитым солнцем развалинам. Набатеями интересовался. Его герой, римский ветеран, поселяется после отставки в наших краях, уже после смерти Христа. По дороге чуть не разругались. О сербах при нем вообще нельзя говорить, и упаси боже сочувствовать, сербы — подонки и всех их надо под корень. Такой горячности я не ожидал и пришлось уступить ему сербов, не ссориться же из-за них. Потом на Америку перешли, стал доказывать мне, что никакие «державные» интересы американцев не волнуют, а стало быть, Америка империей быть не может, вот должна была вмешаться в Югославии, на стороне босняков, конечно, а не вмешивается, а я ему, очень мягко, что, мол, хошь-не хошь, а положение обязывает, и про войну в Заливе напомнил, а он: ничего не обязывает, ну я же Америку знаю, ну что ты говоришь мне! В общем, и тут он разгорячился, не понравилось, что я не считаю Америку невинной девушкой. В результате, а может и от усталости: дорога долгая, жара, я врезался в дорожное заграждение, чересчур сильно затормозив, а перед этим пошел на плохой обгон и тоже занесло, но обошлось, а тут разбил, блин, машину, не очень сильно, но в тыщенку ремонт вылетит, и в Галилею уже не успеем съездить.

Мне понравился Сашин очерк-эссе «Как рухнул жизни всей оплот» (Леше — гораздо меньше), особенно на воне (во описочка!) всей этой поебени недобитых шестидесятников, одна только рубрика что стоит: «Оглянись в слезах». Оглянись в соплях.

26.9. Утром за кофе разговор о Гольдштейне, я договорился, что он у Леши интервью возьмет, ну и «по ходу дела» почитал в «22» его эссе о Маяковском и «Как рухнул...».

Я: ...он считает, что Маяковский — медиум Революции. А Революция — энергиийный всплеск, так что «нравственность» в обоих случаях просто не причем.

И лично он, сейчас я на него наябедничаю, поверял мне, что будь сейчас Революция — с радостью присоединился бы. Здесь такая тяга к силе, в этом много сексуального, и не зря он о де Саде...

Леша: Ну, это вообще вне моих интересов. Мне с таким человеком говорить не о чем. К стенке и все. Я все-таки считаю, по Канту, что человека от животного отличает нравственность, меня интересуют проблемы нравственности.

Я: Так тебя тогда должны особенно интересовать люди и взгляды безнравственные, ты ж писатель, а не Савонарола какой-нибудь...

Леша: Нет-нет. Почему меня должна интересовать нравственность тигра или шакала?

Я: Ну, мы же все-таки говорим о людях...

Леша: Для меня они не люди.

После этого мы поехали в Тель-Авив, на автобусе, машина в гараже, встречались с Гольдштейном на перекрестке Буграшев и Бен Иегуда. На этот раз, впервые, он пригласил домой, попили кофе, стали постепенно раскручивать беседу, но Гольдштейн был очень осторожен, как всегда, а я игрив, не по годам, потом я их оставил интервьюироваться, а то решат еще, что к чужой славе хочу примазаться.

(Потом, когда интервью появилось, меня все-таки задело, что он обо мне не упомянул, я ж ему и интервью это устроил, и вообще. Сам себя ругаю и презираю за мелочность, да и кто ты такой, чтоб о тебе говорили, в благодарность за харчи что ль? А потом вспомнил, как Леша, и главное мне же с Гольдштейном, рассказывал про свою обиду на Бродского: что на каком-то вечере в Америке, который Леша ему устроил, ничего о нем не сказал, хотя других упоминал, своих эпигонов.)

28.9. Леша советовал почитать Поппера, помогает от героизма. Ну, взял я «Открытое общество». Корень зла — Платон. Будто Лешин голос слышу: «Для меня все это не-

приемлемо», «я не верю», «я требую, чтобы политики защищали принципы эгалитаризма и индивидуализма. Мечты о красоте должны подчиняться необходимости помощи людям, которые несчастны или страдают от несправедливости», и т.д. «Эстетизм и радикализм (это он мне) должны привести нас к отказу от разума и к замене его безрассудной надеждой на политические чудеса... Такую установку я называю романтизмом». Ну, и я ее так называю. Однако ж утверждение в политике принципов равенства и свободы — «романтизм» не меньший. Да и за примерами политических чудес далеко ходить не надо, история ими кишмя кишит, возьми хучь Израиль.

Мирон сказал, что Поппер конечно же еврей, из австрийских беженцев, что вообще-то он занимался методологией науки, а это, про открытое общество, попытка перенести разработанные методы на историю. Но где ж тут наука, когда сам пишет: «Гуманизм является в конечном счете верой». И еще: «Я утверждаю, что история не имеет смысла». Значит и Бога нет. А это уж совсем ницшеанство: «Хоть история не имеет цели, мы можем навязать ей свои цели». Конечно благородные и т.д., да и я не против «власти разума, справедливости, свободы, равенства и предотвращения международных преступлений», но принцип «навязывания» может далеко увести. Прям к Платону. В общем, опять, кажется, «мы гоняемся за собственными хвостами».

Если история не имеет смысла, то есть цели, то нет и прогресса, а значит и нельзя прийти к столь чаемой Поппером утопии.

В Старом городе Леша торговал дубленку-безрукавку из кусков зайца у лихого усатого арабуша. Арабуш глянул разок, прищурившись, на великого русского гуманиста и говорит: 750 шкалей (250 долл). А у Леши, слава Богу, от силы сотня осталась, красная этому зайцу цена, да еще с гаком. Леша грустно улыбнулся и собрался отчалить.

— Ну сколько хочешь? — поймал его за рукав арабуш, будто подарить собрался. Леша опять грустно покачал головой.

— Ну ладно, 500, себе в убыток, просто деньги позарез нужны. Да постой ты, погоди, ладно, 300, о-кей?

— Да у него только сотня осталась, — объяснил я шустрику ситуацию.

— Так одолжи ему! — говорит.

— Не могу, — говорю, — мы сейчас на аэродром, и больше я его не увижу.

— Да сколько у него есть, я возьму, — шепнул мне неунывающий арабуша, и я сразу не понял всей роковой глубины его заявления.

— Дай ему сотню, Леш, — говорю, — он сказал, что удовлетворится.

Леша достал кошель, а ведь сколько я его учил: на базаре деньги достаешь только когда заплатить решил и товар уже в руках, и стал доказывать арабушу свою правдивость, что вот, видишь, с виноватой улыбкой, все что осталось. Арабуш нагло полез в кошель и выгреб 120 сикелей.

— Смотри, оказывается 120, — обрадовался Леша.

— Может мелочь еще есть?

Леша ему и мелочь из карманов выгреб.

— А это что у тебя за деньги? — полюбопытствовал арабуш, все еще копаясь в лешином кошельке.

— Это кроны, они не конвертируются.

— Шведские?!

— Нет.

— Датские?!

— Да нет, чешские, они не конвертируются.

— А сколько это?

— Ну приблизительно 20 долларов за пятьсот крон.

— Давай, — отчаянно махнул рукой арабуш, мол, где наша не пропадала, и тут же сам вытащил из кошелька 500 крон.

— Давай еще.

Я демонстративно пожал плечами.

— Лешь, не увлекайся.

Но Леша дал ему еще 500 крон.

— Давай еще, — давил ханыга.

— Лешь, ну ты что?

Леша догадался, наконец, закрыть кошелек и сказал нерешительно:

— Все, все, хватит.

— Еще 500, и все, — давил гад.

— Хватит, хватит, — неуверенно отмахнулся Леша, а я стал просто выталкивать его из лавки.

— Мало, еще 500 давай, — обнаглел скотина, пристрелить ведь мало.

Леша медленно двигался к выходу.

— Ну, одолжи ему, — обратился он опять ко мне.

— Аллах одолжит, — ответствую. — Знаешь что, давай-ка деньги назад и куртку свою драную забери.

— Ладно, ладно, русский карашо, — заулыбался гаденыш, на том и расстались.

На Новый год собралась женина родня, фольклор, но Леша себя точно настроил, и все прошло очень мило, жратва была отменной, теща была довольна соседством со знаменитостью. А мы, поддав чешской «Сливовицы», закатили концерт на старый лад, как тогда в Зальцбурге.

30.9. Рабин сказал в Америке, объясняя тамошним жидкам свою уступчивость, что «еврейские принципы» ему дороже «еврейской недвижимости» (то бишь Хеврона, Вифлеема и прочее).

Жить — значит терять невинность и тосковать о ней.

Нет большей глупости, чем «стремление к счастью».

1.10. Сегодня с утра гулял с Гольдштейном. Сказал, что мне понравился его кусочек «Как рухнул…». в «22». Он дал

мне свою прозу, большой отрывок в «Зеркале». Я немного почитал перед дневным храпом, не сильно впечатлился, прием с рукописями безвестных гениев, хоть и не плох сам по себе, избит уже и не сулит открытий, да и Мельников этот совершенно не прорисован, не человек, а литературный прием, сексуальные сцены вызвали недоумение, на них и задремал. Разбудила глубоко взволнованная жена, в руках у нее было «Зеркало». «Это вот тот Гольдштейн, твой приятель? Ты читал?» — «Начал, а что?» — «Послушай!», и зачитывает эти сексуальные сцены. «Это же тихий ужас! Просто стыдно!» — «Не понял, — говорю, — что уж тут такого... Конечно не фонтан, но...» — «Бедный! Просто бедный!» — причитала супруга. «Нет, вы все просто больные люди! Это ж эксбиционизм какой-то!» «Эксгибиционизм, — поправил я, и подумал: а почему это «вы все»?, но не спросил. И еще подумал: «Ты еще моей писанины не читала, голубушка, то-то обрадуешься. А вслух: «А что, было б чего показывать».

— Вот именно! Зачем же недостатки, ущербность свою на показ выставлять?! Ведь такой умный, начитанный, как же он не видит?!

Я только бровками поиграл и на другой бок повернулся, не было настроения спорить, да и до конца не плохо бы дочитать.

2.10. Сегодня в 11-м Б ввязался в теологическую дискуссию. Один худой волчонок из Магриба, опасный, затаивший злобу, в кепчонке, стал приставать, буду ли я на Судный день поститься, ну и пошло: есть ли Бог, летающие тарелки и жизнь на Марсе. Лишь бы не учиться. И действительно, какая уж тут электроника, если мы еще не решили вопрос о Боге. Бог для него вроде дворового пахана, который в случае чего в обиду не даст, если верен будешь. Ну, я и завелся. Особенно после аргументов вроде: вот на «сеансе» спросили, есть ли Бог, и тут стакан вдребезги разлетелся, взорвался. Взорвался и я, причем тут, говорю, всякие

бредни, это уже, говорю, не теология, а деревенские суеверия. Почему бредни, говорит, вон и в Танахе спиритуалистический сеанс описан, такого быть не может, говорю, а то место, говорит, где пророк Самуил является?, ну да, и отвечает на вопросы публики, он, конечно, цитату не оценил, но дал номер главы, где это описывается, мол, можешь проверить. Я стал себя успокаивать, ну чего так взъелся, на что? Ведь не бывает веры без суеверия. И тут Поппера вспомнил. Ведь и я уважаю критицизм, то есть «подвергай все сомнению», да, на том стоим. Но людям давай веру в чудеса, страсти роковые, царя-батюшку, Спаса Гневного и Деву Милосердную. Показали по телеку, как кровью с обезглавленного жертвенного петуха еврею (восточному!) на загорелую лысину капают, и тот смеется детским, счастливым смехом.

4.10. Судный день. Резко похолодало. Совсем не летний, почти холодный ветер поставил занавес дыбом, парусом. Пошел с Портосом пешком к морю. Однако два с лишним часа заняло. Сильные волны, народ на набережной. А мы искупались. Потом я лег на песок (Портос поплелся вдоль берега душ искать) и, глубоко вдыхая соленый ветер, почувствовал, наконец, что отпустила тревога. Вдоль моря носилась стайка мальчишек на велосипедах, один, помладше, был особенно забавен: нос пуговкой, ямочки на щеках, видно, что незлобив. Ему трудно было по мокрому песку ехать, застревал, останавливался, тащил свою машину волоком за остальными. Покосился на меня.

Люблю Судный день за это внезапное стрекозиное царство на опустевших дорогах: девчонки и мальчишки на велосипедах, на роликах, на скетболах, в коротких штанишках, юбочках, тайчиках, идешь и любуешься на этот шумный, цветастый рой...

Дочитал «Тетис» Гольдштейна. Проза невеликая, но задела. А ведь он романтик. Рома-антик! Любовь к пыш-

ным ампирным складкам театральных имперских мантий настоящая, болезненная: стареющие империи одеваются с изыском отчаянным. И эта тяга к ядовитым парам революционных эстетик одинокого испорченного мальчика, тоскующего по гнусному, развратному, старому барину, единственному, кто мог приласкать и понять, единственному, в чьих мерзких объятиях можно было почувствовать это жуткое любовное волнение настигающей гибели...

Ледоколы романтики во льдах абсурда.

А еще я в Судный день занимался богоугодным делом: нашел этот пасук, главу, из Первой книги Царств, про которую волчонок гутарил, и что же я прочитал?!

«И увидел Саул стан палестинский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через ясновидящих, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-гадалку, и я пойду к ней, и спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть такая женщина. И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью. И сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи мне и ***выведи*** мне того, о ком я скажу тебе. Но женщина отвечала ему: ты знаешь, что сделал Саул, что он выгнал из страны гадалок и прорицателей, для чего же ты расставляешь сеть душе моей, на погибель мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря: жив Господь! не будет тебе беды за это. Тогда женщина спросила: кого же ***вывести*** тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула; и обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем ты обманул меня? ты — Саул. И сказал ей царь: не бойся; что ты видишь? И отвечала женщина: вижу будто бога, выходящего из земли. Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал

Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень; палестинцы воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни во сне, ни через пророков; потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня; отнимет Господь царство из рук твоих, и отдаст ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева Его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиль вместе с тобой в руки палестинцев: завтра ты и сыны твои будете со мною; а стан израильский предаст Господь в руки палестинцев. Тогда Саул пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила; и сил не стало в нем, ибо он не ел весь тот день и всю ночь».

Значит пророк Самуил все-таки отвечает на вопросы, тут Ильф и Петров проявили большую, чем я, осведомленность в Библии. А я, невежа, еще спорил с сосунком и опозорился.

А ведь этот кусок-пасук — демонстрация слабости монотеизма! Верил, значит, народишко в гадалок и прорицательниц, вот и изгоняли их ревнители чистоты — никому, кроме Бога не дано чудеса творить! А то ведь: где гадалки, там и бесы, и сонмы ангелов с серафимами, разведут небесную бюрократию — и Богу места не останется.

Но из канона не выкинули! Честно. А, может, это и хотели сказать: суеверия — чернозем веры, народ животом верит, а не разумом, и стесняться тут нечего…

Трудно верить в Бога не только единого, но и единственного, страшно далек он, получается, от народа, один всем миром ворочает, как же ему в дела каждого

разнесчастного вникнуть? Тут недолго и в пантеизьм впасть. Вот и приходит Яхве к царям и пророкам, и даже ангелов посылает…

Ну, а Иисус и вовсе в народ пошел, каждого по головке погладил.

Здравствуй, Леша!

Посылаю тебе фотографии твоего путешествия, вроде вышли неплохо. Саша Гольдштейн отобрал несколько для интервью, что выберет, не знаю.

По горячим следам наших споров я прочитал Поппера. Мыслит он незатейливо. И хоть мне лично близок и дорог его критицизм и понятен страх перед «закрытыми» обществами, но никакого лекарства от признаваемого им самим «напряжения цивилизации» особенно в современном «абстрактном обществе», логическим продолжением «открытого», от «анонимности, одиночества, а следовательно несчастья», «открытого общества» он не предлагает, кроме мрачного мужества (чуть не написал — героизма!) бесцельной свободы. Песок — плохая замена овсу, и если именно так обстоит дело, то совсем неудивительны, и предстоят еще человечеству, ураганы «племенного духа», смерчи суеверий и землетрясения тоталитарных мифов. От таких катаклизмов коллективного бессознательного не помогут никакие заговоры рационализма и этики личного достоинства. Мне кажется, что в страхе перед этими катаклизмами (еще бы!) он старается не замечать их, не пытаясь даже их понять и объяснить, просто отметает с порога. Но ветер с порога не прогонишь, того и гляди окна высадит, а то и домик снесет...

Скажу больше, хоть тебе это, наверное, не понравится, что жизнь без мифов, в простой свободной конкуренции, не только невозможна, но и довольно ужасна в своей пресности и одноцветности, и похожа на ту же тоталитарность навыворот, недаром ее адепты столь же фанатич-

ны. Чего стоит только эти попперовские «следует требовать, чтобы каждый человек...»., «я полагаю, художник должен поискать другой материал для самовыражения» — чем все это ни платоновское, или, если угодно, и советское, «указание сверху»? Тон, прямо скажем не философский. И вообще, признаюсь тебе честно, что бессмысленной свободе предпочитаю рабство смысла.

В свете разгоревшихся философских дискуссий с нетерпением ожидаю твою прозу. Кстати, Гольдштейн дал мне почитать большой кусок своей прозы, частично напечатанный в «Зеркале», если хочешь, пошлю, она меня увлекла, несмотря на очевидные, а порой и вопиющие, недостатки, неловкости, особенно по части бытописания и сексуальных саморазоблачений: «Поверив, что она мне нужна, я стал представлять ее раздетой — мозг отдал приказание гормонам... и, положив ей ладонь на грудь, а другую — на бедро, под юбку, убедился, что здесь все без обмана. А она, разведенная и двадцативосьмилетняя, немного выждав, пока я пощупаю...». и т.д. Раздражает и жонглирование непонятностями, вроде «метонимического», «консьюмеристского» и «имагинативного», но вместе с тем есть увлекающая меня тоска по великой прозе одряхлевших империй («Провинции, словно пеплом и яблоневым дымом, окутаны лирикой предисчезновения. Здесь главенствует мистико-приключенческий эротизм, в основе которого смирение перед неизбежным. Закатное солнце, ветер с моря, некуда спешить, потеряна надежда, но это и к лучшему — не надо себя ни к чему привязывать. Мир, из которого вынут конфликт, выпотрошено реальное содержание. Жизнь расколдована, размагничена, телеология ее мнимая. Все выпито, все съедено, все сказано»). По дороге есть меткие культурологические оценки и характеристики книг Бродского, Сорокина, Галковского, Яркевича, даже Распутина. Да, пожалуй, культурологическая эссеистика — вот его стихия (а может проторенная газетная дорожка?), этакий опыт скитаний книжного червя по материкам фолиантов,

тоска по разрушенным литературным мирам, что лично мне интересно, опять же живые впечатления от прогулок по исчезнувшим на глазах мирам (Баку!). При этом у него полно пассажей об эллинистической, александрийской поэтике конца эры, эпоха и твоего романа (обещанную свежатинку книжные червячки ждут с нетерпением).

Вот, Империю мы пережили, а песни о ней не дождались. И она шевелится в душе, томит невысказанностью...

Как видишь, я в настроении боевом, если не сказать задиристом, оттого и заболтался. Будь здоров. Пиши. Привет супруге и Праге (я человек простой, говорю стихами).

Всегда твой

Наум

Шесть солдат погибло в Южном Ливане. Пару дней назад — еще трое. Начгенштаба собрал пресс-конференцию и популярно объяснил, что мол бывает, подорвались ребята, борьба продолжается. Нет, деревни мы не трогаем, по соглашению. Соглашение о дозированном принесении жертв. Конечно, если разозлиться, то будет еще больше жертв. Так что лучше проявить сдержанность. И еще находятся идиоты служить в такой армии. Моше, гениальный Моше, настолько тихий и беззлобный, что выглядит умственно отсталым, заочно защитил бакалавра по физике, его пригласили учиться на вторую степень, заодно из армии освободят на месяц раньше, но он сказал, что ребят не оставит. Сидит там в самом пекле. Год боролся с армией чтобы попасть в десантники, и тело мучил, такой до армии был пухленький, вроде Будды, и с комиссиями боролся, сначала дали ему низкий профиль по каким-то психологическим параграфам, послали в интендантство. Ася совсем извелась за эти дни. Пару недель ему там осталось. Вперегонки со временем...

6.10. Марик играл соло в «Дон Кихоте» Рихарда Штрауса. В фое встретили Наташу, засыпала свежими петербург-

скими анекдотами. «Два грузина бабенку разодетую в подъезде зажали, уважь, говорят, ладно, говорит, только что уж в подъезде-то, неудобно, пошли ко мне, ладно, пошли, заходят, а тут амбал такой выходит, одного вырубает, а другого раком ставит, кряхтит, никак запихнуть не может, а бабенка ему говорит, Вась, может тебе, как в прошлый раз, ножичек дать? Тогда грузин этот говорит, слушяй, говорит, дарагой, я тэбя как брата прашу, папробуй еще раз!» И мы хулигански ржем на весь Дворец Культуры. Смех ее заражает, она захлебывается, икает, хрипит, тявкает, слезы льет: «Дарагой, говорит, ха-ха-ха! Как брата прошу, аааа!», смакует она. «Может тебе, как в прошлый раз!! аааааа!» До самого начала концерта анекдоты рассказывала. По ходу объясняла, где партия Санчо Пансы, а где осла. Потом мы вместе пошли Марика поздравлять за кулисы, дамы целовали-обнимали, восхищенно ахали: «Потрясающе!», «Гениально!», небрежно подваливали коллеги и роняли весомо: «Ну ты сегодня..»., «Молоток, старик», «Ну ты даешь, что это с тобой случилось?» Аня руководила движением, следила, чтоб не задерживались у тела. Кто-то из дам прошипел злобно: «Регулировщик…». Подбросили Наташу домой. У нее, как всегда, грандиозные планы гастролей, новых книг. Только разгрести неурядицы...

7.10. Самое главное во фрейдизме это не метод психоанализа, а метод общения, Фрейд открыл новый метод общения, путем откровений, взаимных, или односторонних, а значит и любви (Юнг и Шпильрейн), когда пациент и врач взаимно обучают и взаимно проникают друг в друга, и все кружится и путается в этих танцующих «переносах»...

Вообще модерн — это время откровений (последних?). Как в психике, так и в языке, и психоанализ тут совпадает с семиотикой и структурализмом, копания в душе и копания в языке...

9.10. Позвонил в Москву Мише. Болеет. Из дому почти не выходит. «Это уж и на существование не похоже». Про Иосифа рассказывает, что весь в бурных романах, «ты себе не представляешь, с одной, и одновременно, иногда в тот же день, с другой!». «Во, — говорю, — философия-то до чего доводит». Но и тут он не среагировал, очень серьезно это воспринимает, с завистью.

12.10. Жванецкий по ТВ учил русский народ правильно голосовать. Угрожал, что если победят коммунисты, он уедет. Напугал ежа голой жопой.

У нас тоже такие голоса звучат (если Ликуд победит — я уеду).

Сижу в одном из своих обезьяньих питомников. Обезьянки при деле: бегают, прыгают, кричат друг на друга. Я английский учу. Перевожу статейку. Две обезьянки на передней парте ругаются:

— Имма шелха Фатима! («Мать твоя Фатима!» То есть арабка.)

— Аба шелха Абу Куши! («Папаня твой Абу Куши!» Отец Черножопого.)

— Имма шелха ми кфар Кана! («Мать твоя из села Кана!»)

— Аба шелха Абу Аяш! («Предок твой Абу Аяш!» (Террорист знаменитый.)

— Имма шелха ёцет им вибратор! («Мать твоя гуляет с Вибратором!»)

— Аба шелха, аба шелха... («а твой предок, твой предок...»)

Сегодня, наконец, позвонила, ужасно обрадовался. А то мучился, как разведчик без связи. «Я беспокоилась...».

Когда я спорил с Мишей о том, что искусство ущербных менее ценно, чем искусство полноценных, я таким образом защищал искусство тайно ущербных, от искусства ущербных явно. И каждый защищал себя.

Вот Михалков Никита, ведь явно талантлив, умен, и к творчеству жаден, даже странно для такого высокого и красивого человека (может, есть все-таки какой ущербик тайный?), но чем-то чужд, вернее чем-то отталкивает, на физическом уровне, эти глаза его томные, наглые, и не пойму чем, разве что вот этим наглым самодовольством. Красуется. А сочувствуешь только мучениям. Себя, гад, любит в искусстве, а не искусство в себе.

В индивидуализме — нарциссизм, когда одиночество не несчастье, а благо.

Уж не знаю что и подумать. Если у тебя все в порядке и все здоровы, мой милый, что тебе я сделала? Не мог же ты и книжку не получить?! Когда можно тебе позвонить? Какое расписание на работе?

(Еще раз адрес...)

...Напиши про Италию. Оказывается, по-итальянски странно будет strano (это я на «Почтальоне» выучила).

Вчера гуляла по .... одна. Так красиво — 18 век. И садики везде и колдовская осень и ходила одна на «Почтальона». Вот уже месяц, как я на всех бросаюсь и все меня боятся. А что я могу? Позвонить? Но страшно, что ты не один и расписанья не знала, потом каникулы и праздники — все дома. Разница во времени — 7 часов (пока у нас время летнее, до ноября). Значит нужно где-то до... утра звонить. И вот сегодня позвонила. А у тебя как раз выходной и ты сам снял трубку и ты в порядке и ничего страшного и сегодня вся жизнь мне мила...

Придется ждать до понедельника это единственный день, когда я успеваю попасть на почту. И еще я вспомнила, как долго гуляло мое «итальянское» письмо и твою несостоявшуюся мистификацию с Москвой и вообще все «неувязочки»... И вернулся мой страшный сон, когда я хочу что-то сказать и, как ни стараюсь, только хрипота исторгается, и никто меня не слышит, как рыба.

А спросить-то нужно только: случается ли тебе быть одному и, если да, то тогда ты с кем?

Сегодня достал из ящика свое же письмо. Адрес правильный. Одно из наших любимых загадочных явлений? А ты, небось, гадаешь — чего это замолк после Италии и какой в этом надо искать смысл. И я гадал, почему долго ответа нет, пока вот не вернулось письмецо... Выходные у меня: воскресенье и среда. Утром на спорт ухожу, а после девяти дома. Пишу, читаю. Скучаю. Слышь? Давай там, подкрути проводок, а то кому ж я свою жизнь расскажу?

А еще Йом Кипур у нас...

Посылаю тебе вернувшееся письмо.

А из Италии я возвратился в состоянии сомнамбулическом. Попросту говоря слегка трахнутый. От обилия, плотности и силы впечатлений. Ну и работа началась, отчего я тоже слегка трахнутый и сомнамбулический. Два дня у меня выходные ... что неплохо, но зато остальные забиты невпротык и я уже жутко устал...

Три дня были в Риме. Исходили пешком вполне поспортивному. Отпечатались в памяти фрески Караваджо, забыл в какой церкви недалеко от пьяцца Навона. Я совсем его не ценил, даже фильм не помог (теперь надо пересмотреть, он у меня есть в записи), а тут вдруг — пробил. И главное случайно зашли, церковь пуста совершенно, рассеянно и устало смотришь на разрисованные стены, да и плохо видно, темно, и вдруг кто-то осветил угловую фреску, и будто аквариум зажгли, а в нем жизнь, так неожиданно, такие естественные лица, жесты, тела будто теплые...

Рим был странно пуст. Идешь днем по городу, в самом центре, и никого, ну просто никого, аж страшно. Ну и, конечно, «ребра мира» (руины — скелеты цивилизаций): форумы, термы, колизеи, триумфальные арки, оплывший, как воск, мрамор, неожиданное изящество Пантеона… И вдруг чуешь горечь триумфов — вино поэтов...

Посреди римских скитаний вышли на небольшую площадь у реки, причудливой роскоши дворец, написано: «Гале-

рея Бургезе», неуверенно заходим, смуглый служитель, расшаркиваясь, зазывет, мол, вход свободный, заходим, гуляем, барочный шик, картины, мебель, все как бы жилое, но никого, и странно много ковров, на полу, на стенах, дошли до конца коридора: большая стопка ковров, и толстый, небритый, сильно смуглый мужик их бодро сортирует. Начинаю догадываться: магазин ковров. А «Галерея Бургезе» — вывеска, ну как бар «Святой Франциск». Хозяева из Бангладеш. Стал я у них огромный китайский ковер торговать, синий такой, как шелковый, с золотым павлином, сказочный ковер, очень мне приглянулся, ну я и спросил: «Сколько стоит?». Посадили меня в кресло, стали звонить куда-то, цену выяснять, хотели другой ковер подсунуть, но я был тверд, расспрашивали откуда родом, чем занимаюсь, говорю: русские мы, нефтью торгуем. Долго суетились, осматривали недоверчиво, наконец, главный их сказал, что завтра будет самый главный директор, только он цену знает, чтоб я завтра пришел. Проверка серьезности намерений, жена опять же тянула, мол, брось дурака валять, портила мне игру. А ковер, доложу я тебе, знатный. И чой-то мне обидно стало за старушку Европу... Уже по приезде по русскому ТВ посмотрел «Охоту на бабочек», французский фильм Иоселиани, там нечто похожее, конец аристократической Европы, только там корейцы все скупают, а может японцы...

А когда я один, я — один.

Караваджо Джермена напомнил Женю Харитонова, всегда пасмурного, настороженного, цепкого. Однажды пригласил нас с Мишей в занюханный подвал на танцы мужиков полуголых. (Сейчас у них Виктюк этим балуется, на волне вседозволенности и мировой славы. А балет «Сталин» кто, бляди, поставит?! Может Курехину по плечу?) Его проза была естественна, как разговор, в ней была беспощадность, за которой стояла какая-то вера, она мне не просто нравилась, она меня увлекала. И сам он притягивал, пу-

гал и притягивал... Вот и в Риме, в церкви темной, Караваджо поразил, когда стены вдруг ожили, затеплились, засветились живыми телами, их обнаженность не была картинной, она почти смущала своей непристойной естественностью, вызывающей свободой. Может быть действительно эти «люди лунного света» видят жизнь ярче?

Конечно, и они в большинстве своем — быдло, за права борются, пенсии требуют, чтоб вольготней было в жопу ебаться.

16.10. А может быть бессмертие уже достигнуто, так сказать техническим путем, Разумом? Сегодня можно записать навечно свой внешний вид, свой голос, свои мысли, историю своей жизни, свой генетический код, более того, скоро можно будет и восстановить человека по этому коду, а потом он сам, по оставшимся записям, сможет восстановить себя, свою личность.

В общем, блин, сплошной палимпсест.

... — так что ж ты тогда с ним не развелась — я бы дала ему пинок под зад, что ж ты тогда этого не сделала, надо было тогда это сделать — но ты так на него кричишь, я вошла в подъезд — ну что уж, ну все уж, это уже не актуально, мама, ну что сейчас вспоминать что было — что? что нашел? ну так что? ой, ну мама, что ты теперь вспоминаешь, ой ну перестань, пойдем лучше с собакой погуляем, хочешь? — ну что ты ворошишь старое говно — ну что он взял, что он отнял — слушай, ты так кричала, я вошла тогда в подъезд — ну сейчас-то что — ну ты все завалила своими вещами, невозможно — у тебя же шкаф пустой — он говорит, что ему некуда положить — мама, ты, ты это — мама!, что ты трогаешь его отца, его уже сто лет как нет на свете — мама, зачем ты — ты уже совсем, это просто — пошли гулять, давай, все — ну мама, ну все, это все уже прошло, это уже в прошлой жизни — что ты так нервничаешь — ну так ищи, что ты вспоминаешь какие-то — ну хо-

рошо — еще не конец, мама — ну, беседер, есть люди, которые кушают по часам, ну очень многие, ой, ну отстань, ну что про него разговариваешь — ой, ну мама, это уже было сто лет назад, что ты все вспоминаешь — какой еще — о чем ты говоришь, сколько жил, зе ло кашур ле физиология[1] — вы совершенно разные люди, это просто случайность, что вы живете вместе — ну кто тебе сделал, ну что ты мама — ой ну что ты мама — ну сейчас зачем переживать — мама, ну что ты вспоминаешь, это не актуально, надо смотреть что будет вперед, а не на то, что было сзади — почему просто не — ну почему, ну что за глупость — тысячу лет вспоминать что было — мама, ма зе хашув[2] кто что сказал — ой, хватит уже говорить на эту тему — ой, я уже не могу слушать на эту тему — ну я уже знаю это наизусть — ну в такой ситуации разводятся — ну что ты мне рассказываешь — из нее теперь — перестань нервничать и дергаться, пойдем гулять — ты мне не надоела, я просто не хочу чтобы ты нервничала — думай наперед, не думай назад — беседер, я не сомневаюсь — ну хорошо, что он заслужил, ну хорошо — ну что ты дергаешься, что ты нервничаешь — пойдем погулять с собакой — ну что я тебе могу сказать, ну что — ну он старый человек, что ты хочешь — ну какое замечание сделал — мама... (Телефонный разговор жены с тещей.)

Жена: «Слышал? Д. уложила молоденького виолончелиста, на 20 лет ее младше!»

Аж грудь сжало. Сказал «оригинально» и отвернулся, чтобы не выдать себя. А жена все рассуждала, как с молодыми неинтересно. Небось, завидно.

Вот смеюсь над собственной армией, а славная русская-то, какие жуткие унижения от чеченцев кушает, по-

[1] Это не связано с физиологией (*ивр.*).

[2] Какая разница (*ивр.*).

чище нашей от всех этих хизбалдуев, вот командующего самого, Романова, на куски бомбой порвали, и хоть бы хны. Нет, вроде какие-то «неопознанные летающий объекты» деревню ихнюю разбомбили в отместку. Мы это тоже раньше делали, не помогает. Тут надо либо всех под корень, либо кружева плести кропотливо...

17.10. Вчера специально заставил себя посмотреть фильм «Черный ящик» по одноименному роману Амоса Оза. Сам фильм — обычное израильское инфантильное барахло с потугами несообразных претензий. Много секса, с претензиями на смелость, много политики, с претензиями на объективность, много истерики с претензиями на «глубокие» причины. Не совсем понятно, отчего герои так жестоко расстались, если так жестоко любили друг друга, но не в этом суть. Подозреваю, что фильм точно по роману и не хуже его. Фабула препошлейшая. С аллегорией. Те отрывки текста, которые зачитываются с экрана (письма персонажей), дидактично неестественны, в общем, топорная работа, таких романов можно настругать сколько хошь, в год по штуке. На большой фотографии на обложке субботнего приложения к «Маариву» великий писатель (очень Нобеля хочет, ездил на рекогносцировку в Осло, обласканный руководством, когда они там с Арафатом премию мира, как дикари бусы, получали в награду) выглядит римским патрицием, эдакая вьющаяся челка... Да, так главный герой, профессор-политолог, или социолог, потомок первых поселенцев, отменный ебарь, это непременно, учит Европу свободу любить в туманном Лондоне, тоскуя по пизде своей бывшей супруги (то бишь по покинутой родине) и переписываясь с ней и адвокатом по поводу раздела имущества и проблем старшего сына, отбившегося от рук. Бывшая жена, сексапильная блондинка, вышла тем временем замуж за «френка», религиозного, крайне правого, и очень заботливого (чужаки-френки прибрали родину к

рукам), но тоже мается сексуальной неудовлетворенностью (это не как у русских: родина-мать, это — родина-блядь). В конце концов, герой заболевает раком и возвращается умирать в свое «дворянское гнездо», в родовое поместье, в объятиях бывшей супруги, окруженный заботами исправившегося сына, который в этом поместье организовал что-то вроде трудовой молодежной сельхозкоммуны, возвращаясь к истокам, а «френк» всячески посрамлен умирающим благородным героем, как лицемер и слабак по женской части. Единственный конфликт, который проглядывает в романе, конфликт между белыми первопоселенцами и «френками», которые наследуют старую добрую родину, вместе с белыми женами и их бастрюками. Чтобы затушевать этническую суть конфликта автор придает главному оппоненту героя симпатичные человеческие черты заботливости, мягкости, уравновешенности. Это в контраст с истеричным, агрессивным и лопающимся от дворянской спеси профессором. В конце фильма они до крика спорят на балконе «дворянского гнезда»: что же исторически произошло с арабами, кто из них больше их любит, больше о них заботится и кто больше их крови пролил. В результате «френк» разоблачен как лицемер и унижен как самец, потому что в награду за правоту в споре сексапильная блондинка в шелковом белье скользит в постель к умирающему. Мол, мы и когда помирать будем вас все равно выебем. Мота Гур, когда еще молодой был и горячий, орал аж на предвыборном митинге (!): «Выебем вас, как арабов выебли!» (Нидфок отхем, кмо ше дафакну эт аравим!)

Да, вот где суть. Сболтнул Оз. Да и у Шабтая Яшки это проглядывает: они, как ливанские марониты, давно знали, что обречены. Черные и религиозные неумолимо становились большинством. Роль патронов ускользала. Была еще краткая надежда на «русских», но те оказались либо правыми, либо к Израиловке равнодушными, и вообще «чужа-

ками». И тогда они решили, с отчаяния, чтобы остаться у власти, поставить на последнюю карту — союз с арабами. Вот откуда вся их политика «мира»: они арабам — патронаж, те им — политическую поддержку. До поры до времени. И не важно, что это укорачивает время жизни народа и государства, зато продлевает власть.

18.10. «…Отца ее поместили в дом престарелых. Она, с матерью, его навестила. Плачет. «Возьмите меня домой хоть на пару дней. Я обещаю, что не буду просить остаться. Обещаю. Только на пару дней домой». Не взяли. Плакал, когда уходили».

«...отец его страдал “Альцгеймером” и был агрессивен. Он тоже поместил его в дом престарелых. Когда выходил, слышал жалобные крики отца, который звал его, как в детстве: “Дани! Дани!”»

«Он был очень состоятельный, отдал все детям и переехал в дом престарелых, фешенебельный. Там влюбился в пожилую йеменитку, уборщицу. Влюбился без памяти. Как никогда в жизни. Помолодел. Захотел жениться. Дети испугались, «поработали» с возлюбленной, дали ей отступные, и она уехала. Старик загоревал и в тоске умер. А ты говоришь — король Лир!» (Из рассказов жены о стариках.)

26.10.

Наум!

Спасибо за фотографии, будет что вспомнить.

Теперь в защиту Поппера. Ты считаешь, что идеи у него незатейливые. Если это и правда, то потому, что он их не синтезирует в голове, а пытается понять, что на самом деле происходит в мире. Насчет затейливых идей в свое время блистательно высказался Кант, которого у меня нет под рукой. Это умственный понос — людям с затейливыми идеями надо регулярно принимать таблетки.

Что касается напряжения цивилизации и хрупкости прогресса, то Поппер их не придумал. По его мысли, все, что происходит (вынося за скобки природные катастрофы), зависит только от людей. Не захотим прогресса — и его не будет. Это, кстати, очень легко. Захотим облизать яйца герою — и он немедленно вылезет на сцену.

Меня, как видимо и Поппера, устраивает только такая история, где я вправе сказать свое слово, или даже промолчать. Она не гарантирована, и это тоже меня устраивает. Героизм — это способ существования макак. Не знаю, давно ли ты бывал в зоопарке: там обезьяний вождь обходит свое стадо и каждой бабе всаживает, а каждому мужику отвешивает. Прямо из Байрона.

В Поппере мне больше всего импонирует то, что с ним не только можно спорить, но он и сам приглашает и провоцирует спор. С Гегелем не поспоришь, поскольку вся доктрина — полная хуйня, включая предлоги и запятые.

Тот факт, что человечеству грозят ураганы и катастрофы, я сомнению не подвергаю. Человечество состоит на 90 процентов из дураков. Но героической радости я по этому поводу не испытываю.

Интервью вышло вполне пристойно. Свою писанину я вышлю буквально на днях, все ленюсь отпечатать.

Поездка меня так разохотила, что я решил заглянуть еще раз, с женой. Предполагаю в начале весны — какие в эту пору погоды?

Будь здоров, пиши.

А.Ц.

27.10. Вчера в программе Дана Шилона услышал разумную женщину, даже возбудился сексуально от разумности этой. Говорила о том, что мужчины, в силу их естества, стремятся к обладанию многими женщинами, и женщины, если бы были достаточно умны, не тратили бы столько энергии на борьбу с мужской природой, не

делали бы из своих мужчин мелких обманщиков и притворщиков, а потратили бы эту энергию на расширение своих горизонтов, интеллектуальных и социальных, и чувствовали бы себя более независимо от мужской снисходительности, и в этом смысле она феминистка. Присутствующие отшутились и сделали вид, что не поняли, а может, и действительно не поняли. Ведь большинство людей не заинтересовано в независимости ближнего, каждый беспокоится о своем праве собственности. В частном же порядке многие терпимы и без призывов, например, женатые любовники.

У Иссы наткнулся на «свое» стихотворение и преисполнился гордого ужаса, будто фамильные черты обнаружил у мумии фараона. Мы тогда приехали с Олей к Вите на дачу. Октябрь, все вокруг в опавших листьях, а ночью, после жратвы, выпивки, песен, рассказов, выскочили в звездную темень, в хрустальный холод, отлить. Витя говорит: смотри, чо у меня есть, и фонарем ручным посветил на воду в бочке, а там щука кругами ходит. «Красавица! — улыбался блаженно Витя. А мне, спьяну, жалко ее стало, что в бочке кружит. Утром, Олиным карандашом для подведения глаз, записал на полях газеты:

Звездною ночью
Кружится в бочке,
Радуясь холоду,
Длинная рыба,
Не зная о нашем голоде.

А у Иссы:

Что в бочке они,
О том невдомек.
Вечерней прохладой
Наслаждаются рыбы.

Поразительное совпадение. Только нет у него, конечно, этого русского предвкушения расправы... А насчет того, что холоду рада, это я выдумал, Бог ее знает, рада ли. Это я любил холод. Всегда ждал осени...

В английском военном журнале была статья об израильской армии, о том, что она стала ленивой, жирной и неповоротливой.

Ливень.

Чем народ тупее, тем поэты его неистовей.

Вчера снилась любовь с Д. так явственно, с таким полноценным, живым наслаждением, что я загрустил, проснувшись.

ШЕСТАЯ ТЕТРАДЬ (начало)

Перед последними выборами Тхия решила организовать слет репатриантов в Сусии. Я «вел» автобус из Холона, по дороге рассказывая истории из жизни еврейского народа. Масса тянулась к знаниям, пела старинные патриотические песни и переживала подъем духа. Зараженный общим энтузиазмом я затащил их в Хеврон, в Маарат Амахпела, где патриотический накал плавно перешел в националистический угар, особенно, когда экскурсовод, молоденькая девочка в платочке, рассказала, как до Шестидневной арабы не давали евреям у могилы праотцев помолиться. Когда въехали в Хеврон, мне не понравилось обилие сиреневых беретов, только что пригнанных, лица молоденьких пехотинцев из ударной дивизии были явно испуганы, офицер куда-то пропал, так что никто не мог объяснить дорогу, но я нашел по старой памяти. А вот путь из Хеврона в Сусию я представлял себе только по карте. Шофер тоже не ориентировался. И вообще оказался флегматиком. Сверяясь по карте, я давал руководящие указания. На роковой развилке задумался. Указателей не было. Вообще возникло неприятное ощущение, что мы уже в другой, причем недружественной стране. Дорога по карте вела через Ятту. Ладно, поехали в Ятту. Ятта — огромная деревня, одноэтажные домики, разбросанные на трех холмах. Арабы вдоль дороги смотрели на автобус, увешанный израильскими флагами и громко поющий, как на летающую тарелку. Чем дальше мы ехали, тем удивленней были взгляды. Я почувствовал легкую тревогу. Вдруг, на вершине холма, на который взлетел автобус, взвился израильский флаг над бетонной стеной с колючей проволокой — крепостица. На сердце отлегло, нет, все правильно. Надо было бы, конечно, остановиться, да спросить у солдат, правильно ли путь держим, но не

стал авторитет ронять — проскочили дальше. От Ятты дорога стала «одноколейной», то есть узенькой, так что две машины с трудом могли разъехаться, но машины, слава Богу, не попадались и мы мчались дальше. Кругом лесистые холмы, пастораль. Матери показывают детям «нашу прекрасную родину». Сонная деревенька возникла на склоне холма, над дорогой. Мы должны были проехать еще один населенный пункт, за которым уже был поворот на Сусию. Попалась навстречу машина. Сползли на обочину, чтобы разъехаться. Автобус поцарапался об скалу, а старенькое «Пежо» проехало по краю обрыва. Водитель в белой куфии покрутил у виска пальцем. Относился ли этот жест к ловкости нашего шофера или к направлению нашего движения было не ясно. Попалась навстречу еще одна машина, видавший виды белый «Мерседес», в ней было двое. Опять стали маневрировать. Водитель белого «Мерседеса», похожий на Сталина, высунулся и спросил на чистом иврите, какой черт нас сюда занес. Я говорю: мы в Сусию. «Сталин» пожал плечами. Да, говорит, но впереди лагерь беженцев. И поехал дальше. Автобус продолжал движение. «Оружие у тебя есть?» — спросил я шофера. «Нет». Я подумал про свой пистолетик калибра 7.22, но эта мысль меня не утешила. Шофер был по-прежнему невозмутим, и я решил, что опять у меня паранойя. Раздались гудки сзади. Нас догонял белый «Мерседес», с которым мы недавно с трудом разъехались. Остановились, и старый знакомый, поравнявшись, прокричал: «Вас там живьем съедят! Я поеду вперед, предупрежу, чтоб вас пропустили. Когда въедешь, жми на полный газ и дави всё на пути, только не останавливайся. И пусть все лягут на пол — окна вам в любом случае разнесут вдребезги». Мы еще продолжали двигаться вперед, но уже по инерции, как атакующий, получивший в грудь пулю. На тупую рожу нашего шофера набежала легкая тень. Самое ужасное, что на этой узкой горной дороге не было никакой возможно-

сти развернуться. Мы были обречены на прорыв. Народ в автобусе стих. Слов не понял, но почуял, что дело дрянь. Впереди показался городок, уже видна была главная улица, запруженная машинами, телегами, людьми и ослами, все смотрели в нашу сторону. Лица были праздничны. Язык сразу высох. И тут на пути неожиданно возникла небольшая площадка, на которой можно было попытаться развернуться. Шофер показал класс. Не доехав до ожидавшей нас толпы пару сотен метров, мы, взметнув тучу пыли, вывернулись. До слуха долетел шум улюлюканья. Покатили обратно. Шофер радостно улыбался. Матери сжимали своих детей. Я казнил себя за любовь к географии и родную партию за экстравагантную идею. Вдруг по крыше что-то застучало, камень попал в окно, но по касательной. Окно треснуло. Женщины закричали. Мы проезжали вновь сонную деревеньку, и с холма детишки встретили нас недружным залпом. «Не волнуйтесь, — я, наконец, решился взять микрофон, — временные трудности. На всякий случай отодвиньтесь от окон».

Листал Мандельштама, наткнулся на «Когда Психея-жизнь спускается к теням», и вдруг вошло смертельным поражением, особенно последняя строфа: «И в нежной сутолке (это душ в царстве теней, нежной сутолке...) не зная, что начать (это особенно пронзительно, жутко и жалостно: не зная что начать...), душа не узнает прозрачные дубравы (прозрачность, призрачность потустороннего мира, о, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, и выпуклую радость узнаванья...), дохнет на зеркало и медлит передать лепешку медную с туманной переправы». Все здесь и величественно-торжественно и пронзительно, по-детски больно — все то лучшее, что есть в Мандельштаме, что я люблю. Эту царственную поступь беззащитного... «И лес безлиственный прозрачных голосов сухие жалобы кропят, как дождик мелкий». Поразительное стихотворение о смерти. И вооб-

ще весь этот цикл о смерти, о душе-ласточке, это сухое, предсмертное шелестение «эс»: «Когда П*с*ихея-жи*з*нь *с*пу*с*кает*с*я к теням, в полупро*з*рачный ле*с*, во*с*лед за Пер*с*ефоной, *с*лепая ла*с*точка бро*с*ается к ногам *с с*тигий*сс*кой нежно*с*тью..». В этом шелестении становится понятным в любом другом сочетании неудачное чередование согласных — «с стигийской».

Самое чудесное в Мандельштаме — это завязь еврейской, библейской человечности, звериной смертной теплоты овечьих шапок и шуб овчарок, опыленная русской трагической торжественностью звездных стыков и кремнистых путей...

После перехода по ущелью Джелабун (там водопад есть метров пятьдесят, шли вяло, полдня), повезли молодежь на ночную оргию в Хамэй Тверия: сероводородные горячие источники и танцы. Ну, я вместе с сосунками поплавал, потом с часок попрыгал, старый козел, с козликами, притомился, и поднялся на эстраду с креслами, где все училки-сычихи сидели, а ведь есть и молодые, пил сок и глядел с завистью как юность бесится (они еще часа полтора скакали). Девки плясали в мокрых купальниках, извивались, как цветные ленты, вопили, часть пацанов прыгала с ними, часть — друг с дружкой, группками, а часть, стесняясь, сидела поодаль.

На другой день ездили на джипах (водителей они зовут «джипарями») в ущелье Дюшон, хорошо там, орлы летают. С раннего утра дул жуткий ветер, «шаркия», и над долиной Хулы клубилось грязно-рыжее облако — это ветер поднимал лёсс, землю, ставшую пылью, ил со дна иссушенных болот и гнал эти тучи, как дым пожаров, за Галилейский Выступ.

Вернулся из похода усталый, злой, возбужденный. Довели полуголые девки своими танцами. Решил, что все, пора идти к гетерам. Из тех, что «красива, деликатна, высоко-

го качества, на роскошной частной квартире, только для солидных». А жена валяется в своей затрапезной хламиде, даже чаю не предложила... Говорю: что ты все в этой хламиде, как тетка, из кухни в постель не переодеваясь, тратишь деньги бог знает на что, хоть бы белье себе купила приличное!

— Чего-чего?! Что такое случилось? Уже с училками там пообщался, так размечтался?

Хламиду все-таки сняла и одело шелковое. Тоже уже надоевшее, ну да ладно. А потом, хихикая: мне понравилось, как ты мне пяточку щекотал, всегда так делай... ух ты, мой фантазер, писатель...

Жизнь непоправима.

Скапливается по каплям ненависть. А потом срывается бешенством измученных в страхе и трепете. Ужаленные толпы ищут не социальной справедливости, перераспределения благ, или там нацнезависимости, а освобождения от жала. Это и есть революция. И она все равно явится, как бы «справедливо» и «разумно» не устраивали общественную жизнь, она все равно явится целительным самоистреблением.

По русскому ТВ Вульф, этот манерно сюсюкающий историк театра, рассказывая о Михаиле Казакове, в том числе и о его театральной работе в Израиле, сказал, что «ну конечно театр в Израиле слабенький». И не так разозлил удар по национальной гордости, как павлиний снобизм с присюсюкиваньем. Вот посмотрел я опять же по русскому ТВ премьеру «Дяди Вани» Соломина, в Малом кажется, весь бомонд московский собрался, и так это было скучно, так «обычно», а местами и нелепо, ну просто позор, диву даешься: за сто лет так и не поняли, что пьесы его — это русское битье головой об стенку! Даже израильский, «Габима», провинциальный и слабенький — так! — театр поставил

«Дода[1] Ваню» лучше, лучше! Я прекрасно помню этот спектакль. Он был прост, непритязателен, ситуация была не чеховская и не российская, этакая провинциальная любовная история, но живая, черт побери! Это было не очень интересно, но не противно смотреть! А тут павлины какие-то по сцене расхаживают и несут не весть что.

Несколько перлов из русской предвыборной компании:

— В основе политики лежит женщина. («Дума 96»)

— За новую Россию, не обремененную толстыми задами!» («Национально-республиканская партия»)

— ...разбросанные кишки, которые впихивают в наших детей (критика телевидения той же партии).

Подмигивающий совёнок в фильме о Китае. Трепещущий занавес цветных рыбок в аквариуме.

На площади шел карнавал мира: разукрашенные надувные шарики, плакаты, музыка, песни. Я стал пробираться к лестнице, по которой вожди должны были покинуть трибуну. Авив Гефен, весь в белом, с белым лицом смерти (может, хотели добавить голубой краски, но не хватило?), пел — впрягся в партийную колесницу — своим хрипловатым, с загробной тоской голосом старый шлягер, антивоенное, «встретимся на мемориальной доске». Вся площадь, раскачиваясь, подпевала, и вожди, взявшись за руки, тож. Что-то было в этом сюрреалистическое. Потом они запели песню о мире. «Наплявать, наплявать, надоело воявать». Я уже был близко к трибуне. Рабин был чем-то недоволен и резко выговаривал Пересу, но тот вдохновенно пел, глядя в толпу, и глаза его блестели умилением. К правительственным машинам просочиться было невозможно, кругом

[1] Дод — дядя (*ивр.*)

заграждения и полиция, но вожди могли подойти к барьерчику у лестницы, ручки пожать счастливцам, у барьерчика уже шла давка за место. Я пробился во второй-третий ряд и стоял, приятно стиснутый красивыми восторженными девушками. Появился Перес. Он покружил у машины, а потом подошел к барьерчику с двумя озирающимися «гориллами». Девушки завизжали, выбросили руки ему навстречу, и он, радостно улыбаясь, пожимал их, одну даже погладил по голове, и я отдал должное его вкусу. Я мог бы выбросить руку вместе с ними, никто бы и не опомнился, и выстрелить ему в лицо. Думаю, что в давке и панике можно было даже скрыться... Но только ощупал на животе сумочку-кобуру с пистолетом. Зачем приперся, убедиться, что ты — не Принцип[1]? Перес отошел, оглянулся, ища кого-то, потом сел в машину и уехал. Я стал протискиваться вон из толпы. Сейчас все начнут разбегаться — в автобус не влезешь. И вдруг раздались выстрелы. Со стороны правительственной стоянки. Народ заметался, крики. Я поспешил прочь — не дай Бог оказаться в паникующей толпе. Поймал такси и поехал домой. По радио передали, что стреляли в Рабина, возможно, он ранен. «Ма?!» — подскочил шофер. — «Ма-ма-ма?!» (Что?!! Что-что-что?!!) И чуть не сделал аварию. «Ма зе?!! — повторял он всю дорогу. — Ма зе?!» (Что это?!!) Потом передали, что Рабин ранен. «Ё!!» — сказал шофер. И повторил изумленно: «Ёоо!!» Что я чувствовал? Ничего. Озноб. К ночи передали, что умер.

По радио идет словесный понос о смерти «нашего дорогого», и я отметил про себя, что вся эта болтовня как-то успокаивает, именно своей глупостью и пошлостью, засыпают его, мертвого, словами, как землей, обычай такой...

---

[1] Имеется в виду Гаврило Принцип, застреливший престолонаследника Габсбургов, и запустившего свои выстрелом Первую мировую войну.

И ведут они себя не так решительно, как я полагал. Испугались?

Удивительная кравота убийцы (во, описочка!). Детское, нежное лицо. Длинные ресницы.

Весь мир сбежался на похороны, даже президенты государств СНГ и английские принцессы. Забздели. Вдруг евреи озвереют и начнут заваруху. По сценарию «цивилизованного мира» они должны терпимо относиться к террору, с пониманием, как Рабин и Перес. Клинтон пустил слезу крупным планом и сказал: «Шалом, хавер». (Спи спокойно, дорогой товарищ.)

Маленький, темнокожий, курчавый сикарий, творящий высшую волю мифа, убил высокого, светлоокого вождя нации, незлобивого, хотя заносчивого и глуповатого. А потом дети тысячами шли на площадь, жгли свечи, рисовали голубей и оплакивали Отца, нация била себя в груди и каялась, что не уберегла, и требовала покаяния (а я еще смеялся над русскими, над их покаянным ражем и тоской по утраченной «духовности»), а потом началась «охота на ведьм», вроде летней охоты на бабочек, кто что сказал или не покаялся, расцвело доносительство на тех, кто не плакал, по доносам хватали на улицах и тащили в кутузку, потом начались дожди и все попрятались по домам, готовясь по весне к Гражданке.

Конечно, стоит еще раз приехать. Конец марта — начало апреля может быть идеальным сезоном, если только не случайный хамсин.

Что касается философии, то в отличие от Поппера, ты к спору не приглашаешь, хотя эта черта в нем тебе импонирует. Хотя по-своему на него провоцируешь (меня, например, в зоопарк пригласил для наглядности аргумента-

ции на макак посмотреть). Я совсем не против резкого тона и издевательского стиля в споре, и даже готов считать случайными, быть может, неизбежные при таком стиле, переходы границы оскорбительности. Но мне показалось, что разногласия (по крайней мере, наши разногласия) тебя слишком задевают за живое, и спор из интеллектуальной тренировки соскакивает на живую потасовку. Я сталкивался с подобными ситуациями при тренировках боксеров, когда кто-то из спаринг(споринг)-партнеров вдруг начинает «злиться» на пропущенный удар и бой становится «серьезным». Может в силу того, что ты «крепок в вере», ты не очень-то любопытен к другим точкам зрения, считая их для себя давно известными и решительно отвергнутыми. Потому что, скажем для примера, героизм — это готовность человека к самопожертвованию ради близкого, ради любимого, ради народа, ради идеи, ради Бога в конце концов, под эту категорию попадают и Джордано Бруно, и Ян Палах, да и Христос, если считать его человеком, не важно от какого отца, так что называть героизм — способом существования макак, это просто злиться за что-то на героев. Героизм, конечно, явление двуликое и зачастую опасное, но Достоевский вряд ли бы написал «Преступление и наказание», если бы мог всю эту проблематику просто наблюдать в зоопарке. Ну, а у нас, как ты теперь уже знаешь, все эти коллизии весьма актуальны, вот один такой «герой» застрелил Рабина, «макаки», как видишь, творят историю. Может такая история тебя и не устраивает, но твое несогласие с ее ходом мало на нее влияет, а героизм влияет. Кстати, и Рабин, конечно же, герой (здравствуй, страна героев!). Хотя может и не очень сознавал, что идет на самопожертвование. Других, однако, в «битву за мир» и, соответственно, на жертвы, посылал. И терминология у этих миротворцев такая же героическая: «война за мир», «мир смелых и решительных», «уничтожим врагов мира». Так что, повторяю, явление это двулико, но оно неизбывно...

Лева сказал: «Стало противно жить в этой стране. Никогда не думал, что дойду до этого. Муторно видеть эти сопливые толпы, раскачивающиеся в такт завываниям Авивы Гефена».

Пошли с Володей в музей Елены Рубинштейн, у меня два билета осталось от Ван-Дейка. Народу мало. Есть любопытные вещи. Особенно одна картина, (Вейфеля?) огромная, вся покрытая рваным оловом, пейзаж после битвы, через все пространство — рельсы, а в конце, куда они убегают, то ли солнце, то ли поезд. А еще висела «черная дыра»: выкрашенная изнутри в черное полусфера, можно в нее зайти и очутиться в полнейшей тьме.

Володя горд публикацией в «Зеркале» (автоинтервью) и ссорой с «истеблишментом».

— Ты не представляешь, как я рад, что порвал со всеми этими каганскими, с этим уёбищем Генделевым!

Грелся в лучах растущей славы: «Ты знаешь, сейчас вдруг много молодежи появилось в Иерусалиме, и, что меня радует, даже льстит где-то, что меня они знают и держат за авторитет, за Генеделевым так не ходят». Приглашал на вечер «Двоеточия» завтра в Иерусалиме. Не пойду, лень.

На день рождения Р. собрались бывшие борцы, посмеивались над нынешней «охотой на ведьм», встречали друг друга возгласами: «ну что, помолодел на 30 лет?», «а ты видел репортаж из убороной университета Бар-Илан, там такое понаписали, хоть университет закрывай», «а вы слышали, за что арестовали двух харедим (богобоязненных) на кладбище? Один плюнул около могилы, а другой растегивал штаны с намерением». Крижак[1] подарил бутылку шампанского с надписью: «Советская шампанья лю-

[1] Валерий Крижак, активист алии, отказник.

бительская опломбированная». Намек на то, что у агента Службы Безопасности, который работал провокатором среди крайне правых, была кличка «шампанья».

Уж не пал ли Рабин жертвой собственной провокации?

Мирон убеждал меня, что бабы любят, когда им пальцем в задницу лезут, так был убедителен, что я решил попробовать, но ни в одном случае восторгов не вызвал, впрочем, случаев-то было всего два.

Хотел утром встать, а она теплыми ногами обвила, ну и.

Потом голова болела и дикая злость. «Ты мой спермовоз».

«Нужно любить жизнь больше, чем смысл ее. Когда любовь к жизни исчезает, никакой смысл нас в этом не утешит».

А я не люблю жизнь. И женщин не люблю.

Кузмин учит не пошлить с этой забубенной пытливостью, с этой проклятой страстью дознаться. «К беспечной цели ведет игра». А я, несчастный, все суть какую-то откапываю, кружусь безумными кругами вокруг якоря своего, камня на душе — ни всплыть, ни взлететь, ни парус поднять, будто заворожил кто-то суровым оком. (Ужасно люблю этот грозный мотив в русской иконе: Спас — Ярое око...)

Казался поэтом арт-нуво, а прочитал «Мы на лодочке катались» — прям постмодернист. С непринужденностью играет обломками стилей, жанров, поэтик. Многолик.

Безумные параболы,
Звеня, взвивают
Побег стеблей.

Неплохой эпиграф к стихам Володи. Впрочем, у Володи они не такие уж безумные. Хотя взвивают, звеня.

И постмодернист он плохой. Слишком целеустремлен. Медитирует. Приглашает на призрачные пиры в чертогах чистых вод. Взгляд, лёд, вихрь, ветр, след, мерк. Сполохи наитий, касания...

И еще подумал, что «бестелестность» его стихов — от некой его странной немоты, и язык его будто выученный, так немые иногда говорят без выражения, не вина его, но беда — уехал из России в возрасте 17 лет, поэтому и стихи, как тени, «скользят», мяса жизни не цепляя, черно-белые, рисунки «отточенным светом»... Когда мы познакомились, он был страшно неуклюж, косноязычен. Просто безъязык. Он мычал. Но в этом мычании чувствовалось властное, неодолимое шевеление неназываемого. Фактически ущербность свою он сумел превратить в оружие творческого метода, как собственно и подобает поэту...

После его головомоек мои ленивые мозги хоть немного расшевеливались. «Какая же ты, Наум, колода!» Через него до меня дошел авангард.

Авангард — романтизм нашего века, постмодерн — его декаданс.

Гробики скрипичных футляров. И скрипочки они заворачивают в шелковые тряпочки, как евреи своих умерших. (Заходил к Т.)

Дали: Я знаю, что Бог есть, но не верю. Жаль, это решило бы все проблемы.

Когда получается
стихотворение,
радуешься,
как победе в арьергардном бою
своей
вечно отступающей,
обреченной
армии.

В субботу было чудесно в лесу: холодно, ветрено, солнечно. Пошли, как всегда после еды, погулять. Политика осточертела. Заговорили о поэтическом взрыве в России начала века, о Белом, чей авторитет Мирон считает дутым, я не соглашался, потом отошли в сторонку отлить, обычно чуть поодаль друг от друга, я не люблю солдатские интимы, но на этот раз Мирон не пошел в сторону, а обошел меня и встал совсем рядом, косится-разглядывает, ну смотри, думаю, коль уж так интересно, вот, чем богаты тем и рады.

Дикий грипп. А дни стоят чудесные. В Москве, говорят, 600 тыщ болеют.

Вообще-то я чистый параноик. Вдруг внезапные, по глупейшему поводу, припадки страха. И это с детства. Жизнь страшна и полна опасностей. И чудо в ней — внезапная милость и случайный покой.

Вспомнил как на картошке, на третьем курсе, молодой мужик в ватнике, сидя на бревнах и покуривая, рассказывал приятелю: «Ух, я ее вчера выебал! До кр-рови!»

Здесь любят говорить: «Кар-рати ота!» (Разор-рвал её!)

Температура еще держится. Утром, глядя на ее детское, безмятежное во сне лицо, вспомнил Вильнюс в жемчужном зимнем сумраке, похожем на серебристо-фиолетовую дымку пейзажей Пьеро делла Франческа, талый снег, тихую, деревенскую улицу Манюшко, которая одним концом выходила к многоглавому русскому собору на берегу, прятавшемуся среди высоких деревьев, а другим концом падала к Неману, ее лицо в вязаном платке, как в медальоне...

«В каждом городе зрели беспорядки и гражданская война. Как только римляне дали евреям передышку, те тут

же обращались друг против друга. Повсюду свирепствовал жестокий раздор между сторонниками войны и защитниками мира…» (Флавий, книга 4-я)

Кайдановский умер. Ровесник. Его «Жену керосинщика» мы пошли смотреть в Париже в 89-м, в кинотеатре «Космос», рядом с собором Сен-Сюльпис, шла неделя советских фильмов. То ли Париж так уконтропупил, но фильм запомнился каждым кадром, каждым своим мертвым пейзажем. Реквием по Тарковскому. Но и спор с ним. Смиренный, но упрямый. Среди руин колоссального собора, как в «Ностальгии», только русского, мужик на гармошке играет, как в «Амаркорде», и поет голос: «Вернулся я на родину...». Уже смиренную в поруганности своей. (А вот у Камю, я люблю его, жить, значит не смиряться.) Просто нет сил на сопротивление. Жизнь абсурдна не потому что бесцельна, а потому что бессильна. Может из-за этого такая любовь к ней, к такой вот... Победа — истина подлецов. Хлестко. Приговор. Желчь побежденных. Мол к победе стремятся только что б смыть грехи: победителей не судят. Нет. Победа — оргазм жизни, награда неуступающим. Отказ от победы, отказ от войны — отказ от сопротивления, отказ от жизни, похоть смерти.

(— Я пришел забрать вас, Василь Петрович. Вы больше не будете здесь.

— Благодарю, Дмитрий. Только лучше будет, если я останусь. Не обижайтесь. Мне здесь очень нравится: уход, еда, все прочее. К тому же я прохожу курс лечения, а это очень важно для моего здоровья. А летом нас повезут на дачу в Семикаракоры. Там много зелени, река, рыба, свежий воздух. Я так хочу в Семикаракоры.

— Мы поедем в Семикаракоры с вами, обязательно поедем, только уйдемте сегодня.

— Нет-нет, благодарю вас, Дмитрий. Я уж со всеми. Вот, с ними.

Товарищи! Познакомьтесь, это мой друг Дмитрий.

Мы поедем в Семикаракоры?

Мы поедем в Семикаракоры.

Мы поедем в Семикаракоры!)

Технология поражения.

На днях заехал к Тарасову. Он провалился на выборах в правление нового, левого, Союза писателей, выбрали от «русских» Маркиша. Поведал, что Маркиш заложил Лею и ту уволили из Бюро. Якобы кто-то в Бюро свечку поставил Рабину, ну а Лея пошутила, что, мол, надо бы сразу две. Намеки на Переса, что он, мол, следующий на роковой очереди[1], нынче модны, в ответ на наклейку «прощай товарищ», появилась наклейка «прощай второй товарищ», в очередях в ответ на вопрос: «кто следующий?», шутники любят отвечать: «Перес» и т.д. Ну и Маркиш исполнил свой гражданский и патриотический долг.

Володя был неожиданно зол на израильскую интеллигенцию, поливал ее последними словами. Говорили о Бренере, он должен был зайти. Я листал российские журналы с его пассажами и фотографиями голышом, прочитал «Манифест» который не произвел на меня такого сильного впечатления, как на Володю. Сошлись на том, что он дерзок («химеры, ко мне!»), я бы сказал, любит риск, но смельчак ли? Да, заработал себе определенную репутацию. А рискован его эпатаж потому, что на грани пошлости. Были уже «Идите к черту!», плевки в небо, рыгающие пегасы, даже дрочили всенародно в парижах, причем скромных размеров, как отмечено было ехидными мемуаристами. Бренер так и не пришел.

[1] «Передового нет — и я, как есть, на роковой стою очереди» («Брат, столько лет сопутствовавший мне…», Тютчев).

По русскому ТВ чествовали Гену Хазанова. Невинный спел антисемитскую песенку (народ в зале переглядывался), а потом юбиляр изгилялся на тему: как евреи любят русских женщин. Прям ша*а*баш. Вот бы Шульгин порадовался.

Жуткая сцена заклания свиньи в «Деревянных башмаках» Тавиани: ей живот заживо вспарывают, и она визжит в смертной тоске.

Бродский умер. Представители общественности «откликнулись». Черномырдин пришел проводить в последний. Теперь будут улицы переименовывать. Показывали фотографии: отрочество, юность. Хрупкий, амбициозный еврейский мальчик. Мечтал покорить Россию...

Что-то было в нем провинциально-еврейское. Невытравимое. Спросили, кем себя ощущает. Сказал: русским поэтом в изгнании, англоязычным эссеистом и американским гражданином. Что-то в этом духе. О еврействе — ни слова. Тут, конечно, и ассимиляторская напористость образованцев эпохи эмансипации, но и страх. Боялся, что эта пучина его поглотит. Широты на нее не хватило. Была в нем внутренняя слабина, да, еврейская, уязвленность, которую сам не любил, драпировал надменностью. И обида. Неразделенная любовь. К равнодушной отчизне прижимаясь щекой. Нелюбимые мы, эх, нелюбимые! Ни бабой, ни родиной... Не обрел покоя. А просьба похоронить в Венеции — воистину апохуёз...

«Венеция, ... магнитный полюс снобизма и всемирной глупости, драгоценная купальня космополитических куртизанок, огромная клоака пассеизма. Сожжем гандолы, эти качели кретинов!» Не смутил его Маринетти.

З. вернулся из Японии. «Другой мир! Совершенно другой мир! Во-первых, везде тапочки. Выйдешь в коридор — тапочки, зайдешь в таулет — тапочки, заебался с этими тапочками...».

Утром на теннисе партнер мой, адвокат:

— Шамата ма кара? (Слышал, что случилось?)

— Ло. (Нет)

— Ата зохер ая казе гевер гадол, кцат цолеа? (Ты помнишь такой был здоровый мужик, хромал немного?)

— Аа...

— Тамид ба ле бриха, ле хедер кошер. (Все время ходил в бассейн, в спортзал)

— А, кен. (А, да.)

— Аз у мет. (Так он умер.)

— Кен? (Да?)

— Кен. Мет. Ата мевин? У ая казе хазак, кол ём ба ле бриха, ле хедер кошер, мерим мишкалот... Ве мет. А? Ма ата омер? (Да. Умер. Ты понимаешь? Такой был здоровый, каждый день ходил в бассейн, в спортзал, тяжести поднимал... И умер. А? Что скажешь?)

— Кен... (Да...)

— Эле ахаим. Эле ахаим. (Такова жизнь. Такова жизнь.)

— В перерыве между геймами он опять завел:

— Ло ёце ли миарош абахур азе. Ло мизман раити ото. Кол ём ба ле бриха, ле хедер кошер, мерим мишкалот. У ая мишколан тов, мерим меа килограмим. (Не выходит у меня из головы этот парень. Ведь недавно его видел. Каждый день приходил в бассейн, в спортзал, поднимал тяжести. Он был не плох по поднятию тяжестей, поднимал сто килограммов.)

Опять автобус. В Иерусалиме. На пару с адской машиной на перекрестке «Ашкелон».

Холодный сырой воздух после дождя. Забытый запах ранней русской весны.

Мне тогда исполнилось шестнадцать. Я решился пригласить ее танцевать на школьном вечере, она была на год старше, уже заканчивала одиннадцатый, рослая,

красивая, знала, что я влюблен в нее: год вздыхал и заглядывался, а однажды столкнулся с ней на бегу в углу коридора, обнял нечаянно, и остался стоять красный, остолбеневший, с молотящимся сердцем. Вдруг, во время танца она сказала: проводи меня. Мы вышли из школы в темень, в похрустывание обледенелого снега, за нами тронулась группка человек пять, Шпала с дружками. Шпалу уважали в окрестностях Петровско-Разумовского и Тимирязевской Академии, огромный, красивый парень, я был для него недостойным противником — жалкая моя надежда. С этим почетным эскортом мы дошли до станции и перешли мостик. Она жила в деревянном доме у станции, за ним шли поля Сельхозакадемии. «Зайди, — сказала она. — Они тебя поджидать будут». Я видел их силуэты на мостике и струйки дыма от папирос. Всю дорогу, и у нее, я думал не о том, какое счастье мне привалило, а о том, какая расплата меня за него ждет. Мы были одни: отец на работе, про мать я не углублялся, фотография ее широкоскулого лица висела в рамочке на стене. Железная кровать с ковриком на стене, на коврике олень трубит, на комоде фотографии, пальто на гвозде. Принесла чаю. Села рядом, смотрела, как я, схватив чашку обеими руками, чтобы согреть пальцы, громко хлебаю горячий чай. Улыбнулась и сказала: «Странный ты». Спросила: «В шашки играть умеешь?» Поиграли в шашки. Она плохо играла. Когда смеялась, проигрывая, со мной делалось какое-то окаменение, так мне хотелось поцеловать ее в белые ровные зубы. Потом она сказала: «Ладно, скоро отец придет», и я ушел. Никто меня не поджидал. Электрички уже не ходили, предстояло топать домой пешком. Я остановился на мосту, оглянувшись на ее дом, на желтую каменную станцию, вздохнул всей грудью, и вот этот запах новой весны, пробившийся через ночной холод, ранил навечно...

Измельчал еврей. Ни эстетики, ни патетики. А раввины, как князьки удельные, заботятся только о пышности своих дворов и преданности челяди.

Всё это левое блядство от плохой философии, когда интеллектуальная бедность оборачивается криводушием.

Когда я вижу еврейских генералов, постоянно поправляющих на себе штаны, я вдруг понимаю, что у евреев нет уважения к форме. Мы нация бесформенная. Может поэтому — еще живая?

Смерть — последний волшебный штрих, преобразующий все творение из текучей материи в бессмертную форму. В скульптуру полета.

«Ам навал ве ло хахам», — сказал Моисей на горе Нево перед смертью о своем народе, который он вывел из Египта. «Народ подлый и придурковатый».

Позвонил С. и сказал, что Додик застрелился. Проблема с похоронами. Должны состояться завтра. Подъеду ли? Не получится. А куда делись его книги, бумаги? Сказал, что органы все забрали, квартира опечатана. Родни у него не было.

Мы познакомились у Городецкого, вместе учили у него иврит, но он быстро превзошел учителя и потом переключился на арабский. Если Городецкий был редких способностей и знал три языка в совершенстве (иврит, английский и немецкий) и еще неплохо арабский и французский, то Додик был просто гением. В иврите и арабском он достиг страшных высот, изучал какие-то странные диалекты, выучил еще латынь, он был моложе нас года на три, на четыре, и учился на факультете математической лингвистики, но со второго или третьего курса его турнули, он вел

странную жизнь в Москве, нигде не работал, подрабатывал уроками, не только иврита, но и арабского, и латыни, у него брали уроки студенты всяких языковых факультетов, в том числе и военных, болтался целыми днями по улицам, иногда пропадал где-то неделями. Красивый был, обходительный мальчик, пожалуй, чересчур обходительный, почти ласковый, разные про него слухи ходили, «борцы» его избегали, слушок был: «стучит»; он уехал в 74-м, один, отец его, профессор физики, засекреченный какой-то, через год выбросился из окна. Я встретился с ним, когда у нас был съезд Тхии в Хевроне, он уже давно жил в Кирьят Арба, а сошлись поближе, когда у меня был там милуим. Он тогда поразил меня переменой: элегантной парижской рубашкой, такой странной в замызганном Хевроне, вызывающе независимым, хотя и по-прежнему мягким взглядом... Хвастался сокровищами: арабскими манускриптами, обрывками писем, Бог знает каких столетий, на арабском, на латыни, даже окровавленное письмо по-русски какого-то богомольца конца прошлого века. Возмущаясь моим сочувствием крестоносцам и восхищением Ричардом Львиное Сердце, рассказывал о благородстве Саладина, о его любви к поэзии, читал свои переводы из ал-Хаджжаджа, этого арабского Вийона, просвещал меня, дурака. Дождавшись конца смены, я забегал к нему принять душ, поболтать, выпить рюмочку... В его вдохновенных рассказах была необычная и пугающая тональность, но, скрытая, она только придавала остроты, почти любовной напряженности нашим беседам, пока… пока внезапно не проявилась, смутив, спугнув, после чего я перестал заходить. Он несколько раз звонил после того милуима, но я от встречи уклонился.

Читаю «Жизнь» Лосева.

«Жизнь заряжена смыслом. Она — семя мудрости». «Надо выйти из жизни (!)... чтобы она перестала ослеплять тебя своей жгучей непосредственностью...».

Кто «выходит» из жизни (заносит от гордости!), тот жизнь презирает, ненавидит. Но зачем тогда смысл искать того, что презренно и ненавистно?

«Жертва везде там, где смысл перестает быть отвлеченностью и где идея хочет, наконец, перейти в действительность. Только головные измышления нежертвенны. Малейшее прикосновение к жизни уже приближает к нам жертвенную возможность. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва».

Звучит как любимая, мучительная музыка...

В христианстве есть презрение к жизни. В самом чаянии Спасения отвергается жизнь. Так почему же я, жизнь презирающий и так стремящийся к чему-то вне ее, чему-то ее, жизнь, превозмогающему, почему я не христианин? И вообще ненавижу веру? Потому что вера — это внутреннее согласие с недостижимостью. Верить можно только в то, что не сбудется. Если верить, не нужно стремиться. А я не принимаю недостижимого. Жизнь — стремление к недостижимому.

Бог Авраама — Бог жизни. Христос — Бог идеи. Иисус встал на жизнь.

Еврей не знает любви. Он никого не любит, даже Бога. Он ему доверяет, но он его не любит. Для него Бог — отец, а отца мало кто любит. Разве что после его смерти.

Наверное, поэтому и нас мало кто любит...

Любовь еврея — чистый эрос. Любовью он не преодолевает земного.

Еврей не зол. Но он и не добр. Я чувствую в своей жизни здесь (или вообще в своей жизни?) холод, уныние нелюбви...

Сережа Гандлевский прислал свою книгу. Почти все написанное. Сотня стихов за жизнь. Тоже дневник. Лабиринт скитаний без цели. Нанизывание монотонных строк, будто старый араб, с загадочным равнодушием глядящий на улицу и фиксирующий ее мельтешение, перебирает четки, — единственное шевеление жизни. Реквием на мотив шарманки.

Светало поздно, сползало одеяло, плыл пьяный запах, сизый свет скользил, жду, намерен сажать, еду по длинной стране, курю в огороде, время теряю, иду восвояси, стучусь наобум; или в инфинитиве: устроиться на автобазу, петь про черный пистолет, не заглянуть к старухе матери ни разу, божиться, впаять, преодолеть, возить, уснуть, заделать пацана, вести ученую беседу, бродить в исподнем, клевать носом, вспоминать со скверною улыбкой, глотать пилюли, себя не узнавать, и опускаться, словно опускаться на дно морское, раскинув руки; обрывки анналов коммунального зверинца с его гражданами, качающими трамвайные права, знаменосцами, горнистами, физоргами, поварихами в объятиях завхозов, угрюмыми дядями и глупыми тетями; детали мусорных пейзажей с каким-то тягостным секретом: газета, сломанные грабли, заржавленные якоря, ключи, колеса, гайки, каркасы, трубы, корпуса, аптека, очередь, фонарь под глазом бабы, помойные кошки... Мы сдали на пять в этой школе науку страха и стыда, годами пряча шиш в карман, такая вот Йокнапатофа доигрывает в спортлото последний тур, а до потопа рукой подать, похоже катастрофа неизбежна, пустота высоту набирает, но подбадриваешь себя, давай вставай, пошли без цели, давай живи, не умирай, без глупостей, отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь, вот так и жить, тянуть боржоми, припев, мол, скучный? совсем не скучный, он традиционный... Хоть сырость разводи. А утешенья не будет. Но: я эту муку люблю, однолюб. Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи.

Дорогой Леша!

....Вначале я испытывал немалые трудности, мешал «искусственностью» неизбежный фон «исторического» или «фантастического» романа, с его невозможностью передать ткань жизни героя средствами другого языка, выдуманного другим народом для другой жизни и другой истории. Иногда смешение языковых стихий «торжественной латыни» и современного русского сленга ощущалось, как дискомфорт (вроде «насрать на Стагирита», кстати, ты еще бегаешь по тексту, снимаешь стружку?). На «читателя» тебе в общем-то наплевать, время от времени ты, конечно, бросаешь ему какую-нибудь сюжетную кость, на мой вкус не особо жирненькую, а так — оставляешь его самостоятельно добывать на жизнь на этих блаженных полях. Но мне это по душе. Я свое нашел и доволен.

Роман ощущается как гигантский отшельнический труд. Вопреки. А стало быть, и гордо. Таких соборов больше не строют: кишка тонка, слишком кропотливо, да вроде и незачем. И странно, что у кого-то еще хватает духу вообразить себе такие постройки. Подавай тебе Бог закончить. Проза отменная. Вязкая, веская, неторопливая, отрешенная. Как нескончаемое стихотворение... Элегия. И только с этой высоты начинаешь понимать, почему нужно было уплыть так далеко от действительности. Чтобы не уронить звука. И все время «открываются двери в отсеках времени и оно гуляет ветром по пустым коридорам вымышленной жизни. А ты стоишь у этих дверей, над гладью Леты, где души второго призыва, испив забвенья, торопятся вновь наполнить легкие воздухом смерти, трепещешь в толпе непогребенных, среди разжалованной жизни, слушая скрип уключин и плеск теплой рвоты на дне барки...» А я подбираю твои поучения, рассыпанные за ненадобностью: «любви приходится учится, а ненависть дана даром, дружба ни на что не обречена, раб, в законе или в душе, знает о свободе одно: она убивает».

И теперь понятно, почему «Просто голос».....

Еще автобус. Пурим самеах. (Веселого Пурима.)

Нежное безразличие мира.

Приснился сон: деревня в Иудее, грязные сугробы, серые дома, плоские крыши, кривые, бегущие с холма улицы, слякоть, горы кругом, на вершине куб, сложенный из огромных камней, узнаю его: хевронский Склеп Авраама, блажь ярого Ирода, башенные зубцы по краю, а вокруг голо, и деревня исчезла, легкий туман витает в оврагах, я будто поднимаюсь, медленно взлетаю, и вижу сверху гористую, мертвую страну разбросанных камней, а на плоской крыше Склепа белый купол, как яйцо, оно вдруг лопается, скорлупа рассыпается, и маленькое черное дерево, будто обугленное, корявое, и корни-щупальцы извиваются, и какая-то пугающая, неодолимая сила в этих напряженных извивах, они пытаются втиснуться в щели между каменными плитами, втискиваются, уходят вглубь, дерево дрожит, а на черных ветвях голуби, много, белые, взлетают и садятся, шумят крыльями...

Дорогой Миша!

Очень рад был твоему письму, и особенно книжке. Она и оформлена симпатично, и вообще мне очень нравится. Мне кажется, такого по-детски грустного, трогательного голоса не было в русской литературе, и сегодня, когда все норовят поорать, да учудить, такая отчаянная непосредственность звучит с особенной необходимостью. На самом деле я всегда у тебя учился, то есть пытался научиться вот этой пронзительной, и в то же время дерзкой, непосредственности. И название очень удачное. Особенно клоты хороши, такие живые слова, такое согревающее говорение... Это я по первым следам в душе, еще толком не разобравшись и не все прочитав.

Напиши мне, соберись с силами, о Симоне Берштейне, что за студия у него была, кто там был, что он был за че-

ловек, как ты с ним общался, вообще, что ты о нем знаешь, я смутно помню твои рассказы о нем. Остались ли его тексты? Кажется даже у Кузьминского в этой его «Лагуне» нет ничего о нем. А может, вообще расшевелишься и еще о Харитонове напишешь, жаль, что тогда не удалось сойтись с ним поближе. Напиши просто в письме, но это может быть и основой воспоминаний, можно здесь напечатать и заработать. Мне кажется, что в этом направлении лежит обетованная земля какой-то новой животворной поэтики.

Я уже накатал с пол-тыщи страниц мемуаров, сижу с ними каждый день, отрываясь только на письма. И читаю интенсивно, в основном философию, но и историческое. Тут еще «подвезло» — потянул на стопе жилу, связку, черт его знает, так три недели дома сидел, а сейчас каникулы пасхальные начинаются. А там уж и лето. Мечтаю приехать, но не знаю еще как получится, хотелось бы — не с пустыми руками. Вообще, благодаря писанине я вошел в форму, стал вдруг чувствовать, что существую. (Вот тебе и целебность искусства.)

Надеюсь в ближайшее время все-таки оформить хоть какой-то кусок до приемлемого состояния и послать тебе, что скажешь. С Таней я изредка переписываюсь, она обещает поместить рецензию в 18-м или 19-м, дай-то Бог. Еще и журнал должен дожить... В «Арионе» (№3) все-таки опубликовали подборку (на днях получил). Там Рубинштейн неплохой вроде. А ты как к нему? Знал ли его раньше? Калымагин его чуть ли не в учителя твои записал в той заметке...

Ну, обнимаю тебя, еще раз поздравляю с книжкой, замечательная!

Будь здоров и пиши.

Ты знаешь, я сейчас, утром, а у нас неожиданная «зима» в конце марта: холодина, градусов 12–13 и дожди проливные, ночью гром, молнии, так вот, утром, чуть распогодилось, я взял «Зяблика» и прочитал все клоты, от начала до конца, и этот фрагмент из поэмы. И вспомнил, как до три-

надцати лет боялся ударить в лицо, хоть дрался часто, а когда ударил, помню даже кого и когда, то это было, как первый раз с женщиной, потеря невинности, грехопадение... А разница между нами в том (без этических оценок, хотя тут можно целую поэму об этике развести и это у тебя замечательно: «как мышей убивать так кошка красивая сильная, а как дать мужику, чтоб спал спокойно, так сразу этика»...), что для тебя самое страшное — бить. А для меня — быть битым. И что тут больше, детских травм или генетики — не все ли равно? Мы уже такие.

И, конечно, страх не физической боли (да и ты ведь боксом занимался?), а страх унижения. Унижение — вот преисподняя мужчины (у кого это: старость: вот преисподняя женщины?). Это на уровне инстинкта. Будешь уступать, надругаются, «опустят». Но чтобы сопротивляться, нужно стать «их» сильнее. А твой страх, что на этом пути все растеряешь и станешь, как они... Смешно, но в здешней политике нечто похожее, то есть люди это так воспринимают...

Искусство — это свобода веры, а религия — вера без свободы.

Невозможно жить в самом себе. У всех теперь прозрачные бронеколпаки, пузыри чувствонепробиваемые. И хоть заебись в этом пузыре, никому дела нет.

Взрыв у «Дизенгоф центр». Дали просраться. Страна, наконец, ёкнула.

Заходил к Володе, купил у него «Алексиаду». Матерится на весь свет, на людей, мол, только бы им хлеба и зрелищ, о терактах, о 16 первоклашках в Шотландии, он был в шоке, не мог выйти из дому, говорит: Апокалипсис. А меня эти первоклашки не так уж и задели. По мне так Апокалип-

сис давно наступил, мы внутри. А террор — попытка достучаться через колпаки-пузыри, сообщить, что ты существуешь. Один язык только слышен — крик боли.

Все «соборные» мероприятия вроде вакханалий и революций — попытки слить мельтешащие молекулы людей в лаву всеобщей любви, так газ под определенным давлением превращают в жидкость...

По ТВ показывали фильм: фотографии времен Войны за Независимость под стихи Альтмана. Плакал. По духу, который исчез, по мифу, который умер. По светлым лицам на поблекших фотоснимках, парней и девушек в драных свитерах и коротких штанишках идущих в бой, смеющихся на привале, павших в нежные пески, у Ашкелона, в нежные пески...

Спартанцы. Сегодня уже никого не воспитывают в мужестве. Никому и в голову не взбредет.

Инна в Абу Гош (кругом ни души):

— Помнишь, как мы в Новый Иерусалим на Истре ездили? Его теперь восстановили... Могли ли мы вообразить тогда, что встретимся через 25 лет в Старом?

Предав победу ради покоя и изолгавшись в стремлениях к справедливости, не заслужим и жалости.

Подстрелил меня фильм Годара «Прожить свою жизнь», с Анной Кариной. Короткие сцены, заканчивающиеся затемнением, будто взмахи крыльев бабочки в ее однодневной жизни.

Гуляли с Гольдштейном вдоль моря от Дельфинария до кафе «Тетис», потом на веранде ритуально выпили по

стакану, я — пива, он — сока. Веранда была пуста. Море и небо сливались в одну бездну цвета диких фиалок, и мы мирно висели в ней, словно в гамаке. Жаловался ему на почти физическую невозможность вымысла, претит мне вымысел, он тоже считает, что только дневники, документы еще имеют шанс прозвучать, прямое высказывание, личное послание, но как не дать доверительности соскользнуть в исповедальную пошлость? Не поэтому ли, говорю, хорошо идет ругань, выдаваемая за шик раскрепощения от литканонов, жестокость. Жестокая литература, да, де Сад, но она неизбежно становится литературой жестокости... Еще сказал о потребности в чуде, что словом уже не задеть, пора переходить к делу. Но тут, говорю, искусство кончается. «А я не люблю искусства», сказал он, и я похолодел от этого признания...

Я вдруг понял, что так провоцирует, жжет меня в его текстах: терзания по тотальной, всепоглощающей и гибельной прозе. Прозе, как событию жизни, а не литературы. Как стали событиями жизни книги, которые мы читали. Это ностальгия по той «книжной» любви, коей не дано было сбыться, которую потом вымаливают у жизни, требуют с неистовством, в крик: дайте, дайте, иначе умру! Хочется зачать от этого крика, воплотить... Ностальгия по разлуке искусства и жизни…

Утро. Восток расправил гигантские крылья туч, и в голове этой страшной птицы встало белое солнце.

«Русскопишущая» Глория Мунди в «Вестях» — о том, что ее разбудили «мощные аккорды бауховской прозы»: «Потому что у Бауха... глаз — почти очевидца, даже когда он пишет о разрушении Храма. Хотите, читайте Иосифа Флавия, хотите — Эфраима Бауха. Еще неизвестно, у кого степень достоверности больше».

«Пишет» тот, кто не умеет жить. Или боится.

Да, овцы мы. Нас тьмы и тьмы...

Русская тирания вся — похоть. Русские — мазохисты, и их государственное устройство вполне соответствует их сексуальным склонностям.

Разврат рабства в блаженной, вызывающей свободе от самого себя.

«Когда проблеснет заря над горами и выбежит легкий туман на долины, и упокоются дни пламени и улягутся языки огня в Храме Господа, сожженном на горе Дома Его. И ангелы соберутся в хор святой пропеть песню зари, и откроют окна небесные и головы свои вывесят над горой Дома Его, поглядеть: открылись ли двери Храма и поднимается ли облако дыма от воскурений? И содрогнутся: вот Господь, Бог воинств, древний днями, сидит в утренних сумерках на руинах. Укрыт клубами дыма, обут в прах и пепел. Голова упала на руки и горы безутешной тоски на ней. В оглушительной тишине сидит Он и смотрит на пепелище. Гнев миров помрачил веки его, и взгляд застыл в Великом Молчании.

А Гора Дома Его еще вся в дыму. Горы пепла курятся, зола горяча и угли шипят, горы, горы пепла, сверкающие, как кучи красных рубинов в сумерках утра.

И даже огонь, всегда, днем и ночью, горевший в жертвеннике, и он угас, и нет его. Лишь одинокий всплеск некогда могучего пламени мигает и дрожит, умирая на грудах обугленных камней в сумерках утра».

Почему-то мистические еврейские тексты буквально выворачивают своей суггестией и увлекают в такие миры, наглотавшись пространства которых, слышишь вдруг голоса, видишь картины...

Никогда не ощущал этого с русскими текстами. Вот — Тютчев. Гений из гениев. (Я храню книгу 1913 — ого года «Артистического заведения Т-ва А.Ф. Маркс, Измайловский просп. N 29» и не покупаю новых изданий.) Но музыка его земная. Она, как плач того, кто знает, что ему не суждено вырваться, оторваться. Она «истома смертного страданья». «Две силы есть, две роковые силы,//Всю жизнь свою у них я под рукой, //От колыбельных дней и до могилы, — //Одна есть — смерть, другая — суд людской».

Озрик: на ваших повлиял, конечно, развал империй, Англия свою распустила, Россия, Югославия развалились, вот ваши и решили...

— За компанию, — говорю, — и жид удавился.

Солдат сел передо мной, рядом с толстой теткой. Ремень автомата, перекинутый через плечо, почернел от пота. «Тяжело?» — спросила его тетка. Солдат промолчал, лица его я не видел, только крупную бритую голову и мускулистую шею. Тетка вдруг поцеловала его в щеку и, вставая, автобус уже тормозил, сказала: «Шмор ал ацмеха». (Береги себя.)

Ты тогда приехала ранней весной. Мы были в Йодфате, где стволы олив гигантскими змеями выползали из каменных дыр на месте крепости Иосифа, потом поднялись на гору Мирон, к могиле рабби Шимона бар Йохая, почитающегося как столп Каббалы, никого не было вокруг, только низкие горы, покрытые лесами, кое-где виднелись серые купола мавзолеев, и могила Рабби была в одном из таких мавзолеев, огромный нелепый саркофаг, каменный куб, без всяких украшений, только края отполированы неистовыми губами и пальцами,

а на полу вода и листья цветов, мавзолей убирали, драяли, воздух был затхлый, сырой, мы вышли и глубоко вздохнули. Тут пристал неизвестно откуда взявшийся богомолец, предложивший за сходную цену помолиться за нас и всех наших родственников, я пошел от него прочь, но ты согласилась, и вот он, дав тебе картинку с равом Овадией, взял тебя за руку и стал, раскачиваясь, произносить благословения на тебя, «на твоего мужа», он кивнул на меня, на «ваших детей» и т.д. «Если бы он знал», — сказала ты, подойдя. «Не уверен, что это его взволновало бы, явный профессионал», — сказал я с наигранным цинизмом.

Потом, на одном из соседних склонов, в небольшой лощине, мы легли в ярко-зеленую траву, мягкую, как шерсть щенка, и когда ты распахнула ноги, рядом с розовой раковиной, показывающей мне язык, оказался маленький красный мак...

Вечер Бараша. Вторая книга. Называется «Панический полдень». 27 стихотворений. А ему уже под сорок. Человек 15. Верник с супругой, Гробман с супругой, Вайман с супругой, Гольдштейн, опять без супруги, Бокштейн, всегда один, Драчинский, пара старичков, незнакомая поэтесса и бывшая красотка, раздававшая свою новую книгу с «ню» на обложке, и одна молодая красивая девушка в углу. К финишу подошли разжиревший Ханелис и бухой Тарасов. Запомнилось: «На нашем кладбище — весна». Вяло, уныло, грустно. Вечер состарившихся на необитаемом острове. Разболелась нога, и не пошел со всеми к морю. «Будем говорить о стихах!» — пел Верник и в который раз цитировал Смелякова, про Любку Фейгельман.

Портос вспомнил, как в 4-м классе полз под партами чтобы воткнуть перо в жопу самой толстой девочке.

Раз мы с Арюшей возвращались из Беер-Шевы после выборов, было уж около двух ночи, лег туман на дорогу, и я почувствовал, что засыпаю. Свернули на заправку, там было неплохое кафе в деревенском стиле, столы из грубых досок, дородная марокканка. Взяли по двойному экспрессо и по булочке с изюмом. Кроме нас был только седовласый шофер такси, который любезничал с хозяйкой, и та, зевая, нехотя улыбалась его заигрываниям. С блаженством потягивая крепкий кофе, я спросил:

— Ты никогда не рассказывал, как в тюрьме было. Девять лет ведь...

— Ну, в тюрьме-то я был в общей сложности чуть больше года, а так в основном в лагере.

— А что, в лагере легче? — усмехнулся я.

— Никакого сравнения, — удивился он моему невежеству. — В лагере ты почти как на свободе. Гуляй, библиотека, ларьки даже были, можно было покупать что хочешь, мы ж зарабатывали, ну и присылали, конечно. Нет, в лагере жить можно. В тюрьме хуже, ты заперт, общаться не с кем, соседи быстро надоедают, а чаще всего страшно раздражают. Вначале, когда нас посадили, так еще были ребята из нашей группы, было еще ничего, иврит учили, даже пытались семинары устраивать, а потом раскидали всех...

Лукавая искренность дневников... Бить зеркала собственных отражений, нырять в эту рябь, в которой ни понять себя, ни узнать, разрушать тараном и подкопом бастионы прячущейся души, когда кажется, что вот, ворвавшись в очередной пролом, увидишь невидимое и несказанное, лик свой, но видишь только новые стены, новые зеркала, новые тяжкие двери, захлопывающиеся перед тобой, только мелькнет в щели прозрачный шлейф,

и ты падаешь, чтобы поймать его, падаешь на новом пороге, и зеркала смеются.

Императорский двор в Японии эпохи Хейян был настоящим лито: все писали стихи, дневники, хроники, выпускались поэтические сборники, антологии, устраивались поэтические состязания.

Валялся на диване с «Дорогой в Рим» Климонтовича. Последняя сцена, с молоком из груди старушки Софи, чересчур метафорична для такого «бытовика». И вообще, однообразно, персонажи — тени, полно нарочитости, набор старомодного эпатажа: наркотики, проститутки, розы Содома. Какая-то жуть про несчастную Анну, которая кончала так, что матка вылезала, такое бывает только при запущенном опущении матки и требует срочного хирургического вмешательства. Секс запрещен категорически. И не люблю я русской бравады с выпивкой (тож у Гандлевского). С бабами — еще туда-сюда. Опять эти подвиги: сколько выпито, по каким углам, какой дряни и до какого состояния, истеричные игры в «загубленную жизнь». Как бы западло русскому человеку жить счастливо. А ведь жизнь-то у него была счастливая: обеспеченная интеллигентная семья, почти элита, красив, талантлив, удачлив с женщинами, дерзок с властями, ранняя слава, интересные друзья, один Харитонов что стоит. Так с чего пить горькую? Что б поиграть в отверженного? Все у них теперь постмодернисты и андеграунды, то есть жутко прогрессивные и честняги. И все же, и все же... Узнаешь Империю, эпоху, сгинувшую жизнь. Вот интересно: мы еще живы, и даже не стары, а эпохи — нет. И в новом мире мы не участники. Не потому что сил нет участвовать, а потому что не принадлежим. Так, с боку припека.

«Поистине, только низкий, грубый и грязный ум может постоянно занимать себя и направлять свою любознательную мысль вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Могут ли глаза, наделенные чистым чувством, видеть что-либо более презренное и недостойное, чем человек, который тратит лучшее время и самые изысканные плоды своей жизни, истощая эликсир мозга, лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать в публикуемых произведениях те беспрерывные муки, те тяжкие страдания, те размышления, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?» (Джордано Бруно. «О героическом энтузиазме».)

Вера в сына бога, как спасителя — эллинистическая, миф о герое. И еврейский Мессия — человек. Да и зачем Богу являться для установления «Царства Божьего», если Он всегда есть и царит?

Бывший москвич, в стране 6 лет, «академаи»[1], материально независим. Симпатичный. Разносторонний. На любовь, заботу и ласку отвечу тем же.

Образованный, устроенный, теплый, имею американское гражданство. Ищу СВОЮ женщину: некурящую, эстетичную, преданную, терпеливую, нежную и обязательную, с целью создания теплой семьи.

Из Подмосковья, некурящий, хочу познакомиться с женщиной, желающей переселиться в Канаду и имеющей такие возможности, для создания нормальной и хорошей семьи.

---

[1] Типа с высшим образованием, степень не уточняется (*ивр.*).

Бывшая москвичка с чувством юмора хотела бы встретить молодого человека не старше 50 похожего на себя.

Бывшая москвичка, стройная, надежная, выросла на романтике походов и бардовской песни. Срочно нужен человек с такой же группой крови.

Очень женственная, могу быть разной. Заинтересована познакомиться со своим ровесником спортивного типа, высокого роста (не ниже 185), надежным, высокоинтеллектуальным, деликатным.

Из Прибалтики, работаю, нормальный человек во всех отношениях. Хочу познакомиться с нормальной женщиной, у которой был бы нормальный характер, нормальная фигура, нормальная профессия, нормальная работа, нормальная уверенность в себе, и, если есть, нормальный ребенок.

Более двух лет тому назад внезапно стала вдовой. Устроена. Надеюсь на встречу с человеком, сохранившим чувство юмора не старше 79, который устал от одиночества.

Инженер из США, еврей. Ищу только скромную и честную девушку.

Американец, находящийся в Израиле с визитом, компьютерщик и электронщик, ищет девушку для любви, брака и детей.

Мне 85 лет, уже не молод. Но кто знает, быть может, отыщется добрая женщина (желательно врач), с которой я бы разделил оставшиеся годы.

Добрый, скромный, уравновешенный, без вредных привычек. Хотел бы познакомиться с доброй, порядочной, чуткой, без вредных привычек.

Я инвалид. Работаю по мере сил. Хотел бы познакомиться с женщиной-инвалидом.

В стране 5 лет, живу в самом южном городе, «академаи», устроен, разведен (трое детей остались с женой). Хочу начать все с начала...

Одинока, неглупа, недурна собой, стройна, заинтересована в знакомстве с «академаи» не старше 45, выходцем из крупных городов бывшего Союза.

Из алии семидесятых. Разведен. Достаточно устроен, достаточно привлекателен, достаточно интеллектуален, достаточно сексуален, достаточно остроумен, достаточно серьезен и достаточно оптимистичен. Верю в «судьбоносность» «Судьбы», то есть знакомство с очень стройной, очень привлекательной, очень остроумной и очень приветливой женщиной из района Гуш-Дан в возрасте до 38 лет. Фотографию обязуюсь вернуть.

Очень симпатичная, стройная, голубоглазая шатенка, «академаит», некурящая, нерелигиозная, не согласная на переезд в другую страну ...крепкую семью с надежным и добрым в возрасте до 40, образованным интересным внешне и внутренне европейского происхождения из центральной части бывшего Союза без алиментных обязательств. Необходимое условие — чувство юмора Несерьезным, и также «маменькиным сыночкам» просьба меня не беспокоить!

Бывшая ленинградка, добрая, красивая, коммуникабельная, без комплексов, найдет с тобой взаимопонимание...

Бывший москвич, голубоглазый брюнет из Хайфы могу стать хорошим мужем для не склонной к полноте...

Работаю по специальности. Хотел бы познакомиться с понимающей.

Приятная. Машины не имею. Надежный попутчик...

Добилась свободы и не знаю, что с ней делать. Если ты Лев или Водолей, напиши...

В мужчинах ценю оптимизм, чувство юмора и желание иметь детей. Ревнивых, любопытных и скупых прошу не терять зря время...

«Академаи», романтик и гонщик, в прошлом из Москвы...

В стране много лет, симпатичная, замужем не была, во мне ты найдешь твердое плечо...

Работаю по специальности. Еще не был женат. Надеюсь...

Подвижный... ищу... с хорошим сердцем.

Ищу неполную женщину.

Хотел бы познакомиться.

Ищу....

Завтра выборы.

СОДЕРЖАНИЕ

Первая тетрадь 5
Вторая тетрадь 101
Третья тетрадь 204
Четвертая тетрадь 315
Пятая тетрадь 413
Шестая тетрадь (начало) 474

Наум Вайман

ХАНАНСКИЕ ХРОНИКИ

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 2205
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 23
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 28.07.2023 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.